



Премии
БОЛЬШАЯ
КНИГА,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БЕСТСЕЛЕР

Михаил
Шишкин

ВЕНЕРИН ВОЛОС

Михаил
Шишкин

ВЕНЕРИН ВОЛОС

Роман

АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш65

Оформление переплета – Андрей Рыбаков

Шишкин, Михаил Павлович

Ш65 Венерин волос : роман / Михаил Шишкин. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2014. – 540, [4] с.

ISBN 978-5-17-087181-0

Герой-рассказчик романа «Венерин волос» служит переводчиком в миграционной службе. Бесконечные истории беженцев, просящих политического убежища, переплетаются, прорастают друг в друга – из современной Швейцарии действие переносится в Париж, Россию начала прошлого века или древнюю Персию – и сливаются воедино – в историю любви, без которой невозможен мир.

Роман удостоен премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-087181-0

© Шишкин М.П.
© ООО «Издательство Астрель»

Венерин волос

*И прах будет призван, и ему будет сказано:
«Верни то, что тебе не принадлежит;
яви то, что ты сохранял до времени».
Ибо словом был создан мир,
и словом воскреснем.*

Откровение Варуха, сына Нерии. 4, XLII

У Дария и Парисатиды было два сына, старший Артаксеркс и младший Кир.

Интервью начинаются в восемь утра. Все еще сонные, помятые, угрюмые – и служащие, и переводчики, и полицейские, и беженцы. Вернее, беженцем еще нужно стать. А пока они только GS. Здесь так называют этих людей. *Gesuchsteller**.

Вводят. Имя. Фамилия. Дата рождения. Губастый. Весь в прыщах. Явно старше шестнадцати.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища в Швейцарии.

Ответ: Я жил в детдоме с десяти лет. Меня насиловал наш директор. Я сбежал. На стоянке познакомился с шоферами, которые гоняют фуры за границу. Один меня вывез.

Вопрос: Почему вы не обратились в милицию с заявлением на вашего директора?

Ответ: Они бы меня убили.

* Лицо, подавшее заявление о предоставлении убежища (нем.).

Вопрос: Кто «они»?

Ответ: Да они там все заодно. Наш директор брал в машину меня, еще одного пацана, двух девчонок и отвозил на дачу. Не его дачу, а чью-то, не знаю. И вот там собирались все они, все их начальство, и начальник милиции тоже. Они напивались и нас тоже заставляли пить. Потом разбирали нас по комнатам. Большая дача.

Вопрос: Вы назвали все причины, по которым просите о предоставлении убежища?

Ответ: Да.

Вопрос: Опишите путь вашего следования. Из какой страны и где вы пересекли границу Швейцарии?

Ответ: Не знаю. Я ехал в фуре, меня заставили коробками. Дали две пластмассовых бутылки: одну с водой, другую для мочи, и выпускали только ночью. Меня высадили прямо здесь за углом, даже не знаю, как город называется, и сказали, куда идти, чтобы сдать.

Вопрос: Занимались ли вы политической или религиозной деятельностью?

Ответ: Нет.

Вопрос: Находились ли под судом или следствием?

Ответ: Нет.

Вопрос: Подавали ли вы заявление о предоставлении убежища в других странах?

Ответ: Нет.

Вопрос: У вас есть юридический представитель в Швейцарии?

Ответ: Нет.

Вопрос: Вы согласны на проведение экспертизы для определения вашего возраста по костной ткани?

Ответ: Что?

В перерыве можно выпить кофе в комнате для переводчиков. Эта сторона выходит окнами на стройку – возводят новое здание для центра приема беженцев.

Белый пластмассовый стаканчик то и дело вспыхивает прямо в руках, да и вся комната озаряется отблесками сварки – сварщик устроился прямо под окном.

Никого нет, можно десять минут спокойно почитать.

Итак, у Дария и Парисатиды было два сына, старший Артаксеркс и младший Кир. Когда Дарий захворал и почувствовал приближение смерти, он потребовал к себе обоих сыновей. Старший сын находился тогда при нем, а за Киrom Дарий послал в ту область, над которой он поставил его сатрапом.

Страницы книги тоже вспыхивают в отблесках сварки. Больно читать – после каждой вспышки страница чернеет.

Закроешь глаза – и веки тоже прошибает насквозь.

В дверь заглядывает Петер. Herr Fischer*. Вершитель судеб. Подмигивает, мол, пора. И его тоже озаряет вспышка – как от фотоаппарата. Так и останется запечатленным с одним прищуренным глазом.

Вопрос: Вы понимаете переводчика?

Ответ: Да.

Вопрос: Ваша фамилия?

Ответ: ***.

Вопрос: Имя?

Ответ: ***.

Вопрос: Сколько вам лет?

Ответ: Шестнадцать.

* Господин Фишер (нем.).

Вопрос: У вас есть паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность?

Ответ: Нет.

Вопрос: У вас должно быть свидетельство о рождении. Где оно?

Ответ: Сгорело. Все сгорело. Наш дом сожгли.

Вопрос: Как зовут вашего отца?

Ответ: *** ***. Он давно умер, я его совсем не помню.

Вопрос: Причина смерти отца?

Ответ: Не знаю. Он много болел. Пил.

Вопрос: Назовите имя, фамилию и девичью фамилию Вашей матери.

Ответ: ***. Девичьей фамилии я не знаю. Ее убили.

Вопрос: Кто убил вашу мать, когда, при каких обстоятельствах?

Ответ: Чеченцы.

Вопрос: Когда?

Ответ: Вот этим летом, в августе.

Вопрос: Какого числа?

Ответ: Не помню точно. Кажется, девятнадцатого, а может, двадцатого. Я не помню.

Вопрос: Как ее убили?

Ответ: Застрелили.

Вопрос: Назовите ваше последнее место жительства до выезда.

Ответ: ***. Это маленькая деревня рядом с Шали.

Вопрос: Назовите точный адрес: улицу, номер дома.

Ответ: Там нет адреса, просто одна улица и наш дом. Его больше нет. Сожгли. Да и от деревни ничего не осталось.

Вопрос: У вас есть родственники в России? Братья? Сестры?

Ответ: Был брат. Старший. Его убили.

Вопрос: Кто убил вашего брата, когда, при каких обстоятельствах?

Ответ: Чеченцы. Тогда же. Их убили вместе.

Вопрос: Другие родственники в России?

Ответ: Никого больше нет.

Вопрос: У вас есть родственники в третьих странах?

Ответ: Нет.

Вопрос: В Швейцарии?

Ответ: Нет.

Вопрос: Ваша национальная принадлежность?

Ответ: Русский.

Вопрос: Вероисповедание?

Ответ: Что?

Вопрос: Религия?

Ответ: Верующий.

Вопрос: Православный?

Ответ: Да. Я просто не понял.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища в Швейцарии.

Ответ: К нам все время приходили чеченцы и говорили, чтобы брат шел с ними в горы воевать против русских. Иначе убьют. Мать его прятала. Я в тот день возвращался домой и услышал из открытого окна крики. Я спрятался в кустах у сарая и видел, как в комнате чеченец бил брата прикладом. Там их было несколько, и все с автоматами. Я брата не видел – он уже лежал на полу. Тогда мать бросилась на них с ножом. Кухонный ножик, которым мы чистили картошку. Один из них отпихнул ее к стене, приставил ей калаш к голове и выстрелил. Потом они вышли, облили дом бензином из канистры и подожгли. Они стояли кругом и смотрели, как горит. Брат был еще жив, я слышал, как он кричал. Я боялся, что они меня увидят и тоже убьют.

Вопрос: Не молчите, рассказывайте, что было потом.

Ответ: Потом они ушли. А я сидел там до темноты. Не знал, что делать и куда идти. Потом пошел к русскому посту на дороге в Шали. Я думал, что солдаты мне как-то помогут. Но они сами боятся всех и стали меня прогонять. Я им хотел объяснить, что случилось, а они стреляли в воздух, чтобы я уходил. Тогда я провел ночь на улице в каком-то разрушенном доме. А потом стал пробираться в Россию. А оттуда сюда. Я не хочу там жить.

Вопрос: Вы назвали все причины, по которым просите о предоставлении убежища?

Ответ: Да.

Вопрос: Опишите путь вашего следования. Через какие страны вы ехали и каким видом транспорта?

Ответ: По-разному. На электричках, поездах. Через Белоруссию, Польшу, Германию.

Вопрос: У вас были средства на покупку билетов?

Ответ: Откуда? Так ездил. Бегал от контролеров. В Белоруссии меня поймали и сбросили на ходу с поезда. Хорошо еще медленно ехали и был откос. Удачно упал, ничего не сломал. Только распорол кожу на ноге о битое стекло. Вот здесь. На вокзале ночевал, и какая-то женщина мне дала пластырь.

Вопрос: Какие документы вы предъявляли при пересечении границ?

Ответ: Никакие. Пешком ночью шел.

Вопрос: Где и каким образом вы пересекли границу Швейцарии?

Ответ: Здесь, в этом, как его...

Вопрос: Кройцлинген.

Ответ: Да. Просто прошел мимо полиции. Они только машины проверяют.

Вопрос: На какие средства вы поддерживали ваше существование?

Ответ: Ни на какие.

Вопрос: Что это значит? Вы воровали?

Ответ: По-разному. Иногда да. А что делать? Есть-то хочется.

Вопрос: Занимались ли вы политической или религиозной деятельностью?

Ответ: Нет.

Вопрос: Находились ли под судом или следствием?

Ответ: Нет.

Вопрос: Подавали ли вы заявление о предоставлении убежища в других странах?

Ответ: Нет.

Вопрос: У вас есть юридический представитель в Швейцарии?

Ответ: Нет.

Пока принтер распечатывает протокол, все молчат.

Парень ковыряет черные обгрызенные ногти. От его куртки и грязных джинсов пахнет куревом и мочой.

Петер, откинувшись назад, покачиваясь на стуле, смотрит за окно. Там птицы обгоняют самолет.

Рисую в блокноте крестики, квадратики, делю их диагональными линиями на треугольники, закрашиваю так, чтобы получился рельефный орнамент.

На стенах кругом фотографии – вершитель судеб помещан на рыбалке. Вот на Аляске держит рыбину за жабры, а там что-то карибское с большим крюком, торчащим из огромной глотки.

У меня над головой – карта мира. Вся утыкана булавами с разноцветными головками. С черными – впились в Африку, с желтыми – торчат из Азии. Белые головки – Балканы, Белоруссия, Украина, Мол-

давия, Россия, Кавказ. После этого интервью добавится еще одна.

Иглоотерапия.

Принтер замирает и моргает красным – кончилась бумага.

Любезный Навуходонозавр!

Вы уже получили мою скороспелую открытку с обещанием подробностей. Вот они.

После дня, проведенного в местах не столь отдаленных, пришел домой. Поел макарон. Перечитал Ваше послание, так порадовавшее меня. Стал смотреть в окно. Ветер нагнал сумерки. Дождь зарядил. На газоне валяется красный зонт, как порез на травяной шкуре.

Однако все по порядку.

Не каждый день, право, балует нас почтальон чувственными посланиями! Да еще такими! Среди счетов и рекламы – нечаянная радость, Ваше письмо, в котором Вы подробно описываете Вашу Навуходонозаврову державу, ее славное географическое прошлое, приливы и отливы истории, нравы флоры, обычаи фауны, вулканы, законы, катапульты и людоедские наклонности народонаселения. Есть у Вас, оказывается, даже и вампиры, и дракулы! А Вы, значит, императорствуете. Польщен.

Правда, письменность Ваша изобилует грамматическими ошибками, но какая, в сущности, разница! Ошибки можно научиться исправлять, а такое вот послание Вы мне, может, никогда больше и не пришлете. Императоры так быстро взрослеют и забывают о своих империях.

Не нагляжусь на приложенную карту Вашей островной отчизны, обстоятельный труд вдохновенных императорских картографов. А знаете, я, пожалуй, прикнуплю ее вот сюда, на стенку. Буду посмат-

ривать и гадать, где-то Вы там сейчас, среди этих гор, пустынь, озер, фломастерных зарослей и столиц. Что подельываете? Переехали уже из летней резиденции в Осенний дворец? Или уже спите? И Ваш сон охраняет непотопляемый флот – вон идут вокруг острова триремы и подводные лодки кильватерной колонной.

И какое славное имя для благодетельного государя, написанное разноцветными буквами! Даже имею некоторые предположения, как оно Вам пришло на ум, но оставлю их при себе.

В Вашем послании Вы просите сообщить сведения о нашей далекой державе, еще неизвестной Вашим географам и первопроходцам. Как же мне оставить Ваш вопрос без ответа!

Что Вам сказать о нашей империи? Обетованна, странноприимна, небоскрежна. По площади три года скачи – не доскачешь. По числу комаров на тело населения в бессонные часы нет ей равных. По забору пробегают белки.

Карта наша изобилует белыми пятнами, когда выпадает снег. Границы так далеко, что даже неизвестно, с кем толком граничит империя. Одни говорят, что с горизонтом, по другим источникам, с заключительной каденцией ангельских труб. Доподлинно же известно, что расположена она где-то к северу от эллинов, вдоль береговой линии воздушного океана, по которому ходит наш непотопляемый облачный флот кильватерной колонной.

Флора пока еще наличествует, от фауны остались лишь кроны вот этих деревьев, похожие на косяки мальков. Их пугает ветер.

Флаг – хамелеон, законы что дышло, про вулканы мне лично ничего не известно.

Главный вопрос, занимающий имперские умы уже не одно поколение, – кто мы и зачем? Ответ на

него, при всей кажущейся очевидности, невнятен. В профиль – гипербореи, анфас – сарматы, одним словом, то ли орочи, то ли тунгусы. И каждый – закладка. Я хотел написать «загадка».

Верования примитивны, но не лишены некоторой поэтичности. Иные убеждены, что мир – огромная лосиха, шерсть которой – леса, живущие в шерсти паразиты – таежные звери, а вьющиеся вокруг насекомые – птицы. Этакая хозяйка вселенной. Когда лосиха начинает тереться о дерево – все живое умирает.

Короче, эта империя кем-то общепризнана лучшим из миров, в котором Ваш покорный – Вы интересуетесь, не начальник ли? – не начальник. Как объяснить Вам, любезный Навуходонозавр, чем мы тут промышляем? Пожалуй, попробую так: ведь даже эти мальки за окном, которые жмутся в кучку и не подозревают о себе, что просто ветер, убеждены: каждого из них кто-то ждет, помнит, знает в лицо – все прожилки, все крапинки. И никак их не разубедить. И вот прут из всех поднебесных каждой твари по паре: недотепы и несмеяны, правдолюбцы и домочадцы, левши и правши, братки и таксидермисты. А никто никого не понимает. И вот я служу. Министерства обороны рая беженской канцелярии толмач.

И каждый хочет что-то объяснить. Надеется, что его выслушают. А тут мы с Петром. Я перевожу вопросы и ответы, а Петр записывает, кивает головой, мол, ну-ну, так я вам и поверил. Он никому не верит. Вот приходит какая-нибудь и говорит: «Я – простая пастушка, подкидыш, родителей своих не знаю, воспитал меня обыкновенный козопас, бедняк Дриас». И начинается лыко в строку. Деревья в плодах, рапины в хлебах, лоза на холмах, стада на лугах, нежное всюду цикад стрекотанье, плодов сладкое благо-

уханье. Пиратов нападение, врагов вторжение. Холёные ногти вспыхивают в пламени зажигалки. «Ведь выросла я в деревне и ни разу ни от кого не слыхала даже слова “любовь”. А спираль представляла себе как что-то похожее на диванную пружину. Ах, мой Дафнис! Разлучили нас, горемычных! Разборка за разборкой. То тирийская группировка наедет, то метимнейские гости права качают. Дафнис сопровождал меня как охранник к клиентам. Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь. А они видите что мне с зубами сделали? У меня и так зубы никудышные. Но это от мамы. Она рассказывала, как в детстве штукатурку отколупывала от печки и ела. Кальция не хватало. Да и я, когда Яночку носила, в институте у преподавателей мел тырила и грызла. Любовь – та же луна: если не прибывает, то убывает, – но остается той же, что в прошлый раз, и всегда одна и та же». Петр: «Всё?» Она: «Всё». «Тогда вот, – предъявляет, – мадам, ваши отпечаточки». «И что с того?» – изумляется. «А то, что в нашей всеимперской картотеке вы уже наследили». И под зад коленкой. А она уже из лифта кричит: «Вы еще не люди, вы еще холодная глина – вас уже слепили, но ничего не вдули!»

А иной вообще двух слов толком связать не может. Да еще дикция как у водопроводного крана. Я мучаюсь, пытаюсь разобраться, что он там квохчет, а Петр все на своем столе выравнивает, чтобы как на параде, вроде как он начальник стола – принимает парад карандашей и зубочисток. Время-то казенное. Никто не торопится. Петр порядок любит. А этот GS бормочет про какой-то сим-сим, кричит, чтобы открыли дверь. Лепечет про какие-то белые кружки на воротах, потом красные. Начинает уверять, что сидел себе в бурдюке и никого не трогал, никому не мешал, а его кипящим маслом. «Вот, – кричит, – смо-

трите, разве можно так? Кипящим маслом на живого человека?» А чтобы отказать разбойнику, достаточно найти несоответствия в показаниях – Петр достает с полки заплечных дел книжицу, и пошла писать губерния. Скажи-ка, мил человек, сколько километров от твоей Багдадовки до столиц? Какой курс пиастров к доллару? Какие, кроме непорочного зачатия и первой снежной бабы, отмечаются в покинувшей тебя стране национальные праздники? Какого цвета трамваи и бурдюки? И почему буханка бородинского?

Или возвращаются, к примеру, из вавилонского пленения иудеи, затягивают хор из третьего действия «Набукко», а наш столоначальник им: «На каком языке говорят в Халдейском царстве?» Они: «На аккадском». Он: «Как называется в Вавилоне храм бога Мардука?» Они: «Эсагила». Он: «А вавилонская башня?» Они: «Этеменанки». Он: «А какой богине посвящены северные ворота?» Они: «Иштар, богине Венеры. А Солнце олицетворяет Шамаш, Луну – Син. Марс – это Нергал. В Сатурне вавилонцы-злодеи видят Нинурта, в Меркурии – Набу, а сам Мардук отождествляется с Юпитером. От этих семи астральных богов, кстати, идет семидневная неделя. Вы это знали?» Он: «Здесь вопросы задаю я. Внебрачная дочь Навуходоносора, вторая “б”, восемь букв». Они: «Да что вы нас, за дураков, что ль, держите? Абигайль!»

До Петра столоначальницей была Сабина. Она, наоборот, всем верила. И не задавала вопросов из всезнающей книжицы. И никогда не ставила штамп «Prioritätsfall». Вот ее и уволили. А Петр ставит почти каждому. В досье на первой страничке. Это означает ускоренное рассмотрение дела ввиду очевидного отказа. Вот GS подписывает протокол, прощается, заискивающе улыбается и вершителю судеб, и толмачу, и пришедшему за ним стражнику с алебардой,

надеется, что теперь-то все будет хорошо, а Петру – только закроется дверь – штамп.

Этот заработок был не для Сабины. Когда толмач ходил с ней в перерыве в кафе напротив, она жаловалась, что, вернувшись после работы домой, садится ужинать, а перед глазами – женщина, которая днем на интервью плакала, рассказывая, как сыну выдирали ногти, а этот самый мальчик без ногтей сидел рядом в комнате для ожидания. Детей опрашивают отдельно от родителей.

– Здесь нельзя никого жалеть, – сказала один раз Сабина. – А я их всех жалею. Надо просто уметь отключиться, стать роботом, вопрос-ответ, вопрос-ответ, заполнил формуляр, подписал протокол, отправил в Берн. Пусть они там решают. Нет, мне надо искать другую работу.

Сабина была совсем юной столоначальницей. После увольнения она уехала на противоположный конец империи и прислала толмачу странную открытку. Но это все не важно. Может быть, когда-нибудь потом объясню. Или не объясню.

Кажется, мы отвлеклись, любезный Навуходонозавр.

Чем еще славна наша империя? Есть и у нас, представьте себе, и подводные лодки, и пустыни, и даже дракула, но только не вампир, а настоящий. Здесь вообще все настоящее.

Что еще? Ранка на траве затянулась – стемнело.

Да, забыл сказать, что людоедство не перевелось и у нас, причем пожирает всех не кто-нибудь, а самодержец самолично, или самодержица, давно не заглядывал в придворный адрес-календарь, а род ведь зависит от наречия, короче, один такой Ирод Великий, но если об этом не думать постоянно, то живется тут припеваючи приставший в трамвае мотивчик. На остановке у вокзала сегодня кто-то вышел, насвистывая.

Забавно – когда-нибудь через много лет получите это письмо и, возможно, даже не вспомните, что были некогда императором вот этой чудесной приключенной империи.

Блокнот, ручка, стакан воды. Солнце за окном. Вода в стакане пускает солнечный зайчик – не зайчик, а целый солнечный зайчище, – переливается на потолке и вдруг на какое-то мгновение становится похожим на ухо. И еще на зародыша. Открывается дверь. Вводят.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.

Ответ: Я работал на таможне на границе с Казахстаном. Военные перевозили наркотики в своих машинах, и мой начальник был с ними в сговоре, мы должны были на все закрывать глаза и оформлять как полагается. Я написал письмо в ФСБ. Через несколько дней на улице мою дочь сбила машина, а мне позвонили и сказали, что это первое предупреждение.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.

Ответ: На выборах губернатора я активно поддерживал кандидата оппозиции, участвовал в митингах протеста и сборах подписей. Меня вызывали в милицию и требовали прекратить выступать против руководства области с разоблачениями. Неоднократно меня избивали переодетые в штатское милиционеры. К заявлению о предоставлении убежища мною приложены медицинские свидетельства о переломе челюсти и руки и о дру-

гих последствиях избиений. Я теперь, как вы видите, инвалид и не могу работать. У моей жены, приехавшей со мной, рак желудка.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.

Ответ: Я болен СПИДом. У нас в городе все от меня отвернулись. Даже жена и дети. А меня заразили, когда я лежал в больнице, при переливании крови. У меня теперь ничего нет: ни работы, ни друзей, ни дома. Мне скоро умирать. Я решил так: если все равно подышать, так хоть здесь, у вас, в человеческих условиях. Ведь не выкинете.

Вопрос: Опишите кратко причины, по которым вы просите о предоставлении убежища.

Ответ: Был в Мунтянской православной земле воевода по имени Дракула. Однажды турецкий паша прислал ему послов с требованием отказать от православной веры и покориться ему. Послы, говоря с воеводой, не сняли своих шапок и на вопрос, почему они оскорбляют таким образом великого государя, ответили: «Таков обычай, государь, земля наша имеет». Тогда Дракула велел своим слугам гвоздями прибить шапки к головам послов и отослал их тела обратно, велев передать паше, что Бог у нас один, а обычаи разные. Разъяренный паша пришел в православную землю с огромной армией и стал грабить и убивать. Воевода Дракула собрал все свое немногочисленное войско и напал на мусульман ночью, убил их множество и обратил в бегство. Утром он устроил смотр своим оставшимся в живых бойцам. Кто ранен

был спереди, тому честь великую воздавал и называл его витязем. У кого же рана была на спине, того велел сажать на кол, говоря: «Ты не муж, но жена». Услышав об этом, паша увел остатки своего войска обратно, не смея больше нападать на эту землю. Так жил воевода Дракула в своих владениях дальше, и было в ту пору в Мунтянской земле много нищих, убогих, больных и немощных. Видя, что столько в его земле мучается несчастных людей, велел он всем прийти к нему. И собралось бесчисленное множество несчастных, калек и сирот, чающих от него великой милости, и стали они ему говорить каждый о своих несчастьях и болях, кто о потерянной ноге, кто о вытекшем глазе, кто об умершем сыне, кто о неправедном суде и без вины брошенном в тюрьму брате. И был плач велик, и стон стоял по всей Мунтянской земле. Тогда повелел Дракула собрать всех в одну великую храмину, для того случая построенную, и велел дать им яств изысканных и пития довольно. Они же ели, пили и возвеселились. Он тогда пришел к ним и спросил: «Чего еще вы хотите?» Они все отвечали: «То ведает Бог и ты, великий государь! Поступи с нами так, как тебя Бог вразумит!» Тогда он сказал им: «Хотите, сделаю вас беспечальными на сем свете, чтобы ни в чем у вас нужды не было, чтобы не плакали вы о потерянной ноге и вытекшем глазе, об умершем сыне и неправедном суде?» Они же чаяли от него какого-то чуда и ответили все: «Хотим, государь!» Тогда он велел запереть храмину, обнести соломой и поджечь. И был огонь великий, и все в нем сгорели.

Любезный Навуходонозавр!

Заглянул в почтовый ящик – от Вас ничего.

Верно, Вам не до нас. Да мы и не ропщем – ведь Вас ждут дела государственного значения. Не дай бог, объявите кому-нибудь войну, или нападут инопланетяне. За всем глаз да глаз нужен. Тут уж не до писем.

У нас все по-старому.

Вселенная расширяется. Толмач толмачит.

Вот придешь домой, а выкинуть из головы все, что было днем, не получается. Все с собой домой и принес.

Никак от тех людей и слов не освободиться.

А там все то же. Да и что может быть на толмачевой службе нового? Все по накатанной дорожке. Все по утвержденной в высших сферах форме. Каждый вопрос по установленному образцу, каждый ответ тоже. А на стандартное приветствие Петр даже и голос не тратит – дает толмачу зачитать с листа оробевшему GS. Толмач и зачитывает: «Здравствуйте! Как хорошо, что вы пришли! Заходите, пожалуйста, скоротаем вместе этот бесконечный день! Вы присаживайтесь, небось устали с дороги. В ногах правды нет. Мы сейчас велим самоварчик поставить! Валенки-то, валенки давайте вот сюда, поближе к печке! Ну, как вам наше лучшее из белых пятен на карте, где человек есть то, что он есть, и говорит то, что он молчит? Не осмотрелись еще? Успеете! Может, хотите пересесть вот сюда, подальше от окошка, чтобы, не ровен час, не надуло? Скажете, если сквозит? Вот и ладненько. Да, о чем бишь мы? Так вот, приезжают сюда всякие, все какие-то помятые, недалекие, с плохими зубами, – и врут. Уверяют, что документы потеряли, – это чтобы сразу обратно не выслали. Рассказывают про себя страшные истории. Нестрашные здесь не рассказывают. Да еще с подробностями. Ты-

чуг свои слоновьи кисти, в которые якобы шприцом загнали расплавленный вазелин. Страшилки и ужастики. Да еще такое загнут, что хоть садись и детективы строчи. Будто мама в детстве не учила, что нужно говорить правду. Бьют на жалость! В рай они захотели! Мученики нашлись! А дело не в жалости. Дело в выяснении обстоятельств. Для того чтобы не пустить в рай, очень важно узнать то, что было на самом деле. Но как выяснишь, если люди здесь становятся рассказанными ими историями. Никак не выяснишь. Значит, все просто: раз нельзя выяснить правду, то нужно выяснить хотя бы неправду. По инструкции, неправдоподобие в показаниях дает основание поставить вот этот самый штамп. Так что получше придумывайте себе легенду и не забывайте, что самое главное – мелкие детали, подробности. Кто бы поверил в то же воскрешение, если б не деталь с пальцем, вложенным в рану, или как стали вместе есть печеную рыбу? А вообще-то, штамп штампом, но, положив руку на сердце, разве пейзаж так черен, как вы его малюете? Да вы оглянитесь! Вот тучи ползут на пузе. Вон на скамейке кто-то поел и оставил газету, а теперь воробей клюет буквы. На плотине, видите, блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Сирень пахнет дешевыми духами и верит, что все будет хорошо. Камни и те живые, размножаются крошением. Да вы и не слушаете. Как об стенку горох. Знают только свое: напали, связали, отвезли в лес, избili да бросили. Может, и правильно сделали, что избили! Долги-то платить надо или не надо? То-то же! Или вот были в один день два парня, вместе сдались: один якобы из подмосковного детдома, а другой из Чечни. А через неделю из полиции переслали их паспорта – они спрятали свои документы в какой-то бетонной трубе у железной дороги и рабочие их

случайно нашли. Оба из Литвы. Приехали на каникулы. За гостиницу платить дорого, а так – и крыша над головой, и накормят. И результаты костного анализа показали, что им далеко за шестнадцать. Штамп. Штамп. Или вот сдается семья: папа, мама и дочь иерусалимская. Уверяют, что бежали из Жидятина – мочи не стало терпеть преследований древлян. Это, говорят, не древляне, это настоящие фашисты! Да спасет Бог евреев, а если не может, то пусть хоть гоев! Стали рассказывать, как их православные избивали – у мужа и жены выбили передние зубы, а дочь, ей не было еще двенадцати, изнасиловали. Петр, как положено, каждого допрашивал отдельно. Папа и мама говорили примерно одно и то же, как по выученному тексту: угрозы по почте, ночные телефонные звонки, нападения на улице перед подъездом et cetera. А потом пригласили девочку. В открытую дверь было видно, как она прижалась к маме и не хотела идти, а та ей сказала: “Иди, не бойся!” Вошла, села на край стула. Петр, чтобы как-то ободрить, протянул ей шоколадку, у него в правом ящике стола лежат шоколадки для таких случаев. Это инструкцией не предусмотрено, но кто ж запретит? И вот Петр спрашивает, религиозна ли их семья, а та в ответ: “Ей-богу! Мы в церковь все время ходим”. И для пущей убедительности перекрестилась. С испугу все перепутала. Батя наверняка негодичант-неудачник, а с партнерами-древлянами шутки плохи. Историю, чтобы сдаться, взяли стандартную, верняк – кто ж посмеет иудеев не пожалеть? Думали, что обойдется: ведь отсутствие зубов нельзя симулировать, да и изнасилование ребенка, согласно медицинскому осмотру, действительно имело место. Штамп. А чего стоит только посмотреть, как подписывают протокол! Один – послушно кивая, мол, мы люди темные, что нам скажете подписать,

то и подмахнем, другой будет сверять даже правописание географических названий. Третий, который приехал с пачкой справок из всех домов скорби, костоправен и кутузок и уверял, что никому больше на этом свете не верит, потребовал даже письменного перевода протокола – устного ему, вишь, недостаточно и подписи под неизвестно чем он ставить из принципа не будет. Петр ему сразу – штамп. А тот и здесь митинговать. Пришлось свистеть стражу. Пригрозили алебардой. Такому и в нашей ближне-любивой недолго до костоправни. А четвертый вовсе попросит занести в протокол, что у нас тут хорошо, и не холодно и не жарко, а у них четыре времени года: зима, зима, зима и зима. Знаем мы вас! Сдаются как мученики зимы, а потом воровать! Сколько раз было: сначала знакомимся на интервью – здрасьте-здрасьте, а потом жданная встреча в полиции, как поймают на воровстве – толмач ведь и в полиции подрабатывает – о, старые знакомые! Давненько-давненько! И опять начинаются страсти-мордасти, мол, директора магазина “Мигро” на выходе у кассов все не кусал, а если и кусал, то только потому, что тот стал душить. Так вот, вернемся к нашим баранам. Вы на себя посмотрите! До седин дожили и всё в бегах! Где паспорт? Не знаете? А мы знаем: на вокзале в камере хранения. Или в беженском хайме у ранее сдавшегося дружка-корешка. Вот оформим вас, получите подорожную по казенной надобности на придуманную фамилию, выйдете и прямым за документами. Что, не так? Потом устройтесь на всем готовом – и вперед: воровать да скупать по дешевке краденое. Горюет, а сам ворует. Ни плут, ни картежник, а ночной придорожник. Голодный, и архиерей украдет. И про работу нам тут мозги не пудрите! Да кому вы здесь такие нужны? Тут и без вас много желающих. Много званных, черномазый, да мало из-

бранных. Здесь в магазинах воруют, а у себя там в ларьках продаете – вот вся ваша работа. Ну и что, что все на сигнализации! Не знаете, что ли, как сумки делать? Это очень просто: берете алюминиевую фольгу и изнутри приклеиваете, получается как отражающий мешок, никакая сигнализация не срабатывает. Выноси что хочешь. Потом переправляете. Как? Да хотя бы по почте. Пишете, мол, подарок, поношенные вещи и прочая дребедень. Тут главное обратный адрес. В телефонной книге найдите кого-нибудь попримочнее, а еще лучше какую-нибудь благотворительную организацию. Никто тогда и не придерется. Понятно? Что значит – не получится?! Глаза боятся, руки делают! Не вы первые, не вы последние! Так что говорите правду и ничего, кроме правды! И не забывайте, что в ваши леденящие кровь истории никто давно не верит, ведь жизнь состоит еще из любви и красоты, потому что я сплю, а сердце мое бодрствует, вот, голос моего возлюбленного, который стучится: отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! – потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои – ночную влагою. Вы поняли ваши права и обязанности и что в рай все равно никого не пустят?» GS: «Да». Петр, беря у толмача бумажку с текстом приветствия: «Вопросы есть?» GS: «Пусть говорящие фиктивны, но говоримое реально. Правда есть только там, где ее скрывают. Хорошо, люди не настоящие, но истории, истории-то настоящие! Просто насильствовали в том детдоме не этого губастого, так другого. И рассказ о сгоревшем брате и убитой матери тот парень из Литвы от кого-то слышал. Какая разница, с кем это было? Это всегда будет верняком. Люди здесь ни при чем, это истории бывают настоящие и ненастоящие. Просто нужно рассказать настоящую историю. Все как было. И ничего не придум-

мывать. Мы есть то, что мы говорим. Свежеструганая судьба набита никому не нужными людьми, как ковчег, все остальное – хлябь. Мы станем тем, что будет занесено в протокол. Словами. Поймите, Божья мысль о реке есть сама река». Петр: «Тогда приступим». И понеслась: вопрос-ответ, вопрос-ответ. А из форточки хлопья снега. Как это так? Только что было лето, а уже заснежило. В окно виден двор, там какой-то негр под присмотром полицейского большой железной лопатой соскребает снег с дорожки. Тонкое железо царапает асфальт, совсем как в Москве. А вот повели на интервью вторую утреннюю партию озябших GS, кутаются в куртки и шарфы, в основном негры и азиаты, топают по свежевыпавшему снегу, и чей-то ребенок, арабчонок или курд, а может, иранец, кто их, пятилетних, разберет, все норовит зачерпнуть горстью и слепить снежок, а мать на него цыкает и тащит за руку. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Потом перерыв, кофе из пластмассового стаканчика. В другом окне другой двор, тоже снег, и негрятя играют в снежки. Но эти негрятя ведь только что играли в снежки, или уже год пролетел? И снова вопрос-ответ, вопрос-ответ. Будто разговариваешь сам с собой. Сам себе задаешь вопросы. Сам себе отвечаешь.

Перед сном толмач пытается читать, чтобы забыть. Хочется еще, прежде чем выключить свет и положить подушку на ухо, унести на другой конец империи и пройти вместе с Киrom по пустыне, имея Евфрат по правую руку, в пять переходов 35 парасангов. Там земля представляет собой равнину, плоскую, как море, и заросшую полынью. Встречные растения – кустарники и тростники – все прекрасно пахнут, словно благовония. Там нет ни одного дерева, а животные разнообразны: встречаются

дикие ослы и большие страусы. Попадаются также драхвы и газели. Всадники нередко гонятся за этими животными. Ослы, когда их преследуют, убегают вперед и останавливаются, так как бегают гораздо быстрее лошадей. Когда лошади приближаются, они опять проделывают то же самое, и нет никакой возможности их настигнуть, разве только в том случае, если всадники становятся в разных местах и охотятся поочередно. Мясо пойманных ослов похоже на мясо оленей, но нежнее. Никто не поймал ни одного страуса, а те всадники, которые пускаются за ними в погоню, быстро прекращают ее. Убегая, страус отрывается далеко вперед, пользуясь во время бега и ногами, и крыльями, поднятыми как паруса.

Закроешь книжку, пытаешься уснуть, а в голове опять вопрос-ответ, вопрос-ответ. Опять про каких-то переодетых милиционеров, которые норовят взломать дверь, ворваться в квартиру, перевернуть все вверх дном, отбить почки, сломать руку или ребро. А Петер им вопрос: в детстве вы плавали с родителями по Черному морю на лайнере «Россия» и в самых неожиданных местах, например на вентиляторах над головой, замечали вдруг выпуклые готические буквы «Adolf Hitler»? Ответ: да, было. Вопрос: ваш сын, когда пришли гости, от скуки залез под стол и стал снимать со всех тапочки, и ноги вслепую шарили по паркету? Ответ: да, было. Вопрос: вашей маме, когда ее хоронили, на лоб положили полоску бумаги с молитвой, и вы вдруг подумали: кто же и когда будет это читать? Ответ: да, было. Вопрос: в Перми есть речка Стикс? За ночь замерзшая? Вы бросили палку, а она подпрыгивает на льду, и лед звенит гулко, пусто, легко? Ответ: да, было. Вопрос: а куда плыла по ночам та девушка, одна рука вперед, под подушку, другая назад, ладонью кверху, и так хотелось эту ладонь поцеловать, но боялся разбудить?

А под утро толмач проснулся весь в поту и с бьющимся сердцем: приснилась Гальпетра, и все снова – урок, доска, будто не было всех этих прожитых десятилетий. Лежал, смотрел в светлеющий потолок, возвращался в себя, держась за сердце.

Сейчас-то чего ее бояться?

А что именно было во сне – сразу забываешь, остается только ощущение школьного страха.

И еще неприятно – никогда не знаешь, в какой империи проснешься и кем.

Толмач уже выключил компьютер, а тут опять включил, чтобы записать, как ворочался, не мог заснуть, и почему-то вспомнилось, как Галина Петровна водила нас на экскурсию в Останкино, в Музей творчества крепостных. Был еще сентябрь, но выпал первый снег, и Аполлон Бельведерский стоял посреди круглого заснеженного газона. Мы стали обстреливать его снежками. Все хотели попасть туда, где листик, но ни у кого не получалось, а потом Гальпетра на нас накричала, и мы пошли на экскурсию в музей. Помню эхо в холодных темных залах, увешанных почерневшими от времени картинами. По наощенному паркету плавали отражения окон, как льдины. Мы скользили, будто на катке, в огромных войлочных тапках, надетых прямо на ботинки, и наступали друг другу на пятки, чтобы идущий впереди упал. Гальпетра шикала на нас и раздавала подзатыльники. Как сейчас вижу ее с темными усиками по краям рта, в шерстяном фиолетовом костюмчике, на голове белая вязаная шапочка из мохера, зимние сапоги с полурасстегнутой молнией, чтобы ноги не очень прели, на сапогах музейные тапки, похожие на какие-то лапландские снегоступы. Из рассказов экскурсовода запомнилось, что если крепостные балерины в театре плохо танцевали, то их, задрвав юб-

ку, пороли на конюшне – наверно, запомнилось именно из-за этого: задрал юбку. И еще помню, как нам показывали гром: если по ходу действия нужно было изобразить грозу, то в огромную деревянную трубу сверху сыпали горох. Этот аттракцион входил в экскурсию, и некто невидимый сверху высыпал в трубу пачку гороха. Но главным образом та экскурсия запомнилась тем, как кто-то мне шепнул, что наша Гальпетра – беременна. Это настолько показалось мне тогда невозможным, непредставимым, чтобы наша не имеющая возраста усатая классная могла забеременеть, ведь для этого нужно, чтобы произошло то, что происходит между мужчиной и женщиной – женщиной, а не нашей Гальпетрой! Я вглядывался в живот старой девы, истово борющейся в школе с тушью для ресниц и тенями для век, и ничего не замечал – Гальпетра была такая же толстая, как всегда. Я не хотел, никак не мог в это поверить, ведь непорочного зачатия не бывает, но меня убедили слова: «Уже вся школа знает, что она идет в декрет». И вот мы стояли и слушали, как горох превращается в раскаты далекого грома, в Гальпетре что-то необъяснимо росло, а в окне за снегопадом было видно здание Останкинского телецентра, и по снегу шел к нему Аполлон Бельведерский, не оставляя после себя следов.

Толмачу этим тунгусским утром выпадает проснуться толмачом в однокомнатной квартирке напротив кладбища. Может, потому здесь и недорого снять жилье. Зелень как зелень. Подробна, шипуча, перната. А радио с утра везде, а не только в соседней квартире, сообщает бодрым голосом об убийствах и ограблениях, происшедших за ночь. Крематорий сразу и не заметишь, вроде как чья-то вила на скло-не горы. И никогда не дымит, хотя там работают, как

здесь повсеместно принято, не покладая рук. Все дело в фильтрах. В трубе установлены фильтры, чтобы не пачкать дождь.

Про белку, пробегающую по ограде, я уже писал.

Соседей долгое время не было видно. Лишь их белье. Стирают в подвале, там несколько стиральных машин. Машины почти всегда заняты, а на веревках в комнатах-сушилках ждут своих тел застиранные носки, заштопанные старческие чулки, довоенные трусы.

До какой войны?

Что-то показалось толмачу в этом доме странным, когда он приехал сюда год, нет, уже полтора года назад. И он не сразу понял, что же не так с этим огромным зданием, в котором всегда тихо. Только обратил внимание, что никогда не слышно детских голосов. А потом заметил, что здесь лишь однокомнатные квартиры и в них живут старые люди. Они казались ходячими застиранными чулками и носками.

Толмачу досталась квартирка на первом этаже, с выходом на газон, на котором всегда что-нибудь валяется. Вот сейчас трава шевелится от капель и прямо под окном мокнет тюбик от зубной пасты "Colgate".

Соседей слева и справа не видно, но слышно. Тот, который слева, пересвистывается с брелком от ключей. Тот, который справа, говорлив. Курлыкает сам с собой по-птичьи. Ходит по ночам зимой и летом в кальсонах и майке. Однажды толмач возвращался очень поздно, часа в два ночи, а сосед подметал дорожку.

Зубная паста – с седьмого этажа. В первые же дни после переезда стали падать сверху на газон перед самым окном разные предметы – и вовсе не мусор. Один раз упал телефон, потом комплекты постельного белья, потом радиоприемник, какие-то продук-

ты, поварешки, открывалки, канцелярские мелочи, разные блокнотики, коробки со скрепками, конверты. Не каждый день. Иногда неделю ничего не летит, потом глядь – ножницы. Толмач все это собирал в черные полиэтиленовые мешки для мусора, а всякие полезные вещицы, чего уж там, просто прикарманывал – что с неба упало, то пропало. Вот в ящике стола лежат небесные карандаши, клей, те самые ножницы. И толмач никак не мог понять, кто все это бросает и зачем. А в один ветреный день газон покрылся белыми упавшими листьями, будто какому-то бумажному дереву пришла осень. Оказалось, бюллетени для голосования. У нас ведь тут что ни праздник фонарей, то референдум. И вот на этих бумагах были указаны адрес и фамилия. Куда: лучший из миров, кому: фрау Эггли. Толмач сходил посмотреть на таблички с фамилиями жильцов, и все совпало – фрау Эггли живет прямо над ним на седьмом этаже. Он поднялся и позвонил ей в дверь. Мало ли, может, просто сквозняк и у нее все бумаги сдуло с подоконника. Просто хотел вернуть. Никто долго не открывал. Толмач хотел уже уходить, когда за дверью послышалось шарканье. Наконец дверь приоткрылась. Сначала в нос ударил запах, а потом в темноте толмач разглядел восьмисотлетнюю старуху. Даже удивился, как от такого ссохшегося существа может быть столько запаха. Извинился и стал объяснять про бюллетени, что вот, мол, у нее упало, а он принес. Она молчала. Он спросил, еще раз посмотрев на табличку у звонка: “Sie sind ja Frau Eggli, oder?”* Она прошамкала: “Nein, das bin i nöd!”** – и захлопнула дверь. Нет так нет – может, ее подменили во младенчестве. И снова время от времени сверху что-то падает.

* Вы ведь госпожа Эггли? (нем.)

** Нет, это не я! (швейц.-нем.)

А до этого толмач жил в другом доме, и не один, а с женой и сыном. И вот так получилось, что теперь его жена стала женой другого. Так бывает и в нашей империи, и во всех других. Ничего особенного.

По телефону толмач каждый раз спрашивает сына:

– Как дела?

И тот всегда отвечает:

– Хорошо.

На Рождество, когда толмач позвонил узнать, понравился ли посланный в подарок набор юного фокусника, – сын сказал:

– Всем дарит подарки только один папа, а я получаю подарки от двух! Правда, здорово?

– Правда, – ответил толмач.

И еще сын иногда присылает забавные письма с вложенными картинками. Однажды придумал свою страну и нарисовал карту.

Толмач прикрепил эту карту кнопками к стене.

Вопрос: Итак, вы утверждаете, что ищете убежища для вашей намаявшейся, израненной души, уставшей от унижений и мытарств, от хамства и нищеты, от подонков и дураков, и что вам угрожает всюду подстерегающая опасность стать игрушкой и жертвой зла, как будто на вашем роду, да и на всех остальных, лежит неизбывное проклятие, и как страдали ваши бабушки и дедушки, так страдает и нынешнее поколение, и так будут страдать еще не рожденные до седьмого колена, а при случае и дальше. В качестве вещественных доказательств вы предъявили пробитый щипцами невыспавшегося контролера билет от Романсхорна до Кройцлингена, листок из школьной тетрадки с какими-то каля-маля и сношенное до дыр те-

ло. Однако все по порядку. Вы зарабатывали на хлеб насущный – ведь у вас семья да еще старая мать на шее и сестра, так и не вышедшая замуж, – служба телохранителем у одного успешливого журналиста, умнички и злыдня, ведущего телешоу, убогого, но обожаемого смертными, ибо приносило в их хижины и дворцы надежду и крупицы света. К названному журналисту попали Бог весть откуда материалы об источнике зла. Все дело было в игле. Игла была спрятана в яйце, яйцо в селезне, селезень в зайце, заяц еще в ком-то, а все это в свою очередь запихнуто в дипломат. И вот в прямом эфире бесстрашный журналист собирался публично достать содержимое и, обломав кончик иглы, уничтожить зло. Сильные мира сего (зло ведь всегда думает, что это оно добро, а добро, наоборот, зло), понятное дело, не дремали. Получая анонимные угрозы, смельчак при всех читал их вслух и тут же рвал на мелкие кусочки, демонстрируя невидимым, но вездесущим врагам свое презрение. И вот однажды под мокрым снегопадом вы попрощались с ним до завтра, он сел в машину, зачехленную снегом, со своей новой женой – со старой развелся за полгода до этой жидкой кашки на ветровом стекле, разгребаемой дворниками, – и вы еще подумали, что видите его в последний раз. Впрочем, мысли ваши никогда никого в этой жизни не интересовали. Они сидели, включив в машине печку, и, пока воздух в салоне нагревался, хотели жить долго и счастливо и умереть в один день и в одну минуту. Она говорила: «Черт с ней, с прав-

дой, не надо никакой правды, Славик, любимый мой, мне страшно за тебя и за себя. Пожалуйста, очень тебя прошу, не надо ничего!» Только он хотел ответить – машина взорвалась. Следствие стало разрабатывать версию ошибки: взрывное устройство просто подложили не в тот автомобиль, и оперативники изучали данные на владельцев всех белых от снега «БМВ», оставлявших в тот слякотный вечер свои автомашины возле Останкинского телецентра, где на стоянке под каждым фонарем выросли живые пирамиды из снежных хлопьев. Искали также дипломат с правдой, но не нашли. Бывшая супруга погибшего, оскорбленная и растоптанная в своем женском естестве, еще когда он был жив, пыталась вытеснить предавшего их любовь из своего подсознания и время от времени звонила ему и молчала – о, как похожи все одинокие брошенные женщины, глушащие ярость сопением в телефонную трубку! Боясь сойти с ума, она пошла к психотерапевту и прорыдала два часа – ведь они прожили вместе столько лет. Выждав положенное, психотерапевт, у которого был стеклянный глаз – он часто прикрывал его рукой, – предложил ей представить прошлую счастливую жизнь как просмотренный видеофильм и сказал, что нужно расслабиться, закрыть глаза, еще разок пересмотреть пленку в ускоренном режиме, чтобы все смешно семенили, целовались, будто клевали друг друга носами, и занимались любовью с резвостью хомячков, затем вынуть кассету из магнитофона и выбросить ее в мусоропровод. «У нас в доме

нет мусоропровода», – ответила женщина. Наконец, узнав о случившемся, она снова нарвелась, но совсем по-другому – теперь она могла разрешить себе думать о том, что любит его, вспоминать хорошее и наслаждаться этими воспоминаниями. Теперь это были благодатные слезы, омывающие душу и приносящие облегчение. Ведь когда он был жив, она если и вспоминала его, то только в прошедшем времени – будто он умер, и вот теперь это случилось, он умер по-настоящему, и притворяться больше не надо. Однажды, возвратясь в пустую квартиру, она почувствовала, что в комнате кто-то без нее был. Все вещи оставались на своих местах, но ее охватило какое-то странное жгучее ощущение. Ноги ныли от усталости, она прилегла и вдруг почувствовала запах на подушке – запах его одеколона. Значит, он приходил. Это и понятно – душа погибшего от рук убийц мужчины не хочет покинуть этот мир, ибо в нем осталась любящая его женщина, и она нуждается в его защите. Ведь так хочется верить, что близкие нам люди, покинувшие эту жизнь, не навсегда потеряны нами, что они где-то рядом и в трудный момент смогут прийти на помощь. Много уже написано об условности смерти, когда вдруг выясняется, что убитый жив – и все убитые и умершие тоже. Ведь корни травы живут себе и не знают, что кто-то уже ее сжевал. В другой раз, придя домой, она увидела на полуослепшем бабкином зеркале, покрытом старческими пятнами, размашистую надпись красной губной помадой, сделанную его рукой. По-

гибший сообщал, что его убийца – вы. Это, в общем-то, и понятно: чем торгуем, то и во-руем. Неудивительно, что убийство заказали именно охраннику. Всем ясно, что так про-ще и надежнее. А вы оказались между моло-том и наковальней. И согласиться трудно, и отказаться нелегко. Как ни крути, а вы – крайний. Разумеется, мертвые тоже могут ошибаться, но сами понимаете. И вот след-ствие принимает новый оборот, и в убийст-ве журналиста обвиняют вас. Вам приходит-ся скрываться. Сюжет набирает динамику, теперь, чтобы оправдаться, вам нужно най-ти настоящего убийцу, а еще лучше – ту са-мую исчезнувшую правду. Прямо детектив какой-то получается. Тем временем бывшая супруга убитого отправилась на прием к яс-новидящей, от той только что вышла жен-щина, просившая снять порчу с семьи – у нее за один год скоропостижно умер муж, по-гибли в автокатастрофе дочь с зятем и внуч-кой, тяжело с рождения болен внук, остав-шийся сиротой, и еще пожар в квартире. В комнате провидицы пахло курившейся смолкой, а за окном в старом дереве под ко-рой прятались проеденные жучком пись-мена, в которых он описал свою жучью жизнь и которые никогда никем не будут прочитаны. Получив условленный гонорар в конверте и пересчитав деньги, ясновидя-щая на вопрос, как связаться с мужем, кото-рого нет, но он есть, дала адрес чата в Ин-тернете, по которому он придет к ней онлайн с появлением первой звезды. В чате в назначенное время был единственный посетитель. Он. Ее интересовало лишь од-

но, и она все время выстукивала указательным пальцем: «Любимый мой, почему ты меня бросил?» Он отвечал ей про какой-то шифр от ящика в камере хранения на Белорусском вокзале, а она снова и снова: «Я только хочу понять – за что?» Однако оставим их наедине и посмотрим, а что же происходило в это время с вами. Вернуться домой, где наверняка уже поджидала засада, вы не могли. Вы боялись, что они могут что-то сделать вашей жене и сыну, хотя ребенок не от вас и уже вырос, но для любви и развития сюжета это не имеет никакого значения, так вот, вы поехали к армейскому другу, не доигравшему в детстве в солдатики и собиравшему оловянную панораму битвы при Ватерлоо. Армейская дружба, решили вы, святое. Люди, которые были вместе и достаточно близки, встречаясь через много лет, ищут ту ушедшую близость, хотя стали уже совсем другими, это можно сравнить с водой, которая была в вазе, а потом стала паром или дождем. Вы рассказывали, а друг курил, и струйки дыма из ноздрей били в тарелку с макаронами. Он понял, что дело безвыигрышное, что ему, может быть, придется погибнуть, помогая вам, но именно это и раззадорило. Достоевский, кажется, сказал, что жертва жизнью есть, быть может, легчайшая из всех жертв. На следующий день ваш друг, надев тельняшку, отправился к бывшей жене журналиста, чтобы выйти через нее на контакт с духом умершего и выведать тайну пропавшего дипломата. Услышав выстрелы, работники прачечной напротив вызвали

милицию, и дежурный наряд, застрявший в пробке и потому приехавший, лишь когда час пик кончился, задержал благородного смельчака, незаметно подсунув ему в карман во время отчаянной схватки серебряные ложки, хоть он и пытался оправдаться, что уже нашел в комнате на кровати труп женщины, нюхавшей подушку и убитой выстрелом в сердце. Он бросился к ней для того, чтобы посмотреть, можно ли привести ее в сознание, – так ее кровь оказалась на нем. Затем он извлек пистолет из ее руки, вложенный туда кем-то так, чтобы это выглядело как самоубийство, и пистолет сделал контрольный выстрел в ногу, так как был снят с предохранителя, а ваш друг не умел пользоваться оружием. Таким образом объясняются на нем ее кровь, частички пороха и отпечатки пальцев на пистолете. Но это неважно, а важно, что верный товарищ успел прочитать на экране невыключенного компьютера и сообщить вам по телефону перед арестом шифр и номер камеры хранения на вокзале, где вы и взяли злополучный дипломат. Арест ни в чем не повинного, попавшего в беду из-за вас, придает действию хоть в некоторой степени напряжение и драматизм. Теперь вы шли по улице со злом в чемоданчике и думали, что делать. Все оборачивались на стекольный перезвон и скрежет – это старуха тащила по асфальту санки с детской ванночкой, набитой пустыми бутылками. В скверике молодые мамы с колясками обсуждали, как лучше отучить от груди, одна рассказывала, что ее мать, когда кормила младшего, намазала со-

сок горчицей, и сын, уже начавший говорить, скорчившись, сказал: «Сися – кака!» Если ребенок долго сосет грудь, поздно научится говорить, будет плохо разговаривать. Пенсионер, смотревший на них в окно, пошел на кухню, оторвал листок календаря и вздохнул: завтра Пушкина убьют. К полудню снег сделался рассыпчатым, губчатым, сугробы были объедены как саранчой, а под бузиной подтаявший наст прыщав. У входа в ресторан чуть приплясывал негр в ливрее, радуясь солнцу и сверкая золотыми пуговицами, наверно, приехал сюда когда-то учиться. В детском саду нянечка, когда дети уселись на горшки, открыла окно, чтобы увеличить простуду и уменьшить посещаемость. В окне кондитерской покосилась реклама: «Вчера ты слизь, а завтра зола». В зоопарке резвились львята, выкормленные собакой. В парикмахерской икала после обеда парикмахерша, думая о том, как вечером будет снова учиться играть на гитаре – она подкладывала под струны поролон, чтобы беззвучно отрабатывать аккорды. Напротив, в художественном училище, натурщик позировал с носком, надетым на фаллос, у него не было специального мешочка с тесемками. Крест на макушке церкви был привязан цепями, чтобы не улетел. Служба уже закончилась, женщины в платках, отгородив проход к алтарю натянутой веревкой, мыли затоптанный пол, ворчали. Нищий на паперти знал, что лысым подают плохо, поэтому всегда был в шапке. В интернате для детей-инвалидов воспитательница перетряхивала в спальне

у девочек матрасы, копалась в постелях, рылась в тумбочках в поисках запрещенной туши для ресниц, а заветная коробочка, обвязанная ниткой, висела за окном. На рынке в аквариумах для рыбок продавали малосольные огурцы. Небритый кавказец протирал яблоки грязной тряпкой. В школе проходили Гоголя. Молодой учитель объяснял, что побег носа – это побег от смерти, а его возвращение есть возврат к естественному порядку жизни и умирания. Влюбленные ехали в автобусе зачать себе ребенка, прижимались друг к другу в толкучке и вместе со всеми пассажирами приплясывали на задней площадке – потом, дома, она, замерев с пахучей кофемолкой в руках, подумала: «Господи, как просто быть счастливой!» – а он открывал банку сардин, наматывая крышку на ключ, будто заводил этот мир, как часы. А еще кто-то должен был разгружать говяжьи туши, вздернутые на крюки и искрящиеся инеем в вагоне-рефрижераторе, где стоит морозный туман и вокруг лампочки мерцает мглистая светящаяся бананка. И никто в городе больше не знал тайну кавалергардских белых лосин, плотно облегающих ноги, – их надо было надевать мокрыми и высушивать на голом теле. Отчаявшись, вы отправились к известному филантропу и правозащитнику, назовем его, допустим, Ветер, записались на прием и сидели в прихожей, барабаня пальцами по искусственной коже чемоданчика. Ветер – один на всем белом свете, кто мог вам помочь обнародовать правду и наказать торжествующее за окном зло. Кто-то ведь

должен был в прямом эфире прилюдно обломать злу кончик! Наверно, так думали многие, потому что приемная была полна какими-то беженцами из Средней Азии в рваных выцветших халатах. Это был старый особняк, на который давно уже зарился один нефтяной банк. Потолки были украшены античной лепниной, и никого уже не удивляло, что Аполлон, бог искусств, убивал одного за другим всех детей Ниобеи, а потом превратил ее саму в камень – и страдания матери были таким образом окончены. Но ждали вы напрасно – Ветер таинственно исчез из своего кабинета, а тело его нашли в соседнем саду вздернутым на сук – вот она, излюбленная всеми тайна закрытой комнаты. И пусть исходила пресса в бессильных догадках о мистике и неведомых потусторонних силах, все оказалось просто: три бомжа, три бывших танкиста, оскорбленных за унижение державы, решили отомстить либералам. Их запомнили по особым приметам: зубы-гнилушки светились в темноте. Еще они любили вспоминать, как в начале 38-го на Ленинград обрушились груды бананов. А один из них сказал: если знать, что смерти нет, что ты не умираешь, а просто «переходишь» в какую-то другую жизнь, то есть что умираешь как бы не всерьез, понарошку, то все это недостойно – умирать надо с достоинством, по-мужски, всерьез, зная, что смерть есть. А произошло вот что. Один выстрелил, проходя по улице, из старого дуэльного пистолета, заметив, что Ветер как раз стоял у открытого окна и думал отчего-то о тургеневских сапогах, виден-

ных им много лет назад в музее. Сапоги стояли за витриной ссохшиеся, мертвые, и не верилось, что они когда-то были живы, пахли ногой и кожей и после охоты в них насыпали овес, чтобы вытянуть сырость, выносили проветривать, а потом обмазывали дегтем. На выстрел Ветер выглянул на улицу, второй бомж-танкист из окна верхнего этажа накинул на него петлю и вздернул старика наверх, а затем скинул в другое окно, выходящее в сад, пропитанный спелым вечерним светом и подписанный, как приговор, стрижиным росчерком, где третий из соучастников повесил тело Ветра на сук. Быстро стемнело. Вы отправились на электричке в Подлипки, где жила ваша старенькая мама и сестра, учительница, преподававшая литературу. На вокзале через громкоговорители без конца объявляли, что жизнь – это натянутый лук, а смерть – это полет пущенной стрелы. В электричке, натопленной, надышанной, пропотевшей, вы прижимали к себе дипломат и представляли себе, как мама и сестра сейчас сидят за столом, пьют чай, едят блинчики с творогом и смотрят новости – как раз показывали, как автобус с заложниками в Назрани взлетел на воздух, и человеческие куски парили, искусно снятые рапидом, словно комья красного снега. Вся электричка читала детективы. Это и понятно. В детективе предполагается, что до того, как совершено преступление, до появления первого трупа, в мире существует некая изначальная гармония. Потом она нарушается, и сыщик не только находит убийцу, но и восстанавли-

вает миропорядок. Это древняя функция культурного героя. Ему сумерки по колено. И к тому же ясно, где добро и где зло, потому что добро всегда побеждает и нельзя ошибиться: если победило – значит, добро. Да и вообще читают, потому что страшно пропищать жизнь, как комар, – где-то во тьме, невидимо и неслышимо. Детектив – это тот же ужас, как в газетах, только с той разницей, что заканчивается хорошо. Просто не может кончиться как-то иначе. Сначала переживания, страхи, волнения, слезы, потери, а в конце концов все оказывается уже позади. Как в сказке: зверь из преисподней захватил остров и правит людьми, недорисованными, непрописанными. Отгрызает головы. Они боятся, но живут. Жить-то как-то надо. И вот появляется герой, распираемый отвагой и восточной мудростью, и дает зверю сапогом по яйцам. А газеты лучше вовсе не открывать – не новости, а сводка особо опасных преступлений, леденящих душу и дующих на флюгер общественного мнения: по последним опросам, опять все требуют введения, во-первых, публичной смертной казни за изнасилование их дочерей и сыновей и, во-вторых, шарриата, чтобы вора рубили руку – в следующий раз захочет что-нибудь украсть, хватать – а нечем. Рядом с вами сидела некрасивая девушка, с волосами, растущими везде, где не нужно, умирающая по ночам от безлюбья, и читала про иудейскую секту саддукеев. Вы, скосив глаза, пробежали по строчкам, в которых говорилось: саддукеи утверждали, что в будущем не будет ни веч-

ного блаженства для праведных, ни вечных мучений для нечестивых людей, отрицали бытие ангелов и злых духов, а также будущее воскресение мертвых. «Так ведь это мы саддукеи и есть», – вздохнули вы. Электричка уже подъезжала к Подлипкам. За окном на насыпи промелькнула половина собаки, привязанной мальчишками к рельсам. От станции можно подъехать на автобусе, но вы решили пройтись пешком, подышать. Подходя к пятиэтажке, вы поздоровались с бабушками на скамейке и подумали: вот вас убьют, а они, как положено, будут обсуждать похоронные подробности, какой был гроб и громко ли плакала вдова. Вошли в подъезд и, вместо того чтобы, как обычно, пробежать лестницу быстрее, чтобы не вдыхать запахи из углов, осторожно, прислушиваясь, вглядываясь в темноту и хрустя пустыми шприцами, стали медленно подниматься по лестнице. И замерли. Наверху, на следующем пролете, кто-то стоял и тихо переговаривался, а когда вы остановились, разговор оборвался. Раздался лязг передернутого затвора. Вы поняли, что это за вами, и тут началось описание природы. Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе, но поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и нешумном, весело распевали ранние птички. В запруде по отражениям облаков бегали небомерки. Осина, убитая грозой, грифельна. Вокруг стрекозы, прилипшей к лучу солнца, стеклянистый нимб. В дубовой кроне водятся клещи. Вяз за-

бронзовел. Ветер зачесал ель на пробор. Лес, по Данту, – это грешники, обращенные в деревья. Засохший луг хрустит под ногами. Уши заложены верещанием кузнечиков. Речка ползет по-пластунски и тащит водоросли за волосы. Никому в голову не приходит давать названия небу, хотя и там, как в океанах, есть свои проливы и моря, впадины и отмели. Лязг затвора оказался звуком брошенной пустой банки из-под пива. Разговор на лестничной клетке возобновился, и кто-то стал рассказывать дальше о своей собаке с человеческими глазами. Она понимала хозяина с полуслова. Ему казалось, что она человек, только в шкуре и с лапами. Но когда у нее родились щенки, с ней что-то произошло. Один раз он пришел домой и увидел, что она отгрызла своим детям головы. Что-то вывихнулось в природе, такого не могло быть, такого не должно было быть. Он вынужден был ее пристрелить. «Обошлось», – вздохнули с облегчением вы и поднялись наверх. Открыли дверь своим ключом и отступили перед открывшимся зрелищем, охваченные ужасом и изумлением. Как позднее было установлено следствием, начиная с трех утра мирный сон обывателей квартала нарушался душераздирающими криками, но, напуганные временем, лихим, разбойничьим, соседи затаились. В квартире все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу

найденны были четыре наполеондора, одна серьга с топазом и два мешочка со старыми юбилейными рублями, которые здесь все автоматы принимают за пятифранковую монету с Вильгельмом Теллем. У окна разбитая трехлитровая банка с грибом – подсох, скукожился. И никаких следов вашей сестры и матери! Кто-то заметил в камине большую грудку золы, стали шарить в дымоходе и – о ужас! – вытащили за голову труп сестры: его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана – явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили. Причем самое интересное, что вашу сестру обнаружили в комнате, запертой изнутри, задвинуты были и шпингалеты на окнах. Опять тайна закрытой комнаты! Посмотрим, как вы выкрутитесь на этот раз. После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, во двор, где чуть тлела помойка, распространяющая в оттепель зловоние, и там наткнулись на мертвую старуху – ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело, и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого. Везде в комнате были оставлены следы: недоеденные остатки блинчиков с творогом, которые попробовали убийцы,

а значит, оставили слюну, окурки с губной помадой, в пепельнице сгоревшая спичка с обугленным хвостиком, стаканы с отпечатками пальцев, следы правого ботинка сорок пятого размера, что заставляло думать об одноногости злодеев, но следственная группа не нашла никаких улик и зацепок, и в пресс-бюллетене, зачитанном на брифинге, утверждалось, что убийца – гигантский свирепый орангутанг, который вылез в окно, захлопнувшееся само собой, когда зверь убежал. Опускаю в целях краткости, ведь скоро обед, в животе уже урчит, а мы еще только в самом начале, потому и описание убийств людей, о которых мы ничего толком не знаем, не вызывает ни особого горя, ни гнева, ни жгучего протеста, все мы, выпучив глазки, ляжем на салазки, опускаю, повторяю, остальные злоключения чемоданчика, зашифрованное письмо, близнецов, похожих как две капли воды, потайные ходы, разбитое снаружи окно – если осколки внутри, и разбитое изнутри, если околки снаружи, и, хотя вовремя не залаявший пес наталкивает на мысль, что убийца ему знаком, перехожу к вашим заключительным показаниям, к финальной погоне, в которой слабовато закрученный сюжет достигает апогея. Вы бежите с дипломатом, из-за которого весь сыр-бор, по полю, розовая гречиха, голубой лен, но тут вы запутались и потом внесли поправки в протокол, якобы вспомнили пыльную дорогу через клубничное поле – после жаркого дня остро пахло ягодами. За вами смертельная погоня – с одной стороны, правоохранитель-

ные органы, с другой – мафия, что, как вы понимаете, одно и то же, и вот перед вами река, полная сверху отражениями, а внутри временем, налита им до краев. Коряга вошла в воду по пояс и ловит капустницу на выставленный локоть. За кустами мальчишка удит рыбу. Забрасывает крючок, гибким концом длинной удочки вспоров воздух. Наживка чмокает реку, по времени бегут круги. На них запрыгал шарик от пинг-понга, подплывающий степенно, неторопливо. Слышно, как где-то вниз по течению рычит волк, блеет коза, доносится скрип уключины. У берега комариные заросли. Паук ловит в свои сети холодок, заготавливает к осени. Тронул его пальцем, тот полез по паутине на небо. Над рекой замерли величавые облака, а тут же с капустного поля дачники тащат кочаны мешками, с молоком матери впитав: не пойман – не вор. Кто-то приспособил в заборе крышку от рояля. В ее тени свернулся шланг, тяжелый, в нем вода. Парочка на песке на другом берегу – издали не поймешь, что там – поцелуй или искусственное дыхание, но раздумывать некогда, позади спецназ, уже слышно, как они кричат: «Господь знает, куда ведет нас, а мы узнаем в конце пути!» И еще скандируют лужеными глотками: «Страшно ведь не то, что жизнь кончится, а то, что она может больше никогда снова не начаться!» Вы сняли ботинки, чтобы было легче плыть, опустили в черную воду ногу, она сразу ушла по колено. Под ступней скользко поползли стебли, побежали, залопались пузыри, запахло гнилью. Вы опустили вторую но-

гу – на кругах закачался, запрыгал белый шарик, как раз доплыв до вас. Вы бросились вплавь, но берег, казавшийся всего в паре взмахов, будто стал играть с вами в догонялки. Вы плыли долго, а он был все в той же паре взмахов. Вы начали выбиваться из сил, ведь грести приходилось одной рукой, и дипломат утягивал вас на дно. Барахтаясь, вы хлебнули воды, и над головой сомкнулся водяной потолок. Открыли глаза – желтая стена с веточкой водорослей и круг солнца сквозь лучистую муть. Вы боролись, пока вдруг не почувствовали невероятную легкость. Стало беззаботно, восхитительно. Вдруг пронеслось в голове: «Зачем же я боролся, если это так легко и чудесно!» Вас спас капитан Немо на своем «Наутилусе» и высадил на берег уже в Романсхорне. Там вы купили вот этот билет и сели на поезд до Кройцлингена. Устроившись у окна так, чтобы был вид на Боденское озеро, стали смотреть, сколько денег в бумажнике, и наткнулись на рисунок вашего сына, вот эта самая каля-маля, которую он нарисовал вам на день рождения, и с тех пор вы носите этот клочок с собой, а в окне тянулись голые деревья, наклоненные вправо, как буквы, написанные женским почерком, и вы поняли, что это вам ваша жена написала письмо, что любит вас и ждет. Вы заснули, а потом уже надо было выходить; вы выскочили на платформу и спохватились, что забыли дипломат, а также все документы, удостоверяющие вашу личность, но было уже поздно, поезд ушел. Все так?

- Ответ:* Да. Кажется, так. Не знаю. Может, я что-то и напугал. Вы извините меня, я волнуюсь.
- Вопрос:* Да вы успокойтесь. Все уже позади. Хотите воды? Я понимаю, вам сейчас трудно.
- Ответ:* Спасибо! Честное слово, я старался рассказать все, как было, а видите, что получилось.
- Вопрос:* Ничего страшного. Каждый рассказывает, как может.
- Ответ:* Я ничего не придумал, все так и было. Вы мне верите?
- Вопрос:* Какая разница – верю, не верю.
- Ответ:* Может, вам показалось, что это слишком, как бы сказать, надуманно, что ли, про камин или про облака и ворованные кочаны, но все как было, так я и рассказал, зачем мне что-то выдумывать?
- Вопрос:* Да вы не переживайте так! Здесь и не такие истории рассказывают. Все хорошо. А что похоже на детектив, то вы же сами сказали – просто хочется, чтобы все хорошо кончилось. Вот в чем все дело.
- Ответ:* Да, в этом все дело. Именно. Так хочется, чтобы все хорошо закончилось. Скажите, все будет хорошо?
- Вопрос:* Послушайте, вот вы взрослый человек. Сиди на висках. Пожили. Неужели вы не понимаете, что то, что вы рассказали, для вынесения решения в конечном счете неважно?
- Ответ:* Как неважно? Почему? А что же тогда важно?
- Вопрос:* Ну, неважно, и все. Какая разница, кто таскал капусту с поля и куда пропал чемоданчик. Пропал и пропал. Ведь вы же не верите, в самом деле, в селезня, и зайца, и какую-то ржавую булавку?
- Ответ:* Нет, конечно.
- Вопрос:* Вот видите.

Ответ: Но что тогда важно?

Вопрос: Скажите, а вот про каля-маля и деревья на берегу как косою почерк, это правда?

Ответ: Да.

Вопрос: Вы ее любите?

Ответ: Это что, необходимо для протокола?

Вопрос: Какие все-таки люди наивные! Приходят и думают, что кому-то нужны. Вот и прут, лезут, не успеваешь всех опросить. А кому вы нужны? И главное, верят в какие-то глупости. Один, вроде вас, даже в чем-то похож, уже седой, потертый, замызганный, с такими же глазами, потерявшими цвет, застиранными, стал уверять, что он где-то читал, в какой-то бесплатной газете, будто на самом деле мы все уже когда-то жили, а потом умерли. И вот нас воскрешают на том самом суде, и мы должны рассказать, как жили. То есть наша жизнь и есть тот самый рассказ, потому что надо все не только подробно рассказать, но и показать, чтобы было понятно – ведь важна каждая мелочь, брякающая в кармане, каждое проглоченное ветром слово, каждое молчание. Вроде как следственный эксперимент, на котором восстанавливается последовательность происшедших событий: я стоял вот здесь, на кухне, у заросшего инеем окна, и смотрел в лунку, как во дворе кто-то откапывал пластмассовым желтым совком для мусора заваленный за ночь снегом автомобиль, а она вышла из ванной, закутавшись в халат, обмотав мокрые волосы полотенцем, включила фен, размотала полотенце, стала сушить волосы, разгребая их пальцами, я спросил: «Ты хочешь от меня ребенка?»

Она переспросила: «Что? Я ничего не слышу!» И надо показать, как стоял у окна, почувствовать кожей стекло, услышать шум фена, увидеть ее спутанные, мокрые волосы, сквозь которые продираются пальцы, представить себе тот желтый совок на снегу. На суде этом никто не торопится, ведь надо во всем тщательно разобраться, и поэтому вечер надо показывать целый вечер, а жизнь – целую жизнь. И вот не спеша все восстанавливают, как было: сегодня перистые облака, завтра кучевые. Запахи, звуки – точь-в-точь. И показываешь, как тебе в каше попался камушек и сломался зуб – вот он, желтый осколок. Или как по рвоте на полу в вагоне метро определил, что человек ел вермишель – пахнет. Как влюбился, пока спал, и проснулся затемно счастливым – вот, слышите, как дворник скребет по асфальту?

Ответ: Но это же во дворе, посмотрите, озябший негр соскребает железной лопатой снег в сугроб! А там негритята играют в снежки!

Вопрос: Вот и он про то же, мол, все – настоящее, даже звуки. Короче говоря, все кругом и есть тот самый рассказ. И невозможно ничего утаить. Вот так я родился, вот так я прожил все эти годы, вот так умер. Но все это чушь, на самом деле все не так. Нельзя же быть таким наивным, чтобы думать, будто кто-то согласится слушать вас всю жизнь! Впрочем, извините, я сорвался, говорю о чем-то не том.

Ответ: Значит, ничего не получится?

Вопрос: Вы же сами знаете: легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко.

Ответ: Все? Мне уходить?

Вопрос: Ну подождите! Сядьте.

Ответ: А я вот смотрю, все-таки интересная у вас работа. Прямо как следователь. Что, где, куда, почему да зачем. Вынь да положь. Хочешь не хочешь, а дело шей.

Вопрос: Было бы из чего шить. У следователя труп, топор, улики, очные ставки, опознания. До последнего момента не поймешь, кто подбросил в бассейн ядовитых рыбок. Загадка! Тайна! А тут что тайна?

Ответ: Как – что тайна? А мы? Мы, те, кто раньше как-то жили, а теперь пришли? Мы – разве не тайна?

Вопрос: Тайна лишь в том, что вы вообще появились на свет. Непорочному зачатию все удивляются, и никто в него не верит, а порочное никого не удивляет. Вот это тайна: все уже было, а вас еще не было, и вот вы здесь. И потом снова вас никогда не будет. Все остальное известно.

Ответ: Что известно?

Вопрос: Все. Что было и что будет.

Ответ: Но кому известно?

Вопрос: Как бы вам это объяснить попроще... Вот представьте, вас приглашают на Негритянский остров. И вы рады. Вы ждете чего-то хорошего, иначе зачем вас вообще приглашать. Едете и мечтаете о любви. И у вашей случайной попутчицы у окна напротив кожа цвета недозрелой июльской рябины, но неловко так ее в упор разглядывать, и вы отводите глаза и смотрите все время в окно, а там вечернее небо тоже светится неспелой рябиной – это закат подгоняет свою краску под цвет ее кожи. А потом, уже на берегу, море какое-то намыленное, а ветер за-

хламлен криками чаек. По самой кромке перебегают трясогузки, семена ножками. Пахнет прибитая к берегу тина. Маленький причал. О его ноги бьются волны, бросаются в вас брызгами, как виноградинами. Чайки сидят на железных перилах. Птиц сдувает ветром, поднимется одна на миг и снова садится – и тоскливо пищат. Море и небо сливаются, будто стекло запотело, а потом горизонт вдруг снова появляется, словно прочерчен тонким карандашом по линейке. И вот приезжаете, а там в вашей комнате на стене считалка. И в ней все написано. И вот про этих негрят за окном, играющих в снежки, и про вас. Потому что вы и есть негритенок, пойдете купаться в море, утонете, и вас спасет капитан Немо. Приведет к себе в капитанскую рубку, разрешит крутить все ручки и колесики, нажимать на ручки, задвижки, клапаны, кнопки, объяснить, что для чего, наденет на вашу курчавую голову свою пропотевшую, засаленную капитанскую фуражку. Понимаете, о чем я говорю?

Ответ: Не маленький. Все дело в считалке. Но это я уже после понял. А сперва еще нет.

Вопрос: И потом: все истории уже сто раз рассказаны. А вы – это ваша история.

Ответ: А какая у меня история?

Вопрос: Да любая. Всегда хорошо идет какая-нибудь простенькая, банально-сентиментальная история, вроде как была принцесса, а стала Золушкой.

Ответ: Я стал Золушкой?

Вопрос: Но это же образ. Метафора!

Ответ: Так бы сразу и сказали, а то Золушка какая-то.

Вопрос: Ну хорошо, не хотите Золушку, давайте что-нибудь другое. Какой-нибудь незатейливый приемчик, работающий на усиление напряжения и остроты ситуации – вроде один против всех, один хороший среди всех плохих. Этаким странствующий на метро рыцарь, борец за справедливость, защитник обиженных, утешитель сирот, а еще больше вдов, сам несправедливо гонимый и за чужую вину страдающий. Дешево, но всегда действует безотказно: такому добру с кулаками неизменно сочувствуют и всей душой жаждут его победы.

Ответ: Да какой из меня рыцарь, скажете тоже...

Вопрос: Ну а что? Вы же с детства мечтали быть бесстрашным правдоискателем! Хотели вырасти и стать сыщиком, бороться с преступниками, наказывать зло. Или уйти в тайгу этаким Робин Гудом, отнимать у туристов несправедливо нажитое, а праведно еще никто ничего не нажил, и отдавать все в детский дом. Или тем же капитаном Немо, ведущим свой подводный корабль на таран, топить плохих и спасать хороших!

Ответ: Не помню уже. Ну, мечтал.

Вопрос: Но вы же помните, как сидели рядом с какой-то ямой, или карьером, или оврагом, и вдруг там закричал ребенок. Вы бросились туда – а это кошка кричала.

Ответ: Да, мы сидели с пацанами у костра. Там была большая свалка. Со всего города привозили. Берешь разбитую пластинку и запускаешь в воздух. Или рваные грелки – из резины получались отличные рогатки. Перегоревшие лампочки взрывались, как гранаты. И вот сидели у костра, и те, кто постарше, расска-

звали про малолетку. Страшно было туда попасть, и вот мы слушали, что там можно, а что нельзя. Вот, например, если нечего курить в изоляторе, а хочется – что делать? Так они соскабливали кору с березовых прутьев веника и сушили. А чтобы прикурить – не было спичек, – брали вату из матрасов и подушек, клали на лампочку и ждали, когда она начнет тлеть. Но это так, цветочки, а страшно, помню, было слушать про прописку. Это когда тебя бьют мокрым полотенцем, а в нем завязаны костяшки домино. И кричать нельзя. А потом главное испытание, вроде игра такая: кем хочешь быть? На выбор: летчиком или танкистом. Если летчиком, то забирайся наверх и прыгай, лети головой вниз: ты же сам сказал, что летчиком. И выбора нет. Ты сказал, что летчик, – значит, должен отвечать за свои слова. Там никто просто так слово не говорит. Танкистом хочешь быть? Тогда разгоняйся и в железную дверь головой – на таран. И отказаться от своего слова не можешь. Тебя тут же опустят. А если разгоняешься и бежишь – значит, ты свой, и они могут в последнюю секунду подложить подушку. И нужно пройти через это, и не испугаться, и бежать головой на железную дверь.

Вопрос: А вы в Афганистане были?

Ответ: С чего вы взяли?

Вопрос: Методом дедукции. Как Шерлок Холмс. К нему доктор Ватсон приходит, а Холмс сразу смекнул, что тот прямиком из Афгана. По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать

вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видел ни того ни другого и никогда о них не слышал. И вот по ногтям доктора, по рукавам, обуви и сгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки сразу все стало ясно. Да и ранен в левую руку из допотопного ружья. Внук заряжал, а дед стрелял. Это же элементарно. А тут просто законы жанра. Сначала Афган, потом суровые будни мирной жизни: борьба со злом, несправедливостью, коррупцией. Незаслуженно осужден. Потом запутался, сломался, стал киллером. Потерянное поколение, свинцовые мальчишки. Герои и жертвы чужой войны. Вы им: как же так, я – ветеран, я кровь свою проливал! А они в ответ: а мы туда тебя не посылали.

Ответ: А это здесь при чем?

Вопрос: Да при том, что вы же сами сказали, что все важно, каждое слово. Любое, вот тот же верблюд. Помните, когда вас везли на поезде – воинский эшелон шел долго, по жаре, и когда вы увидели первого верблюда, вдруг вспомнили отца. Он у вас был машинистом и рассказывал, как однажды рано утром вел состав по степи в Средней Азии и увидел впереди прямо на путях верблюдов, они слизывали росу с рельсов. Ваш отец гудит, они врассыпную, а один побежал не в сторону, а по путям, прочь от поезда. Состав уже не мог остановиться, и ваш отец его сбил. Помните?

Ответ: Да, но откуда вы знаете?

Вопрос: Откуда, откуда – от верблюда. Того самого. Не смог пролезть в игольное ушко и вот бежал от вашего отца по рельсам.

Ответ: Но это вас не касается. Ни мой отец. Ни тот верблюд.

Вопрос: Не хотите – не надо. Нет так нет. На нет и суда нет. Но разве вы сами не видите, что, кроме меня, никому на всем свете и во всей темноте не интересно ни про вашего отца, ни про того верблюда. Ну, продолжайте, сейчас вы будете рассказывать про третий тост.

Ответ: При чем здесь третий тост?

Вопрос: Ну как же, за погибших. Сейчас расскажете, что, как только собрались выпить третий тост за погибших, раздались выстрелы. Вы посмотрели в прибор ночного видения, кто же там стреляет, а это тот самый дед с внуком, который утром вам дыню принес, а вы ему консервов надавали, – дед стреляет, а пацаненок ему заряжает – то самое ружье, из которого ранили доктора Ватсона. Но только это вы там, у себя, герои и жертвы, а здесь вы – захватчики и убийцы. И война не чужая, а ваша.

Ответ: Неправда. Ничего там моего не было. Поначалу. Когда приехали – зима была, совсем без снега, ветер прямо пробирал до костей, мы в ватниках и то мерзли – а они босиком ходят. Я тогда впервые увидел, как дерево продают на килограммы. Взвешивают, ругаются. Дома в кишлаках чуть ли не из песка. Крестьяне в рваных халатах, совсем нет женщин, около дуканов на корточках сидят то ли нищие, то ли хозяева этих лавок. А на полках чего только нет: и японские магни-

тофоны, и телевизоры, и часы всех мастей, и парижские духи. И никакой особой вражды вначале не было. Просто все чужое. Помню, не по себе стало, когда увидели, как декханин пашет на быках, а на рогах качается магнитофон, поет что-то заунывное. И потом только понимаешь, что все не так: и мальчишки не мальчишки, и крестьяне не крестьяне. Бежит босоногая детвора за БТРом: «Шурави, бакшиш давай!» Сперва бросали им банку тушенки или сгущенку. А потом увидел первого мертвого: мальчишке лет двенадцать, а на автомате девять зарубок – значит, девять наших парней. И вот тогда уже, когда стали гибнуть ребята, с которыми успел подружиться, – началось. Очень хотелось отомстить. Особенно за наших, попавших в плен, за то, что они с ними делали. И страшно было самому в плен попасть. А у их пленных вид, будто прямо рады, что скоро сдохнут. Первого хорошо помню – сидит, чумазый, раненый, руки связаны за спиной колючкой, и абсолютно ничего не боится. Весь покорность судьбе. Отрешенность и спокойствие. Очень это угнетающе действовало. Вот и срывались. То кто-нибудь пнет его сапогом, то прикладом ударит, а это заразно – передавалось другим. Потом увидели, что они только от пуль умирают спокойно, с достоинством, и при этом панически боятся бескровной смерти – быть утопленным, задушенным или повешенным. И вот мы их клали под колеса или топили, как раз то, чего они боялись. Тут уж начинали визжать, кричать что-то, вырываться. А это

только раззадоривало. Руки ему скручивали и сажали на «ласточку» – это когда чалмой свяжешь его сзади так, чтоб он не мог ни рукой, ни ногой пошевелить. И вот живешь в таком постоянном напряжении, что нужно как-то расслабляться. Мы, когда не на операции, жили в таких временных модулях, и вот соседнему модулю нужно было каждый день какую-нибудь шутку подстроить. Один раз мы им потолок сгущенкой намазали – а там мух столько... Они нам бачок для умывания над головой у двери привесили: дверь открываешь – и все на тебя выливается. А то проверка реакции: учебную гранату в зеленый цвет покрасить и бросить в чужую комнату – кто как реагирует. Умора! Кто простыней укрывается, кто газетой. Там без шутки никак нельзя. Потому что ночью поднимают, и идешь не знаешь куда. Один раз в ночь перекрыли ущелье и ждем чего-то. Тут караван с груженными ослами. Мы по ним – огонь. А это жители кишлака везли яблоки на рынок. Их же предупреждали, что комендантский час, а они все равно пошли. Хотели пораньше попасть на базар. И вот мы подошли и видим эти рассыпанные яблоки, спелые, красивые, и досадно так стало, что мирные жители лежат, что ошибка вышла. Так никто из нас эти яблоки даже не поднял. Ни одного яблока никто не взял. Так там и остались лежать.

Вопрос: Они же сгнили все давно, те яблоки, и ничего от них не осталось!

Ответ: Я знаю. Но это там они сгнили. А здесь вот они лежат на камнях, прямо светятся изнутри.

Вопрос: Где здесь?

Ответ: Вы же сами сказали, что мы все попали на Негритянский остров. Это там, где нас нет, вещи имеют форму, а здесь – суть. Я ведь вас правильно понял? Там, в той горной долине, яблоки сгнили, а здесь, на этом острове, они сгнить не могут. Ничего им не делается. Так и будут лежать.

Вопрос: И вы поняли, что добро и зло – это один такой оборотень. Так?

Ответ: Нет. Еще нет. Ничего я тогда не понял. Понял только, что есть кто-то, кто тебя ведет и может спасти, вот как приметы или талисман. Когда-то в армии был обычай надевать перед боем чистое белье, а теперь все наоборот: перед боевыми не мыться, не бриться, белье не менять – иначе убьют. Есть такие запреты, чего нельзя делать, чтобы обмануть смерть. Вроде как заключаешь с ней договор: я не делаю что-то, а ты меня за это сегодня не трогаешь. Если раненый в полуобморочном состоянии, когда сознание нечеткое, рукой у себя здесь, между ног, потрогал – значит, умрет. Ни в коем случае нельзя. Руки ему надо держать, чтобы не трогал. Нельзя вещи погибшего носить, место его занимать. Нельзя показывать на себе, куда ранили другого. И еще у каждого там был свой личный талисман или правило, и все это нужно было хранить в тайне. Вот я с убитых ничего не брал, даже часы. И замечал, что как только кто-то другой нарушал мое правило – погибал. Но потом-то я понял, что все это ерунда. Про кого что в считалке написано – то с ним и произойдет.

Вопрос: И негритенок дожил до дембеля и возвратился на тот край острова, где небо блекло, поезда нороят прийти утром, а в церквах надышано, намолено?

Ответ: Вроде того. В первые дни странно все было. Идешь по улице, забудешься и по крышам смотришь. Выхлоп машины – чуть не кидаешься на газон. И начались мирные будни. И все в них было не по-людски. И очень хотелось их исправить. Все стали устраиваться кто как может, деньги зарабатывать. Мне предлагали всякое. А я гордый был, честный, наивный. Какое-то время работал на рынке охранником. А потом понял, что больше так не могу. Уж больно много мрази кругом. Понял – нужна зачистка.

Вопрос: И начались мирные будни, ставшие полем битвы, как вам сказали при приеме на работу, света с тьмой. И сначала вы думали, что вы не один, а вас много таких, целый орден рыцарей-светоносцев, фонариками сражающихся со зверем мрака. А поди справься с ним, если тьма такая, что ничего не видно. То есть куда ни плюнь, всюду это чудо-юдо. У вас даже эмблема на рукаве изображала негритенка, который лучом от фонарика, как копьем, пронзает пасть чудища, освещающая гланды. Короче, негритенок пошел в ментовку и стал ментом. Так?

Ответ: Что ж спрашиваете, если все знаете.

Вопрос: Я знаю считалочку. А вы рассказываете свою историю. По считалочке негритята покупали у одиноких стариков квартиры и убивали их. И это было ваше первое дело. Вы помните?

Ответ: Еще бы. Думал, уже насмотрелся в Афгане всякого, а тут простое убийство в обычной квартире: приходим, а там такая вонь, что не проветришь. На тарелке прокисшая картошка заросла серым мхом. стакан из-под кефира – белые стенки потрескались. А в комнате на залитом кровью паркетном полу старая женщина в байковом халате, в розовых штанах, в разорванных чулках. Нога как-то неестественно подвернута. Все в морщинах зеленое лицо с гримасой боли. Что-то вдруг подкатило к горлу и заставило выйти на минуту из квартиры. Стоял на лестничной площадке и курил, пока не успокоился.

Вопрос: И на обратном пути, уткнувшись фарами в ночной туман, клокастый, нечесаный, ведь это была шерсть того самого зверя, светоносцы обсуждали статью в газете – можно ли обреченным помогать умирать или нет. И решили, что, наверно, все к лучшему – ведь старая пьянчужка, продавшая квартиру за смородиновый лист, все равно оказалась бы на улице и замерзла на помойке, и вообще от бомжей одна зараза.

Ответ: И к тому же она жила в соседнем со мной дворе. Через день, у меня выходной был, вышел в булочную, прохожу мимо помойки и вижу, как вынесли на двор ее кровать и тюк с бельем. А иду обратно через пять минут – кто-то в шлепанцах уже отворачивает ножки, и рядом стоит жена в бигудях, указания дает, а тюк с бельем уже исчез.

Вопрос: Короче говоря, поступив на работу в милицию, вы как бы свою жизнь сделали детективом, и каждый день читался как только

что написанная страница. Утром за завтраком заглянешь в считалочку, что там у нас сегодня, – а после обеда все так и происходит.

Ответ: Да какой там детектив! Заглянешь в считалочку, а там пьяные на улице или домашние скандалы. Или мальчишки нахулиганят. И весь детектив. Один раз был случай, пацаны придумали устроить крушение поезда, чтобы, как они потом объясняли, собрать с людей драгоценности. И вот на перегоне в лесу стали отвинчивать болты. И еще додумались отключить сигнализацию – кусачками перерезали провода под рельсами. А главные, стыковые гайки никак не могли отвинтить. Тогда сбегали к отцу одного из них в мастерскую, принесли специальный огромный ключ. Тут их обнаружил путевой обходчик. Спрашиваю парней: а людей не жалко было бы? Они в ответ ухмыляются. А вы говорите, детектив.

Вопрос: Но вы же кого-то арестовывали?

Ответ: Арестовывали. Помню первый арест: ворвались ночью в квартиру, перебудили детей, те кричат, перепуганная жена в халате пьет таблетки, а тот, который преступник, нервничает, идет в пижаме к шкафу одеваться и перед паласом выходит из тапочек при шаге на ковер, а потом входит в них, возвращаясь с ковра.

Вопрос: А зверь? Где был зверь? Вы же хотели сражаться со зверем.

Ответ: Где был зверь? Вы же сами сказали, что зверь был туманом. Вот он подступал к самым окнам и терся своей шкуркой о балконную решетку. А мы выходили на него рей-

дом. С нас требовали липы. После каждого рейда нужно отчитываться протокольчиками. Чтобы все видели – рейд прошел не напрасно. А на самом деле ничего, кроме тумана. Напарник меня научил: в будни рисуешь протоколы за всякие там нарушения, а дату на них не ставишь. А когда рейд, извлекаешь протоколы из сейфа и датируешь нужным числом. Но это все в начале. А потом я попал в особую группу. Меня взял к себе Папашка. Мы все так его звали.

Вопрос: И это была группа, занимавшаяся закрытием особо опасных преступлений?

Ответ: Да. Но это я не сразу понял.

Вопрос: Расскажите про Папашку.

Ответ: Да что про него рассказывать. Был да сплыл.

Вопрос: Расскажите, потому что он вас любил. У него одни дочери были, а он о сыне мечтал. А тут вы с вашей поперечностью характера.

Ответ: Это прозвище у него такое было. Он всем в группе в отцы годился. Ходячая легенда отдела – старик еще писал письмо турецкому султану и ловил Гришку Отрепьева, Тушинского вора. Про него рассказывали, что он однажды спас из проруби старушку. А старуха опять полезла в прорубь. Она была сектантка и верила, что если снова креститься и пролезть зимой на реке подо льдом по веревке из одной проруби в другую, то станешь новым человеком, и все старые грехи останутся в старой жизни, а в новой ты – новорожденный младенец. Так вот, когда я понял, в чем дело, то стал в архиве пересматривать закрытые Папашкой дела. Смотрел и просто глазам своим не верил. Беру папку, листаю – это же заказуха, ясно

как Божий день! Сами посудите: человек в наручниках – голову кто-то отгрыз. А проходит как самоубийство. Причем на вложенных в дело фотографиях всюду следы чьих-то лап. Это же он, зверь! Сорвался, поехал на место преступления, а там кровавый след. Прямо по свежему снегу. Я иду по отпечаткам, и следы напрямик через трамвайные пути ведут к Дому на площади! Это где все городские власти – милиция, суд, мэрия, сберкасса, почта. Он так и называется – Дом на площади, где пьют растворимый кофе и за окном растворимая дорога. И вот следы идут прямо на ступеньки. И все на улице видели эти следы. Все свидетели. Я их спрашиваю: видите? Кивают головами: знамо, зверь! Я написал рапорт, мол, так и так, требую вернуть дело на доследование.

Вопрос: Вы чувствовали себя героем?

Ответ: Нет. Ну, может быть, немного. Это я уже потом осознал, что делаю. А тогда даже был какой-то азарт. Будто я действительно проснулся героем какого-то детектива. Вдруг стало утром интересно просыпаться. Это тебе не рейд по пивным ларькам! Я тогда еще считал, что жизнь должна состоять из происшествий.

Вопрос: Дело вернули?

Ответ: Да, но не сразу. Меня вызвал к себе Папашка. Таким перепуганным я его никогда не видел. По считалочке его ожидали объятия белого мишки. И вот он испугался, что уже пора.

Вопрос: Что он сказал?

Ответ: Он сказал: «Мы едим говядину, корова ест траву, трава – нас».

Вопрос: Это все?

Ответ: Нет. Еще сказал, что, если бы камень обладал сознанием, он бы думал, что падает на землю свободно, а если бы так не думал, то все равно бы падал.

Вопрос: Но он кричал? Грозил?

Ответ: Нет, сидел у окна, смотрел на площадь и говорил, будто сам с собой. Он сказал: «Вот вчера помогал жене – шинковали капусту. А ночью не мог заснуть. Лежу с открытыми глазами, а в окне ветки шинкуют луну. И думал все о тебе – пропадешь ведь». Вздыхнул, потом добавил: «Я, Анатолий Батькович, может, тоже весь не умещаюсь между фуражкой и ботинками. Но раз живешь здесь и сейчас, то, пойми, нужно жить как река – течет и не знает, что зимой надо замерзнуть. А потом приходит зима, и река замерзает. Надо жить, Толя, вровень с веком и не выходить из его берегов».

Вопрос: А вы?

Ответ: Я сказал: «Нет, Павел Ефимыч, надо жить вровень с собой!»

Вопрос: Зачем же вы так со стариком. Он же добра вам хотел.

Ответ: Да знаю я. Знаю. Он тут чуть не расплакался: «Ты ведь мне как сын, думаешь, я тебя не понимаю? И я тоже был молод и хотел раскрывать преступления, страшные и бесчеловечные, руководимый чувством гнева и справедливости. Мне, может, тоже хотелось возиться с обугленными кусочками бумаги, проверять, кто и где был в тот дождливый момент, когда за окном мелькнула почтальонша на велосипеде с полиэтиленовым пакетом на голове, и выяснять, кто поломал

ветки у старого земляничного дерева, что цветет под окном библиотеки! Думаешь, мне не хотелось очистить если не весь остров, то хотя бы наш Царевококшайск от всякой мрази, ловить гадов, давить выродков? А потом мне доходчиво объяснили, что рвение – излишне. И какая разница – кто убийца? Кого это интересует, если и так всем понятно, что это – заурядный, мелкий, ничтожный человек! Не Петров, так Сидоров. Послушай, Анатолий, вот я солдатом служил в пустыне, и мы от нечего делать ловили скорпионов. Поймаешь и бросаешь их в кольцо из огня. Хотелось нам, дурням, посмотреть, как они будут кончать самоубийством – ядовитым жалом себе в затылок. Так вот: ни один из них об этом даже не думал, все хотели жить до последнего – пока не сторали. Понял?» А я ничего тогда опять не понял. Отвечаю ему: «Я кровь видел, и боль, и смерть. Я людей убивал, правых и виноватых. Меня уже на испуг не возьмешь. Ну – убьют. Зато жить не стыдно». Тогда он как закричит: «Ты еще щенок, а у меня жена и три дочки! И дороже их у меня нет ничего на свете! А ты мне тут про стыдно-нестыдно! Ты сначала ручку своего ребенка в своей руке поддержи, а потом будешь про испуг говорить!» И схватился за сердце. Я к нему, а он хрипит: «Пошел вон, сопляк!» Позвонили жене, она приехала, и мы вместе увезли его домой. Пришли, уложили на диван. Она мне говорит: «Подождите, не уходите, я вас чаем напою». Детей не было, старшая – в институте, информатику изучает, младшие из школы еще не вернулись. У них на

подоконниках – помидорная рассада в пакетах из-под молока, а на стенах фотографии. Стала мне рассказывать про всех родственников. Его отец был священником, потом заболел и ослеп, а сын должен был скрывать свое происхождение и писал во всех анкетах, что отец – инвалид, и все боялся, что откроется. Его бабка с материнской стороны пережила четырех детей – все сыновья – и говорила ему: ты у меня за четверых. Во время войны, в эвакуации, в голод его спасла мама – устроилась дояркой и воровала молоко, выносила в грелке, спрятанной на животе. А перед смертью, уже старухой, говорила: не смей хоронить в кольцах, все сними, украдут – продай лучше! А сама жена Папашки, когда кормила младшую, у нее было столько молока, что она сцеживала его тонкими голубыми струйками в стакан, накрывала марлей и звала старших через открытое окно, а те не хотели пить, казалось слишком теплым, приторным, сладким. Она сама пила – не пропадать же добру.

Вопрос: А что стало с тем делом, которое вернули?

Ответ: Версию самоубийства замяли. Зато обвинили жену убитого – мол, собрался разводиться, а ей ничего не хотел оставить. То дела месяцами держат – люди в предварилке томатся, а тут все в момент обернули. Суд. Колония.

Вопрос: А свидетели? Были же свидетели?

Ответ: Были, да все вышли. А вы бы не испугались пойти и свидетельствовать – со всеми вытекающими?

Вопрос: Не знаю.

Ответ: То-то же.

Вопрос: Что было потом?

Ответ: Я пошел домой.

Вопрос: Вас там ждала маленькая слабая женщина, и вам нужно было, чтобы она вас, такого большого и сильного, поддержала?

Ответ: Наверно, так. Она однажды сказала, что я – настоящий мужчина: снаружи бункер, а внутри детская.

Вопрос: Как же так получилось, что она, девчонка еще совсем, а с вами, взрослым мужиком, как с котенком?

Ответ: Это она только с виду Дюймовочка. Я ведь ее в обезьяннике подобрал, в привокзальном отделении. Пьяную привели. Наши ребята с ней побаловаться хотели, а потом отпустить безо всякого протокола – жалко же девчонку. Я им сказал: «Оставьте, это – моя». И забрал ее к себе. Привез, поставил под душ. Стою и смотрю, как по груди, животу, ногам бегут черные струйки туши. Грудь у нее были маленькие, не больше надутый щеки, а соски крепкие, высокие, торчали, как две крыжовинки. И целовалась жадно – с цоканьем зубов. Так она и осталась у меня.

Вопрос: Но вы ее любили?

Ответ: Да. Не знаю. Наверно, думал, что люблю. У меня ведь до нее толком ничего не было. Она меня всему учила. И кричала каждый раз так, что соседи начинали стучать по трубе. Один раз я после этого пошел в туалет мыть руку – пальцы были в ней, во всех отверстиях – и подумал, глядя на ее флакончики перед зеркалом, что она все-таки не такая, как все другие. Мне казалось, что я в Афгане кое-что про женщин понял. Туда

ведь ехали охотно – за граница, и платили чеками. Можно было накопить на квартиру, привезти что-то – одежду, телевизор – ничего же не было. Времена-то какие были – все только для своих, через закрытые распределители. А что делать, если ты никто и звать тебя никак, но тоже жить по-человечески хочется? Вот и ехали за чеками на войну – работали в госпиталях, при складах, на прачечном комбинате. Сходились с каким-нибудь полковником. Или с прапорщиком – это приравнивалось, потому что у прапорщика склад, а полковник может прапорщику приказать, чтобы что-то принес со склада. Жили они в общежитии – «кошкин дом». Но с нами, простыми солдатами, они, разумеется, не хотели – кто мы им? Что женщина могла с нас получить? Рваную портянку? И вот мне показалось, что Ленка – совсем не такая. Я ведь кто? Никто, мент с нищенской зарплатой. А привязалась ко мне. Приросла незаметно. И веселая. Смешно рассказывала, как сбежала от своих родителей-староверов. Пошла на нитяную фабрику с вредным производством – пыль от пряжи, – но зато место в общежитии. Потом ушла отсюда и устроилась официанткой в кафе. Рассказывала, как выковыривала грязь из-под ногтей и добавляла в мороженое – рассказывает и умирает сама от хохота. Мне нравилось, как она оттопыривала нижнюю губу и вздувала упавшие на глаза волосы. Она устроилась работать в парикмахерской – и все время стригла меня. Чуть отрастет – стрижет. Мне так нравилось, когда она меня стригла. И еще любил смотреть,

как она красится. Все спрашивал: а это для чего? А это? Она смеялась и показывала, смотри, чтобы накрашенные ресницы были еще длиннее, нужно с пудрой и мылом. У нее кончики ресниц слипались лучиками. Один раз вернулся с дежурства поздно, вошел в комнату, а она спала, спрятав голову под одеялом – только волосы стекали по подушке. Меня ребята в отделе предупреждали, что у таких Дюймовочек мысли юркие, как ящерицы, но зато входит такая в чужую жизнь, как нож, по рукоять. А я не слушал. Думал, завидуют. Они и завидовали. Один раз мы поехали с ней за город кататься на лодке. К озеру вела тропинка между зарослей ежевики. На Ленке была длинная широкая юбка, цветастая, из какой-то легкой тонкой материи. И вот юбка зацепилась за ветку ежевики и чуть порвалась. Ленка расстроилась, как ребенок. Я ей тогда сказал: «Ленка, ну ты что? Я же тебя люблю». А до этого никогда еще не говорил.

Вопрос: Вы собирались пожениться?

Ответ: Да. Но не успели. Уже подали заявление. Она выбрала себе свадебное платье и звала сходить в ателье посмотреть, а мне все было некогда.

Вопрос: Но Дюймовочке ведь по считалке выходило быть замужем за кротом.

Ответ: Так и получилось. Но об этом я уже позже узнал.

Вопрос: И вот вы пришли домой.

Ответ: Я пришел домой. Она повисла у меня на шее. Вдруг прошептала как-то странно, серьезно: «Как же долго я тебя ждала!» Мы сели ужинать. Она под столом, сбросив тапо-

чек, ногой гладила мне коленку. Потом спрашивает: «Толик, что-то произошло?» Я улыбаюсь: «Все в порядке. Ешь!» Она встала, обошла стол и села мне на колени. Схватила руками за мои уши – она любила так схватиться и крутить, как руль, – смотрит и говорит: «Я же чувствую, что-то произошло. Скажи, что?» Тогда я все ей рассказал: и про зверя, и про следы.

Вопрос: А она?

Ответ: Она испугалась. Я сказал ей, что надо что-то делать. Иначе никому не спастись. Этот зверь всем головы отгрызет. Я обнял ее: «Ленка, скажи, что мне делать?» Она прижалась ко мне крепко-крепко: «Милый, родной мой! Ты же сильный, ты все сможешь! Пойди на площадь, встань на колени, перекрестись на колокола и скажи, что ты – только шерстинка в его шкуре. И все будет хорошо».

Вопрос: А вы?

Ответ: Я вдруг почувствовал себя очень одиноким. Никогда раньше я это так остро не чувствовал – вот я стою один. Даже в ее объятиях. Один.

Вопрос: Вы ждали от нее чего-то другого?

Ответ: Да. Наверно, это неправильно, глупо, но я ждал чего-то другого. А она убежала с кухни в комнату и кричала оттуда: «Пусть у меня нет мозгов, но зато есть матка, и я хочу родить ребенка от отца, который рядом и любит!» Потом стала плакать. Я ушел и провел ту ночь в отделе. Ворочался на деревянной скамейке. Все думал, что делать. А утром меня вызвал к себе Папашка и отправил в какую-то командировку. Никому

не нужную. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.

Вопрос: Да он же просто спасал вас. Убрать с глаз долой, подальше, пока все уляжется, успокоится, забудется.

Ответ: Наверно. Теперь я тоже так думаю. Вернулся домой – Лены не было. И хорошо – я не хотел ее видеть. Стал собираться, ехать-то надо. Тут звонок в дверь. Открываю – какую-то женщина, немолодая, интеллигентного вида, в шляпке, с сумочкой в руках. Оказалось, это мать той, осужденной после до следования. Спрашиваю: «Вам что?» Она: «Ничего. Просто в глаза вам хотела посмотреть». Я захлопнул дверь.

Вопрос: И вы не подчинились приказу поехать в командировку и в одиночку стали расследовать дело, потому что у вас перед глазами все стояла эта женщина и вы должны были вернуть из тюрьмы ее дочь? Один хороший против всех плохих? Одинокий герой против тумана? А зверь был в вас?

Ответ: Нет. Вернее, да. То есть все было не так. Я поехал туда, не знаю куда, и перед глазами действительно все время была та женщина, ее глаза. И вот я уехал зимой, а приехал наутро в весну. Лежал на верхней полке и смотрел в окно, как деревья занимались любовью. И мысли все время цеплялись за ту ветку ежевики. А на следующее утро была уже не весна, а лето, вернее, просто ничего. Пустыня. Но какая-то не песочная, а каменистая. И вот я ходил по камням и искал то, не знаю что. А ночью я увидел вдали костры и пошел посмотреть, кто это может быть. Сперва подумал, что цыганский табор. А потом – да

какие тут могут быть цыгане, наверно, беженцы. Там были повозки, лошади. Большой лагерь. Было поздно, все, наверно, уже спали. У костра еще кто-то засиделся. Я подошел поближе. Когда пламя разгоралось, черный силуэт человека перед костром становился меньше. Подошел еще поближе и удивился: они были одеты как древние греки. И говорили по-иностранным. Наверно, снимали кино. Теперь так часто делают – у них все дорого, а здесь по дешевке. Вот и приезжают.

Вопрос: Но время и пространство ветхи, истерты, непрочны. Вдруг обо что-то зацепятся – о ту вашу ветку ежевики? И порвутся. А в эту прореху может вывалиться что угодно, хоть древние греки.

Ответ: Может быть. Не знаю.

Вопрос: Они вас заметили?

Ответ: Один, услышав шаги, вскочил, стал всматриваться в мою сторону, но в темноте меня не увидел. Я пошел дальше своей дорогой. В ту ночь я понял, что должен сделать. Все дело было в считалке. Я должен был ее остановить. Как бы это сказать... Я должен был встать поперек считалки.

Вопрос: Чтобы негритята не ходили купаться на море?

Ответ: Да, я должен был задержать негритят. Чтобы все остановилось. Чтобы все было по-другому. Чтобы я мог смотреть в глаза той женщине. Чтобы вернулась ее дочь. Чтобы не нужно было никого и ничего бояться. Чтобы жизнь была ясна и добра.

Вопрос: Но вы же знали, что по считалке один негритенок хотел остановить считалку, попал

под суд, на зону, и там его опустили за то, что он был ментом.

Ответ: Да. И поэтому считалку нужно было остановить.

Вопрос: Но как вы хотели это сделать?

Ответ: Очень просто. Я должен был выйти на площадь и сказать: «Я – не шерстинка!»

Вопрос: Да, но...

Ответ: Не перебивайте! И вот я возвращался на поезде. В купе соседи без конца ели: на газете помятые, треснувшие яйца, лопнувший, в хлебной крошке, помидор, соль в спичечном коробке. И кто-то читал вслух статью из той мокрой и сальной газеты, расстеленной на столике, о том, что наш остров занимает первое место по числу абортов на душу населения, а в тюрьме, наоборот, никто из заключенных женщин от детей не избавляется – все сохраняют и стараются забеременеть хоть от охранника, хоть от кого-нибудь, так сказать, непорочное зачатие. И один мужчина, который сидел напротив и окунал картофелины в горку влажной соли на той статье, на тех самых женщинах, говорил, что ребенок для них – средство получить усиленное питание, к тому же они не работают, а главное – это амнистия в связи с материнством. Их в первую очередь освобождают. А потом они выходят с зоны, и большинство таких матерей по статистике на воле детей бросают. Потом он стал рассказывать про своего товарища, священника, у которого была собака с человеческими глазами. Просто человек, только в шкуре. И она отгрызла своим детям головы. Тогда этот поп ее убил. Он отхлебнул

чай и, глядя в окно, сказал: «Что можно ждать от страны, где матери убивают своих детей?» А поезд как раз медленно ехал по мосту через реку, а на замерзшей реке, на снегу, двое – он и она – вытаптывали большие буквы, огромные, чтобы издали было видно, из проходящих поездов, как раз из нашего окна.

Вопрос: И что они вытоптали? Какие слова?

Ответ: Не знаю. Они только начали, а поезд уже проехал мимо.

Вопрос: Но это же важно!

Ответ: Но я же не мог остановить поезд!

Вопрос: Ну хорошо. И вот вы вернулись, сели на трамвай, доехали до Дома на площади.

Ответ: Я вернулся, сел на трамвай, доехал до Дома на площади. Иду от остановки. Издалека вижу, как в окно мне Папашка машет. Кричит неслышимо, бьет костяшками пальцев по стеклу, показывает что-то руками. Он увидел, что я без разрешения вернулся, и все понял. И вот я выхожу на середину площади, тут он выбегает из дверей, кричит: «Анатолий! Что ты делаешь! Молчи! Не надо! Ничего не изменишь, а себя погубишь!» Он сбегал по ступенькам, а вход как раз под окнами, где суд. И тут из окна на него свалились огромные часы. Белый мраморный медведь с циферблатом на пузе.

Вопрос: Вот они, объятия белого мишки.

Ответ: Да. Я подбежал к нему. Старик еще дышал, вернее, сипел, свистел почти. И смотрит мне в глаза. Будто все понимает, но говорить уже нет смысла. Похороны были только во вторник – из-за вскрытия, из-за того, что суббота и воскресенье – выходные. Бы-

ло много народу, все наши, начальство, какие-то ветераны. Вдова и три дочери – все в черных платках. Было морозно, так они сначала надели шапки, а на шапки уже повязали платки. Да и мужчины все стояли в ушанках, вернее, приплюсывали, чтобы как-то согреться. Гроб выскользнул из веревок и встал вертикально – пришлось вытягивать обратно и снова опускать. Могилу выкопали заранее, а накануне похорон ударил мороз, и все заледенело – не могли закопать. Долбили землю ломami, лопатами – не оставишь же могилу открытой. В гробу Папашка выгнулся, как на параде. Какая-то женщина рядом со мной – не знаю, кем она ему была, – вздохнула: «Вот, Паша, ты и в гробу красавец. Прямо не покойник, а жених». А я смотрел на него и вспоминал: по телевизору рассказывали, что раньше хоронили сидячими – в позе эмбриона, с ногами, прижатыми к груди, как бы для того, чтобы человек мог родиться вторично. А могила – это как матка. То есть погружение в могилу и есть совокупление с землей, вроде как оплодотворение земли человеком. Выходило, что Папашка – жених земли. С одной стороны – для нас – похороны, а с другой стороны – для него – свадьба. Поэтому покойников и моют и одевают, как на свадьбу. И венчик даже на голове Папашки – это как у вступающего в брак – венец. И вот раньше, те же греки, думали, что мертвые, женившись, продолжают жить в могилах и питаются тем, что им принесут, и пьют вылитое на них вино. А у нас ведь то же самое: посмотрел на соседние могилы, а там чего

только за крест не положат – и яблоки, и бананы. А потом опомнился: Господи, о чем я думаю! Тут три девчонки из-за меня без отца остались...

Вопрос: И тогда?

Ответ: Тогда я на поминках выпил за упокой его души сто грамм, закусил блинком и поехал на трамвае. Туда. Вышел на площадь и сказал то, что должен был сказать. Стою на остановке и говорю: «Я – не шерстинка!»

Вопрос: И?

Ответ: Дальше все было по считалке. Суд. Зона.

Вопрос: А судья был с нашлепкой из красной глины на лбу, в мантии из алой занавески для душа и в парике из клубка серой шерсти?

Ответ: Да. А откуда вы знаете?

Вопрос: Догадался. А суд был – все как положено? Ничего не нарушалось?

Ответ: Все образцово.

Вопрос: И что он сказал, этот, в занавеске?

Ответ: А что может сказать судья? Сказал, что пережитое очищает душу, а осиленное горе закаляет ее, что истины не узришь, а ослепнуть – ослепнешь, что люди хотят друг другу добра и не умеют. Потом как закричит: «Как вы не можете уразуметь – это не просто эники-беники, аты-баты, это – сила жизни! Вы что – хотите стать поперек жизни?» Я ему: «А вы на меня голос не повышайте. Я вам больше не шерстинка. И ни суд ваш, ни жизнь по этой вашей считалке я больше не признаю. Делайте со мной что хотите». Он рассвирепел: «Это только некоторым умникам кажется, что вселенная проста, как валенок: вот шерсть, вот шкура, вот кровавый след через трамвайные пути,

вот хвост торчит из трубы на морозном закате. Да только вот положительного героя нет! Где ему взяться в этом мире? Это в романах он бьет зверя по яйцам, да вот мы-то не в романе! И кто ты против считалки? Ею мир держится! А там черным по белому: негритенок заупрямился, сказал считалочке, что не пойдет к морю, так она его за шкирку. Нравится, не нравится, а к морю все пойдут! И к морю не пойдешь, а полетишь, и зверю яйца поцелуешь! Понял, падла?» И зачитал приговор, состоявший всего из одной фразы: «Только дикари верят в борьбу добра против зла». И от себя добавил, что разговаривать с дикарем, доказывая, что деревянная куколка вовсе не бог, а просто куколка, бессмысленно. И еще, уходя, сказал: «Извини, браток, за маскарад – но сам понимаешь, не в парике дело».

Вопрос: И весь суд?

Ответ: А что, мало?

Вопрос: Значит, свершилось правосудие.

Ответ: Дали последнюю свиданку с матерью и сестрой – и на этап. А Ленка не пришла.

Вопрос: Вы ей не могли этого простить?

Ответ: Сначала не мог, потом простил. Потом вообще другая жизнь началась. Вот ты свежий, еще волей пахнешь, еще ничего не понимаешь, а все надо знать. И никто тебе ничего не скажет, не объяснит. Сунул ложку в верхний карман куртки – нельзя, это знак петуха. Или пришел в столовую, сел на лавочку – нельзя, это стол, где обедают петухи.

Вопрос: Но что вы хотите? Чтобы петухов не было? Опускают на зоне осужденных за участие в групповом изнасиловании малолетних –

это насилие, но таким образом торжествует справедливость. Око за око. Не все же верят в наказание на Страшном суде. Значит, за свое нужно отвечать здесь. А вы же ментом были. Так что все вроде и в порядке вещей. И потом, петухи – тоже люди, и они живут как-то. Для всего есть свой порядок. Опущенные – это просто часть порядка. Разве у вас не так было?

Ответ: Так. Вот у нас на зоне было около тысячи человек, а петухов пятнадцать–двадцать. Они сидели за отдельными столами, но спали в общем бараке. Строгий режим – из своего барака ты никуда не денешься, петух ты или не петух. Но спали они в своем углу, в петушьем. Они, конечно, нужны. Убирают плац и уборную. Сами грязные, вонючие. И каждый проходящий должен их пнуть ногой – вот они и стараются никому не попадаться на пути. А что они грязные – так это понятно. Для петуха даже помыться проблема. Не пойдет же он в баню с обычным зеком. Да им и передвигаться по зоне нелегко. Допустим, вот вы – петух и идете по лестнице, поднимаетесь на второй этаж барака, а навстречу вам кто-нибудь идет. Вы, видя встречного, должны прижаться спиной в угол и ждать, когда мимо вас пройдут, чтобы ни в коем случае даже случайно не прикоснуться к полноправному зеку. И если ему покажется, что вы не слишком соблюдаете это правило, он ударит вас ногой. Ногами бить не запахло. Кулаками прикасаться к петуху – унижение, а ногами – в самый раз. И ничего нельзя поднимать с плаца. Если что-то уронил – все. Под-

нять ничего нельзя, потому что плац метут петухи. Если идешь в столовую и уронил свою ложку на пол – пропала ложка. И самое главное, следи, чтобы неkontakчить. Миска в камере упала на пол – и все, считается kontakченной. Из нее после этого нельзя есть. Или если ешь и упал кусок на пол – нужно сразу сказать: «Упало на газету», хотя, конечно, никакой газеты там и в помине нет.

Вопрос: Ну вы же не маленький, ведь во всем этом свой глубокий смысл – гигиенический! Жизнь требует гигиены. А на острове всюду жизнь. Это же все так естественно.

Ответ: Да я про то и говорю. Потому и занимают они нары, ближайšie к двери, чтобы меньше kontakчить. А kontakчить-то все равно приходится так или иначе. Скажем, петухи спят на нарах. Потом в отряде этих петухов не стало – освободили их или куда-то перевели. А нары стоят пустые, причем стоят долго. А по лагерным законам пустые нары разбираются и уносятся на склад. Так вот, сохраняют ли они статус kontakченных после того, как полежали на складе? Вот в чем вопрос! Ведь их могут выдать любому другому зеку. И вот идут споры – железо kontakчит или железо не kontakчит? Один раз меня вырвало. Я нашел какого-то петуха, чтобы тот убрал рвоту. Потом решил просто чисто по-человечески поддержать его, дал ему хлеба, курить дал. Причем, конечно, все честь по чести: я бы ему из рук в руки ничего не сунул. Положил на пол и сказал: вот, возьми. И вдруг такую увидел признательность в его глазах. Совершенно

собачью. По-другому не скажешь. Так забитая собака смотрит, если приласкать. А мне говорят: тоже мне, нашел кого жалеть. Собаки – они собаки и есть. Скажут ему в тебя плюнуть в столовой – и конец. Тоже верно, конечно. Что есть, то есть. И у петухов своя градация – и все боятся главного петуха: если он тебя невзлюбит, ты завтра же станешь опущенным. Он любому своему шкварному прикажет тебя расцеловать при всех – и все. Потом этого шкварного избобьют, истопчут, кости ему поломают, но ты уже опущен.

Вопрос: А скажите, что там важно?

Ответ: Что там важно? Да то же, что здесь, – семья. Там ведь просто люди живут, вот как я, как вы. Важен кусочек мира, где тебя ждут, где тебе рады. Вот и там тоже живут семьями, общаком. В семье защищают друг друга, лечат вас, если что, встречают из ШИЗО. Семья должна подготовить вам обнову, чаем заправиться. Человеку нужно тепло. И чтобы ему кто-то улыбнулся. На зоне ведь нельзя улыбаться. Потому что улыбка – знак заискивания слабого перед сильным. И если кто-то подходит с улыбкой, то первая реакция – отгалкивание, потому что воспринимаешь это как какую-то хитрость, тайную подлость. А так важно кому-то улыбнуться! Ночью вот лежишь и вспоминаешь, как в детстве, когда не мог заснуть, сам с собой играл: одну руку нагреешь под одеялом, она горячая, а другая за что-то холодное держится. А потом играешь, как два человечка идут пальцами-ногами по горам-коленкам, по складкам одеяла, по подушке. Будто один пропал, а другой блуждает в поисках про-

павшего. И всегда теплая рука находила холодную, и человечки радовались, обнимались. Горячая рука отогревала, спасала холодную, укладывала к себе под одеяло – грейся, грейся! И еще я Ленку все время вспоминал. Как она оттопыривает нижнюю губу и вздувает упавшую на глаза прядку. Как я сажаю ее в ванну и мою губкой, как маленькую, потом укутываю, причесываю, отношу на кровать. Даже снилось несколько раз, будто я вышел на волю, вернулся домой, а уже поздно, открыл дверь ключом, прошел на цыпочках в комнату и смотрю, как она спит, спрятав голову под одеялом – только волосы стекают по подушке. А потом так страшно просыпаться в бараке.

Вопрос: А кормили как?

Ответ: Да не в жратве дело! Знаете, что еще там важно было? Слово.

Вопрос: Какое слово?

Ответ: Ну, вообще, просто слова. То, что вы говорите. Просто за каждое слово нужно отвечать. Ведь там никаких законов нет, кроме твоего слова, за которое ты ответишь. Вот ты в камере новенький. Кормушка маленькая, а народу много, всегда во время обеда, ужина – толкучка. Ты толкнул человека, тот пролил баланду. Толкнул нечаянно, конечно. А там нет слова «нечаянно». Ты оставил его без еды. И предложил свою, мол, я виноват, ешь. А в ответ получил: «Твою шкварную буду есть?» Тебя называли шкварным, опущенным. И если ты на это не ответишь, значит, сам себе определишь место. Тебе предъявили обвинение, и если ты не возражишь, всей силой своей жизни не возра-

зишь, значит, обвинение правильное. И никто тебе не поможет. Ты должен сам себя защищать. И должна начаться драка, и ты должен идти до конца. А если ты согласишься на слово – то ты это слово и есть. Теперь тебя должны опускать. И тогда тебе не жить. А вы говорите: слова.

Вопрос: Но кто-то же должен объяснить, когда приходишь, что можно, а что нельзя?

Ответ: Никто вам ничего не объяснит. Это вообще нельзя объяснить. Это как воздух, которым дышишь. Ты им начинаешь дышать и узнаешь. Если ты задаешь вопрос: «Можно?» – то можешь дальше не спрашивать, тебе ответят «нельзя». Человеку можно только то, что он сам считает для себя возможным. Попросту говоря, ты имеешь право на все. Только при этом за все, что ты делаешь и говоришь, ты должен будешь ответить, за каждый шаг и за каждое слово. Я там понял, что такое свобода. Это вовсе не отсутствие колючки. Нет. Это отсутствие страха. Это когда тебя ни за что нельзя подцепить. Когда у тебя ничего нет. Когда ты ничего не боишься потерять. Когда ты сказал слово и идешь за ним до конца.

Вопрос: Вы почувствовали себя там свободным?

Ответ: Один раз. По-настоящему. Начальство все про меня знало, кто я, откуда. И вот они меня вызвали и сказали, что я буду стукачом. А если не буду стучать, то они меня сдадут. И в тот момент я вдруг почувствовал такую свободу, которой никогда в жизни не было. Я им сказал: «Я – не шерстинка».

Вопрос: Ну, что же вы замолчали?

Ответ: Да что говорить?

Вопрос: Что случилось потом?

Ответ: Вы же знаете. Чего спрашивать попусту.

Вопрос: Я понимаю, вы не хотите рассказывать, как это было.

Ответ: Нет.

Вопрос: Не надо, не говорите, если вам это трудно. Я просто перепишу в протокол из считалки.

Ответ: Да пишите что хотите.

Вопрос: Хорошо, я напишу так: опустить здорового, сильного мужчину не так-то просто. Вас отправили в штрафной изолятор. Ночью, когда вы заснули, они сунули вам в лицо полотенце, обмазанное спермой. Вы вскочили, но достать затаренную мойку не успели, вас стали бить по голове чем-то тяжелым. Санузел в камере отгорожен небольшим металлическим щитом, мостиком – вас перегнули через мостик и стали насиловать по очереди. А потом еще сунули в задний проход черенок от метлы. Несколько дней вы провели в тюремной больничке, пока не прекратилось кровотечение из прямой кишки. Все так?

Ответ: Какая разница.

Вопрос: Потом, перед отправкой в зону, вы вскрылись. Правильно?

Ответ: Ну вскрылся, ну и что. Не хотел возвращаться. Хотел, чтобы отправили в краевую больницу. За пару недель до меня один парень вскрылся, и его отправили. А у нас замначальника колонии по режимно-оперативной работе – второй человек после хозяина – пришел, посмотрел на меня и сказал: «Никакой больницы». Вызвали врача, тут же, в коридоре, наложили швы и отправили об-

ратно в штрафной изолятор. Вскрываюсь еще раз. В камере всегда найдется чем вскрыться. Разбил лампочку. Режу себе живот, причем обязательно надо так резать, чтобы вылезли кишки, в таких случаях местные врачи не рискнут зашивать сами. Приходит снова замначальника и говорит: «Ты хоть сдохни здесь, мы тебя никуда не отправим». Надели наручники, зашили кое-как живот и оставили одного, приковали наручниками к трубе.

Вопрос: Вы хотели умереть?

Ответ: Почему? Я хотел жить. Лежу в полузабытьи и ночью чувствую, что кто-то пришел. А это опять замначальника. Сел на табурет. Говорит: «Ты думаешь – я зверь? А ты поставь себя на мое место. Думаешь, мне тебя не жалко? Да жалко, конечно! Ведь доводит себя человек, кишки на ладонь вываливает. Но ты представь: вот отправят тебя в краевую, так еще двадцать человек будут резаться! Нужно же не о себе думать, а вот о таких, как ты! Я должен был всем показать, что этот номер не пройдет. Чтобы больше не резались, не калечили себя! А ты про меня: зверь! Я же вас, дураков, спасаю!»

Вопрос: Он вас спас?

Ответ: Да.

Вопрос: Отправил в больницу?

Ответ: Нет. Дело не в больнице. Там, ночью, я, наверно, бредил и все вспоминал, как на Новый год мы с моим Ромкой наряжаем елку – я сажаю его на шею, и он надевает игрушки на верхние ветки. Или как после купания я заворачиваю его в простыню и бросаю на диван, в подушки, стригу ему ногти – они

после ванны размякли, а подушечки пальцев набухли, сморщились. И как потом, когда ребенок уже посапывает, я перекидываю его в кроватку, и в постели меня ждет она, моя любимая, единственная, горячая, шепчет мне: «Иди скорей!»

Вопрос: Подождите, но их же у вас еще не было – ни этой женщины, ни сына?

Ответ: В том-то и дело, что их не было. Даже не знаю, как вам объяснить. Этих дорогих мне людей у меня еще вовсе не было, а я уже готов был пойти ради них на все. Чтобы жить с ней просто, изо дня в день, вращая друг в друга. Чтобы сын мне на день рождения нарисовал каракули и приписал нетвердым почерком огромными буквами: «ПАПЕ», потому что эта каля-маля, может, и есть в жизни самое важное.

Вопрос: Значит, вас за это и подцепили – за каля-маля?

Ответ: Да.

Вопрос: Вам не нужна была свобода?

Ответ: Нет.

Вопрос: Поэтому вас освободили?

Ответ: Да. Я написал помиловку: «Шерстинка. Признаю считалочку. Вылетаю к морю. Целую». И все.

Вопрос: И что было потом?

Ответ: Все по считалке. Негритенок устроился шерстинкой в шкуре. Стал прилично зарабатывать, женился.

Вопрос: И в чем заключалась ваша работа?

Ответ: Знаете, раньше был обычай: при похоронах царя у его гроба душили любимую наложницу, виночерпия, конюшего, сокольничего, ключника, повара. Короче, всех, кто отвечал за его жизнь. Детям в школе это объ-

ясняют стремлением обеспечить царя на том свете всем необходимым. А на самом деле никакого того света нет. И это все школьники знают. Живой царь убивал у гроба умершего близких тому людей не для него, а для себя. Чтобы обслуживающий персонал понял, что к чему. Так сказать, гарантия безопасности и заботы.

Вопрос: Ваши близкие знали о вашей работе?

Ответ: Только я стал зарабатывать, захотелось сделать матери какой-нибудь подарок. Чего она хорошего в своей жизни видела? Она ведь у меня из детдомовских, проработала всю жизнь на резиновой фабрике. Я когда в детстве начинал канючить какую-нибудь игрушку, она всегда про детдом рассказывала. Тетрадей не было, так они каждый клочок бумаги использовали для письма – даже поля старых газет. Чернил тоже не было – разводили водой печную сажу. Да и последнее дети все друг у друга воровали: те, кто посильнее, просто отнимали у младших и перышки, и карандаши, и хлеб. Когда я не хотел есть суп, она вспоминала, как ее привели в детдом и в первый вечер поставили миску супа, в котором плавала дюжина мух, и она не стала есть. А потом все, что ни давали, ела и вылизывала, даже если сосед в тарелку плюнул. А во время войны детдом не эвакуировали, все начальство сбежало, остались только няньки и дети. Немцы затребовали списки детей, няньки отдали, а потом спохватились – там ведь проставлена национальность. Немцы пришли и по спискам забрали еврейских детей. Сначала все ду-

мали, что в гетто, а потом узнали, что всех расстреляли. Для меня все это было как при царе Горохе. А для нее как сейчас. А еще рассказывала, как работала на резиновой фабрике – окунала колодки в резину, чтобы получались галоши. Когда умер мой отец, она на работе не могла сдержаться, начинала плакать, и слезы попадали на колодку. Знала, что будет брак, – и не могла остановиться. Там, где слеза упадет, резина уже ни за что не пристанет. А вентиляция была плохая, и начиналось отравление, особенно у тех, кто имел дело с клеем. Расхохочется одна, и весь конвейер начинает хохотать. Приходилось срочно останавливать конвейер – успокаивать людей, умирять. И вот я приезжаю к ней – она еще тогда одна жила, это потом уже переехала к своей старшей дочери в Подлипки. У меня сестра – учительница, так с ней невозможно ни о чем разговаривать – сразу начинает про свою школу, про то, какой ужас там с наркотиками. Говорит: «Так и детей не захочешь рожать – вырастет ребенок, а какая-нибудь тварь даст ему ширнуться в подъезде. Тех, кто заражает наших детей наркотиками, публично нужно вешать! Публично! На площадях!» Короче, приезжаю я к матери – в хорошем костюме, с дорогими часами, ботинки одни стоят столько, сколько весь их конвейер, наверно, за всю жизнь не заработал, и говорю: «Мать, вот я тебе купил путевку в Египет. Слетай, мир посмотри!» А она в слезы. Я ее обнимаю, глажу по голове, она к старости маленькая стала, уткнулась мне лицом

в живот. Говорю: «Мать, ну ты чего?» Она мне в ответ: «Толичка, сыночек, ничего мне не надо, у меня уже все есть. Раз у тебя все хорошо, мне больше ничего не надо!» Я ей: «Мать, ты что? Это же Египет! Колыбель цивилизации! Фараоны! Пирамиды! Мумии!» Так никуда и не поехала. У нее на подоконнике стоял гриб в трехлитровой банке. Она мне все предлагала, чтобы у меня тоже был, а не хотелось с банками возиться. Заедешь на пять минут – и бегом дальше. Все время говорил ей: «В следующий раз!» И лечу. Так она и стояла в двери с банкой в руках.

Вопрос: Вы женились на женщине с ребенком. Вы знаете его историю?

Ответ: Нет. Я не хотел знать никакой истории. Я так долго ждал этого человека, мою Таню, что все истории не важны. И она меня так долго ждала, что все остальное не имеет никакого значения. Это так важно – засыпать и знать, что рядом она, смотрит на меня, облокотившись о подушку. Или взять ее руку и положить себе на глаза. А утром проснуться от запаха глажки – она гладит, и от гладильной доски поднимается такой пахучий пар. Звоню ей с работы, спрашиваю: «Новости есть?» Она отвечает: «Есть. Я тебя еще больше люблю». Когда я уезжал куда-то, она укладывала мои вещи и засовывала записочки. Писала просто так, пару слов, какую-нибудь ерунду: «Целую». Или: «Соскучилась, приезжай поскорее». Или: «Выпрямись, не сутулься». Или: «Я тебе сегодня приснюсь». Она умела снится.

Вопрос: А с ребенком сложно было? Все-таки чужой...

Ответ: Ромка-то? Да я его сразу полюбил. Он, конечно, сначала букой. Забьется в угол и молчит. Жена рассказывала, как он в пять лет объявил, что на ней женится. Терпеть не мог, если она с каким-нибудь мужчиной разговаривала, – сразу скандал, слезы, истерика – защитник. Не даст обидеть. Один раз на автобусной остановке бросился с кулачками на кого-то пьяного. А я ему говорю: будешь со мной корабли из мыла делать? И вот мы стали делать наш флот: линкоры, эсминцы, подводные лодки. Берешь кусок мыла, разрезаешь на пластины толщиной в палец. Из пластин обломком бритвы аккуратно вырезаешь корпус, палубные надстройки, орудийные башни, шлюпки. А мачты и стволы орудий – из проволоки. Канаты из ниток. Когда мыло подсохнет, мы красили корабль черной тушью. И по столу плывет целая эскадра с подводными лодками! Его оторвать нельзя было. Все вздыхал: «Вот бы там оказаться внутри, в кают-компании!» У него рыжие волосы, я иногда звал его в шутку рыжиком – он надувался. Когда пришли расписываться, я его усыновил. Он только научился буквы разбирать, все подряд читал, все вывески. И постановление об усыновлении тоже взял и стал громко читать по слогам. Потом говорит: «Толь, ты че, теперь мой папа?» А я ему: «Почему теперь? Я и раньше был твой папа – это же просто бумажка».

Вопрос: Но ей важно было рассказать то, что тогда произошло?

Ответ: Наверно. Думаю, что да. И ее мучило, что она не могла. Я поэтому ни о чем ее не спрашивал.

Вопрос: Вы хотите узнать?

Ответ: Да. Ведь она хотела, чтобы я узнал. Просто никто, кроме нее, этого рассказать не мог. Вы знаете, что тогда случилось?

Вопрос: Нет. Про нее ничего не знаю. Знаю только про негритят. Негритята поехали к морю купаться. Рядом была деревня, где жили другие негритята. Приезжих негритят предупреждали, чтобы были начеку. Так что она все знала и понимала. Но там, в той деревне, был один негритенок, Руслан, совсем не такой. Когда встречал, говорил: «Таня, тебя никто не обижает из наших? Если что – скажи мне, люди разные есть!» Приносил фрукты из своего сада. Еще говорил, что про негритят из его деревни здесь рассказывают разное, и ему больно и стыдно, но не все же такие. В последний день пригласил на море на пикник – приехал армейский друг, а для негритят гостеприимство, мужская дружба – это святое. И вот Таня вдруг поняла, что отказаться – совершенно невозможно. Это значило показать ему, что они все – нелюди, которым доверять никому нельзя. И она поехала с одной подружкой, Люсей. Люсе Руслан очень нравился. Да и вашей Тане тоже. Говорила себе: нельзя ни в коем случае в него влюбляться, – вот и влюбилась. А этот армейский друг ей сразу не понравился. Рыжий, глаза жестокие, голос неприятный. Еще сразу внутри застучали тревожные молоточки: Руслан с этим рыжим говорят между собой по-негритянски, а мы не понимаем. Приехали на речку, устроились у костра, ели шашлыки, пили вино. Руслан говорил тосты, за которые

каждый раз надо было пить обязательно до дна, – за материнскую любовь, за здоровье будущих детей. И уже она чувствовала, что опасность рядом, – но не встанешь и не уйдешь. Сидели, как овечки в ожидании заклания. Люся уже совершенно ничего не соображала, хохотала, кричала ей: «Ну чего ты такая? Танька, расслабься!» Поехали, наконец, обратно – уже поздно, темно. Полегчало, что все кончается. Вдруг сворачивают – надо прямо ехать, а они к морю. Стали уговаривать: «Давайте еще посидим, такой вечер хороший!» Остановились на берегу. Руслан и Люся вдруг ушли в лес, сперва еще слышен был ее хохот, а потом затихли. Ваша Таня осталась с этим рыжим вдвоем. Негритенок полез целоваться, стал снимать с нее футболку. Она его отпихнула. Он снова пристает, шарит везде руками. Она ему: «Нет!» Вдруг рыжий негритенок бьет ее по лицу, кулаком прямо в нос. Ее никто так никогда не бил. Льется кровь, но она не чувствует боли, вообще ничего не чувствует – как парализована. А он ничего дальше не делает, чтобы ее насиловать, не снимает одежду, просто бьет, чтобы она сказала, что да, я тоже хочу. Таня ему: «Нет!» Тогда он ударил ее ногой в живот – она скорчилась и еще в голове мелькнуло: «Как так можно? Весь вечер были как люди, и вдруг меня ногой в живот! Как больно-то, мамочки!» Он снова спрашивает: «Не хочешь?» Она мотает головой. Он как зашипит: «Ты долго будешь издеваться надо мной?» Взял бутылку за горлышко, разбил о камень, подходит и говорит: «Сейчас буду резать тебе

лицо». Тут Таня по-настоящему испугалась. Он ее сломал этим страхом. Она вдруг перестала быть человеком, ее больше не было – было только испуганное животное, воющее от боли и от страха, что сейчас будет еще больнее. Это животное сказало: «Да! Хочу!» И он вашу Таню во все дырки. Потом она поползла в ручей отмываться. Тут Руслан с Люсей вернулись – довольные, счастливые. Таня грязная, все лицо в синяках. «Что у вас тут произошло?» Она ответила: «Ничего. Все хорошо».

Ответ: Зачем вы мне это рассказали?

Вопрос: Чтобы вы знали то, что было.

Ответ: Она хотела сделать аборт?

Вопрос: Нет. Она сказала своей маме только то, что была на юге, и забеременела, и теперь хочет родить ребенка. Они стояли на кухне. Мама курила и молчала. Ей нельзя было курить, она уже была больна, но никому об этом не говорила. Потом потушила сигарету под струйкой воды из-под крана и сказала: «Вот и хорошо. Родишь нам малютку, и будем ее любить. Бог не по силам испытаний не дает». Она еще успела понянчиться с внуком. Что с вами?

Ответ: Извините, просто глаза приклеились. Вот смотрел на телефон и вдруг подумал: если Таня сейчас позвонит сюда – ведь бывают же чудеса на свете – и спросит: «Есть новости?» – я знаю, что ей ответить. Я скажу: «Есть. Я люблю тебя еще больше».

Вопрос: Вы с ней хотели ребенка?

Ответ: Конечно. И я, и она. Сначала ничего не получалось – она никак не могла забеременеть, и я боялся, что это из-за меня, что со

мною что-то не в порядке, у нее ведь уже был ребенок. А потом она забеременела. Это произошло в тот самый день, когда она прижимала к себе пахучую кофемолку, а я открывал банку сардин. Мы купили в аптеке тест, и она зашла в туалет – мы как раз гуляли по Гоголевскому бульвару. А зима была, снег, и везде были раскатаны ледяные дорожки. Так она разбежалась и ко мне покатила, как девчонка. Хохочет, размахивает руками. Скользит прямо мне в объятия. Ничего не сказала, я и так все понял.

Вопрос: Вы знали, что у нее проблемы с почками?

Ответ: Откуда? Сначала все было хорошо. Помню, мы пошли в консультацию вместе, я обязательно хотел пойти с ней, не знаю почему. Вдруг стал за нее бояться. И мне там все сразу не понравилось. На Таню завели историю болезни, будто беременность – болезнь. И к врачу нужно приходиться со своим полотенцем и со своими тапками или надевать на ноги полиэтиленовые пакеты. Один раз по телевизору была передача про роды в море. Показывали, как беременные уезжали к морю и там рожали. Приглашали, дали телефон, куда обращаться. Таня потом вдруг спросила: может, тоже поехать рожать на море? Но это было что-то вроде секты, и женщины потом должны поедать послед, как собаки. Я сказал: не волнуйся, заплачу, сколько надо, и все будет в порядке. Таня простудила почки и должна была лежать, проводила недели в постели, пила много жидкости, распухла, будто у нее двойня. Ей казалось, что она подурнела, и поэтому все прикладывала к глазам испитые па-

кетки с чаем, верила, что помогает против отечности. Или две дольки огурца. Но все это когда меня не было: боялась, что я так ее увижу – с огуречными глазами.

Вопрос: А сын? Ревновал?

Ответ: Наоборот. Ромка радовался, что у него будет братик или сестренка. Помню, мы лежим вечером втроем и гладим ее живот – я с одной стороны, Ромка с другой. Я говорю: «Расти, сестренка!» А Ромка: «Расти, братик!» Я девочку хотел, а он мальчика. На УЗИ потом сказали, что будет мальчик. Ромка радовался: «Ура! Я выиграл!» Отпечаток с экрана поставили за стекло на книжную полку. Просыпаешься утром за несколько минут до будильника и смотришь – как сквозь помехи из космоса: вот головка, вот ручка. Будто он передает нам привет с какого-то космического корабля, будто уже летит к нам откуда-то с другой планеты, где жил все эти тысячи и миллионы лет, поджидая нас. Потом ее положили на сохранение. Она без книг жить не могла и в больницу взяла с собой несколько штук. Пыталась там читать, но ей не давали бабскими разговорами. Я к ней заезжал каждый день, и мы ходили по больничному коридору, потом я бежал в садик за Ромкой. Она открывает книжку, какую читала, и спрашивает: «Смотри, здесь написано, что человеческое тело вытянуто во времени – и таким образом всюду заполняет собой пространство. Это как?» Пожимаю плечами – откуда мне знать? Раз там так написано, то, может, так оно и есть. Им видней. Спрашиваю: «А ты понимаешь?» Качает головой: «Еще нет. Но когда-нибудь пойму».

Я смеюсь: «Так и я когда-нибудь пойму». Там нянька мыла пол и все время ворчала: «Вот так всю жизнь в постоянном страхе и живем – сначала боишься забеременеть, потом рожать, потом до гроба страх за дитя».

Вопрос: Она вернулась домой уже без ребенка?

Ответ: Да. Она перестала чувствовать в себе его движения. Ребенок был уже мертв – в ней.

Вопрос: Вам объяснили, что случилось?

Ответ: Объясняли. Я не очень понял. Я боялся за Таню. Ей было очень тяжело. А главное, я не знал, что ей сказать. Хотел ее утешить, успокоить, но это ведь в таком положении невозможно. Я только говорил все время: «Мы вместе, и это главное. И у нас есть Роман. И у нас еще будет ребенок. Обязательно будет! Вот увидишь!»

Вопрос: Что вы сказали мальчику?

Ответ: А что тут скажешь? Так и сказали, что его братик не родился. Что он умер. Таня водила Ромку по воскресеньям в школу при церкви. Он возвращался и выдавал сентенции, вроде: «Говорить, что нет Бога, – это как убеждать детей, что у них нет и никогда не было родителей». А тут пришел и сказал: «Ничего он не умер! Просто он нас ждет где-то». Я боялся за Ромку, что ему трудно будет – что другие мальчишки забьют. Это с мамой он боевой до истерики, а с другими детьми ниже травы, тише воды. Боялся плавать в пруду – что глотнет головастика, что присосутся пиявки. И всех жалел. Один раз зимой в мороз принес домой птицу, подобрал на дороге. Замерзшая, твердая – думал, что отогреет, и та оживет. А фантазия

у него! Играет сам с собой, будто два чайника с поднятыми носиками – это два слона разговаривают друг с другом, большой и маленький. В баню с ним пошли, там жара, шум. Он говорит: «Папа, сделай так!» Стоит и закрывает уши ладонями, потом открывает и снова закрывает – получается, будто кто-то чмокает в ушах. Вот стоим с ним и чмокаем ушами. Перед сном укладываю его и читаю что-нибудь. Мы с ним все перечитали, и Робинзона Крузо, и Гулливера, Мюнхгаузена, и Жюль Верна. Он из мыла сам сделал подводную лодку капитана Немо. И у нас с ним такой ритуал был перед сном – загадывать, кто где хотел бы проснуться. На необитаемом острове или еще где. Один раз он загадал, чтобы проснуться на подводной лодке капитана Немо, а там его ждет братик. А чаще я сам быстрее засыпал, чем он. Таня приходит, я сплю, а Ромка сидит в «Лего» играет или книжку смотрит. Я боялся все это потерять. Я боюсь, что с ними может что-то случиться. С ними может произойти все что угодно. Мне страшно за них.

Вопрос: Все будет хорошо.

Ответ: Да?

Вопрос: Поверьте, все обойдется.

Ответ: Вы думаете?

Вопрос: Я знаю.

Ответ: Откуда вы знаете?

Вопрос: Все всегда заканчивается хорошо. Так ведь каждый раз бывает: сначала переживания, страхи, волнения, слезы, потери, а в конце концов все оказывается уже позади. И уже не верится даже, что все это было. Как дурной сон. Прошло – и нет.

Ответ: А я тут заснул, и мне приснилось, как мы лежим снова в нашей кровати, Ромка юркнул к нам под одеяло, и мы с ним гладим ее живот с двух сторон, и я спрашиваю ее: «Как, разве он там не умер?» А Таня мне отвечает: «Да нет же, послушай!» И я глажу ей живот и хочу приложить ухо, послушать, и вдруг мне становится так страшно, что все это сон, и там у нее внутри – смерть, и вот сейчас я проснусь – в застуженной камере, в наручниках, и меня, кое-как зашитого, отправят обратно в барак.

Вопрос: Ну что вы! Ничего страшного, все хорошо, все позади! Ничего больше не нужно бояться! Все, что было плохое, – все это просто кошмарный сон, и вы сейчас проснетесь там, где загадывали с сыном проснуться. Хотели же вы с ним проснуться в мыльной кают-компании! И там будет ваша Таня, и Ромка. И вас там уже заждался его братик. И ваша мама. И сестра. И все, кто вам близок и дорог. И все станет вдруг так просто и понятно про человеческое тело, которое вытянуто во времени и таким образом всюду заполняет пространство своей любовью. А для Ромки там какое раздолье – целая подводная лодка! Можно все трогать, крутить ручки, колесики, нажимать на рукоятки, задвижки, клапаны, кнопки, рычажки. И сам капитан Немо наденет ему на голову свою пропотевшую, засаленную, еще горячую изнутри фуражку.

Утром войско двинулось на Вавилон. Уже наступил час, когда на базаре становится многолюдно, и стоянка, где Кир предполагал сделать привал, была недалеко, когда показался Патесий, знатный перс из

приближенных Кира, несущийся во весь опор на взмыленном коне и кричащий всем встречным на варварском и греческом языках, что приближается царь с большим войском, готовый вступить в бой. Выслушав его, Кир сказал: «Воины, наше отцовское царство так велико, что оно простирается на юг до тех мест, где люди не могут жить из-за жары, а на север – до областей, в которых нельзя обитать из-за холода. В случае нашей победы я обязан дать моим друзьям власть над этими странами. И я боюсь не того, чтобы в случае успеха у меня не хватило даров для всех моих друзей, но того, что у меня не окажется достаточного количества друзей, которых я мог бы одарить».

Кир, сойдя с колесницы, надел панцирь, сел на коня, взял в руки копье и приказал всем полностью вооружиться и занять свое место в строю. Сам Кир пошел в битву с непокрытой головой.

Уже наступил полдень, а неприятель еще не показывался. Только после полудня появился столб пыли, похожий на светлое облако, а несколько времени спустя на равнине, на далеком расстоянии, выросла как бы черная туча. Когда неприятель приблизился, засверкали медные части и наконечники копий и можно было разглядеть полки. Впереди расположены были серпоносные колесницы. Серпы у них насажены вкось на оси колес и повернуты под колесницами лезвием к земле, для того чтобы разрезать на части все встречающееся на пути. Варварское войско приближалось размеренным шагом, а эллинское еще стояло на месте и строилось, вбирая в себя подходившие части. Кир разъезжал перед строем своих солдат и смотрел в ту и другую сторону, наблюдая врагов и друзей. Клеарх подскакал к нему и убеждал оставаться позади бойцов и не подвергаться опасности. «Что ты говоришь, Клеарх! – вос-

кликнул Кир. – Я ищу царства, а ты советуешь мне показать себя недостойным быть царем!» Войско врага приближалось спокойно и медленно, без крика, в полном безмолвии.

Любезный Навуходонозавр!

Нынче у нас почтовая ночь, и вот спешу набросать Вам несколько слов.

Не знаю, как у Вас, а у нас здесь слова образуются по ночам, сгущаясь из словесной туманности. Словесная пыль каким-то образом превращается – нам объясняли когда-то в школе, но я все перезабыл, то ли не без участия холодильника Либиха, то ли под воздействием климатических колебаний – в семечки на языке.

А может, просто закон бессонницы.

Кстати, получили ли Вы мое предыдущее послание, в котором я рассказывал об охоте на вальдшнепов, свадьбе без жениха, разорванной записке на рояле, покрытом лунным лаком, войне, бале, дуэли и университетском швейцаре, артистически игравшем в шашки пробками от химической посуды? Право, устаешь пенять на почту! Отправляешь нарочным, просишь их поскорее, щекочешь кончиком пальца протянутую дылдой-почтмейстером великанскую ладонь, мол, голубчик, по старой дружбе, за нами не постоит, а он, вместо того чтобы запрячь в собачью упряжку своих откормленных лаек, посылает каких-то доходяг. А после тундры тайга. Там только по льду замерзшей Тунгуски. Да и то если будет оказия.

Что ж удивительного, что Вы получите это мое послание с новостями, может, лишь через много лет. У нас сейчас полпервого. И мое полпервого перенесется к Вам. Впрочем, я уже, кажется, сообщал, что в нашем безграничье что-то не так со временем.

Мое же полпервого заставлено коробками из-под бананов. Остались неразобранными еще после переезда. Стоят у стены. Тогда оставил просто временно, на первые дни, чтобы потом распаковать, а вот первые дни растянулись, вобрали в себя времена года, круговорот снега в природе и зудение комара.

Очень удобная вещь для переезда. В Denver'e тогда взял несколько отличных коробок. А тут хотел что-то найти – и не помню, где это могло бы быть, так что пришлось все разбирать. Всякий хлам, старые записные книжки, газеты, журналы, черновики, вырезки, выписки, допесочный Египет, выпавшая пломба, дебют четырех коней на мосту, вмятинки на паркете от острых каблуков.

А еще нашел бумаги из того самого допесочного Египта, когда толмач был молодым учителем орочей и тунгусов, получал копейки и бегал после школы еще по домашним урокам. У молодого учителя тогда только что вышел в одном журнале первый рассказ, от чего должен был перевернуться мир, но, вопреки ожиданиям, не перевернулся. Его, к счастью, ничто не перевернет. Зато, в утешение, в один зимний дождливый день – уже ползимы прошло, а морозов и снега все не было, и выброшенные новогодние елки валялись во дворе на пожухлой траве – молодому учителю позвонили из одного издательства, которые тогда пооткрывались в каждом подвале, и предложили написать для биографической серии книгу об одной известной когда-то певице, исполнительнице романсов.

Когда он услышал ее имя, сразу вспомнил подвал в Староконюшенном, допотопный электрический проигрыватель с переломанной рукой, которую его отец, бывший подводник, перебинтовал синей изоляцией. Будущий молодой учитель слушал на нем без конца свои пластинки про Чипполино и дядю

Степу, а его отец – свои старые, черные, тяжелые, и тогда нужно было переключать с 33 оборотов на 78. Проказник и неслух, разумеется, обожал слушать все наоборот, и тогда синьор Помидор чирикал что-то по-лилипутски, а на пластинках отца женские голоса становились похожими на голос дяди Вити, соседа по двору, у которого на войне разворотило челюсть, и он ходил – так говорили – с серебряной трубкой, вставленной в горло.

У бывшего подводника была одна пластинка этой самой певички. Когда приходил пьяным, он всегда ставил именно ее. Мама шла к соседям или на кухню, а отец захлопывал за ней дверь, брал будущего молодого учителя в охапку, садился на диван, на котором они все втроем спали – женщина укладывала сына, хотя у того была своя кровать, между собой и женщиной, наверно вот так, ребенком загораживалась, – и говорил про какую-то Зосю, которая подарила ему эту пластинку, когда их подводная лодка стояла после войны на базе в Либаве. Про Зосю было неинтересно, и будущий молодой учитель просил рассказать про арбузы. И тогда отец вспоминал, как с мальчишками воровал арбузы и дыни с железной дороги. Будущий учитель представлял себе все, как в кино: вот состав замедляет ход, отец-герой, разогнавшись, запрыгивает на подножку арбузного вагона, подбирается, распластавшись на трясучей стене, к заветным окошкам под самой крышей и выбрасывает на ходу из полного вагона арбузы или дыни. Иногда арбузы лопаются, взрываются, как бомбы. Потом он ловко прыгает ровно посередине между двумя столбами и кувыркается под откос. Будущий молодой учитель очень гордился своим отцом и теми арбузами.

И даже сейчас, когда я все это пишу, вдруг ужасно захотелось арбуза, будто это вовсе не отец, а я сам

подкрадываюсь, распластавшись по стене грохочущего вагона, к открытому окошку, там темно, и я уже знаю, что в вагоне не арбузы, потому что на меня пахнуло из жаркой, душной темноты дынной коркой.

И вот о той певице с пластинки, певшей голосом дяди Вити с серебряной трубкой в горле, молодому учителю предложили написать. Оказалось, что она до сих пор жива, хотя все думали, что давно умерла. Издательству передали ее воспоминания и дневники. С ней нужно было встретиться и записать рассказы на пленку.

Бедный молодой учитель, разумеется, сразу согласился, тем более что ему пообещали аванс – баснословные триста долларов. В школе он бы столько не заработал и за год. Зачем-то помню, что за окном, во дворе, когда говорил по телефону, две девочки играли в Новый год, воткнув полуосыпавшуюся елку с обрывками серебряной мишуры в кучу грязи рядом с помойкой, и дарили друг другу подарки, протягивая в пустых руках что-то никому, кроме них, не видимое.

В назначенный день, когда нужно было прийти за договором, ударил мороз – все было выстужено, остекленело, и улица, и трамвай. Люди поросли седой у висков. Усы и бороды у всех засеребрились, и каждый нес перед собой дыхание, как воздушную сахарную вату на палочке. Издалека было видно, как у входа в метро стояло огромное облако пара, плотное. Над дверями, на названии станции, на фронто-не и на колоннах вырос мохнатый лед на полметра.

В подвале, где было издательство, дуло изо всех окон, покрытых толстым слоем инея, в комнатах сидели в шубах. Редактор, которая вела эту книгу, стояла на стуле и заклеивала щели между рамами широким скотчем. Сзади на юбке пристала белая нитка,

и молодой учитель поймал себя на том, что вдруг захотелось осторожно снять эту нитку и намотать на палец: Алексей, Борис, Виктор... Дама куталась в шаль, кашляла и сморкалась в прижатый к носу платок и велела не смотреть на нее.

– Я сейчас страшная. Смотрите вот лучше на Синай!

На стенном календаре были какие-то выжженные солнцем горы. У редакционной дамы действительно гноились глаза, и молодой учитель, смутившись, послушно смотрел на Синай. Там был знойный день, воздух раскалился, дрожал, струился.

Пока будущий автор биографии заполнял договор, дама, шмыгая без конца носом, жаловалась, как сложно работать со стариками, и рассказывала о каком-то кинорежиссере, о котором тоже писали книгу из этой серии и который все время забывал, что его сын давно умер, и то и дело спрашивал: «А где Вася?» Ему каждый раз отвечали, что ушел в магазин. Старик, удовлетворенный таким ответом, продолжал рассказывать про свою молодость дальше, со всеми подробностями.

Сами дневники домой не дали, молодой учитель мог взять только ксерокопии, но просмотрел эти тетрадки в тот же день, устроившись на ледяном кожаном диване в застуженном коридоре редакции рядом с каким-то чахлым растением в кадке, которое не замерзло, наверно, только потому, что его окуривали и кадку использовали как пепельницу. Пальцы околоченели, и пришлось надеть перчатки, листать в них было неудобно, страницы скользили и не хотели переворачиваться, пару раз драгоценные тетради даже выпрыгивали из рук на замызганный пол, но никого, к счастью, тогда в коридоре не было.

Дневники в разноцветных допотопных переплетках пахли старыми окурками из кадки, и сквозь эту

затхлую вонь пробивался запах слежавшегося в исписанных страницах времени. И еще чуть пахло чем-то женским, вернее, старушечьим, какими-то старыми духами. Чернила выцвели, а иногда она писала карандашом. Одни записи были с датами, другие без. Почерк был скорее неряшливый, все время разный: то страницы шли как вышитые гладью, то каракуль. Некоторые места были просто замазаны густой черной краской. Иногда шли белые листы – будто хотела заполнить их позже. Потом снова беспорядочные записи. Некоторые страницы были вырваны. Судя по нумерации тетрадей, три из них вообще исчезли.

Окоченев, молодой учитель вернулся в кабинет редактора и снова стал смотреть на залитый солнцем, изнывающий от жары Синай. Ему подумалось: как правильно, что именно там разверзлось синее от марева небо и народу-богоносцу были даны скрижали, а не в парном облаке у входа московского метро, заросшего льдом. А редакторша, сморкаясь, давала указания, что надо поскорее идти встречаться с героиней, потому что ей уже далеко за девяносто, и она тоже уже все путает, отключается, но у нее еще бывают просветы, и вот в такой просвет нужно попасть и ее разговорить. Воспоминания она начала писать уже давно, но все никак не могла выйти из детства, а потом и вовсе забросила.

– Это будет вам подспорьем, – сказала дама, – но особенно не надейтесь, я пыталась это читать – все не то. Главное, постарайтесь ее разговорить. Вы хоть кивайте головой.

Молодой учитель послушно закивал головой, небрежно засовывая сто долларовые купюры, которых никогда до этого и в руках не держал, в карман.

– Как бы вам объяснить, чего бы мне хотелось, – продолжала она. – Суть книги – это как бы восста-

ние из гроба: вот она вроде бы умерла, и все о ней забыли, а тут вы ей говорите: иди вон! Понимаете?

Он закивал:

– Да-да, конечно, чего же здесь не понять.

Потом в метро, когда ехал домой, все нащупывал, на месте ли три заветные бумажки. Казалось, что все видят, что он везет, и было страшно, что деньги вытащат в потной подземной толчее.

Пачку ксерокопий ее дневников и воспоминаний автор будущей биографии просмотрел в ту же ночь. Старуха действительно писала очень подробно о каких-то ненужных, интересных только ей людях, вспоминала без конца какие-то неважные детали, и для той книги, которую ему заказали, все это было бесполезно.

На следующий день молодой учитель на перемене позвонил по полученному в редакции телефону. Ему сказали, что Белла Дмитриевна сейчас плохо себя чувствует и встретиться для интервью не может. Попросили перезвонить на следующей неделе. На следующей неделе повторилось то же самое. Наконец договорились о встрече, и он отправился в Трехпрудный переулок.

Уже была весна, и во дворе, забитом ржавыми «жигулями» и заляпанными московской грязью иномарками, вылез из-под снега весь собравшийся за зиму мусор. Код в подъезде был сломан, лифт не работал, и пришлось подниматься по лестнице, заваленной обломками кирпичей от затянувшегося ремонта, газетами и селедочными головами. Стоял московский подъездный дух – пахло мочой, кошками и сырой побелкой. Звонок не работал. Молодой учитель постучал. Долго вглядывались в глазок, потом дверь чуть приоткрылась. Ему сказали, что ночью старуху увезли в больницу. В темноте коридора он мог разглядеть только руки, обсыпанные мукой.

В тот момент, когда молодой учитель разговаривал с белеющими мучными руками, с которых сыпалась пыльца, он понял, что из этой книги о певице ничего не выйдет.

Потом он звонил еще несколько раз. Его героиня вернулась из больницы, но встречаться уже не имело смысла – просветов больше не было. Он просил хотя бы об одной встрече – попробовать, вдруг что-то получится.

– Да она никого не узнаёт, – ответили ему. – Поимейте совесть, молодой человек! Оставьте старого, больного человека в покое, нельзя же так!

Время шло. Молодой учитель узнал, что приостановилась, не начавшись, та биографическая серия, для которой он должен был написать книгу. Затем лопнул один большой банк, и вместе с ним исчезло и издательство. Потом было много всего, и пачка ненужных ксерокопий, завернутая в пакет из булочной, валялась несколько лет где-то среди других бумаг и книг.

Когда Белла Дмитриевна умерла, он уже толмачествовал далеко. Узнал о ее смерти случайно, когда прилетел в Москву. Уже прошли торжественные похороны, статьи в газетах, передачи по телевидению. И так получилось, что толмач шел по своим делам и оказался как раз на Трехпрудном. Двор и дом было трудно узнать, все вылизано, у свежепомытых лимузинов, сверкающих на июньском солнце, скучали коротко стриженные крепыши в дорогих костюмах. Две молодые мамыши, оставив коляски, обламывали ветки распускающейся сирени. Толмач постоял рядом с пахучим треском. Потом зачем-то решил зайти. Код был сломан. В подъезде пахло краской после только что оконченного ремонта, и к этому новому запаху уже примешивался старый – кошек, мочи и сырой побелки.

Позвонил в дверь. Открыла та же женщина, с которой разговаривал молодой учитель несколько лет назад. Только теперь в ее мучнистых руках был мобильник. Похоже, квартиру уже кто-то купил, и в коридоре толпились вещи, собранные для переезда. Незванный гость стал объяснять, что когда-то говорил с ней по телефону, поскольку собирался писать о Белле Дмитриевне, и даже был здесь. Его прервали:

– Что вы хотите?

Он и сам толком не знал, чего хотел и зачем пришел. Не объяснять же ей про старый, перевязанный изолентой проигрыватель в Староконюшенном, про синьора Помидора, про голос дяди Вити, про запах дынной корки. Зачем-то спросил:

– А вы были при ее смерти? Как она умерла?

Женщина усмехнулась:

– Вам для печати или как на самом деле?

Пожал плечами:

– Как на самом деле.

– Тогда вот: не могла покойница последнее время никак поспать – что вы хотите, в сто лет! И тут я ночью слышу как гром. Прибегаю, лампа на тумбочке стояла – валяется на полу разбитая, а Белла Дмитриевна с кровати упала – вся, прости Господи, обосралась. И уже Богу душу отдала. Царство ей небесное.

По кухне бегают поросенок со смешным хвостиком. Я с ним играю, мы подружились. Он так заразительно хрюкает. Мы хрюкаем на пару, визжим от поросячьего восторга. Потом его же с таким же смешным и живым хвостиком вижу в столовой на блюде. Я рыдаю и хочу убежать из-за стола. Помню, особенно было страшно, что мне на тарелку хотели положить, чтобы я успокоилась, отрезанный хвостик. Наверно, это было первое в жизни ощущение смерти.

Сколько мне было? Три? Четыре? Не мне, конечно, старой, бестолковой, поглупевшей, а той далекой девочке.

Пятый, поздний, уже неожиданный ребенок.

Помню, как брат Саша, самый старший из всех детей, болел скарлатиной. Его изолировали от нас, и я говорю с ним через закрытую дверь. Брат уверяет, что у него сходит кожа, я ни за что не хочу в это поверить, и он просовывает ее кусочки в замочную скважину.

Сестра Аня, моя любимая Нюся, изучает арифметику, делает примеры, уткнувшись в учебник, я пристаю к ней, она сажает меня на колени, и я замираю, видя, как перо выводит удивительные непонятные значки. Нюся рассказывает мне про сложение и вычитание. На Пасху мы идем на кладбище, и вдруг я обнаруживаю, что над умершими людьми стоят плюсы.

Мама приводит младших, Машу, Катю и меня, во французскую кондитерскую на Большом проспекте. Мне нравится название тающих во рту пирожков – птифуры. Зельтерскую воду мы называем кипяточком – за то, что пузырится и щиплет язык.

Когда мы ссоримся и деремся, мама заставляет нас мириться до того, как ложимся спать, – чтобы зло не оставалось на завтра.

Мамины духи – «Muguet de mai».

За столом нельзя вертеться и ерзать, руки ни в коем случае не на коленях, а на столе, и не просто, а так, чтобы оба указательных пальца касались края тарелки. Почему-то считается, что так держит руки государь император.

Мама говорит, что каждый человек должен сажать деревья и копать колодцы – каждому ребенку в нашем палисадничке отводят полоску грядки, и мы сажаем там что-то и поливаем. Я прибегаю каждый

день смотреть, как пробиваются к свету мои горошинки, как поднимаются мои зеленые росточки. Потом как-то ночью к нам залезают мальчишки из Темерника и все вытаптывают. Мама убеждает нас, что нужно сажать снова, но я не хочу.

Утром мама в халате с широкими рукавами – приятно залезть в рукав головой. После завтрака взрослые пьют кофе, и она дает детям в ложке кусочек сахара, обмакнув его в черный кофе из своей чашки. А я еще норовлю лизнуть маме руку, потому что она называет меня подлизой. Я воспринимала это буквально, потому и говорю: лизычок, а не язычок.

Я люблю, когда она пишет письма – мне разрешается приставлять в конце строчек восклицательные знаки.

Мама играет нам из Чайковского – «Детский альбом». Особенно трогают меня «Похороны куклы». Помню, что я беру мою Лизу, которая умела закрывать и открывать глаза, и укладываю ее в коробку. Я плачу, оттого что она умерла. Потом мне становится скучно без нее. Хочу открыть коробку, но сама себя останавливаю: нет, нельзя, ведь Лиза умерла, ее больше нет. И тут все во мне восстает против этой невозможности: почему нельзя? Вот же она, моя любимая Лиза, вот ее роскошные белокурые пряди, вот ее розовые щечки, вот ее шелковое платьице, вот она открывает глаза и выходит из коробки как ни в чем не бывало! Не бойся, Лиза! Никакой смерти нет!

Придет день, и я дам одной девочке поиграть моей Лизой, а когда мы поссоримся, она в порыве злобы выдавит кукле глаза. В пустой фарфоровой голове с черными провалами глазниц будут звонко перекатываться стеклянные шарики.

Кухня – вотчина няни, которая в то же время исполняет обязанности кухарки. Там же няня прини-

мает своих ухажеров. По вечерам появляются полицейские, матросы с гармошками. Я еще не знаю слова «эксплуатация», но это именно то, что делает няня с ними, – то они выбивают ковры во дворе, то натирают полы. Для полов она все же предпочитает ухажеров – профессиональных полотеров. Те появляются раз в месяц, она флиртует с ними на кухне и усердно угощает. Для мамы это день кошмара, она уходит из дома, а мне, наоборот, невероятно нравится и то, что в доме все переворачивается вверх ногами, и запах мастики.

Утром в день рождения няня уже ждет у дверей, когда проснешься, чтобы сразу что-то подарить – только откроешь глаза.

На Сороки, 9 марта, она печет жаворонков с распростертыми крыльями, как бы летящих, с глазами-изюминами. Мы съедаем не все, головы оставляем для родителей – только выковыриваем глаза и сосем сладкий изюм. Кричим: «Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите, теплу весну принесите: зима нам надоела, весь хлеб у нас поела». Каждый день у нас на столе свежий душистый хлеб из булочной, но в ту минуту мне кажется, что действительно у нас после долгой зимы не осталось ни крошки и только жаворонки смогут принести нам спасение. Прежде чем посадить их в печь, няня всегда закладывает в нескольких монетку или колечко. Заветный жаворонок всегда достается мне – очевидно, няня, запомнив, в какой именно она засунула копеечку, подсовывает его мне. Я убеждена, что этот праздник связан каким-то образом с сорокой-белобокой, и очень удивляюсь, узнав, что таким образом мы отмечаем день сорока мучеников Севастийских. Помню, как в церкви няня тычет пальцем в какую-то темную икону, на которой я ничего не могу разобрать, только головы святых с нимбами сливаются

в гроздь винограда, и рассказывает шепотом на ухо, как несчастных вывели раздетых на лед и заморозили.

Мне нравится запах смолки в лампадке и ладана в церкви, особенно зимой, когда снаружи метель и морозно. Няня объясняет, что смолки зажигают, чтобы Богу было приятно нюхать. Я уверена, что в церкви живет Бог, и няня поддерживает меня – ведь зимой на улице холодно, у каждого есть свой дом, и вот церковь – это дом, где Он греется.

С Рождества до Крещения на всех дверях и предметах она ставит мелом белый крест от нечисти. Потом крещеной водой с реки всё освящают, и уже можно не бояться всякой чертовщины – ведь после Рождества Бог на радостях, что у него родился Сын, отмыкает все двери и выпускает чертей погулять.

В мире няни черти или ангелы так же реальны, как чулки или калоши. И я вместе с ней не сомневаюсь, что каждому человеку при рождении приставляются черт и ангел, оба не оставляют тебя ни на минуту, ангел стоит по правую сторону, а бес слева – поэтому нельзя плевать по правую сторону и ложиться спать надо на правый бок, чтобы держать лицо обращенным к своему ангелу и не увидеть во сне что-то плохое. Ангел записывает все твои добрые дела, а дьявол злые, и, когда человек умрет, ангел будет спорить с дьяволом о его грешной душе. Зазвенит в левом ухе – это искушитель летал к сатане сдавать грехи человека, сделанные за день, и вот теперь прилетел назад, чтобы снова стать на страже и выжидать случая и повода к соблазнам. Во время грозы бес, преследуемый стрелами молнии, прячется за человека. Поражая беса, Илья Пророк может убить и невинного. Поэтому во время грозы надо креститься.

Перед сном я представляю себе, как выглядит мой Ангел-Хранитель, какие у него белоснежные крылья,

мягкие и душистые, как мамина пуховка, которой она пудрится.

Няня ведет меня куда-то. По дороге мы видим, как мальчишки бросают в кусты камни. Няня сокрушается и ворчит, что так нельзя – в воздухе везде ангелы и нечаянно можно попасть. В кустах, мимо которых мы проходим, что-то шевелится. Мальчишки с камнями в руках ждут, когда мы уйдем. Я вижу в кустах птицу, голубя с перебитым крылом. Мы забираем его с собой. Он живет до вечера у нас на кухне, а на следующий день исчезает. Няня говорит мне, что он выздоровел и улетел. Я ей не верю, но молчу. А перед сном представляю себе, что, если мой Ангел-Хранитель окажется с перебитым крылом, я его вылечу.

Где-то под полом живет домовой, невидимый жилец, сторож всех живущих. Видеть домового нельзя, это не в силах человека, но можно его услышать и даже потрогать, вернее, почувствовать его касание: он говорит, будто листьями шевелит, и гладит ночью спящих своею мягкой лапой.

Няня учит меня молиться, у нее в углу много икон, но моя любимая – икона Божьей Матери Троиручицы. Я люблю, когда няня рассказывает мне про нее. Когда Ирод хотел погубить маленького Христа, Богородица бежала с ним в Египет, и по дороге один раз за ней погнались разбойники. Она с Младенцем на руках бежала, бежала, и вдруг перед ней река. Бросилась в воду, чтобы переплыть на другой берег и спастись от погони. Но с ребенком на руках как плыть? Грести одной рукой как? Вот и взмолилась Богородица к своему сыну: сын мой родненький, дай мне третью руку, а то плыть мне не вмоготу. Младенец услышал молитву матери – и выросла у нее третья рука. Тогда уже плыть стало легко – и вылезла на другом берегу, спаслась.

Я боюсь Страшного суда и даже знаю, что он будет перед масленицей – неделя о Страшном суде. За окном вырастает огненно-красный закат в морозный вечер, и я решаю, что уже началось, – бегу на кухню и отдаю няне карамельки и пряники, какие припрятала.

Против порезов для остановки кровотечения лучшим средством у нее считается паутина. Однажды я беру без спросу папин перочинный ножик – и вот уже из пальца брызжет кровь. Няня бежит в сарай собирать по углам паутину, закрывает ею порез и перевязывает тряпками. Для папы все это дикость, и он, узнав, в чем дело, зло кричит на мою спасительницу. Он хочет обработать рану йодом, я не даюсь и рыдаю до тех пор, пока он не просит прощения у няни. Та сидит насупившись, потом, прослезившись, крестит его, и примирение наступает, но ненадолго.

Вернувшись на Пасху из церкви, папа возмущается, что все причащаются с одной ложки – ведь это прямой путь заболеть! Няня возражает: дитя крещеное!

Помню, как он рассказывал, что в детстве занимался на флейте и перестал, не смог больше, после того, как учитель, показывая, играл на инструменте и потом папа должен был брать в рот мундштук после него.

Водосвятие. Няня уверена, что крещеная вода целебная и что чем раньше почерпнуть освященной воды, тем она святее. Бабы, рабочие, старухи, старики лезут к проруби, давя друг друга. Тут же кому-то промывают больные глаза. Какую-то женщина льет воду со льдом в рот больному ребенку. Я боюсь давки, обезумевшей толпы, начинаю реветь. Раскрасневшаяся, растрепанная няня подхватывает меня на руки и заставляет сделать глоток прямо из бутылки.

Сводит скулы. Возвращаемся домой. Няня отпивает несколько глотков и кропит весь дом – уверена, что это охранит нас от беды и сглазу. Она рассказывает мне перед сном, что в ночь перед крещением в воде купается сам Христос, поэтому вода колышется. Если прийти в полночь на реку и ждать у проруби, придет волна – это Христос погрузился в воду. Папа, который, оказывается, стоит в дверях и слушает, начинает смеяться. Спрашивает: как может быть целебной вода, в которой купают шелудивого порося?

Вспоминаю папу, и во рту сразу лимонный вкус – он сам всегда пил и заставлял детей пить свежесжатый сок лимона. Вот за обедом в залитой солнцем столовой мы подходим к нему по очереди и получаем по рюмочке. От граней отскакивают солнечные лучи и прыгают по всей комнате, стенам и потолку.

Я знаю, что я – папина любимица. Иногда он берет меня с собой без сестер. В гостях у какого-то знакомого папы – лодка на колесах, но с настоящими веслами. Я плаваю на ней по широким коридорам.

Папа – известный в городе специалист по кожным болезням, работает в городской больнице, но часто принимает и на дому, особенно лиц из общества, которые избегают излишней публичности в таких деликатных делах. Однажды я, оставленная без присмотра, начинаю копаться в его шкафу в поисках книг с картинками, и вскоре меня обнаруживают сидящей на паркете и рассматривающей цветные изображения мужских половых органов, богато украшенных всевозможными страшными язвами. Потом я долгое время с отвращением гляжу на проходящих мимо мужчин – кажется, что у всех там такие язвы. С еще большим ужасом, почти с отчаянием, смотрю после этого на папу и на брата Сашу. Все

не верится, что и у них тоже между ног растет какая-то страшная опухоль.

С того случая папа всегда держит наготове какие-нибудь невинные альбомы. Он выписывает все книги, выпускаемые в Москве Кнебелем, и, когда я впервые попаду в Третьяковку, меня охватит ощущение, что вернулась в свое детство.

Папа интересуется историей, выписывает специальные журналы и один раз летом вывозит детей на раскопки древнегреческого города. Древняя Греция, оказывается, совсем рядом – город Танаис, основанный греческими колонистами из Керчи, лежит рядом с Доном, в Елизаветовской станице. Помню только полдневное пекло, какие-то ямы и далекие курганы в степи. Отец рассказывает про философов и виноделов, про хитоны и пеплосы, а я ною, что умираю от жары и хочу пить. Жду, когда же уйдем из этого Танаиса, состоящего из ям и разбросанных камней. Мне не верится ни в каких древних греков. Когда слышу, что город стоял на границе тогдашнего мира, между образованием и дикостью, между светом и тьмой, и был разрушен варварами, я удивляюсь, что его разрушили мальчишки из Темерника, которые вытоптали наши цветы, ведь мама их тоже называла варварами. В мозгу проблескивает детское прозрение: может быть, когда-нибудь про нас тоже будут думать, что мы – древние греки, которые жили среди варваров?

Потом на бричке с таким раскаленным от солнца сиденьем, что я обжигаю себе на чем сижу, мы долго едем к скифскому кургану, в котором ученые нашли золото. Меня укачивает, и кружится голова от палящего солнца. Я хочу увидеть золото, но и тут меня постигает разочарование. Помню только, что какие-то люди протягивают папе странные чаши. Оказывается, обрезанные черепа, из которых они сделали пе-

пельницы. Еще они шутят, что это месть за князя Святослава, из черепа которого печенегии сделали себе чашу для вина. Отец не курит, но такая пепельница потом будет стоять у него на письменном столе.

По ночам я обожаю улизнуть из комнаты и юркнуть в постель в родительской спальне. Это такая игра – мама прячет меня под одеялом, а папа выискивает и выставляет за дверь, говоря о каких-то мистериях, на которые детей не пускают. Я все путаю и говорю: министериях. Они смеются, мама качает головой и уносит укладывать меня в детскую.

Потом, через много лет, я узнала, что у папы к тому времени уже была другая семья.

В церковь он ходил редко, а на кладбище – почти никогда. Его бесило, что люди идут поздравлять покойников с Пасхой, христосуются с крестом, кормят умерших зарытыми в землю яйцами, оставляют на могиле блины, льют на землю водку. Он восхищался немцами, придумавшими крематорий. В «Ниве» он прочитал и показывал всем статью, в которой рассказывалось об устройстве печей, и вздыхал в шутку: «Вот бы дожить до ростовского крематория!»

При этом, мне кажется, он был глубоко верующим человеком, не знаю, как у него все это уживалось. Однажды я, уже научившись азбуке, бойко читала все подряд вслух: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет у Сарры сын – а обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра рассмеялась – и сказал Господь Аврааму: Есть ли что трудное для Господа?» Мне тоже стало смешно – как Сарре. Я прочитала это место отцу. Он сказал: «Не понимаю, что здесь смешного».

Моих дедушек и бабушек я не знаю – они умерли еще до моего рождения.

Каждую весну мы ходим на ярмарку в Нахичевань. На Георгиевской, где армянская церковь Свято-

го Георга, на пустыре между Нахичеванью и Ростовом открывается огромная ярмарка и длится неделю. Помню качели и карусели, обвешанные и разрисованные какими-то фантастическими животными, кружившимися под орган. Балаган, у входа зазывают народ актеры и клоуны. Покупаем халву и апельсины, квас и всякие сладости.

Через много лет я узнаю, что по приказу Екатерины армян и греков выселили из Крыма и бросили на произвол судьбы в диких степях. Погибли тысячи, а на памятнике императрице в Нахичевани стояло: от благодарных армян. Русские дети, поймав божью коровку, пели: «Божья коровка, полети на небо, принеси мне хлеба, черного и белого, только не горелого», – а армяне: «Божья коровка, покажи дорогу в Крым». Но это все будет потом, а сейчас на ярмарке я ем косхалву – если ее откусить, то оставшийся в руке кусочек сразу от зубов не отлипнет, а будет тянуться, пока его конец не станет похожим на слоновий хобот.

Во время крестного хода нам встречается старуха с мальчиком. Мы с няней идем по улице и поем о Христе. Я вижу, как старуха поспешно накрывает его лицо платком, чтобы он нас не видел. Няня злобно ворчит: «Вишь, чтобы нами не испачкаться!..» Так я впервые узнаю о евреях.

Няня рассказывает, как евреи на Судный день устраивают жертвоприношение – мужчины вертят над головой связанного петуха, женщины – курицу и просят Бога обрушить на птицу наказания за грехи молящихся. «Ишь ты, – качает головой няня, – это петух с курицами Христа распяли!» Еще я узнаю про обрезание и что в момент обрезания кровь у мальчика высасывает какой-то моголь. Мне становится страшно. И непонятно, что такое отрезают бедным мальчишкам!

Мест, куда я не хочу ходить, все больше. На базаре однажды при мне ловят воровку и начинают избивать. Я с мамой и Нюсей. Мама поскорее уводит нас в сторону, чтобы не смотрели. Через какое-то время мы возвращаемся докупить то, что не успели. Я вижу, как дворник засыпает песком кровь.

Еще я не люблю базар из-за гицелей – живодеров, которые охотятся на бродячих собак. Гицели подбрасывают отравленные стрихнином пилюли. Несколько раз мы видим, как мучается, умирая, собака. Но количество бездомных дворняг не уменьшается – на освободившуюся территорию трусят, язык на сторону, хвост баранкой, собаки из Нахичевани. Травят собак там – туда устремляются ростовские.

Мне шесть лет. Я узнаю слова: «забастовка», «революция», «погром».

Нюся и Маша, которые уже ходят в гимназию, прибегают утром обратно и рассказывают, как среди урока на улице слышались крики и стрельба. Кто-то выстрелил в окно большого зала, где висят портреты государя и всей царской семьи, хорошо видные с улицы. Уроки теперь часто отменяются – из-за забастовки преподаватели не могут явиться вовремя.

В городе беспорядки. У всех тревожные лица. Никто ничего мне не хочет объяснить. Я слышу, что евреи стреляли в крестный ход и убили мальчика, который нес впереди икону. Мне ужасно жалко мальчика, и я плачу безутешно.

Горит Новый базар. Над городом поднимается столб черного дыма, ровный от безветрия, как чей-то гигантский сапог.

Слово «погром» я слышу постоянно. Няня взволнованно шепчется с кем-то: белый крест на воротах – значит, надо громить или, наоборот, не надо громить? Выставляет в окна иконы и кресты, сама

выходит с иконой за ворота. Меня под присмотром Кати и Маши держат в детской. Ищут Сашу, но он убежал в город, все за него переживают, мама глотает капли. Папа все время в больнице. Нюся как ни в чем не бывало садится за фортепьяно, она хочет учиться в консерватории, стать знаменитой пианисткой. На нее набрасываются, чтобы она немедленно прекратила. Она кричит: «Я же не могу пропустить урок из-за каких-то мерзавцев!»

Мама приводит к нам в детскую незнакомую черную девочку. Ее зовут Ляля. Запуганная, дрожит. Мама объясняет нам, что Ляля – еврейка. Слово страшное, а девочка никакая не страшная, наоборот, нам ее становится ужасно жалко. Она такая несчастная, ее обманывают, говорят, что не было Христа. Мы, как можем, хотим помочь ей и пытаемся убедить, что Христос был. Она начинает плакать. Мама, заглянув в детскую, думает, что мы обижаем Лялю, и сердится на нас.

Потом Ляля будет моей лучшей подругой. Ее брат, Ефрем Цимбалист, старше на десять лет, скрипач, уедет в Америку, станет известным музыкантом.

Погром продолжается несколько дней. Саша появляется и исчезает снова, несмотря на то что мама умоляет его никуда не ходить – везде по городу идет стрельба. В детской он рассказывает нам то, что видел. Тело того, убитого первым мальчика носили по улицам. Из окна одной аптеки швыряли на улицу бутылки с серной кислотой. Брат говорит, что нашел два отрубленных пальца и что они у него в футляре для очков. Он хочет открыть, чтобы показать, мы с воплем убегаем. Он смеется.

К окну нам велели не подходить, но кто-то из сестер всегда там дежурит, и мы осторожно, прячась, подглядываем: иногда проходят, бегут какие-то люди с охапками вещей. Запомнились мужики в котел-

ках, мастеровые в нахлобученных шляпах всех фасонов – кто-то несет охапку картузов. На оборванном мальчишке – новенькая гимназическая фуражка. Недалеко находился шляпный магазин.

Вечером мы подслушиваем, как папа, вернувшись из больницы, рассказывает, сколько привезли за день трупов – у убитых тяжелые повреждения, убивали дубинами, камнями, лопатами.

Наконец нас выпускают на улицу. Теперь толпы ходят по улицам смотреть на разгромленные магазины. Мы стоим перед сожженной синагогой. Рядом – дом присяжного поверенного Волкенштейна, тоже разгромленный и сгоревший. До меня доходит, что ведь именно здесь я была с папой в гостях и каталась в лодке на колесах. С ужасом думаю про лодку: неужели и она сгорела! Со страхом оглядываюсь – вдруг кто-то из людей вокруг, которые теперь ходят вместе со мной по улицам, как раз и сломали и сожгли ту удивительную, чудесную лодку...

Жизнь продолжается. Однажды я спрашиваю, почему меня назвали Изабеллой. Папа отвечает: в честь испанской королевы. Это мне нравится. Играю, что я – испанская королева. Вернее, знаю, что я – это она. Дело не в длинном платье из маминой шали и не в короне, которую себе мастерю из золоченой бумаги, дело в моем тайном знании: я – королева. По утрам долго моюсь, устраивая себе высокие, по локоть, бальные перчатки из мыла.

Сестры зубрят историю, до меня долетает знакомое имя, и я прислушиваюсь. О ужас, вдруг узнаю, что Изабелла Испанская прогнала евреев. Как же так? Это совершенно невозможно! Моя королева – и вдруг погромы! Снова вспоминаю отрезанные пальцы в очешнике – Саша, оказалось, вовсе не врал. Пальцы молча отнял у него папа и утром унес с собой в больницу.

Прибегаю к папе, врываюсь в его кабинет, спрашиваю его с трепетом и надеждой про мою Изабеллу. Только он теперь может меня спасти. Папа не один, у него прием, за столом сидит какой-то мужчина. Боюсь, что папа сейчас разозлится, прогонит меня, но он берет меня на руки и объясняет спокойным голосом, что да, действительно, Изабелла издала такой указ, но нужно думать и о том, что в том же году посланный ею Колумб открыл Америку. И получается, что не пошла она Колумба – кто, когда и где бы открыл еще эту Америку? Может, и по сей день никакой Америки и не было бы. Может, и сейчас нет. Колумб и отсутствие открытой им Америки меня почему-то успокаивают.

Дело вовсе не в гонениях на испанских евреев и не в Колумбе, а в том, что я люблю моего прекрасного, умного, восхитительного папу и знаю, что он любит меня. И все остальное, кроме моей любви и того, что меня любят, не имеет никакого значения.

От того страшного года еще осталось в памяти грохотание пушек. Декабрь. Темный, морозный. Все с ужасом произносят слово «Темерник». По улицам ходить опасно – там Темерник. В школу Сашу и сестер не пускают – из-за Темерника. В городе идет настоящий бой: казачья батарея ведет огонь со старого еврейского кладбища по Темернику. На рассвете страшный взрыв сотрясает весь город. Это снаряд попал в столовую завода «Аксай», где был склад боеприпасов. Погибает много людей – кто-то рассказывает, что видели на деревьях куски тел и одежды.

Когда я на улицах вижу грязно одетых людей с угрюмыми лицами, я знаю – это Темерник. По праздникам они пьяные – тогда становятся еще страшнее. На масленицу мы с сестрами идем на гулянье, которое превращается в побоище – разные концы Темерника устраивают друг с другом драку. Мы бежим.

Весной в городе появляются цыгане. Саша с друзьями бегают смотреть на табор. Рассказывает, что цыгане надували через трубочку ежа так, что сходила шкура с иголками, и запекали в глине. Мы ему не верим, но взрослые подтверждают, что ежи – известное цыганское лакомство. Я заявляю, что не люблю цыган. Мама мне возражает: но ты же ешь курочку, а они – ежей. Какое-то время после этого разговора я не могу есть мою любимую ножку, которую мне няня дает, обвернув косточку салфеткой.

У няни с папой разгорается спор о происхождении цыган. Няня слышала, что цыгане – это евреи, которые вышли вместе с Моисеем из Египта, но что это проклятая, отпавшая ветвь иудеев, которые не послушались пророка и дальше стали поклоняться золотому тельцу, что они у евреев всегда выполняли самую грязную работу – кузнецов, и выковали гвозди, которыми распяли Христа. За это их и наказал Господь – быть им в постоянном изгнании.

Папа возражает, что все это ерунда, что они пришли из Индии, но на самом деле никто ничего толком о них не знает, потому что у них нет письменности. Если не записать то, что на самом деле было, говорит папа, то все исчезнет и ничего не останется, будто ничего и не было. «Вот ты помнишь, что было с тобой год назад?» – спрашивает он меня. Я не помню не только что было год назад, но и что было вчера. «Вот видишь, – продолжает папа, – для этого надо вести дневник и все-все записывать».

Папа дарит нам всем красивые тетрадки для дневника, даже мне, хотя я еще только учусь писать.

Когда я иду с Нюсей в кондитерскую, по дороге, на Никольской, к ней пристает цыганка. «На жениха погадаю!» Пыльные цветастые юбки. Хватает черными от грязи руками. Нюся отбивается, смеется: «У меня уже есть жених». Так я впервые узнаю

о существовании Коли, будущего Нюсиного мужа. Цыганка вцепилась, не отстает. Нюся сдается: «Ладно, погадай на сестру!» У меня в руках только что купленная с лотка сочная груша. Цыганка гадает мне по ладони. Я узнаю, что буду жить долго, что буду королевой, что у меня будет мой рыцарь, будет настоящая любовь до гроба и что у меня родится чудо. Потом она берет у меня надкусанную грушу и быстро оплевывает со всех сторон. Снова протягивает мне, мол, бери, теперь все сбудется. Я прячу руки за спину. Цыганка уходит с моей грушей, пыля юбками.

Теперь перед сном я думаю о рыцаре и о чуде, которое у меня когда-нибудь родится. Я уже знаю, откуда появляются дети, но все-таки не могу себе представить, чтобы ребенок мог вылезти из такой маленькой дырочки.

Саша зачитывается романами о рыцарях. На гимназический маскарад он одевается в оклеенные серебряной бумагой картонные латы и шлем.

Разговор за вечерним чаем о дуэли Пушкина. Мама ненавидит Натали. Я тоже ненавижу ее: ведь Пушкин погиб из-за нее. Проскальзывает фраза, что Пушкин был настоящим рыцарем. Я не могу представить себе его в латах и забрале и смеюсь. Папа говорит: «Чтобы быть рыцарем, совсем необязательно быть одетым в железный панцирь, рыцарь – это состояние души». Я спрашиваю: «Папа, ты – рыцарь?» Он смущенно улыбается. Мама вдруг вскакивает из-за стола и убегает – впервые я вижу ее в таком состоянии, всегда такую спокойную, мягкую. Вскоре мне по секрету сообщают сестры, что у нас родился еще один братик – но не у мамы.

Рисовать я отчего-то не люблю, особенно меня раздражает белый карандаш как невероятная глупость, но зато обожаю играть в театр. Нам покупают

игрушечный театр: коробка с фронтоном и поднимающимся занавесом. По бокам нарисованы ложи, в них сидят дети в платьицах по моде чуть ли не пушкинских времен. Внутри устроены декорации – задники и боковые кулисы для пяти действий по сюжету сказки о золотой рыбке. Нравоучительная рыбка нам быстро наскучивает, и мы придумываем свои декорации и действующих лиц. Катя и Маша вырезают и раскрашивают, а я расставляю фигурки, говорю и пою чуть ли не за всех. Для знакомых маленьких детей – я-то уже большая – устраиваем спектакли. За окном зимние морозные сумерки, а здесь волшебный лес, благоухающие цветы. Малыши слушают затаив дыхание.

Летом устраиваем уже не кукольный театр, а самый настоящий. Между березами натягивается веревка, на ней занавес из простыней. Приносим стулья, табуретки, приглашаем знакомых детей, соседей. Перерываем комоды и картонки. В доме исчезают все более-менее пригодные для представления вещи: шляпы, перчатки, зонтики, одеяла.

Но больше всего на свете я люблю петь. Причем не просто петь, а изображать все, о чем пою. Неизменным успехом пользуется «По старой Калужской дороге». Я изображаю, как на сорок девятой версте гулял с кистенем молодец, потом преображаюсь в женский образ и показываю, как

Шла лесом, шла темным бабенка,
Молитву творила она,
В руках эта баба ребенка –
Малютку грудного несла.

Малютку изображает моя кукла. Страсти разгораются, я расхожусь, показывая, как свирепый разбойник хватает бедную женщину за косы и убивает!

А уж когда он убивает мою куклу и молния поражает злодея, тут я бросаюсь на землю и допеваю, уже лежа на полу:

С той силой могучей стрелою
Разбойник был этот убит.
Под этой разбитой сосною
Тот самый разбойник лежит!

Маме мои шедевры не нравятся, и я не могу понять – почему? Зато папа всегда приходит в восторг, что бы я ни вытворяла, хватает меня на руки, целует и называет королевой Ростова и всей Нахичевани. Его поцелуй щекотный от бороды. Когда у нас гости, он всегда просит меня что-нибудь исполнить. Публики я совершенно не боюсь. Наоборот, петь для себя самой неинтересно, мне нужны соперничатели. Все кругом говорят, что я родилась с поставленным от природы голосом, и восхищаются таким сильным грудным звуком, который издают голосовые связки совсем маленькой девочки.

Пересматриваю без конца папины альбомы с репродукциями картин русских художников и вдруг ловлю себя на том, что примеряю изображенных там людей на себя. Как бы становлюсь ими. Вот царица Софья. Встаю посреди комнаты, как она, распустив волосы по плечам, скрестив руки на груди, гневаюсь на кого-то. Ее заперли в комнате, как меня запирают в детской, если что-то не так сделаю. Только страшно от повешенного стрельца за окном. Спрашиваю про стрельцов Сашу. Брат мне все рассказывает и про восстание, и про окно в Европу. «Понятно?» – «Понятно».

Удивительно, что мне тогда все было понятно. А теперь я старая, прожила жизнь, и сейчас мне

ничего не понятно. Получается, что жизнь – это проживание от понимания к непониманию.

Еще Саша меня успокаивает, чтобы я не боялась – стрельцов уже давно нет, головы рубить никогда никому больше не будут – не те времена.

О том, как убили Сашу, я напишу потом.

Ответ: Какая варежка?

Вопрос: История – рука, вы – варежка. Истории меняют вас, как варежки. Поймите, истории – это живые существа.

Ответ: А я?

Вопрос: Вас еще нет. Видите – пустые листы бумаги.

Ответ: Но вот же я, пришел. Сижу. Смотрю в это заснеженное окно. Метель улеглась. Все белым-бело. Вот вижу на стене фотографии – кого-то взяли за жабры. Какая-то странная карта. Никак не могу узнать очертаний материков. Не карта, а ежик – продирался сквозь заросли земляники и черники, ягоды накололись на иголки.

Вопрос: Да нет здесь пока никого.

Ответ: Как нет никого? А от кого тогда падает вот эта тень? Видите, на стене? Вот пятерня. А теперь голова собаки. Гав-гав! А если двумя руками, то смотрите, орел летит. Вот волк зубами щелк.

Вопрос: Не то. Собака. Волк. Все это ненастоящее. Ваша история – жених, вы – невеста. Истории выбирают человека и начинают пространствовать.

Ответ: Понял. Значит, так. Записывайте. Я ничего не хотел жене говорить, но она почувствовала – что-то не так. Старался делать вид, что ничего не произошло, что все в порядке. Потом оказалось, что она обо всем узна-

ла от подруги. Жена стала рассказывать той по телефону, что я стал приходить домой мрачным, огрызаться, а ей в ответ: «Ты что, ничего не знаешь? Твой влип – задолжал, и очень по-крупному, счетчик уже стучит!» Она ни слова мне не сказала, бросилась туда, куда не надо, а там ей объяснили, чтобы не лезла не в свое дело. И вот я держался до последнего, на все ее вопросы отшучивался и даже вроде ее успокоил, что обойдется. А тут сорвался, выпил, чтобы забыться, и меня как прорвало, все ей вывалил: как взял деньги у банка, дал другому банку, на тех наехали чечены, пришлось снова брать деньги, чтобы быстро обернуть, – кинули. Она поняла только, что деньги пропали, проценты каждый день набегают и меня хотят убить. Заревела: «Зачем им тебя убивать? Мертвый ничего не даст!» Я заорал: «Не понимаешь разве?!» Никогда раньше на нее голос не повышал. Продать квартиру, дачу, машину – все ерунда, ничего не хватит, а срок до пятницы.

Вопрос: Не то.

Ответ: Да, я понимаю.

Вопрос: Вы откуда? Из страны, где в постелях стонут и молчат – слова грязные, а чистых нет?

Ответ: Просто хочется быть свободным от судьбы и родин.

Вопрос: Уже пятница?

Ответ: Да.

Вопрос: Кому принадлежал банк: тунгусам или орочам?

Ответ: Орочам.

Вопрос: Что вы знали об этих людях?

Ответ: Немного. Они верят, что первая женщина провалилась в берлогу и родила потом двух

детей – медвежонка и мальчика. Два брата подросли, и один убил другого, это было начало мира. Когда тот мальчик вырос, он стал охотником.

Вопрос: Что было потом?

Ответ: Потом огромный лось похитил солнце, и охотник пошел за ним, чтобы вернуть.

Вопрос: Вернул?

Ответ: Нет. То есть да. Они очень далеко ушли. Лось так и бегаёт по небу, укусив солнце. Но все время возвращается. Мебиус и небо склеил по-своему. А Млечный Путь – это лыжный след охотника. Там, наверху, тоже ходят на лыжах. В небе везде лыжня. Охотник идет по кругу, но то по видимой стороне мебиусного неба, то по невидимой. Есть три мира: верхний, зима и нижний, который и есть самый главный – млыво. Когда верхние люди кроют шкуры зверей на обувь и одежду, то обрезки падают на землю и превращаются в лис, зайцев, белок. Верхние люди держат за нити души людей, верхние деревья – души деревьев, травы – трав. Стоит почему-либо оборваться этой нити – человек начинает болеть и умирает, дерево сохнет, трава вянет. Путь в верхний мир лежит через отверстие в небе, нянгня сангарин – это Полярная звезда. А в нижнем мире, во млыве, жизнь ничем не отличается от земной, такая же зима, только солнце светит, когда на земле ночь, а луна – когда день. Зима переходит во млыво, вернее, это человек, уходя во млыво, уносит зиму с собой. Там живут той же зимней жизнью, охотятся, ловят рыбу, мастерят санки, чинят упряжки, шьют одежду. Же-

няться, когда оставшийся на земле супруг вступает в брак, рожают детей, болеют и умирают, то есть снова рождаются здесь, проснувшись женщиной или мужчиной в середине зимы. Во млыве все такое же, только не такое. Живой человек там невидим для обитателей, его слова принимают за треск очага.

Вопрос: Значит, там, во млыве, есть и вот эта комната, где на стенах ловят рыб, а на стуле – человек, где парад скрепок, а карту закололи, где истории остались, а люди выветрились и о подоконник облокотился снежный пейзаж?

Ответ: Не знаю. Мы не орочи. Мы ни во что не верим, кроме зимы.

Вопрос: А у вас какое начало мира?

Ответ: У нас тоже два брата. Но сначала везде была вода. Ничего, кроме воды, и жить было нигде невозможно. Потом пришла зима, вода замерзла, и стала твердь.

Вопрос: А братья?

Ответ: Один был хороший, другой плохой. Один слепил из снега тунгусов, другой – орочей.

Вопрос: А млыво?

Ответ: Млыво – оно и есть млыво.

Вопрос: А вот те двое, которые проснулись в середине зимы, они проснулись кем? Дафнисом и Хлоей?

Ответ: Да. Хлоя – ороч. Дафнис – тунгус.

Вопрос: Козы, овцы, свирель? А теплые зимы – и те ходят парами?

Ответ: Никто любви не избежал и не избегнет, пока есть красота и глаза, чтобы ее видеть.

Вопрос: Но кто же хочет стать женой пастуха за несколько яблок?

Ответ: Вы что, не знаете – это же как болезнь. Человеку плохо, а вирусам хорошо. У них самый расцвет цивилизации. Так и с любовью. Хлоя есть перестала, по ночам не спала, о стаде своем не заботилась, то смеялась, то рыдала, то вдруг засыпала, то снова вскакивала. Лицо у нее то бледнело, то вспыхивало огнем. Меньше страдает телушка, когда ее овод ужалит. Взгляд застыл, обои зашевелились. Больна я, но что за болезнь, не знаю, страдаю я, но нет на мне раны, тоскую я, но из овец у меня ни одна не пропала. Закроет глаза, а пальцы ног находят на ощупь стыки между обоями.

Вопрос: Но ведь зима. Мороз достает до застежки на лифчике. И на снежной бабе не хочет никто жениться.

Ответ: Во млыве есть что-то посильнее зимы. Они тысячу лет не встречались. И так стосковались. И вдруг захотели друг друга. И тогда начался ледоход. Ночью весь городок разбудил гром, протяжный, раскатистый, – это лед на реке пошел. Наутро все вышли смотреть, как дорога, по которой еще вчера гуляли, тронулась с места. Три дня льдины лопались и гремели, толстые, прозрачные. Раскалывались с пудовыми брызгами, дыбились, напоззали друга на друга. Полезли на берег, чуть не снесли домишки, примостившиеся на самом краю. Река из ледяных глыб громоздила утесы, смельчаки забирались на них, карабкались на самые вершины и проплывали мимо, как на сверкающем огромном корабле. И вот среди этих отчаянных голов была Хлоя. Сдернула ушанку, и волосы разлетелись на ветру.

Вопрос: Проплывая на льдине, у Хлои слетела шапка. Хлоя за шапкой. Дафнис за Хлоей.

Ответ: Да я и сам вижу, что все не то.

Вопрос: Только ничего не надо придумывать. Все уже есть. И зима, и млыво.

Ответ: Но что делать, если все так и было? Сорвалась в воду, и он ее вытянул за воротник, спас. А в младенчестве их подменили. В пророческом сне им все было предрешено, от первого снега до последнего. Ей какая-то дама, поджидавшая у дверей школы после продленки, сунет молча в руку кольцо и уедет на дорогой машине, ему кто-то положит на сберкнижку, пока еще под стол пешком будет ходить, кучу денег, а потом начнутся реформы, и все превратится в труху. Дети вырастут, гормоны взыграют. Любовь-морковь-кровь. Она поклянется овцой, что сохранит себя для него, и скажет ему: «Поклянись этим стадом и тою козой, что вскормила тебя, что Хлои ты не покинешь, пока она тебе верна. Если же она погрешит против тебя, беги от нее, ее ненавидь и, как волка, убей!» Он присягнет, одной рукой держась за козу, другой за козла, что Хлою будет любить, пока она его любит, если ж другого ему предпочтет, тогда убьет он себя, но не ее. Она обрадуется и поверит ему – ведь пастушкой родится она и будет уверена, что козы и овцы для них, пастухов, и есть настоящие боги. Потом их разлучат разбойники, и она выйдет замуж за их предводителя с сосочком на верхней губе. Будет подкармливать зимой голубей – мороз, а у них такие тонкие ноги, как веточки. А Дафнис, в уверенности, что Хлоя мертва – ибо сам слышал

тревожный звонок трамвая, ржавый скрежет тормозов, крики прохожих, видел тело в луже крови, неподвижное, а кисть руки шевелилась, – отправится в странствия и приедет в столицы, будет жить в одной комнате со студентом-медиком, тот будет зубрить с утра до ночи учебники, выслушивать и выстукивать нецелованное пастушье тело. Почему-то запомнится *musculus cremaster*. Однажды будет лежать на своей раскладушке руки за голову, смотреть на замороженное стекло с папоротниками и иероглифами, сверкающими на солнце, думать о своем народе, что это – тот самый баран, запутавшийся в кустах, которого Авраам принес в жертву вместо Исаака, а в это время придет сосед злой с экзамена: не мог найти какой-то мускул, а профессор еще издевался, мол, удивительно, такого крупного мускула у вашего трупа нет – поздравляю, молодой человек, такого случая еще не было! Затем возжелает Дафниса Ликэнион, медсестра, которая будет воровать спирт в операционной и обменивать его на барахолке. У нее длинная коса.

Вопрос: Подождите!

Ответ: Ну?

Вопрос: Так обоих и подменили?

Ответ: А что в этом такого?

Вопрос: Разве так бывает?

Ответ: Господи, чего только не бывает! Ее подменили во дворце, а его в роддоме.

Вопрос: В каком дворце?

Ответ: А почему вы не спрашиваете, в каком роддоме? То-то и оно! Все хотят узнать, как подменивают во дворцах, где навощенный паркет

и на приеме ветераны скользили, хватаясь друг за друга, особенно одноногие, а прусский император ел очень быстро и, как только заканчивал с каким-либо блюдом, у всех остальных тоже меняли тарелки. И никому не интересно про районную больницу – дежурного врача не было, а ночная санитарка мертвецки пьяна. Не хотели принимать – только когда пообещали починить крышу над акушерским отделением. Никаких лекарств давно не было, а какие поступали – главврач продавала на сторону или через родственников тем же больным. Нужно было иметь все свое – и простыни, и халаты, а кашель смягчали собачьим салом, вытопленным из пойманных беспризорных собак. Вы меня слышите?

Вопрос: Извините, просто задумался о чем-то. Посмотрите в окно – видите, дальняя антенна в закате, как насекомое в янтаре? Не обращайтесь внимания, просто взгляд пристал. Но зачем же подменивать?

Ответ: Как зачем? Отец пусть и царь, но – эфиоп, а она беленок. Отец поставит мамашку к ответу, а той что? Рассказывать, что в момент зачатия смотрела на белоснежный образ Андромеды? Такая, брат, эфиопика.

Вопрос: Хорошо, а в роддоме?

Ответ: А там, наоборот, глядь – не ороch, а негритенок! Что делать? И вдруг пожар! На Царевом Займище занялось, и полгорода сгорело. Сушь-то какая стояла! В суматохе схватила чужого ребенка, чья мать погибла в огне, – и в окно. А своего ребенка бросила на произвол судьбы. И все документы сгорели. Следствие установило, что причиной пожара бы-

ло неосторожное обращение с огнем: одна клуша, сносившая в месяц по яичку, делала прическу, торопилась, позабыла впопыхах на своем столе погасить спиртовую лампу для накаливания щипцов, кисейные занавески, увертываясь от сквозняка, коснулись пламени и запылали. Но народ у нас дикий, им лишь бы с кем расправиться – обвинили во всем актеров, в одном исподнем выбежавших из гостиницы при трактире, осовевших, непроснувшихся. Неудавшиеся Леонидовы и Москвины кое-как собрали свои чемоданы, навалили в телегу и стали пробираться к реке сквозь пожар. Зарево такое, что все видно как днем. Кругом плач, крики, пьяные. Пожарные бросились спасать прежде всего кабаки и винные склады – им до горожан дела было мало. К актерам пристали: не краденые ли вещи? Окружили бабы, озлобленные, оставшиеся без домов, с маленькими детьми, задержали телегу, ухватили лошадь за узду и начали скликать мужиков: «Идите сюда, вот они, поджигатели, вот они! Бей! Бей их!» Этих бедных женщин можно в конце концов понять – погорельцы. Набежали пьяные, стали хватать за горло, валить в грязь. Мимо торопились бабы с ведрами – стали бить ведрами. Забили насмерть. Искалеченные тела потащили топить к реке. Одна мертвому плюнула в открытый рот.

Вопрос: Но ведь потом выяснили, что это не они?

Ответ: Да ясно, что не они. Но уж раз началось, остановить трудно. Крестьяне стали поджигать помещичьи хлеба. Огромные скирды горели по два, три дня, освещающая ночь – можно было читать.

Вопрос: Но ведь вы же сами сказали про щипцы и спиртовую лампу?

Ответ: Да это все следствие придумало, чтобы своих отмазать. Это же орочи – рука руку моет. Одна хотела продать дом, приехали покупатели, а ночью пожар, дом сгорел, это ее же родственники и пустили красного петуха, не хотели, чтобы она была богаче, – хотели, чтобы она была такая же нищая, как они. Чего же тут не понять?

Вопрос: А что было на самом деле?

Ответ: А что было на самом деле, никто никогда не узнает. Один отставной капитан влюбился в мерзавку вроде этой Хлои, всю из себя овечку, бросил жену, которая с ним протаскалась жизнь по таежным гарнизонам, проклял взрослого сына, которого оскорбило такое отношение к матери и то, что наследство не ахти какое, но все равно обидно, что уводят из-под самого носа, да и промотал с этой постельной акробаткой все, что накопил, а потом она ему сунула вместо закладки в «Иудейскую войну», как раз там, где рассказывалось, что Антиох умер, а его престол и ненависть к иудеям унаследовал сын его, Антиох, записку с орфографическими ошибками, мол, я тебя по-настоящему любила, и ты у меня действительно был первым, а не то, что ты тогда подумал, будто бы это я булавкой проколола себе палец, чтобы капать на простыню. Я не такая. А теперь я полюбила другого. Ты же сам знаешь, милый мой, единственный мой, храплюшечка моя, как это бывает. Вдруг налетит такой ураган, что никто тебя и не спросит – хватать за шиворот и швырнет в небо. Он нашел за-

писку, прочел, а жизни с таким сердцем оставалось совсем ничего. Домишко пошел на торги. Но был застрахован на хорошую сумму. Капитан зашел помолиться Николаю Угоднику, стал перед иконой на колени: «Помоги, ведь твоим именем крещен, укажи выход!» Поднял голову, видит – свечка, огонек замелькал. Пошел в магазин, купил свечу фунта в два. Приехал домой, рассчитал, что сгорает дюйм в час. Смерил свечу – часов на 18 выходит. Поставил под лестницей, обложил всяким горючим хламом, керосину подлил. Зажег фитилек, перекрестился и уехал в Москву – теперь дело в Твоих руках! Рассчитал, что догорит как в раз в два ночи. В Москве поехал к «Яру», выпил шампанского, около часа ночи пошел в уборную, проходя по коридору, кого-то встретил и дал по морде. Скандал, полиция. Составили протокол, что сегодня ночью такой-то грешник, повинный в любви, оскорбил действием и будет привлечен к судебной ответственности. А в это время домик уж полыхал. За три целковых околоточному копию протокола сразу в карман. Получил страховую премию без разговоров. Деньги все послал сыну. Себе ничего не взял. Ни рубля, ни копейки.

Вопрос: Подменили, ну и что? Может, нас всех подменили.

Ответ: Но это все уже потом случилось, а за девять месяцев до этого было непорочное зачатие.

Вопрос: Не бывает.

Ответ: Об этом даже в газетах писали.

Вопрос: Вы имеете в виду тот случай в трубе?

Ответ: Да. Мать Дафниса работала на судоремонтном заводе. Нужно было счищать ржавчину

с труб. Снаружи еще куда ни шло, а надо изнутри. Трубы как раз с человека диаметром. Залезла внутрь на карачках, потом стала вылезать, пятиться задом. Зад уже наружу, а сама еще в трубе. И вот тут все и произошло. Дергалась, а куда денешься в железных объятиях, кричала, а голос уносило в другой конец трубы – тяга. Вылезла, натянула трусы, трико, теплые рейтузы, ватные штаны, а кругом – никого, только снег идет. И даже следов никаких нет, только припорошенные. Снежинки валят крупные, с детскую ладошку. Это у них там золотые лучи, дожди, лебеди, голуби, а у нас зима – снегопад.

Вопрос: Погодите, это не в ту сторону получается. Этак вы и до дедок и до бабок дойдете, до того, как лечившийся виноградом на Лак-Леман пращур познакомился с Паганини, уже страдавшим общим расслаблением и началом паралича в дыхательном орудии и сжимавшим при разговоре ноздри двумя пальцами, что выглядело довольно смешно, и как в это время предки по другой, вымершей линии ловили раков – брали мертвую кошку, отрубали ей лапки и засовывали в рачьи норы.

Ответ: Вы правы. Время зимой вещь скользкая. Нога поедет – и неизвестно, где и когда шмякнешься. Глядь – а ты в русско-турецкой войне! И хорошо еще, если в сугробе на Шипке. А то вдруг окажешься в безвестной дыре, куда газеты приходят редко и кипами. Схватишься за последний номер и кричишь своей старухе: «Маша! Маша! Генерал Ганецкий взял Плевну! Осман-паша сдался безоговорочно!» А та всегда читает все по порядку

и шипит недовольно: «Вечно ты торопишься! Я еще далеко, дошла только до Дольнего Дубняка, еще только будут осаждать крепость».

Вопрос: Послушайте, так мы до древних греков доберемся! Скоро уже Ксенофонт появится. Но сперва должна быть битва, эллины еще должны затянуть пеан. Вы хоть это понимаете? Нам совсем в другую сторону времени! Давайте все по порядку. Мы были во млыве. Так?

Ответ: Мы и есть во млыве, здесь у времени нет других сторон, да со временем не все понятно, а за окном зима.

Вопрос: Что было потом?

Ответ: На них напали разбойники. То есть на нас. На меня и на Хлою. Мы, вы – какая разница. Ведь все равно всех подменили. Ты – не ты. Я – не я. Мы – не мы. Вы же сами сказали, что мы только варежки и нас надевают зимой истории, чтобы согреться на морозе.

Вопрос: Пожалуй, сделаем перерыв.

Ответ: Что вы хотите сказать? Не верите, что на нас напали разбойники?

Вопрос: Не знаю. Все равно не узнать, кто вы на самом деле. Входите вот в этот рыбный кабинет, рассказываете то, чего нет и не было, заикаетесь, задыхаетесь, сморкаетесь, плачете, предъявляете справки из больниц, засучиваете свитера и рубашки, чтобы показать шрамы, будто кто-то может поверить, что вас подвесили на крюк, просите попить воды, утираете слезы и сопли бумажными салфетками, пачка которых всегда лежит перед вами на столе, не знаете, куда деть руки, грызете ногти, ковыряете заусенцы на

пальцах, расчесываете комариный укус на лодыжке, но на самом деле вас, настоящих, нет. То ли дело греки! Даже отсюда, с высоты третьего этажа, видно, что армия варваров – как темная корка на земле. А вот ряды эллинов, замерли в напряженном ожидании, воины еще стоят, держа щиты приставленными к ноге. На правом фланге у Евфрата лакедемонянин Клеарх, к нему примыкает Проксен-беотиец, Менон с фессалийцами на левом крыле эллинского войска. Кир со своими варварами еще левее. По рядам фаланги пробегает легкий шум, будто порыв ветра, – это передают клич, который уже во второй раз обходит войско: «Зевс-спаситель или победа!» Последние томительные минуты перед битвой длятся нестерпимо. Расстояние до наступающих в молчании персов уже меньше трех стадиев. И вот эллины, наконец, запев пеан, идут на врага. Левая часть фаланги несколько выдвинулась вперед, и отставшие переходят на бег. Тут уже все поднимают крик в честь бога Энниалия и бегут вперед. Солдаты ударяют щитами о копья, пугая вражеских коней. Армии сшибаются, входят друг в друга, сцепляются, как две расчески.

Ответ: Вы думаете, если я – варежка, то ничего не понимаю? Совсем ничего? Пусть я варежка – но варежка мыслящая! И что же я, не понимаю, что ли, что зима – это одно, а млыво – совсем другое? В зиме жизнь, как поземка, перебежала улицу на красный свет, и ищи-свищи, а во млыве прошлогодний снег – вот он, мокрый, лепкий, хоть катать из него комок, рыхлый, пахучий, с семе-

нами ясеня и земляным грязным бочком, да строй крепость. Непрístupную. Никто не возьмет. И вот в этой крепости все и хранится вместе с запасом снежков, чтобы отгонять мальчишек с улицы, населенной орочами. Все, что в зиме, пропало. В зиме все пропадает. И лето. И детство. Вот ваших Дафниса и Хлою водили в один и тот же зоопарк. В бассейне с ряской плавают корки хлеба, обертки от конфет. Мороженое течет по локтям. Совокупление в обезьяннике. Опилки, пропахшие мочой. Густая животная вонь. В ржавых клетках мучаются от тоски и жары обезумевшие звери. Кассирша в будке, такая же обезумевшая в своей узкой неволе, разбушевала за окошечком. И вот в зиме, когда наступила оттепель, весь тот зоопарк со всеми животными, клетками, запахами и той кассиршей с ее будкой – растаял. Они все умерли – и животные, и запахи, и кассирша. А здесь, во млыве, все осталось, весь зоопарк, и ничего не сделается ни тем животным, ни коркам хлеба, раскисшим в черной воде, ни мороженому на коленках, и кассирша всегда будет бушевать в своей будке и никогда не умрет. В зиме, может, никакой Хлои уже и нет вовсе, а во млыве она все еще кормит куклу обрывками бумаги. На кладбище земляника, а бабушка говорит, что ничего нельзя рвать и есть, что здесь растет, потому что это сердит покойников, они могут наказать, и вот там, на кладбище – среди могил и мертвецов – она вдруг чувствует себя бесконечно живой. В первый день каникул прыгает с крыльца и попадает босой ногой на валявшиеся

в траве грабли. Мастерит домик из коробки из-под обуви, вырезает дверь, прячет свою руку в домике, а другой стучится и спрашивает: можно войти? – и не пускает вторую руку в дом. Протягивает маме кусочек оладушка на вилке и, балуясь, тычет ей в рот, зубья воткнулись в небо – идет кровь. Мечтает об отце, чтобы он укладывал спать и рассказывал, что ночью башмачки, если их правильно аккуратно поставить, убегают в диковинные страны и приносят оттуда сны и кладут детям под подушку. Учится нырять в воду – бабушка противится, а дед говорит, что это здорово и что девка должна быть такой же сильной и бесстрашной, как и парень, – в жизни пригодится. Ключ всегда оставляла под кирпичом слева от крыльца, где флюксы, подняла кирпич – а там сороконожка. По ночам в открытое окно все время пробует залезть шиповник. Левая грудь растет, а правая нет. Рассматривает себя с зеркальцем – как там все отвратительно, и палец пахнет, как в зоопарке. Думает: где я и где не я? Кожа – это граница? Или двойник? Или мешок, в который меня засунули и куда-то тащат? И что от меня останется за вычетом тела? На даче через забор, если посвистеть, перелезает прыщавый пастишок. Смутился, понял по ее глазам, что видела, как он ночью, когда укладывалась спать, подсматривал в окно из-за кустов сирени. Ракетки для бадминтона есть, а воланчика нет. Стали пробовать сосновыми шишками – те звонко улетают и не возвращаются. Нашелся шарик от пинг-понга. Ветер задул его сразу в крапиву. Что вылупил-

ся, лезь! Полез, шипя от ожогов. Стал хлестать по зеленой нечисти ракеткой. Сунул шарик в карман, и пошли на речку. С полусгнившего, скрипучего мостика они плюют, перегнувшись за перила, еще мокрые от дождя, в затинившуюся Клязьму. В луче над поверхностью виден пушок от комаров. Если плевать одновременно, то по воде разбегаются восьмерки. На перилах вырезаны имена, преющие вместе с деревом. Хотел достать нож – из кармана выскользнул шарик, дал щелбан бревну и чмокнул воду прямо в отражение Хлои, туда, где мелькнули трусики. Но это не Дафнис. А Дафнис не может заснуть и видит, как в темноте мать раздевается, снимает комбинацию, и та сверкает голубыми искорками. С мальчишками придумали свое оружие, брали «ваньку-встаньку», в тяжелый конец вбивали гвоздь, шляпку спиливали и заостряли напильником. В пустой пластмассовой голове неваляшки делали надрез крестом и вставляли картонки как оперение. Швырнешь такой, как камень, – на десять шагов пробьет доску гвоздем насквозь. Бабка зашивает дырки на его штанах и ворчит, что зажрались теперь все – вот у нее рядом с лагерем, где она служила фельдшером в расконвойке, был детдом, оттуда прибегали все время к ним, на край зоны, просили что-нибудь поесть и выпрашивали одежду, так она жалела их: снимала с покойников телогрейки и отдавала детям. Водили в музей, там на картине «Последний день Помпеи» люди перед смертью – через несколько минут их никого не станет. Через год снова приводят в му-

зей, а тем, на картине, до смерти опять все те же несколько минут. Первого сентября каждый год ритуальные побоища между школами – побеждают то орочи, то тунгусы. На праздник все идут на торжественное камлание, на трибуне областной шаман у памятника в центральном сквере, где воздвигнута скульптурная группа из гранита – герой, спасенный им командир и лошадь: кто-то когда-то зачем-то спас командира, вынес на себе с поля битвы, и вот они пробирались к нашим, два дня у них не было воды, и герой достал несколько глотков для командира, а сам пил конскую мочу. Шаман после камлания говорит в микрофон, еще тяжело дыша и обмахиваясь бубном, как веером: «Все ищите чего-то, а потом окажется, что для счастья достаточно просто немножко зимы». От соседки узнает о млыве. У нее толстые линзы – будто в них запаяны глаза. И кажется, что если снимет очки, то они там так в стеклах и останутся. Дафнис ей: «Никакого млыва нет! Только зима». Она: «Есть, просто отсюда невидимо. Ведь все, что далеко, кажется несуществующим, например Бог или курица, перья которой хранятся до самого куриного воскрешения в твоей подушке, или какие-нибудь огнеземельцы. Они просто очень далеко. До них разве что на “Бигле” и доберешься. На, почитай!» Мать усталая притащилась с работы, отмывает синие руки – открывала консервы, она подрабатывает уборщицей в приходской воскресной школе, и когда получают гуманитарную помощь, то сперва открывают консер-

вы и только потом уже раздают, а то ведь продадут и пропьют. Сын вырастет в однокомнатной квартирке, и никакой личной жизни. А рядом строятся многоэтажные подведомственные дома. Встала в очередь, очередь не двигается. Отправила сына в летний лагерь и решила. Приделалась, накрасилась, надушилась и отправилась на прием к замдиректора. Принял коротко: «Оставьте заявление!» – и добавил, что должен зайти, посмотреть на жилищные условия. Зашел в назначенный день с дипломатом. «Уже все на столе. Вы, Дмитрий Дмитриевич, голодный с работы, устали – вот, поешьте, я тут голубцы сварганила, я хорошо готовлю, да вот готовить не для кого!» Открыл дипломат, достал из него бутылку коньяка. Поставила на стол рюмки. Разлил. «Давайте выпьем знаете за что, Татьяна Кирилловна, не за квартиру – при чем здесь квартира? Выпьем вот за что – один человек сказал, что у каждого в душе дыра размером с Бога, так вот – все это ерунда. У каждого – дыра размером с любовь!» На ней ругался площадными словами, потом обмяк, свалился на сторону мешком, тяжело дышал и все сглатывал – заглотнул ее длинный волос и никак не мог его ни проглотить, ни выперхнуть, полез пальцем, чуть не стошнило. Потом лежали, касаясь бедрами, приликая друг к другу. «Вы извините, Дмитрий Дмитриевич, я сильно потею!» Стал слизывать с нее пот. Опять полез. Получила двухкомнатную.

Вопрос: Колесницы персов несутся назад, в самую гущу неприятельского войска, сметая ряды

и разбрызгивая кровь попавших под серпы. Варвары, дрогнув, бегут. Эллины преследуют врага изо всех сил, криками призывая друг друга не рассыпаться, а следовать в строю. Видя, что Клеарх победил стоявших против него неприятелей и преследует их, Кир издает радостный клич, а окружающие уже кланяются ему до земли, как царю. Кир со своей свитой бросается в самую гущу вражеского войска, туда, где сверкает в лучах уже заходящего солнца царский золотой орел на длинном копейном древке. Когда Кир находит царя с его многочисленным окружением, он сразу же, с криком: «Я вижу его!» – скачет к Артаксерксу, ища возможности сразиться со своим братом. Метнув копье, он ранит царя сквозь панцирь, так что острие входит в грудь на два пальца. Удар сбрасывает Артаксеркса с лошади, и в свите его тут же начинается смятение и бегство, но царь поднимается на ноги, с немногими провожатыми всходит на соседний холм и оттуда в безопасности следит за ходом битвы. Тем временем Кира, попавшего в гущу неприятелей, горячий конь уносит все дальше. Уже темнеет, и враги не узнают его, друзья же повсюду ищут, а он, гордясь своею победой, полный дерзкого пыла, скачет вперед с криком: «Прочь с дороги, оборванцы!» Но тут какой-то молодой перс по имени Митридат подбегает сбоку и бросает дротик, который попадает Киру в висок. Из раны хлещет кровь, и Кир, оглушенный, падает на землю. Конь его, прыгнув в сторону, теряется во мгле, а залитый кровью чепрак, соскользнувший со спины скакуна, подбирает слуга Митридата.

Ответ: Нет, все не так! И начать надо совсем по-другому! Знаете что? Зачеркните все, что было до этого! Начинать надо сразу с интересного. Про то, как Дафнис с Ликэнион, а Хлоя – с Паном. Да, именно с этого! Так вот, Дафнис по ночам подрабатывал – разгружал на мясокомбинате говяжьих туши из вагонов-рефрижераторов, и вот возвращается в свою комнатку, которую делил со студентом-медиком, под утро, когда раннорожденная чуть занялась розовоперстая Эос. Медика нет, а Ликэнион есть. Застал медсестру томящейся на ложе, и глаза ее были увлажнены любовью. Распущенные волосы занимали полкровати. А до этого, забыл сказать, у него с Хлоей никак: Хлоя говорила, что волосы его похожи на ягоды мирта, он учил ее играть на свирели, а когда она начинала играть, отбирал свирель и сам губами скользил по всем тростинкам, с виду казалось, что учил он ее, ошибку исправляя, на самом же деле через эту свирель скромно Хлою он целовал – затем, обнявшись, легли, но, ничего не достигнув, снова поднялись, есть захотели и пили вино, смешавши его с молоком. Ликэнион закурила и говорит: «Любишь Хлою ты, Дафнис, это узнала я ночью от нимф. Явившись во сне, они мне рассказали о слезах ее и твоих и мне приказали спасти тебя, научивши делам любовным. И дела эти – не только поцелуи и объятия и не то, что делают козлы и бараны. Ты любишь слова, слова для тебя слаще поцелуев. А слова только все портят. Иди сюда!» Он хотел что-то сказать, но она положила ему ладонь на губы: «Я все знаю!» Когда встала с него,

капли спермы вытекли из нее ему на живот. Собрала в ладошку, стала размазывать себе по груди. Улыбнулась: «Лучший крем!» Встала, оделась в волосы, пошла к окну, как-то странно зацокав по паркету. Раздернула шторы. Только сейчас заметил, что у нее козлиные копытца. Вернулась, села на кровати, забросив волосы за спину и ногу на ногу. Снова закурила, покачивая копытцем. Сказала, выпустив струйку дыма: «Я вовсе не то, что ты подумал. Я не просто девушка с косой. Я – сестра милосердия. Милосердие мне брат, а я ему сестра. Ну и что, что парнокопытная? Просто тебе еще не все чувства впору, некоторые на вырост. Ты многих женщин будешь любить – больше, чем тростинок в свирели твоей. Поверь мне, ведь я Кроноса старше и всех его веков». И Дафнис пойдет дальше искать свою Хлою, потому что мыслящая варежка – всегда потерянная. Это там, в зиме, потерянная варежка всегда идет туда, не знаю куда, искать то, не знаю что. А во млыве все должно быть внятно. Вот начало – вот конец. Все предопределено пророческим сном. Потому что не пророчество является причиной события, но какое-нибудь бегство в Египет служит причиной пророчества. Если в конце напрошено вернуться в зиму, значит, вернемся. Да, именно, все-все надо сделать по-другому! Поменять и варежку, и историю! Значит, так, прежде всего герои. Это в зиме, в оттепель, упав в лужу, варежка может позволить себе стать размазней, пока ночные заморозки не превратят ее в сталь. Во млыве – не место размазне! Здесь рука-

вички ставят перед собой недостижимые цели и с упорством, недоступным для смертного, идут к ним, вроде того охотника, отправившегося за лосем, укравшим солнце. Только так можно после себя оставить звездную льжню! Дафнис должен пытаться достичь невозможного, в одиночку противостоять империи доброды и победить! Это в зиме варежки просто ищут друг друга, чтобы прижаться, чтобы их засунули в один карман, а здесь на кон должно быть поставлено все! Он не только должен принять роды в застрявшем вагоне метро у случайной ночной роженицы, пьяной бомжихи, перерезать пуповину перочинным ножом, продезинфицировав его водкой из недопитой женщиной бутылки, и завернуть нового гражданина метро в собственный пиджак, это может каждый, нет, от его поступка, от его глазомера, быстроты, натиска, багажа знаний, но прежде всего от готовности пожертвовать собой не ради какой-то там Хлои, а ради чего-то важного, например бессмертия или ради того же командира на площади, так и умершего от жажды, но не ставшего пить конскую мочу, – так вот, от него будет зависеть нечто неизмеримо более важное! Например, тот же Константинополь и проливы – возвращать орочам или нет? Или Аляску? Действие, разумеется, должно происходить перед войной – чтобы события в конце концов затронули всех. И Дафнис жертвует собой, выйдя из лифта и оказавшись случайно в эпицентре мировых событий, предотвращает покушение на английского посланника и спасает тысячи

жизней на полях ненужной войны! Любящее сердце сильнее доброзлиной империи! Или, на худой конец, он просто может стараться спасти свою шкуру, что не менее человечно. Но это там, в зиме, Дафнис может бросить свою Хлою и бежать за тридевять земель, забившись за коробки в трейлере, наглотавшись снотворных таблеток, в обнимку с пластмассовыми бутылками – одна попить, другая для мочи, а здесь, во мльве, он должен пойти туда, не знаю куда, и найти то, не знаю что, чтобы победить смерть, а срок – до пятницы. И обязательно найдет, вот увидите! И еще одно немаловажное – какие же герои могут быть без описания внешности? Ведь этого пастушка с его пастушкой так легко перепутать с другими пастушками и пастушками! Надо так вводить персонажей, чтобы можно было их запомнить, а не как на зимней коктейль-пати, когда представляют сразу пятнадцать человек, и ни в жизнь потом не вспомнишь ни имен, ни губ! Со внешностью Дафниса все, в общем-то, просто, посмотрите на меня! А вот Хлоя, как описать ее? Пожалуй, так: представьте себе портрет молодой женщины работы Лоренцо ди Креди, Флоренция, 1459/60–1537, масло на дереве – в музее Метрополитен поднимаешься не по главной лестнице, а по следующей, пройдя насквозь Средневековье, и там нужно идти не к Тициану, а сразу повернуть налево – у самых дверей, выходящих на второй этаж, будьте внимательны – легко не заметить и пройти мимо. Вот это и есть ее точный поясной портрет. Она изображена в чер-

ном, сидит вполоборота и держит в пальцах кольцо, которому, очевидно, предстоит сыграть какую-то важную роль, раз оно появилось в этой истории уже дважды. И еще очень важно: при таком обилии действующих лиц нужно сразу дать понять – кто из них главное, чтобы не было путаницы, чтобы никто не подумал, что – слово. Вот Хлоя. Это ведь не просто какую-то, кто говорит, что нельзя держать зло в себе – от этого бывает рак, поэтому надо избавляться от него, передавать дальше, и не только та, что на болоте собирала стебли златоцвета, плела из них клетки для цикад и часто, этим занявшись, овец своих забывала. Нет! Это та самая, у которой соски торчали, как две крыжовинки, и которая в кафе выковыривала незаметно грязь из-под ногтей и подкладывала в мороженое. Это ведь она кричала, что у нее мозгов нет, но есть матка и поэтому она хочет родить ребенка в любви. Вернее, это она будет кричать потом, когда ее наденет на руку какую-то другая история, а пока Хлоя говорит так: Верят в Бога лишь те, кто живет завтрашним днем, а я живу только сейчас. Я нисколько не раскаиваюсь, что выбрала такой путь – он сделал меня независимой и сильной. И млыво вершит с Хлоей чудеса! Если в зиме она некрасивая, то здесь еще некрасивее, ненавидит яростнее, любит страстнее. Если там никчемная – то здесь еще никчемнее, и еще больше хочет, чтобы ее любили, и одиночество ночью во млыве еще невыносимей, чем в зиме. И она вовсе никому не обязана быть идеальной – безупречные ва-

режки скучны. Работая в парикмахерской на богатых тетенек, она может быть обижена на жизнь и считать, что это у нее, такой молодой и однодневной, должно быть все, а не у толстых старых дур. Впрочем, если объект зависти молода и красива, то переживания еще сильнее. И кто не сможет в глубине души понять бедную Хлою? Она, отлучившись на некоторое время от клиентки и проходя мимо дорогой меховой шубки, висевшей на вешалке на плечиках, незаметно чиркнула по ней бритвой. Никто так никогда ее и не заподозрил. А все эти вокзальные истории! Да она наслаждалась придуманной себе ролью, играла захлеб: сирота-ангелочек, попавшая на помойку жизни. Легенда: приехала поступать, ограбили, изнасиловали. На хороший макияж – она же дипломированный визажист – накладывается грим. Чуть-чуть голубизны на нижние веки, чтобы показать легкую изможденность, не задевая красоты и привлекательности. Под безукоризненный маникюр чуть-чуть траура. Пухлые губки слегка забелить тональным кремом. Легкий, не отталкивающий беспорядок в одежде. На самом видном месте – хрупком плечике – отпорота пройма, сквозь брешь видна ссадина. Это в зиме Хлоя каждый раз выходит замуж за синицу в руке, а во млыве она стремится к чему-то неисполнимому. Дафнис должен найти до пятницы тайну бессмертия, а она – Дафниса. И всякий раз, когда думает, что вот, любимый, дорогой, единственный, храплюшечка моя, в ее объятиях, Дафнис оказывается Паном, который лю-

бит Питию, любит и Сирингу и вечно пристает к дриадам лесным, не дает прохода нимфам. Раз, когда Хлоя стадо пасла, играла и пела, Пан, перед нею явившись Дафнисом, стал ее соблазнять, склоняя к тому, чего он хотел, и обещал ей за это, что все ее козы будут рожать по паре козляток за раз, она ему дала, а он, получив свое, еще стал отжиматься от пола и запрыгал по комнате, как по рингу, делая боксирующие движения, направленные на невидимого соперника. Плечи и грудь от пота сверкали, будто латы. Над диваном на гвоздике висели перчатки, а в шкафу за стеклом стояли победные кубки. «Дафнис, – позвала она, – возлюбленный мой!» А Пан ей: «Что ж ты не сказала, дура, что в первый раз?» Когда поняла Хлоя обман, бросила сухо: «Дай перчатки!» Пан, усмехаясь девичей лихости, помог Хлое натянуть их, огромные, тяжелые, как валики от кожаного дивана. Поднял ладонь: «Бей!» Хлоя вдруг ударила его не в ладонь, а по лицу, и еще, и еще, со всей силой, отчаянно, злобно. Пан, огорошенный, отскочил, пробуя пальцами нос, потом засмеялся: «Ну ты даешь!» Стал уворачиваться от ее ударов, прыгать по комнатному рингу, делая выпад то слева, то справа, хлопать ее по задку. Кричит: «Давай, Ленка, жми!» Она разъярилась, что не может больше попасть в лицо. Случайно сбила стакан со стола. Вазу сбила с телевизора уже специально. Потом стала громить стекла в шкафу и кубки. Пан свалил ее ударом в челюсть. Плелась домой зареванная, держась за скулу. Прикладывала к щеке снег. С серого неба сыпалось легкое,

светлое. По дороге еще зашла в магазин купить молока для кошки. У Хлои была кошка, которая любила гостей и переливалась из рук в руки. И вот сейчас, пока никого дома не было, кошка прыгнула на окно, устроилась в открытой форточке и лапкой ловила снежинки. Потом она зевнула, и никто не увидел, какая большая и ребристая кошачья глотка. Ведь привлекает все невидимое. И, рассказывая о варенье, нужно знать о ней видимое и невидимое. Вот об этом невидимом и надо рассказывать. Не видя Хлои, знать о ней все, самую мелочь, даже как ходит за водой на Тунгуску и берет с собой топор, чтобы прорубить лед в замерзшей проруби. И чтобы не ходить каждый раз, Хлоя с матерью держат на холоде в сених вырубленные куски льда в мешке из-под кубинского сахарного песка, набивают ими бочку в углу кухни, где лед оттаивает. А вскоре после ледохода уже никуда не выйдешь без накомарника. Надевают ватники, мажутся солидолом. Пойдешь в лес – уже на подходе слышно густое монотонное гудение. В ветреные дни пригоняет тучи комаров на городок. Облепляют стены, будто избы порастают шерстью. Три-четыре раза в лето приходится разводить дымокуры: в дырявом тазу поджигают сухую кору, щепки, дают разгореться, потом накладывают мох и сырые смолистые еловые ветки. Идет едкий тяжелый дым. И все равно до самых морозов заглатывают комаров с похлебкой. Но кому, скажите на милость, интересно про хижину? Оставим чумы и нелюбовь зиме! Нет, надо перенести действие куда-нибудь на юг, который, как

известно, притупляет мысли, но обостряет чувства. Вот, видите, как пульсирует закат на вертящейся стеклянной двери дорогого отеля на берегу Эвксинского Понта, что означает – для неграмотных – гостеприимное море? Ведь приятнее переживать за героев в городе, бывшем когда-то вторым после Афин, недаром писал Страбон, что в Диоскуре торговля шла при посредстве трехсот переводчиков. И куда ж без пляжного фотографа – в шортах и сомбреро, с обезьянкой на плече, с надутым желтым крокодилком под мышкой? Или отправимся на базар в Дамаске, где продают мальчиков почти даром и всему их обучают, даже, по желанию, оскопят. Мертвый сезон на Крите – мандарины и апельсины валяются под деревьями в парках, но не вкусны. И кажется странным, что дети циклопов и цикад – острова. Дожди там не падки. И если срок действительно лишь до пятницы, то чего же медлить! В путь! Куда глаза глядят! Ведь нужно найти что-то от смерти, хоть амулет, хоть заговор. Магические слова. Скажешь – и никакой смерти больше не страшно. Дафнис выйдет из дома, а во дворе все белым-бело от выпавшего за ночь снега. Трамваи остановились, поезда ходят с опозданиями. Снег валит густой, медленный, прошлогодний. Огромный дом-новостройка будто поднимается в снегопад, как цеппелин. Когда будет проходить мимо гинекея, кто-то забарабанит по стеклу. Дафнис остановится, приглядится. А это Ликэнион машет рукой, зовет в форточку, мол, иди быстрее сюда, я скажу тебе что-то очень важное. Даф-

нис покачает головой: «Некогда!» Ликэнион распахнет, отодрав с треском, створки заклеенного на зиму окна. Крикнет: «Невозможно вернуть каждой глазнице по глазу, каждому черепу по человеку! Но у меня есть одна тайна! Иди сюда!» Высунется, выбросит в окно косу, как канат. «Ну, что же ты медлишь?» Упрется руками для устойчивости в подоконник. «Хватайся, лезь, любимый мой, единственный, храплюшечка моя!» Дафнис побежит прочь из города, не останавливаясь, и будет бежать, пока из-под снега не появится травка-муравка, ведь все тайное становится явным. А Дафнис все будет идти и идти. Тень листвы сделает ленту дороги гипюровой. Промельк стрижа. Улитка наперегонки со своей тенью. Вода доживает в луже. Камешек попал в босоножку. Дуб многорук. Закат пастозен. Шалаш. Можно зарыться ночевать в сене. Вылунит копеешное. Дафнис ляжет головой туда, откуда пришел, а ногами в звездную лыжню. Ночью заедят комары. Сон потен и беспокоен. Дафнис всю ночь проворочается и утром проснется ногами туда, откуда пришел, и головой туда, где солнце все тащит за собой упирающегося лося. Дафнис встанет и пойдет дальше, удивляясь пейзажу с изнанки. Чем ближе будет он подходить к родному городу, тем сильнее будет становиться его удивление. Уже откроются шпили, купола, маковки, когда мимо Дафниса со стороны города пробежит человек с окровавленной головой, в кулаке у него будет что-то зажато. Дафнис подумает: «Просто удивительно, как похож этот город на мой!»

И ускорит свой шаг. А в городе тем временем, пока Дафнис отсутствовал, случилось следующее. Пришло лето. Два каменщика-ороча работали у одного тунгуса, и, пока тот ходил на капище, пошел дождь. В дождь становятся видимы те нити, которые тянутся от верхних деревьев к деревьям, от верхней травы к траве, от верхних людей к зонтикам. А пока не было хозяина, в кладовой в подполе орочи увидели много серебряной и золотой посуды и захотели ее украсть. Так и сделали. Забрались в подпол и забрали все, что там нашли серебряного и золотого. Тогда один из них, кто вылез первым, подумал: «На что мне делиться добычей? Я ведь могу забрать себе все!» Подумав так, он подошел к своему товарищу, как раз когда тот поднимался из подпола через узкий лаз, и ударил его молотком по голове так, что тот упал замертво. Ороч схватил всю добычу и был таков. Как только дождь кончился и на реке от песка пошел пар, хозяин вернулся домой и увидел, что в подполе лежит труп. Бедный тунгус затрясся от страха. Что делать? Сперва хотел убрать труп тайно, чтобы никто не знал, потому что очень боялся мести орочей. Но убийца, припрятав серебро и золото, уже бегал по улицам и кричал: «Тунгусы зарезали ороча! Все скорее сюда! Тунгусы зарезали ороча!» Тут же разъяренная толпа примчалась со всех сторон на берег Тунгуски, где в убогих домишках ютились горечь и надежда, и хотела устроить резню. Тунгусы вынесли на носилках шамана. Толпа при виде старца затихла. «Что вы хотите сделать, несчаст-

ные? – начал он слабым голосом, но было слышно каждое слово, даже река замерла. – Из-за какого-то мертвеца перебить живых? Ну, умер – и умер. Не страшно. Как чья-то смерть может быть сюрпризом? Жизнь – это струна, а смерть – это воздух. Без воздуха струна не может звучать. И потом, он же не насовсем ушел, а только отлучился. А что убийца не тунгус, это и так понятно. Но вам, я вижу, нужны какие-то доказательства. Вы их сейчас получите! Итак, в доме работали два ороча-каменщика. Пока шел дождь, они залезли в подпол. Когда дождь кончился, ниточка, связывавшая одного из них с небом, оборвалась. Вот и все. А теперь убитый сам покажет, кто его убийца. Принесите мертвого!» Так и было исполнено, принесли ороча с проломленной головой и положили у ног шамана. Толпа попятилась. Старец осмотрелся, увидел в задних рядах орочей Хлюю. Подозвал ее рукой. Толпа расступилась. Хлюя, испуганно оглядываясь, вышла вперед. Нервничала и все время, оттопыривая нижнюю губу, вздувала упавшие на глаза волосы. Старец протянул руку ладонью кверху, как бы в ожидании, что она что-то в нее положит. Хлюя, ничего не понимая, оглядывалась, пожимала плечами, растерянно улыбалась. Старец сказал: «Кольцо!» Она: «Какое кольцо?» Он: «То самое, иначе зачем оно появилось в этой истории? Не иначе как это и есть тот самый искомый амулет!» Хлюя попыталась снять кольцо, но оно с перепугу ухватилось за палец, не оторвать. Стала слюнявить кожу на пальце языком. Наконец кольцо соскользнуло, старец по-

ложил его в руку мертвеца и сжал тому пальцы. Толпа затаила дыхание. Убитый ожил. Толпа охнула. Мертвец поднялся и стал высматривать своего убийцу. Он сразу же его увидел прячущимся за чужими спинами и закричал: «Ты мой убийца!» Пораженная толпа бросилась с криком на злодея, чтобы растерзать его, а убитый, воспользовавшись всеобщим смятением, тем временем незаметно скрылся. И вот проходит Дафнис по улицам, и все кажется ему знакомым, только мосты стали низкими – вода после дождей поднялась. Вдруг видит – гинекей. Точно такой же. Из окна высунулась точно такая же Ликэнион. К ней кто-то лезет по косе. Все такое же, но какое-то другое. Будто всех подменили. Дафнису вдруг приходит в голову, что, может быть, он просто во сне перевернулся, а теперь пришел в свой город. Он идет домой к Хлое. Дом с виду такой же. И запахи в подъезде такие же. Такой же звонок. Открывает Хлоя – такая же, только какая-то чужая. Спрашивает: «Вам кого?» Дафнис замечает: на вешалке в прихожей – милицейская шинель с погонами. Не знает, что сказать. С кухни мужской голос: «Кто там? Чего надо?» Хлоя в ответ через плечо: «Не знаю, опять побираются!» Голос: «Гони в шею, стынет все!» Дафнис наконец шепчет пересохшими губами: «Ты меня разве не узнаешь?» Хлоя: «Нет». Дафнис: «Я же твой Дафнис!» Хлоя: «Вы с ума сошли? Дафнис – мой суженый, вот он, на кухне сидит, зовет ужинать. Я его долго искала, всю жизнь, и наконец нашла. Мы собираемся пожениться – так было в пророческом

сне, правда совсем в другой истории». Дафнис: «Но мы в этой истории! И мне до пятницы нужно найти средство от смерти. Я вот подумал – может, это то самое кольцо? Ну, помнишь, о котором ты рассказывала, что-то про продленку». Хлоя прячет руку за спину и говорит: «Все это ерунда, бессмертие начинается у женщины между ног». И закрывает дверь. Кстати, спрашивается, зачем такое обилие каких-то ненужных мелькнувших людей? История маленькая, на всех не хватит. Кто ж спорит: главные варежки не могут обойтись без всех этих официантов, продавцов газет, портье, боев в отеле, пляжных фотографов, голосов с кухонь и милицейских шинелей. Так и надо оставить им их «кушать подано»! Остальное зачем? Взять того же фотографа, сверкающего чернью и золотом во рту. Кому он нужен? Зачем нам знать о его ожидании и страхе все эти годы, что вот вдруг раздастся звонок в дверь и на пороге появится его дочь, которую никогда не видел, уже взрослая, – все время подсчитывал, сколько же ей теперь? Зачем знать, что он хотел когда-то снять яблоки, как у Мэн Рэя, – и ничего не получилось? Будучи на жене, он представляет себе дачницу, которая жила у них прошлым летом, снова видит с закрытыми глазами, как спущенные трусики та стягивает одной ногой с другой, как ее крепкие ягодички от прикосновения втягиваются и сжимаются так, что не проходит и кончик языка, как она писает перед ним – струйка вылетает рывками, песок намочает и сразу же твердеет. Жена фотографа давно знает, что

муж изменяет, – ночью иногда, приподнявшись на локте, нюхает его и чувствует чужие духи, однако смирилась с положением оскорбленной, но мудрой женщины. На стене фотография ее младшего брата – военный, герой, погиб при исполнении служебных обязанностей, а на самом деле умер, захлебнувшись рвотной массой в канаве. Рядом фото тройни, родившейся у сестры. Из-за забора доносится разговор их соседки, азербайджанки, с почтальоном, она плохо говорит по-русски – хотела сказать «больше месяца», а получилось «одна луна и немножко». Летом всегда сдавали комнаты курортникам – один дачник, доцент из Курска, составлял какой-то словарь, порезался о битое стекло на берегу, поехал на автобусе в больницу, автобус попал в аварию – застрял на железнодорожном переезде, а потом эти листы со столбиками слов были на банках с вареньем – жена не закручивала крышки, а по старинке закрывала бумагой и обертывала веревочкой. Один раз снимал весь низ дома скульптор, работал в саду, и вдруг дождь. Кричит: «Помогите, бюст, бюст из сада надо принести на террасу!» Потасили вдвоем, поскользнулся – все разбилось. У сына математический ум: какая-нибудь случайная цифра, например, номер автомашины, для него 19 в кубе. Зачем-то вспоминалось, как в детстве к ним в гости приехал дядя, брат матери, и никогда не купался, даже не снимал майки, а в душе сквозь щель удалось рассмотреть – у него было две пары сосков. Сам полный, и верхние груди почти женские, а снизу

еще крошечные два пятна. С террасы всегда виден закат. Один раз туча спустила луч, как весло. А дом фотограф купил у вдовы московского ветеринара – тот на пенсии поселился у моря, сдавал нижние комнаты и любил рассказывать дачникам вечерами, какими животными приходилось заниматься: до войны были только лошади, потом свиньи при столовых, кролики. В войну опять лошади. После войны – поросята, коровы, козы, куры. Животных держали и на Арбате, на Горького – во дворах, чердаках, в ваннах. В большое бешенство 52–53 годов – собаки. К фестивалю молодежи и студентов 57-го – голуби, лебеди, утки на прудах. Потом все больше собаки и кошки. Читая газеты, старый ветеринар радовался катастрофам, как Блок гибели «Титаника», – что океан еще существует. И все это никому не нужно: ни ветеринар, умерший еще в Олимпиаду, ни он сам, со своим желтым крокодилом под мышкой бредущий по берегу, – галька под ногами скрипит и разъезжается, ни его сын-математик, влюбившийся в девушку из хорошей семьи, студентку физтеха, умную, но глухую. Шепчет ей в ухо слова любви, а она: «Что?» Когда получила первый слуховой аппарат, доктор сказал, что если носить длинные волосы, то не будет видно прибор. Все это лишнее. Тем более что потом пришла война и дом сгорел, а фотограф и все остальные уже умерли или еще умрут. Так зачем про них рассказывать? Надо было с самого начала вычеркнуть этого фотографа с его пляжем, таким с утра съезжившимся, тихим, что слышно, как где-то в горах кричат что-

то невразумительное, вроде: «Таласса! Таласса!» Из-за таких, как он, появившихся на два стежка с этой стороны и продолжающихся с обратной, как в мебиусном небе, мир только ветвится до бесконечности, растет комом из прошлогоднего снега, отдаляя нападение разбойников. Потому и в пророческом сне про них ни гу-гу. Хотя, по правде говоря, и пророческие сны не стоит смотреть до конца. Потому что, когда снится пророческое, самое главное – вовремя проснуться. Чтобы ничего больше не было. Проснуться бы на рукавичной свадьбе. Хля сломает каблук – плохая примета – и проплачет все время, когда перед аналогом священник будет наставлять ее возвеселиться, яко Ревекка. Хор затянет псалом из Давида: «Увидишь сыновей у сыновей своих! Мир на Израиля!» А Дафнис, пропотевший в неудобном новом костюме, с неприятным ощущением на пальцах, засаленных свечкой, подумает: «При чем здесь Израиль?» А потом на них нападут разбойники.

Вопрос: Когда после долгого обморока Кир наконец приходит в себя, несколько евнухов, которые оказались рядом, хотят посадить его на другого коня и увезти в безопасное место. Но он уже не в силах удержаться на коне, и евнухи ведут его, поддерживая с двух сторон. Ноги у него подкашиваются, голова падает на грудь, однако он находится в уверенности, что победил, слыша, как бегущие называют Кира царем и молят его о пощаде. Тем временем несколько кавнийцев – убогие бедняки, которые следуют за царским войском, исполняя самую черную и гряз-

ную работу, – случайно присоединяются к провожатым Кира, сочтя их за своих. Но тут же они, разглядев красные накидки поверх панцирей, понимают, что перед ними враги, так как все воины царя были в белых плащах. Тогда один из них, метнув сзади дротик в Кира, рассекает ему жилу под коленом. Рухнув на землю, Кир ударяется раненым виском о камень и испускает дух. Узнав о смерти брата, Артаксеркс, окруженный придворными и воинами с факелами в руках, спускается с холма и подходит к мертвому Киру. По персидскому обычаю труп отсекают голову и правую руку. Царь велит подать ему голову брата. Ухватив ее за волосы, густые и длинные, ярко освещенный пламенем многочисленных факелов, Артаксеркс показывает ее всем.

Ответ: До пятницы оставалось совсем ничего. Нужно было что-то быстрее делать. Мы сидели на кухне, держали друг друга за руки и молчали. Она смотрела в окно. Вдруг сказала: уже декабрь, а снега все нет. А потом... Да вы меня и не слушаете вовсе.

Вопрос: После битвы царь, желая, чтобы все говорили и думали, будто он убил брата своею рукой, отправил Митридату, попавшему дротиком Киру в висок, дары и велел сказать ему: «Царь награждает тебя этими подарками за то, что ты нашел и принес чепрак Кира», на что Митридат, смолчав, затаил обиду, ведь ему принадлежала честь победы, а тут какой-то чепрак! И вот его пригласили на пир, и он пришел в драгоценном платье и золотых украшениях, пожалованных царем. После еды, за вином, главный из евну-

хов царицы-матери Парисатиды сказал: «Что за прекрасное одеяние, Митридат, подарил тебе царь, что за ожерелья и браслеты, и какую драгоценную саблю! Объясни мне, друг, неужто и в самом деле такой славный подвиг – подобрать и принести чепрак, свалившийся со спины коня?» Не сдержавшись, Митридат, которому и так вино развязало язык, ответил: «Можете сколько угодно болтать про всякие чепраки, а я говорю вам: Кир был убит вот этой рукою! Метил я в глаз, да чуть-чуть промахнулся, но висок пробил насквозь. От этой раны он и умер». Все остальные, видя беду и злой конец Митридата, прятали глаза в пол, и только хозяин дома нашел что сказать: «Друг Митридат, будем-ка лучше пить и есть, преклоняясь перед гением царя, а речи, превышающие наше разумение, лучше оставим». Евнух передал этот разговор Парисатиде, а та Артаксерксу. Царь был вне себя от гнева. И тогда он приказал умертвить Митридата корытною пыткой. Взяли два в точности пригнанных друг к другу корыта и в одно из них навзничь уложили несчастного несдержанного на язык храбреца, а сверху накрыли вторым корытом, так что снаружи остались голова и ноги, а все туловище было скрыто внутри. Потом Митридату дали есть, он отказывался, но ему кололи иголкой в глаза и так заставляли глотать. Когда он поел, в рот ему влили молоко, смешанное с медом, и эту же смесь размазали по всему лицу. Корыто все время повертывали так, чтобы солнце постоянно светило пытаемому в глаза, и неисчислимое множе-

ство мух облепляет ему лицо. А так как сам он делал все то, что неизбежно делать человеку, который ест и пьет, в гниющих нечистотах скоро завелись черви, которые заползали в кишки и принимались грызть живое тело. И так мучился Митридат семнадцать дней, потому что он есть и его больше нельзя сделать несуществующим. И никак не получится перехватить брошенный дротик.

Ответ: В ту последнюю ночь мы так любили друг друга, как еще никогда до этого. Я забылся всего на час или на два, а когда проснулся, уже рассвело и за окном все было в снегу. Встал тихо, чтобы ее не разбудить. Оделся, натянул пальто, шапку. Заглянул в спальню. Нога выбилась из-под одеяла. На пятке шрам – когда-то в детстве прыгнула на грабли. Осторожно притворил за собой входную дверь, спустился вниз. Сунул по привычке палец в почтовый ящик. Дверь подъезда хлопнула за спиной. Весь двор был белым, и снег все валил. Свежий, утренний. Кто-то откапывал желтым совком машину, превратившуюся в сугроб. Из-за заносов не ходили трамваи. Люди тянулись гуськом к метро через пустырь – уже протоптали тропку. Все спряталось под снегом – и детская площадка, и помойка. И опять так повалило, что на миг улица за снегопадом совсем исчезла. Бело. Немо. Зима.

Я поступаю в гимназию Билинской на Таганрогском проспекте в доме Хахладжева. Здание это и до сих пор стоит – известный всем ростовчанам «Дом обуви».

На вступительном экзамене, протараторив перед батюшкой «Отче наш», от волнения делаю реверанс вместо полного поклона.

Гимназия начинается, собственно, с писчебумажного магазина Иосифа Покорного на Садовой. Достаточно сказать: «Билинской, первый класс», как мне уже сооружают пакет, в котором все учебники, тетради, краски, кисточки нужных размеров, перья, резинки, пенал. Желая продемонстрировать мягкость белки, приказчик проводит кисточкой мне по скуле.

Утром мама причесывает меня, заплетает косички так туго, что тянет кожу и невозможно закрыть рот, а глаза становятся раскосыми, как у китайца. Отправляет в гимназию с сестрами, целует, поправляет крылышки на фартуке, сует каждой по пятнадцать копеек на обед. Уже по дороге деньги тратим на лакомства – леденцы или кусок халвы у уличных торговцев, те специально выбирают места недалеко от школ.

У входа швейцар в галунах. Старик подает и снимает верхнее платье с учителей, дает звонок в начале и конце урока, глядя на большие стоячие часы в вестибюле. В свободное время он сидит в своем углу с книжкой в руках – про него говорят, что он толстовец, не ест мясного и что, прочитав «Холстомера», завещал свой скелет в анатомический кабинет гимназии.

Опаздывать нельзя – в половине девятого закрывают раздевалку, а в пальто в класс не явишься. Помню даже мой номер в раздевалке – 134. Тот же номер был внутри калош – на бархатистой малиновой подкладке.

А зачем я его помню? Кому нужно знать про не существующий больше номер в несуществующей раздевалке? Ведь никогда больше не вешать мне на тот крючок донашиваемое после сестер пальто. И никогда больше зимой после уроков не спускаться в раздевалку и не напяливать на себя ненавистные

толстые штаны под гимназическое платье, не завязывать башлык, прежде чем отправиться домой. Да и дома нет. И вообще ничего, что со мной было, – нет. Никого и ничего.

А может, и есть. Вот же он, перед моими глазами, актовый зал на втором этаже, в котором отражения окон могут так змеиться на паркете. Каждое утро начинается с общей молитвы. Учитель пения, Юлий Павлович Феррари, дает на рояле ноты – соль и си для пения в два голоса «Царю небесный», «Спаси, Господи, люди твоя», «Богородице дево». Милый, хороший Юлий Павлович! Он в первый же день замечает мой голос, просит остаться после уроков. Я буду выступать на всех гимназических утренниках и концертах.

Все, купленное в магазине для уроков, оказывается совершенно недостаточным. К счастью, у меня есть опытные сестры, которые учат, что, кроме учебников и тетрадей, уважающая себя гимназистка должна иметь альбом для стихов и картинок, что розовая промокашка, вложенная в тетради, является признаком безвкусицы и почти что нищеты, а надо покупать клякс-папир других цветов и прикреплять его к тетрадам лентами с пышными бантами. В классе я имею полное право презрительно коситься на девочек с убогими розовыми промокашками. Так я отношусь к моей соседке по парте, девочке с утиным носом и золотистыми кудрями. Один раз она так выразительно декламирует басню Крылова «Две собаки»: «Жужу, кудрявая болонка...», что за глаза ее из-за кудряшек все начинают звать Жужу. Помню, как я ей снисходительно дарю «приличный» клякс-папир и как она начинает из-за этого горько плакать.

А сейчас, после всего, что было, кажется чудесным, просто сказочным, что какие-то дурацкие промокашки могли так отравлять жизнь!

Жужу учится бесплатно, потому что она бедная. О ней все знают, что мама растит ее без отца, потому что с юности была гувернанткой в разных семьях.

Я дружу с Милой, которую все называют Мишкой. Она нравится мне своей отчаянностью. Мишка хочет быть капитаном корабля или исследователем Африки и в церкви крестится только за плавающих-путешествующих. Мне нравится в ней все, даже линейка, заляпанная чернилами. В туалетной комнате, около раковин для умывания, высоко под потолком на перекладине висит полотенце, длинное, скрепленное концами, нужно тянуть его, чтобы вытереться: Мишка, схватившись за него, раскачивается, как на гигантских шагах. Наверно, она ничего не весила, потому что перекладина не сорвалась.

На перемене в актовом зале я бегу за Мишкой, паркет скользкий, как каток. Ударившись о рояль, стоявший в углу, я теряю сознание и прихожу в себя только в кабинете начальницы гимназии – Зинаиды Георгиевны Ширяевой. Она смачивает мне виски чем-то отвратительным, отчего не прийти в себя невозможно. Начальницу все боятся. Ее сухие губы целуют меня. Она умрет от холеры в 1920 году.

Отношения в классе сложные. Я пишу записку Наташе Мартъяновой, которую все любят и зовут Тала: «Дорогая Талочка, давай дружить». В ответ удивление: разве мне неизвестно, что она дружит с Тусей? Я ненавижу Тусю. Она трусиха и к тому же прегадкая. У нее близорукость, с первой парты ничего не видит. Очки в то время – большая редкость, и она боится насмешек. Только после настойчивых указаний гимназического начальства она появляется в классе в очках, которые делают ее еще уродливей.

Еще я дружу с Лялей. У нее растут огромные карие глаза. Она самая красивая в классе, и ей все завиду-

ют. К тому же она освобождена от утренней молитвы и Закона Божьего.

Каждый класс имеет в церкви свое место – младшие спереди, старшие сзади, переходя в старший класс, передвигаются в церкви на новое место. Около каждого класса всегда стоят несколько стульев, на которые во время службы классные дамы периодически сажают слабых на несколько минут передохнуть. Девочки говорят, что в какой-то момент богослужения, после того как священник произнесет такие-то слова, можно загадать желание, и оно исполнится. Все стоят и ждут, боятся пропустить те слова, чтобы загадать что-то заветное.

Вот бы собрать и исполнить те заветные желания...

Закон Божий преподает отец Константин Молчанов. Батюшка – любитель и знаток пчеловодства. На уроке хитрые девочки начинают простодушно расспрашивать его о пчелах, сотах, личинках, и тот принимается рассказывать, увлекается и целый час говорит о пчелиных чудесах. Потом, услышав звонок, спохватывается и сам себя успокаивает, что это, мол, ничего, пчелы – это тоже Закон Божий.

Однажды он рассказывает про воскресение мертвых, и Мишка вдруг задает ему поразивший всех вопрос: «Как же мы восстанем из праха, если наши тела съедят черви, червей съедят птицы, птицы разлетятся по всему миру и их тоже кто-нибудь съест?»

Отец Константин молчит несколько мгновений, потом отвечает: «Если сапожник сошьет сапог, а потом распорет его и один кусок забросит в Африку, другой в Америку, третий в Азию или на Северный полюс, а потом все куски соберет, ему ничего не будет стоить вновь сшить эти части и сделать прежний сапог. И так же вот после нашей смерти, когда тело

станет и небом, и землей, и деревьями, и водой, Бог соберет все части воедино».

Черви давно съели отца Константина, птицы давно склевали тех червей и разлетелись по миру. Небо, земля, деревья и вода съели тех птиц. Упокой, Господь, душу твою, любитель пчел!

Классную надзирательницу Наталью Павловну за глаза мы называем Наталешкой. Ее никто не любит за вредность и злопамятность, а еще у нее огромное родимое пятно во всю щеку. Она полная, невысокого роста и, чтобы казаться выше, носит высокую прическу и высокие каблуки. Говорит она всегда резко, звонко, будто колет слова, как орехи. Даже хвалит, будто ругает. Однажды, заменяя заболевшего учителя, Наталешка дает нам какое-то задание, а сама пишет весь урок что-то. Начальница гимназии Ширяева, заглянув, вызывает ее на несколько минут в коридор. Пока они говорят за полуприкрытой дверью, Мишка, сидящая на первой парте перед учительским столом, вытянув шею, читает вслух недописанные строки письма, в котором Наталешка объяснялась кому-то в любви: «Любимый мой Володечка! Хочу целовать тебе ноги, да, именно ноги!» Вернувшись, Наталешка по тишине вдруг замечает – что-то не так. Видит на столе свое оставленное письмо, схватывает, скомкав, испуганно глядит на класс. Тут кто-то из девочек прыскает первой, и все начинают давиться от смеха. Прыскаю и я, потому что совершенно невозможно представить нашу Наталешку с ее пунцовой нашлепкой целующей ноги какому-то Володечке. Вдруг она срывается, бежит к дверям, останавливается, видно вспомнив о том, что в коридоре может натолкнуться на начальницу, и, уткнувшись в угол, начинает плакать. Наша злобная ненавистная Наталешка рыдает тихо и безутешно. У нас смех застревает в горле, и всем хочется уже почему-то не сме-

яться, а тоже плакать. Тут раздается звонок. Наталешка оборачивается, у нее зареванное лицо, здоровая щека такая же пунцовая, как больная. Сморкается в платок и говорит, впервые не щелкая орехи, а тихо, почти шепотом: «Идите».

Девочки уверяют, что Володечка – это наш учитель рисования Владимир Георгиевич Штейнбух. Перед его уроком швейцар набрасывает на классную доску большой кусок зеленого сукна. Владимира Георгиевича слышно уже в коридоре – он всегда ворчит сам себе под нос, все ругает кого-то. Входит, кивает, не глядя на нас, поправляет складки, ставит геометрические фигуры из гипса. Немолодой, некрасивый, с отеком мокрым носом, с оттопыренной губой. И совершенно непонятно, как можно хотеть целовать вот эти ноги в старых штиблетах. Про него говорят, что он в молодости даже учился в Италии, был преуспевающим художником, но спился из-за какой-то княгини, которая, измучив его, бросила. Младшие девочки пересказывают друг дружке то, что слышат от старшеклассниц. Иногда учитель рисования забывается и начинает прямо на уроке, грозя кулаком кому-то невидимому за окном, сдавленно рычать: «Напиши ты им порку в волостном управлении – то-то зарукоплетут! А вот выкуси!» И в оконное стекло утыкается кукиш, а губа еще сильнее оттопыривается, выворачивается наизнанку.

Немецкий преподает Евгения Карловна Волчанецкая: Евгешка. Она не допускает, чтобы в классе раздавался малейший лишний звук – запрещает во время урока даже точить карандаш. И все это голосом, которым можно резать стекло. Ее боятся и не любят, про нее рассказывают, как ей родители подарили коробку шоколадных конфет и вложили туда 25 рублей. Ненависть к Евгешке переходит и на ее артикли с партиципами. Мне тем более обидно, что

папа, когда дома мы едим геркулес, всегда шутит: почему же Herr Kules, а не Frau Rules? Может быть, из-за этого мне до гимназии казалось, что немецкий – это должно быть что-то веселое.

Зато мы все влюблены в нашу француженку, которую другие учительницы и классные дамы терпеть не могут. Мария Иосифовна Мартен одна не такая, как все они, одетые в синее и черное, – она носит яркие блузки, рыжую лисицу на плечах и рыжий парик на голове. На уроке мы поем “Sur le pont d’Avignon” и пляшем, взявшись с ней за руки. Она скачет по проходу между партами, будто мы в самом деле на том знаменитом мосту в каком-то несбыточном, невозможном Авиньоне. Однажды Мария Иосифовна приносит фотографию, и нас поражает, что тот единственный на свете мост, на котором все только и делают, что поют и танцуют, обрывается где-то на середине реки. После уроков нашу француженку дожидается у ворот гимназии офицер.

Хуже всего у меня с арифметикой и вообще точными науками. Папа за ужином пытается объяснить мне загадку про мужика, лодку, волка, козу и кочан капусты, про все эти переезды от берега к берегу, а я вижу только глаза козы и живо представляю себе самого волка, и капусту, и речку, и разозлившегося на меня мужика, которого дома, наверно, давно заждались жена и детишки.

У нас начинаются обожания. Болезнь записок и воздыханий охватывает девочек одну за другой. Начинаю обожать и я. Предмет моего поклонения – Нина Рокотова из последнего, педагогического класса, с косою толстой и длинной, ниже пояса. Нина кажется мне каким-то высшим существом. На перемене гимназистки ходят по коридору, взявшись

* На мосту Авиньона (фр.).

под руки, и я пытаюсь идти так, чтобы оказаться прямо за ней. Передо мной болтается ее коса, перевязанная белой шелковой лентой. Нина обсуждает с подругой драку на катке – предмет разговоров всей гимназии: из-за нее, моей Нины, восьмиклассники мужской гимназии устроили дуэль и дрались коньками! Мишка, которая оказалась в то время на катке и все видела, рассказывала, что дуэлянтов стали разнимать, но один из них успел распороть лезвием конька другому щеку, было много крови, и потерявшего сознание гимназиста увезли в больницу. И все это из-за любви! К ней, моей Нине! Я подбегаю к ней сзади, ловлю кончик ее тяжелой косы и целую. Нина никому не разрешает трогать ее косу – только мне!

Мне кажется, что влюблен весь мир. Влюблены все девочки в гимназии. Влюблены сестры. Сестра Катя влюбляется по фотокарточкам в летчика Кузнецова, парящего в небе на своем легком, как бабочка, – так писали в газетах – «Блерио». Брат Саша против Кузнецова за Габер-Волынского на «Фармане». Пристрастия защищаются отчаянно, до слез. Когда Кузнецов устраивает полеты в Ростове, начинается столпотворение. Весь город устремляется на поле у Балабановской рощи. Не протиснуться ни по Скобелевской, ни по Гимназической. Все платные места внутри огороженного полигона забиты, толпы любопытных стоят плотной, неподвижной массой у забора, люди висят на воротах, сидят на крышах, высыпали на балконы. Публику предупреждают, что полет совершается по правилам Всероссийского аэроклуба и будет признан состоявшимся, если аппарат продержится в воздухе не менее трех минут. Кузнецов, встреченный бешеной овацией, садится в свой «Блерио», действительно похожий на бабочку. Самолет разбегается, отрывается колесами на миг от поля, но сразу же приземляется, завалясь на

правое крыло. В утешение публике объявляют, что билеты действительны для новой демонстрации через несколько дней, когда починят винт и крыло. Полет не получается и через неделю – авиатор снова падает, едва взлетев, и уезжает из города бесславно, увозя разбитый «Блерио». Любовь Кати к Кузнецову проходит. Зато торжествует Саша – приехавший вскоре в Ростов Габер-Волынский летает на своем «Фармане» над публикой и рощей много больше трех минут.

У Маши тоже роман. За ней ухаживает Борис Мюллер, сын преподавателя немецкого в мужской гимназии. Я принимаю в ее романе самое деятельное участие – помогаю сестре в передаче «секреток». Меня охватывает незнакомое чудесное ощущение: я не просто передаю записку, я служу любви! Маша спрашивает меня: как он взял ее письмо, что и каким тоном сказал, когда прочитал, какое было выражение на лице? Когда Борис приходит к нам в гости, Маша иногда закрывается с ним в своей комнате, и я должна их предупредить условленным сигналом, если вдруг появится мама. За дверью слышатся приглушенные взволнованные голоса, кажется даже, что они ругаются. Потом тишина. О чем можно так долго молчать?

Борис собирается стать морским офицером. Записки, полные уверений в любви, он пишет ровным почерком, похожим на соты.

Борис с Машей идут в кинематограф и берут меня с собой. Поражает цветной фильм о бабочках. Борис объясняет, что это делается вручную: женщины-работницы на кинофабрике раскрашивают кадры и портят себе глаза, а потом слепнут. Становится не по себе от этой простой связи. Кто-то должен слепнуть, чтобы мы видели красивых бабочек.

Борис – лютеранин, и один раз по дороге, гуляя с Машей, мы заглядываем в протестантскую кирку. Меня удивляет, что там молятся, сидя за партами.

Маша без конца смотрит на себя в зеркало, поворачиваясь так, чтобы были видны буторки на груди. Она переживает, что у нее ничего не растет. Зато уже растет у меня, хотя еще рановато.

Я вижу, что сестра в тайном календаре отмечает кружочками какие-то дни, и ни с того ни с сего спрашиваю ее об этом как раз в тот момент, когда у нас в гостях Борис: они собирались идти к нему музицировать и отбирали ноты. Уже спросив, я ужасаюсь, что спросила что-то не то. Маша заливается краской, Борис тоже. Сестра бьет меня со всей силой нотами по голове и скрывается в своей комнате. Борис стучится к ней, она не открывает. Он уходит, процедив сквозь зубы: «Дура!» До сих пор не знаю, относилось это ко мне или к Маше.

В тот же злополучный день Маша, накрывая на стол, оступается и рассекает губу о край стола. Кровь долго не могут остановить, потом сестра несколько дней ходит с пластырем под носом, вернее, отказывается вообще выходить из своей комнаты. Она боится, что ее кто-нибудь увидит с таким лицом. У нее то и дело начинается истерика, что она теперь урод и ее никто не будет любить. Мы пытаемся успокоить Машу, но она никого не хочет слушать, а мне кричит: «Уйди!» Ей кажется, что все это из-за меня. Я знаю, что ни в чем не виновата, и в то же время понимаю, что во всем виновата только я. В слезах рассказываю маме о том, что произошло, ищу у нее утешения. Она отвечает: «Природа раз в месяц напоминает женщине, что она может стать матерью». Впервые мама меня не понимает. И ничего сделать невозможно. Некрасивый шрам останется у Маши на всю жизнь.

Брат Саша смеется над нашими «Любовями», но и у него роман, причем несчастный. Он пишет кому-то письма. Иногда он начинает говорить о женщинах свысока, с презрением. Я чувствую – он знает что-то такое, чего не знаем мы. Мне страшно его расспрашивать. Только нижу, что папа время от времени дает ему на что-то втайне от мамы три рубля.

Влюблена и Нюся, у нее уже есть жених, но со своим Колей ей почти некогда встречаться – она часами играет на фортепьяно. Нюся – надежда и гордость нашей семьи, ведь она поедет учиться в Петербург, в консерваторию, и обязательно станет знаменитой на весь мир пианисткой. В этом сомневается, кажется, только она одна.

Музыкой я занимаюсь дома. Меня учат бессистемно, то мама, то Нюся. Нюся открывает «Школу Пюнтена», начинает объяснять мне нотную систему, но играть в учительницу ей надоедает очень скоро, и она бросает меня маме, доведя до слез обидным приговором, что концертанткой я не смогу стать из-за маленьких рук – еле-еле беру октаву. О правильной постановке руки никто не думает, я напрягаю ее, как могу, чтобы своими слабыми пальцами извлечь звук погромче, мама хвалит мой «удар». На самом деле такие уроки портят мне руку, но я учусь охотно и, как только понимаю басовый ключ, начинаю сама разбирать песенки.

В Ростов приезжает на гастроли королева. Не испанская, а самая настоящая – Вяльцева. Все разговоры – о ней. О Вяльцевой в гимназии уверяют, что пуговицы в ее высоких модных ботинках – бриллианты. Брат Саша, подстерегавший ее с товарищами у выхода из гостиницы на Таганрогском проспекте, говорит, что еле вылез живым из свалки, когда она бросила в толпу свою подписанную фотокарточку. Отец за ужином рассказывает, что, приезжая в каж-

дый город, в котором имеется университет или другие высшие учебные заведения, Вяльцева всегда приходит к ректору и спрашивает, кто из студентов задолжал плату за обучение, и тут же выписывает чек. На приеме, устроенном в ее честь отцами города, она спросила, что есть в Ростове. «А у нас ничего нет! – горячится отец и даже бросает вилку на стол. – Ничего нет! Дыра!»

Мама бросает пренебрежительно в адрес «несравненной»:

– Горничная!

Все за столом возмущаются, и я – больше всех. Мы с сестрами слушаем дома без конца граммофонные пластинки с записями Вяльцевой. Я пою весь ее репертуар.

Папа идет на Вяльцеву в Асмоловский и может взять только кого-то одного из нас. У него два билета. Мы тянем жребий. Заветная бумажка из Сашиной фуражки достается мне! Я не сплю ночь, потом мучаюсь весь день, не могу вытерпеть до вечера. Наконец мы в набитом битком театре. Аншлаг. Зал то взрывается овациями, то замирает, затаив дыхание, слушая божественный голос. Зал дышит любовью. У нас хорошие места, но лицо Вяльцевой я не могу толком разглядеть из-за слез, которые брызжут из глаз. Жадно схватываю каждый миг, каждое движение руки, позу, как она кланяется, как переживает шквал аплодисментов. Воздух сочится любовью к несравненной королеве, как губка. Королева великодушно принимает эту любовь. Она позволяет себя любить. Я смотрю на папу, на его горящие глаза. С той минуты я все про себя знаю. Засыпая, я представляю себе тот день, когда увижу мое имя на афише, напечатанное жирным шрифтом, и засыпаю счастливой.

Мы живем на Никитской, сюда выходит черный ход «Палермо» – это летний концертный зал, устро-

енный в саду, а парадный вход за углом. Здесь выступают заезжие королевы рангом пониже. Мы делаем дыру в заборе и слушаем – Нину Тарасову, Марию Юдину, Екатерину Юровскую. Я внимательно вглядываюсь, стараясь запомнить, как мне тогда казалось, главное – как нужно кланяться публике, принимая восторженные овации. Дома перед зеркалом я репетирую всевозможные поклоны. Однажды прохожу по Соборной площади, и вдруг меня пугает взрыв аплодисментов – это проехавшая бричка вспугнула стаю голубей. Меня охватывает ощущение невероятного счастья от уверенности в том, что все это обязательно будет: утопающая в цветах сцена, овации, поклоны. И я благодарно кланяюсь голубям.

Папа покупает пластинки. Мы с сестрами, как в лихорадке, забыв обо всем, вертим по очереди ручку граммофона и снова и снова слушаем любимые голоса, пока мама не начинает жаловаться на головную боль. Если не поет граммофон, начинаю петь я. Я просто не могу молчать, когда все поет внутри меня и рвется наружу!

Мы стараемся не пропустить ни одного концерта. Днем в «Палермо» много мух, к вечеру – комаров, публика отмахивается от насекомых, и кажется, что дирижер тоже все время отмахивается своей палочкой от назойливых кровопийц. В антракте мужчины выходят из павильона покурить, дамы и дети в сопровождении маменек и гувернанток выстраиваются в очередь у дверей в туалетную комнату. Я смотрю на них и думаю: они ведь ничего еще обо мне не знают. А я уже люблю их. И даже не просто за их будущую любовь ко мне, а просто так. Люблю, и все тут.

Прошлого нет, но, если его рассказывать, слова можно растянуть в целые дни, а можно, наоборот, целые годы упихнуть в несколько букв.

Вот с табелем о переводе в следующий класс я возвращаюсь домой счастливая и гордая собой.

И снова табель о переводе.

И снова.

У воспоминаний нет ни дат, ни времени, ни возраста. Вот я помню, как моя подруга, красавица Ляля, учит меня целоваться. Вместо того чтобы готовить уроки и решать задачи про купца, который почему-то никак не мог без нас разобраться, сколько сукна нужно ему отрезать, мы целуемся до того, что распухают губы. Я все допытываюсь, кто научил Лялю так целоваться. Она отмалчивается. Потом признается – ее двоюродная сестра на рождественских каникулах. И какая разница, когда это было, сколько мне лет, в каком я классе, в каком веке, на какой планете! Важно лишь, что я вижу все, как сейчас: вот Ляля на диване передо мной, какую-то необычная, оранжевая в косых лучах заходящего солнца, оттирает платком чернильное пятно на ладони, платок тоже оранжевый, окрашенный закатом, а теперь еще и фиолетовый, чернильный. Ляля смачивает его слюной, снова оттирает пятно, снова смачивает и оттирает, и теперь у нее и губы и язык подкрашены чернилами. И ничто никогда не сможет стереть те чернила с ее губ – ни время, ни смерть.

Наконец, я влюбляюсь «по-настоящему», во взрослого мужчину. Вернее, в его фотографию, увиденную в «Огоньке», с подписью: «Князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон» – в белых брюках, с теннисной ракеткой в руке, с ослепительной улыбкой. С первого взгляда я чувствую, что это он – мой избранник, мой рыцарь. Не сомневаюсь, что судьба сделает так, что мы встретимся. Как и когда – не имеет значения. Судьба все сама устроит, столкнет нас, швырнет друг другу в объятия. В учебнике рисунок: две восьмерки лошадей тянут в разные стороны маг-

дебургские полушария, которые ничем не соединены между собой, просто из них выкачан воздух. Кучер хлещет лошадей что есть мочи, но эти полушария с такой силой прижались друг к другу, что их не разорвать ничем. Я знаю, что у нас будет вот такая любовь – нас не сможет разорвать никакая сила на свете.

Влюбляются и в меня, но как не похожи мои ростовские кавалеры на князя Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона! За мной ухаживают близнецы Назаровы из Степановской гимназии – лопоухие, туповатые, свирепые. Они никому не дают даже подойти ко мне. За то, что один мальчик из их гимназии прокатился со мной на катке, они устраивают ему темную – избивают в гардеробной под шинелями.

Папа рассказывает про близнецов, что это – ошибка природы, нестрашная, но ошибка. Если предоставить их самим себе, то обязательно будет ведущий и ведомый, и один забудет другого. Я замечаю, как у них идет постоянная борьба за первенство между собой. Один раз зимой в овраге в Новопоселенском саду, где все с двух склонов скатываются на санках вниз, Назаровы устраивают себе испытание – летят навстречу друг другу – кто свернет первым, кто испугается, не выдержит. Все останавливаются, смотрят, как они несутся лоб в лоб, взгляд на взгляд – кто первый сморгнет, свернет. В последний миг один из них переворачивается на укатанном сугробе, отлетает в сторону. Так бы и убили друг друга, если бы не тот сугроб.

Я их сначала совсем не могу различить, потом в какой-то момент мне начинает казаться, что они вовсе и не похожи – такие разные. Но полюбить ни того ни другого совершенно немислимо. Когда нас приглашают к общим знакомым на именины, один из них, Семен, уловив момент, остается со мной

в комнате наедине. Нужно о чем-то разговаривать, а он стоит потный и красный.

В мае, когда братья проходят под окнами нашей гимназии, одинаковые, в белых коломянковых гимнастерках, воротник застегнут на пуговицы, держа равнение на окна, из которых выглядывают гимназистки, другой, Петя, так засматривается, что ударяется со всего размаха о телеграфный столб.

Летом, на каникулах, их родители уезжают с ними в Германию. От всей поездки, когда близнецов расспрашивают, что они видели в Европе, Назаровы вспоминают только крепость в Нюрнберге и в ней Folterkammer, камеру пыток, с Железной девой, в которой мучили несчастных, и поразившие их инструменты для разных видов казней и пыток – железные ножницы для отрезания языка, игла для выкалывания глаз, лучинки, которые загоняли под ногти и поджигали, и все в таком же роде. Особенное впечатление произвели на них – и тут они переходят на шепот и рассказывают только мальчикам на ухо, но все слышно – щипцы для раздавливания чувствительных частей мужского тела.

Но Назаровы становятся и нашими спасителями, когда мы с Мишкой, Тусей и другими подружками из гимназии идем на гуляние в Нахичевань. К нам пристают пьяные мастеровые из Темерника, и Назаровы, увязавшиеся за мной, храбро вступают с ними в драку. С тех пор мы ходим гулять в Новопоселенский сад, где не было спасенья от хулиганья, с близнецами, и они носят с собой ножи и кастеты.

Мир устроен странно: близнецы Петя и Сема готовы за меня зарезать человека, но я люблю не их, а фотографическую карточку, бумагу, причудливую смесь черного и белого, и все это так просто, что объяснить невозможно.

Стала перечитывать написанное и вдруг спохватилась, что ничего еще не рассказала о младшей маминой сестре, тете Оле, приезжавшей иногда из Петербурга.

Вот она влетает, стуча каблучками, в наши комнаты, сделавшиеся с ее появлением маленькими, пыльными и скучными, вся стремительная, благоухающая, столичная. Мы облепляем ее на диване, душим поцелуями. Она всем привозит подарки – что-нибудь, как укоризненно качает головой мама, самое ненужное. Самое ненужное почему-то и оказывается самым замечательным: все эти перышки, заколки, карточки, веера. Тетя Оля говорит, что жить нужно *zefiroso*. И сама она так же дышит, и ходит, и ест, и смеется – *zefiroso* – легко, воздушно. Иногда любит огорошить вопросами вроде: «Что ты предпочитаешь: вкусную еду из некрасивой посуды или невкусную из красивой?»

Однажды вечером после ужина я представляю в лицах выученную для гимназии басню «Стрекоза и муравей», не сомневаясь, что все будут мне сейчас аплодировать в восторге от моих актерских талантов, стоит мне только, нравоучительно подняв к потолку палец, произнести: «Так поди же попляши!» Но тетя Оля, не дождавшись конца, вскакивает и, прервав меня, кричит: «Все не так! Не так, Бэллочка! – объясняет мне тетя Оля, как нужно правильно понимать смысл басни. – Стрекоза веселая и милая, жила так, как и нужно прожить эту жизнь, – веселиться, петь, радоваться солнцу и небу, быть и самой доброй, и надеяться на доброту других! Она служила красоте, понимаешь? А муравей – негодяй, жадный, как все богатые, мещанин и пошляк!»

Тетя Оля привозит нам дневник Башкирцевой, на которую она чуть ли не молится, и вечерами читает вслух из него: «Люди потому стыдятся своей наготы,

что не считают себя совершенными. Если бы они были уверены, что на теле нет ни одного пятна, ни одного дурно сложенного мускула, ни обезображенных ног, то стали бы гулять без одежды и не стыдились бы. ...Разве можно устоять и не показать что-нибудь действительно прекрасное и чем можно гордиться?» Тетя Оля рассказывает, как была в Швейцарии на Луганском озере и жила там несколько недель в какой-то колонии, где все ходят голыми – и мужчины, и женщины. Еще она возмущается тем, что даже в искусстве не изображают мужские гениталии, якобы это неприлично, а ведь это – святая святых, тайна бытия и смысл мироздания! Христа, продолжает она, распяли голым, как положено приговоренным рабам, а потом все настоящие распятия попы уничтожили и стали одевать Христа!

Наша старая няня слушает ее из открытых дверей и громко плюется: «Срамота!» Она не любит тетю Олю и тем более такие разговоры, которые, по ее убеждению, нас только портят.

Маме тоже не нравятся эти разговоры, но и уйти или промолчать она не может, пытается спорить с сестрой: «Что ты такое говоришь, Оля! Ведь есть естественный стыд, есть в человеке нравственные границы, отделяющие низ от верха, есть, в конце концов, моральные ограничения, освященные тысячелетним человеческим опытом, законами, религией, в конце концов!»

Тетя волнуется, вскакивает, начинает бегать по комнате и доказывать, что во всех религиях испокон веку все это было совершенно естественным и вообще стояло в центре почитания, древний мир поклонялся Приапу, и это было божество, и только христианство все извратило – потому что терпеть не может все живое и вообще есть религия смерти и поэтому нежизнеспособно и скоро само по себе

отомрет, уже почти умерло. «И стоит только заглянуть в Библию, – горячится тетя Оля, – там тоже клялись этим как самым святым, берясь за это самое место. Когда Авраам посылает своего слугу за женой для Исаака, он говорит ему: положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли. И потом раб кладет Аврааму руку туда и клянется во всем! Вот!»

Тетя Оля обращается к старшим сестрам, но я сижу, свернувшись в кресле, слушаю и запоминаю. Я восхищаюсь ею, но в то же время мне ее жалко, потому что, как говорят сестры, она одна, несмотря на множество романов. Тетя Оля когда-то была замужем, но у нее умер ребенок. Потом она ушла от мужа, и больше семьи у нее не было.

«И вообще, мы промахнулись с рождением, – продолжает тетя Оля, закуривая папироску и открывая форточку в морозную темноту, откуда в комнату лезут пьяные крики и лай собак. – Надо было появиться на свет не здесь, а где-нибудь у теплого моря и вообще в другом тысячелетии, в той же Древней Греции, где любили любовь и не боялись любить, где жизнь была груба и естественна, а не груба и неестественна, как нынче. И вряд ли жизнь в Элладе была грубее жизни в вашем Темернике!»

Я люблю тетю Олю, потому что она всегда говорит странные вещи. Я знаю, что Христос велел всех любить, а она возмущается христианством: «Как будто можно отделить в человеке одно от другого – тело от Бога, – говорит она. – Это все равно как утверждать, что корни и цветок – два разных существа!»

Папа слушает тетю Олю молча, только иногда вставляет какие-нибудь замечания. Один раз, когда разговор заходит о происхождении религии, он говорит, что вначале была вовсе не любовь, а охота,

нужно было убить зверя, чтобы выжить. Вот охотники и взяли себе в помощники большого, сильного охотника, который поможет им убивать. «Нет, – возражает тетя Оля, – Бог начался с той женщины, у которой заболел ребенок и никто ей больше не мог помочь. И ей ничего не оставалось, как поднять руки к небу и молиться».

Слушаю тетю Олю и вспоминаю окраину Ростова в районе мастерских Владикавказской железной дороги: вонь из пивных, везде «живые трупы», лежащие в собственной рвоте и крови. У дверей кабака женские визги, пьяная, угрюмая драка. От всего безысходность, убогость, бессмысленность – от брани, от грязи, от людей. А тетя Оля утверждает, что нужно жить с миром, как новобрачные, влюбляться в эту жизнь каждый день, потому что новобрачные полны любви и на все смотрят как в первый раз. «Нужно провести всю жизнь в медовом месяце, – говорит нам тетя Оля, – и выходить замуж за все – за дерево, за небо, за книги и всех на свете людей, за красивый цветок, даже вот за этот морозный воздух из форточки!»

Любезный будущий бывший Навуходонозавр!

Ура! Получил вашу открытку! Приятно, будучи в тридевятом царстве, в столице столиц, взглянуть на ваш почерк и узнать, что у вас все хорошо. Разумеется, толмача весьма огорчило, что вам не хочется ходить в школу. Но, посудите сами, кому хочется? Зато потом, когда-нибудь, будет что вспомнить.

И не захочется вспоминать, да вспомнится. Уж поверьте. С прошлым всегда так.

К примеру, взять ту же Гальпетру, о которой я упоминал в одном из предыдущих посланий. Столько лет прошло, даже не знаю, жива или нет, а она опять тут как тут.

Не знаю, как у вас в школе с дисциплиной, а у нас на уроках Гальпетры всегда была идеальная тишина. При этом ее рисовали в туалетах – голой с усами и пудовыми сиськами. Невинная детская месть. На большее никто не решался. Ее никто не любил. Ни дети, ни учителя.

У Гальпетры любимый герой был Януш Корчак. Мы что-нибудь натворим, а она принималась на нас кричать и рано или поздно переходила на Корчака. Когда она про него рассказывала, становилась совсем другой. И голос менялся: «Но как, как оставить детей одних в запломбированном вагоне и в газовой камере?» Она всегда рассказывала одно и то же, теми же фразами. Все уже знали, что она скажет, наизусть. И у нее на глаза каждый раз накатывались слезы, когда доходила до слов: «И вот пятого августа сорок второго года Януш Корчак вывел своих детдомовцев на улицу, они построились в колонну и, развернув зеленое знамя короля Матиуша, отправились в свой последний путь, а сам Корчак шел впереди, держа за руки двух детей». А кончалось все так: «Вы понимаете, за кого он страдал? За кого он отдал свою жизнь? За вас! А вы...» При этом, когда один начитанный умник сказал, что Корчак был вовсе не Корчак, а Гольдшмид, она обиделась, мол, не был он никаким евреем! Стала его защищать и возмущаться, что, стоит только родиться в кои веки порядочному человеку, сразу начинается: а вот у него фамилия еврейская!

Умник совсем не это имел в виду, но оправдаться уже было невозможно.

Гальпетра преподавала ботанику и зоологию, в классе на подоконниках росли в горшках всевозможные растения. Она знала название каждого полатыни и все время повторяла: «Растения – живые, а называются на мертвом языке. Вот видите, в юж-

ном климате это сорняки, растут где попало, а у нас это комнатные растения. Без человеческой любви и тепла они в нашей зиме не выживут».

От ее уроков осталось только, что есть растения цветковые, а есть тайнобрачные.

Вот, вспомнилось – а зачем толмачу все это помнить?

Один раз Гальпетра прошлась по коридору с приклеенной скотчем бумажкой на спине. Та самая пиктограмма. С огромными сиськами. Кто-то умудрился незаметно приклеить в толчее после урока. Будущему толмачу на какую-то секунду пришло в голову броситься и снять с нее ту бумажку или сказать ей, чтобы оглянулась. Но только на какую-то секунду.

Так и вам, любезный будущий бывший Навуходоназавр, надо ходить в школу, чтобы потом вспоминалась всякая ненужная ерунда, вроде тайнобрачных или бумажки с туалетным рисунком, потому что из такого все и состоит.

Пишу вам с крыши. Здесь, на крыше Istitutto Svizzero, терраса с видом на вечный город. Весь Рим как на ладони. Только ладонь очень большая.

Вот вам моя открытка. Справа, над Villa Borghese, снова поднялся синий воздушный шар, разрисованный под старинный монгольфьер. Слева, где-то над piazza Venezia, гудит вертолет, приклеился к небу, как муха к клейкой бумаге, жужжит и ни с места. До самых Альбанских гор купола и крыши. А прямо, над Святым Петром, кружится темное живое пятно. Огромная птичья стая. То сжимается, темнея, становясь гуще, то растягивается, распухает, перекручиваясь, переливаясь. Будто по небу летает огромный черный чулок, который все время выворачивают наизнанку. Откуда здесь столько птиц?

Вот на этой крыше толмач и сидит полдня. Потом спускается. В огромном здании тихо – статуи молча

разглядывают картины. Все из белого мрамора: стены, лестницы, колонны, будто выточены из рафинада. Когда-то эту виллу построил швейцарский сахарный магнат, который хотел увидеть Рим на протянутой ему ладони. Теперь здесь Швейцарский институт. За каждой дверью сидят стипендиаты и целыми днями что-то делают. Один художник в первый же вечер пригласил толмача к себе в ателье и долго рассказывал о своем проекте: огромный желудок переваривает Берн, даже демонстрировал анимацию на компьютере. Другой художник тоже пригласил в свое ателье и показывал, как он делает “Lampenbrote”^{*}: из больших батонов через дырочку он вынимает мякиш, внутрь вставляет лампочку и подвешивает к потолку. Художник выключил свет, и они сидели в темноте, а над головами светился батон. В третьем ателье, в башне со сквозным видом на весь Рим, художница выдернула себе волос из головы и стала его так приклеивать к куску мыла, чтобы получилась карта мира. Она даже подарила толмачу такое мировое мыло.

Толмач, забросив лэптоп в свою комнату, выходит на *via Ludovisi*. Запахи римской улицы: бензина, кофе из распахнутых дверей бара, ладана и свечей из церкви, духов из бутика, мочи и мокрой извести из подворотни. Кругом гомон: прохожие пытаются объяснить что-то своим *telefonino*. Бешеная собака укусила мотороллер, и теперь в городе эпидемия, болезнь перекинулась и на машины, и на автобусы, носятся как ошалелые. Спятели даже канализационные люки, возомнили себя Бог знает кем: куда ни ступишь, везде “S.P.Q.R.” – “Senatus Populus Que Romanus”^{**}. Из люка на мостовой бьет пар, плотный,

* Лампохлеб (*нем.*).

** Сенат и народ Рима (*лат.*).

тяжелый, замазывает улицу, заставленную мотороллерами. Пробел в уличном пейзаже. Прореха. Или это Рим уже засмотрели до дыр?

Над головами – указка экскурсовода с привязанным розовым платком. Толмач идет за ней. Она приводит его на Barberini. Тритон на площади дует в раковину, напыжившись, за каждой щекой по апельсину. Струя с прямым пробором на темени. Здесь когда-то выставляли для опознания найденных покойников. Вода щелкает о брусчатку.

Запахи, шум – римские, а вот цвет домов совершенно московский, в Сивцевом Вражке такой цвет был у облезлой, полуобвалившейся штукатурки старых особняков – теплый, уютный.

По via Sistina к Гоголю. Номера домов тоже спятили. Выстроились в какой-то только в Риме возможной последовательности. Вот он, 125-й. У двери на табличке имена. Теперь там живет некий De Leone. Окна верхнего этажа. Из-за шторы кто-то смотрит. Внизу стойло для ослов. Если бы вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось!..

Позвонить? Откроет старичок – узнав, к кому пришел иностранец, объявит заученно, что Гоголя нет, что он уехал и никому не известно, когда будет назад, да и по прибытии, скорее всего, сляжет в постель и никого принимать не станет.

Экскурсовод с бамбуковой тросточкой над головой ведет улицу к Trinità dei Monti. Белая тряпочка, повязанная бантом, порхает мотыльком над толчеей.

Испанская лестница соткана из тел, рук, ног – живой гобелен, сбжавший из ватиканских музеев. Негр пристает к парам с букетом роз. Под ногами

ползают пластмассовые заводные солдаты, кричат что-то на своем пластмассовом языке, стреляют, прицелившись, по скомканным салфеткам, по раздавленным стаканчикам. Старуха с клюкой скрючилась на мраморной плите, протягивает руку, бормочет себе под нос, слышно только «прего» и «манджаре». Грязные пальцы бьются в трясучке. Совершенно из подземного перехода на «Электрозаводской», разве что научилась сказать два слова по-итальянски.

Толмач садится на ступеньки, смотрит на толпу внизу вокруг фонтана Баркаччо, на *via Condotti*, залитую по края головами, как кашей. Будто где-то горшочек варит себе эти головы и варит, и никто не скажет ему: «Горшочек, не вари!» – и вот залило уже все улицы.

Толмач смотрит на посеревшие зимой дома, на тусклые декабрьские облака.

Несколько лет назад толмач сидел на этих ступеньках, но не один.

Левкиппа и Клитофонт. Пирам и Фисба. Толмач и Изольда.

Толмач был здесь со своей Изольдой. Их ребенку исполнился год, и они, подбросив его бабушке, прилетели на несколько дней. Нужно было вырваться из пропахшей младенцем квартирки, увезти Изольду от всего этого заводного, домашнего, незаметно опускающего, сводящего потихоньку с ума, от всех этих кормлений по часам, памперсов, стирок, ванночек, бессонных ночей. Так важно было из невыспавшихся, замученных родителей снова хотя бы на несколько дней вернуться в тех, кем они были до этого: в мужчину и женщину, которые любят друг друга.

Они пришли на Испанскую лестницу поздно вечером и увидели тут свадьбу, тех самых жениха и не-

весту, которых видели до этого в Латеране. Ночная невеста была еще в дневном подвенечном платье, сидела на ступеньках, играла на гитаре и пела “Yesterday”. И жених пел, и гости. И вся Испанская лестница тоже пела вместе с ними: “I believe in yesterday...”

Прошло всего несколько лет, и Рим – другой, хотя все на месте и статуи не разбежались. Те же облупленные палаццо с щербинами отвалившейся штукатурки. А статуи на них издаലെка – как огромные насекомые, вставшие на дыбы, – все как тогда. И те же кошки прячутся под машинами. И такая же уличная грязь, тот же обросший зеленым мхом мраморный герб над дверью и те же ржавые решетки в темных квадратах давно ослепших окон. И то же журчание воды в барочной раковине, мшистой, обвитой плющом. И все – другое.

От того, первого Рима осталось ощущение дождя и солнца. Мокрая насквозь блузка, приставшая к ее телу, – Изольда отщипывала от себя прильнувшую ткань. Звук шин по еще дождливой, но уже сверкающей на солнце брусчатке – совсем особый, с чмоканьем, с влажным посвистом. На мокрых стенах, листьях, камнях – жидкое, слепящее солнце. От всего идет пар – и от плит тротуара, и от намокшего белья, вывешенного над головой, и от спин статуй. После дождя воздух становился резким, пахучим, свежим, но всего на несколько минут, потом опять припекало, и от выхлопных газов было нечем дышать.

С утра до ночи – музеи, галереи, церкви. Темные полотна, золоченые алтари, мраморные тела.

Рим тел. Тела повсюду – каменные, но телесные – мужские, женские, полуживотные. Мускулы, груди, соски, пупки, ягодицы – у диоскуров, императоров, мадонн, тритонов, богов, фавнов, святых. Бедра, колени, икры, пятки, растопыренные пальцы ног.

Тот Рим рассыпался на осколки.

Вот ящерка стремглав уносится наискосок по стене, спряталась под лист, остался только хвост – как крошечный полумесяц. Где это было? В каких-то развалинах из кирпичей, тонких, в два пальца.

Вдруг снова дождь – в открытую дверь трагтории летят брызги. Настоящий ливень – по тротуарам и мостовым kloкочущие потоки. Из-под машины выглядывает рыжая кошка – прячется там от дождя. Толмач заказывает лазанью и due bicchiri. Изольда учит его чокаться по-итальянски. Нужно сказать:

– Cento giorni come questo!*

Они пьют, чтобы вот эти брызги, долетающие до их голых ног, шум ливня, рыжая кошка, итальянец за соседним столиком, зажавший свой телефонно между ухом и плечом, потому что так легче объясняться руками, – чтобы все это повторилось сто раз. Тот ресторан совсем рядом, на via della Croce. Сидели там долго, уставшие, с ноющими ногами. Меню было только по-итальянски, и они тыкали пальцем в замызганную картонку, а официант объяснял, показывая на себе: это печень. А это? Похлопал себя по ляжке, мол, филейный кусок. А это? Прижал к бокам локти и замахал кистями рук, как крылышками: пиччоне, пиччоне!

Тогда, в Риме, впервые после года, набитого до отвала заботами – как найти работу, квартиру, устроить жизнь с маленьким ребенком, – толмач увидел, какая Изольда стала после родов красивая. Увидел это, когда они шли по гостиничному коридору – переоделись и хотели где-то поужинать в городе, – она шагала впереди и говорила что-то, и он, будто впервые, видел ее волосы, вырез платья, как качаются бедра, ее поступь на каблуках. Она говорила что-

* Сто таких дней, как этот! (итал.)

то, оборачиваясь в полумраке узкого прохода, и лампы в потолке меняли ее лицо через каждые несколько шагов – то привычный, совершенно домашний, профиль, то чужой, незнакомый, который хотелось трогать пальцами, целовать.

Они ужинали тогда в «Ulria» над самым форумом Траяна, сидели на открытой террасе. На столиках горели пузатые свечи в стеклянных стаканчиках – уже стемнело. Глубоко внизу, метров восемь или десять – там время измеряется метрами, – лежал древний Рим, вернее, его обломки – каждая руина была освещена. Колонны валялись, будто обглоданные мозговые кости. В ожидании заказанного *carreé di agnello* они пили вино и читали друг другу путеводитель, пытаясь понять, где что было за две тысячи лет до них, но разобраться во всех этих форумах Веспасиана, Августа, Цезаря, Нервы, переходящих один в другой, было совершенно невозможно, да еще оказалось, что большую часть этих форумов закопали обратно при Муссолини. Толмач смотрел на Изольду и тогда, при свете свечи, впервые обратил внимание на то, что у нее шевелится кончик носа, когда она разговаривает или ест. Раньше почему-то не видел этого.

Они пытались найти в путеводителе что-нибудь про название ресторана, кем была эта Ульпия: богиней, женщиной, городом? Но в книжке ничего про нее не было. Откуда-то снизу доносились крики кошек, которые отмечали кошачью свадьбу-невидимку в огромном котловане, потихоньку зараставшем. И не верилось, что именно здесь когда-то выставили для всеобщего обозрения отрубленные кисти рук Цицерона, прибили к ораторской трибуне. Было какое-то несоответствие между теми прибитыми руками и вот этой огромной ямой – пустой, кошачьей, зарастающей травкой-муравкой.

Изольда сняла босоножки и положила под столом свои ноги толмачу на колени. Он гладил под скатертью ее пальцы и слушал, как она читала про колонну Траяна, на которой почему-то стоял Петр, освещенный прожектором. Казалось, что идет снег, потому что к ночи на улицы Рима высыпали, как из распоротой подушки, ворохи каких-то ночных бабочек, и они вспыхивали в свете фонарей, окон, фар, прожекторов. Мотыльки кружились вокруг, все норовили угодить в свечку, Изольда оттоняла их от огня книжкой.

Они возвращались в гостиницу, немного пьяные после кьянти и граппы. Стояли и рассматривали барельефы на самой знаменитой в мире колонне: вот римские разведчики возвращаются с отрубленными головами даков, вот даки сдаются и женщины с детьми покидают свои дома, а римляне вселяются со своим скотом, здесь дак себя закалывает, чтобы не сдаваться римлянам, там солдат целует руку Траяну, еще выше дакские женщины факелами поджигают голых убитых римских солдат, над ними головы римлян на копьях на стенах дакских укреплений, еще выше римляне рубят деревья – и на колах снова чьи-то головы – и так без конца навверх по спирали – символ движения, прогресса, а на самом верху старый человек – замер, боится пошевелинуться, потерять равновесие, никак не может понять, как он здесь очутился, на такой высоте, – главное, не смотреть вниз, а то закружится голова.

Весь город был в ночных бабочках – кружились у фонарей, валялись на мостовой мертвые и еще трепыхались. Мальчишки поджигали их зажигалкой. Толмач в детстве так поджигал спичками залежи тополиного пуха. Всю Москву заваливало пухом, как снегом. А эти поджигали снег из мотыльков.

Было жарко даже ночью. Когда они поднялись к себе в гостиницу, в комнате было душно. Изольда

пустила сильную струю холодной воды в умывальнике и подставляла ладони, кисти, локти. Толмач обнял ее, схватил и понес через всю комнату, опустил на кровать – мокрыми ледяными руками она притянула его к себе. Струя из забытого крана все шумела. Изольда шепнула:

– Пойди закрой!

А толмач ответил:

– Это дождь за окном.

В тот первый день в Риме толмач все время смотрел на эту женщину, такую привычную, каждодневную и незнакомую одновременно, и думал, что вот это и есть счастье: слышать, как стучат ее зубы о стакан, когда она пьет, видеть, как расплзлось у нее по груди мокрое пятно, когда она пролила на себя воду. Нюхать ее запахи. Она пахла в тот день новыми босоножками – магазином, кожей, клеем, потом, духами. Лежать на гостиничной кровати и видеть в проем двери в зеркале, как она ходит то без юбки, то без блузки. Смотреть, как она поправляет узкий лифчик. Чувствовать щеками и ладонями мелкие острые уколы – она сбрила волосы на ногах несколько дней назад, и теперь они чуть-чуть отросли и кололись. А когда Изольда залезла в ванну и включила душ, показалось, что она оделась в воду.

Перед тем как заснуть в ту ночь, они массировали друг другу уставшие за день ноги. Легли валетом, опираясь на локоть. Толмач втирал пахучий лавандовый крем в ее пятки, в шрамы на ногах – следы от операций после ее аварии, и Изольда рассказывала, как в детстве, когда она с родителями ехала в жару по иранской пустыне на машине, то просила: «Мама, принеси мне холода!» – и та высовывала руку в окно, держала так минуту и потом горстью приносила воздух снаружи в раскаленную машину, вытирала ей шею.

Во сне Изольда сбросила одеяло, в свете луны блестела ее кожа, покрытая испариной. И толмач снова тогда подумал, как много нужно, чтобы почувствовать себя счастливым: быть немножко пьяным от граппы, от Рима, от любви, от яркого месяца за окном, который свисает, будто хвост спрятавшейся за облако, как за лист, ящерицы, засыпать с этой женщиной и знать, что завтра будет утро, и не просто утро, а утро в Риме, когда так остро чувствуешь, что очень мало времени и нельзя терять ни мгновения, а нужно быстрее идти окунуться в этот город.

Той ночью толмач проснулся, потому что его кусали комары. Не мог спать от их зудения и все расчесывал укусы. Включил свет, стал бить по стенам путеводителем, оставляя на обоях кровавые пятна. Потом никак не мог заснуть. Поднял с пола одеяло, закутался, прилег на подоконник, высунувшись на светлеющую римскую улицу, еще сонную, пустую, уже холодную. Под утро снова пошел дождь, и все засверкало, в мокрой брусчатой мостовой засветились отражения фонарей, реклам, вывеска бара, витрины. Все пахло, казалось, что даже подоконник и стена дома тоже издают какие-то особые римские запахи.

Толмач думал о Тристане.

До толмача у Изольды был Тристан. Они любили друг друга и тоже ездили на каникулы в Италию.

Однажды они отправились на каникулы и попали в аварию. Где-то между Орвието и Тоди. Ехали по извилистой дороге над Тибром. Из-за поворота им навстречу вылетел грузовик.

Тристан вел машину. Он погиб сразу. Его вдавило рулем.

А Изольда выжила. У нее было шестнадцать переломов.

Прошло несколько лет, и она вышла за толмача, и теперь они любили друг друга и ездили на каникулы в Италию.

И вот один раз толмач сел за компьютер, чтобы сделать какой-то перевод. В то время у них еще был общий компьютер. Вдруг толмач увидел, взглянув на последние открывавшиеся файлы, какое-то странное название. С этим файлом накануне работала Изольда. Толмач знал, что нельзя читать чужие письма и файлы. И открыл его. Это оказался дневник, который она вела.

Сперва толмач хотел закрыть файл, не читая.

Потом стал читать.

Это был странный дневник. Изольда делала записи не каждый день и не каждый месяц. Только тогда, когда ей было плохо.

Толмач стал читать эти записи, чтобы узнать, что пишет, скрывая от него, человек, с которым он делит жизнь.

Когда у них все было хорошо, она ничего не записывала, этих дней как будто и не было. А когда становилось невмоготу, когда испытывала приступы удушья от делимой с толмачом жизни – садилась к компьютеру, открывала тот файл и выговаривалась. Их ссоры, о которых толмач давным-давно забыл, продолжали жить, записанные по свежим следам, еще не отболевшие, не прощенные.

И еще было странно, что этот дневник она писала Тристану.

Умершему на тех страницах доставалась любовь, а толмачу – обиды, горечь, озлобление.

Она записывала слова, которые они бросали друг другу, чтобы сделать больно, но не записывала то, что шептали друг другу потом.

Толмач решил ничего не говорить Изольде и больше никогда не читать то, что предназначалось не ему.

Почему-то, когда они заказывали билеты в Рим и отель, Изольда хотела остановиться именно в этой гостинице, хотя ничего особенного в ней не было. И вот тогда, высунувшись в окно на ночную дождливую улицу, толмач вдруг подумал, что именно в этой гостинице она была с Тристаном. И тут же сам себе удивился: как ему могла прийти в голову такая глупость.

Толмач лег, но долго не мог заснуть, потому что все время думал о Тристане, ведь Изольда была с ним в Риме. Перебирал то, что было за день, и вдруг ему пришло в голову, что ведь это с Тристаном она вот так же чокалась и говорила: “*Cento giorni come questo!*” И может быть, они вот так же сидели, может, даже в той самой траттории – почему она привела его именно туда? – а на улице тоже шел дождь, и они тоже ждали лазанью и потягивали кьянти, принесенный, может, в этих же самых кувшинчиках.

В голову приходили мелочи, детали, смысл которых открывался только сейчас. Они прилетели в Фульмичано, и нужно было купить билет на поезд до Рима. Там были автоматы, в которых можно платить карточкой. Изольда сказала:

– Не надо, вдруг проглотит! У меня уже так было.

В кассу была длинная очередь, и толмач все-таки сунул в автомат кредитную карту – и все так именно и произошло: ни билета, ни карты. *Benvenuto all'Italia!** Толмач остался у автомата, а Изольда пошла искать, кто поможет. Она говорит немного по-итальянски. Те, кто сидел за окошками, не могли помочь. Кто мог помочь – тех не было. И вот они стояли у автомата и чего-то ждали. Изольда разнервничалась, и толмач ее успокаивал, что пустяки,

* Добро пожаловать в Италию! (*итал.*)

все обойдется, а сам уже собирался звонить, чтобы заблокировать карточку. Изольда то и дело повторяла:

– Gottverdälli!

Потом пришли какие-то итальянцы, открыли ключом автомат, и толмач получил свою карту. Они купили билет в кассе и сели в экспресс до Термини. Теперь же, ночью, в голову пришло, что ведь это, наверно, у Тристана автомат вот так сглотнул карту.

Раньше Рим встречал приезжих у парадного подъезда – Porta del Popolo, а нынче принимает через черный ход. Тащишься до вокзала какими-то грязными пригородами. Толмач все высматривал в окно, подъезжая к Термини, где же Рим, а показывали какие-то задворки, уродливые, неприветливые. Первое, что увидел, когда вышли из вокзала, – «Макдоналдс». Ессо Рома?*" Изольда утешила: чтобы Рим начался, нужно зайти в бар и стоя выпить первый эспрессо. Они зашли в длинный узкий бар, в котором, как в пещере, жила фыркающая машина для варки кофе, выпили стоя свой первый эспрессо, будто это было какое-то магическое зелье, и действительно, Рим начался. А теперь толмачу подумалось, что это, наверно, Тристан так сказал ей когда-то: «Чтобы Рим начался, нужно зайти в бар и стоя выпить первый эспрессо».

Вдруг тогда, в Риме, после той ночи толмачу стали открываться простые вещи, о которых он раньше не задумывался. Например, Изольда любила, чтобы ей вдавливали ногти в разных местах в кожу головы – это помогало от боли или если не хотелось просыпаться, а нужно было рано вставать. Наверно, кровь прилиwała к голове и, действительно, наступа-

* (Нем.-швейц. груб.)

** Вот Рим? (итал.)

ла особая ясность, трезвость. И толмачу тоже понравилось с утра, когда Изольда вдавливала ногти в его голову, сначала еле-еле, потом все сильнее. И вот они долго ждали поезда в римском метро, душном, потном, у Изольды заболела голова. Она села на скамейку, а толмач стал ей вот так, ногтями, массировать голову. Она закрыла глаза, заурчала. И толмач спросил:

– Это он придумал?

Она перестала урчать, открыла глаза.

– Ты о чем?

Тут на станцию ворвался поезд, весь измалеванный граффити. Она тогда не поняла или не хотела понять, а толмач не стал больше ничего спрашивать.

Они плутали по ватиканским музеям и оказались в длинной пустынной галерее: ряды белых изваяний вдоль стен. Безжизненные тела. Руки, ноги, головы, груди, животы – все это было найдено в земле, а теперь выставлено для опознания. Вазы, саркофаги, барельефы. И снова тела – безглазые, безрукие, безногие, оскопленные. Там, где половые органы, – листочки. Если нельзя прикрыть – отбито молотком. У одного мускулистого слепца Изольда, оглянувшись – не смотрят ли? – потрогала рукой там, где ничего больше не было:

– Какие идиоты! Почему они так ненавидели жизнь?

Когда-то все эти статуи были богами или людьми, а теперь превратились в соляные столпы, и их свезли сюда. Мраморные трупы. Выставили в ряд, будто почетный караул на приеме в царстве мертвых. Изольда придумала их оживлять: давать каждому какую-то историю. «Вот этот, смотри, был суеверным и надевал сандалии сначала на левую ногу, а потом на правую. Врач назначил ему от грудной болезни лечение ослиным молоком – и он пил по большому

стакану в шесть утра. А еще у него были ягодицы, поросшие шерстью». И так они с толмачом придумывали что-нибудь про каждого. Вот этот, римская копия с утерянного греческого оригинала, любил петь, и когда пел, у него раздувались ноздри. Однажды он ехал довольный домой и пел, а встречный ему сказал, что вот едешь и не знаешь, что и дом сторел, и жена, и все пропало. А в детстве мама его учила пользоваться лопухами и листками, когда идешь в уборную – сорвать по дороге. Вот эта, тоже римская копия с утерянного греческого оригинала, любила женатого и боялась быть с ним счастливой, не могла наслаждаться своим счастьем, потому что знала – за счастье придется платить, а когда у него заболел ребенок, то она сразу поняла почему. А вот этот воин, снова римская копия, вернулся невредимым с войны домой – и жена обрадовалась, что он жив, а дети – гостинцам. И зубы у него были такие, что мог перекусить гвоздик. А однажды он отбил ноготь на пальце – ноготь рос, и черное пятно лезло вверх. И он вдруг загадал, что, когда пятно долезет до края ногтя, случится что-то хорошее. А пятно не доползло, не успело.

Так они ходили и оживляли мертвых. А теперь у толмача не выходило из головы, что все это Изольда уже делала с Тристаном, что эту игру придумал тогда он, и они вот так же, обнявшись, ходили по этой бесконечной галерее, уставленной мертвыми изваяниями, и раздавали мраморным обломкам кусочки жизни.

Еще там был один саркофаг – муж и жена, они лежали валетом, опершись на локоть. У нее прическа с мелкими кудряшками, у него коротко подстриженная борода. Смотрят друг на друга с улыбкой. Вот только что сделали друг другу массаж уставших за жизнь ног – сейчас заснут и проснутся вместе.

Почти все скульптуры были копиями с каких-то исчезнувших оригиналов. Даже тот самый Аполлон Бельведерский. Хотя для толмача он был копией с того Аполлона, который стоял на снегу в Останкине и которого он когда-то обстреливал снежками.

Толмач рассказывал Изольде о Гальпетре, об останкинском Аполлоне, и она смеялась.

Гальпетра каждый месяц водила свой класс в музей, чаще всего в Пушкинский на Волхонке. Когда проходили мимо Давида, девчонки, глядя на его подбрюшье, шушукались и хихикали, и было почему-то неприятно из-за железного стержня, воткнутого героею в спину, чтобы не упал, в этом был какой-то обман, и к тому же экскурсовод все время повторяла, что все кругом в этом музее – копии.

У копии Лаокоона она сказала:

– Посмотрите, как прекрасно античный скульптор изобразил страдания на лице отца, на глазах которого погибают оба его сына!

Про оригинал сказала, что он находится в Италии, в музее Ватикана, и толмачу запомнилось, как Гальпетра вздохнула:

– Вот бы когда-нибудь взглянуть одним глазочком...

На вопрос, есть ли вопросы, будущий толмач в школьном костюме, сверкающем на коленках и локтях, спросил:

– А почему здесь показывают копии? В музее должно быть все настоящее.

В ответ экскурсовод объяснила, что все настоящее – в Италии, а эти скульптуры – точные копии, то есть практически то же самое, что оригиналы, и повела группу дальше.

И вот теперь толмач был в Риме, а все опять оказывалось копией – и скульптуры в ватиканских му-

зях, и статуи ангелов Бернини на Ponte San Angelo*, и Марк Аврелий на Капитолийском холме, и египетский обелиск перед Santa Trinità dei Monti**, а настоящее снова нужно было где-то ходить и искать.

Даже Тибр казался плохой копией какого-то другого, исчезнувшего, настоящего. Толмач с Изольдой смотрели с моста на коричневую мертвую воду, на низкие набережные, покрытые слоем пересохшего потрескавшегося ила, и как-то не укладывалось в голове, что этот суетливый поток, несущий грязную пену, – тот самый Тибр, в котором солнечным октябрьским днем крест помог Константину утопить язычника Максентия, вследствие чего мир стал христианским. В этой жиже?

И даже сам толмач оказывался копией какого-то утерянного оригинала.

В путеводителе они прочитали в главе о Латеране про святую лестницу из дворца Понтия Пилата и про головы Петра и Павла, хранящиеся в папской базилике. Отправились в Латеран. Спустились в метро, где нечем было дышать, и Изольда сказала, что устала и лучше бы просто снова погулять где-нибудь по парку – накануне они были в Villa Borghese, в одной аллее нашли пустую скамейку, где-то за стадионом, толмач лег на доски и положил голову ей на бедра, уткнулся щекой в мягкий живот. Изольда ворошила ему волосы. Был ветер, и тени от веток бегали по ее лицу, голым плечам, по траве, песчаной дорожке, по мрамору статуй. Толмач лежал и читал вслух из путеводителя про какую-то триумфальную арку: один император украл для нее статуи и барельефы с арки другого императора.

Изольда сказала:

* Мост святого ангела (*итал.*).

** Святая Троица на горе (*итал.*).

– Смотри, вот триумфальная арка!

Там стояли пинии, прижавшись плечом к плечу, и у них под мышками было небо.

Это было накануне, а теперь, в метро, Изольда спросила:

– Ты обязательно хочешь посмотреть на лестницу и эти головы?

– Да.

– Думаешь, они настоящие?

– Вот я и хочу в этом убедиться.

Они вошли в разрисованный граффити вагон, душный, битком набитый.

По дороге Изольда рассказывала, что у них в школе были уроки религии и как они все это ненавидели. А толмач рассказывал Изольде, что у них в школе были занятия по антирелигиозной пропаганде. И вела их на классном часу все та же Гальпетра. Толмач знал с детства, что Бога нет, и поэтому ему, тому школьнику, который мучился от прыщей, ранней волосатости, нелюбви и страха смерти, очень важно было Его найти. Или что-то похожее. И вот класс умирал со скуки, а Гальпетра барабанила про то, что Бога придумали церковники, чтобы было легче дурить темных наивных людей, что Страшный суд изобрели для того, чтобы самим грешить, а другим не давать, и все то, что полагалось говорить на таких уроках. «В Бога могут верить только старушки, – говорила Гальпетра. – Христианство – это религия рабов и самоубийц. Никакой загробной жизни нет и быть не может – все живое умирает, и никакое воскрешение невозможно. Простая логика: если Бог есть, то нет смерти, если есть смерть, то нет Бога». Изольда смеялась и говорила, что их на занятиях религии, наоборот, убеждали в том, что Бог есть, и они тоже умирали от скуки.

И вот толмач с Изольдой стояли перед зданием, на котором было написано: “Sancta sanctorum”*. Вошли. Там внизу, слева от входа, под стеклом выставлена модель дворца Понтия Пилата, и можно увидеть, где именно находилась эта лестница. Ее перевезли из Иерусалима в Рим, ступеньки застелили досками, а места, куда упали капли крови Христа, закрыли стеклом. И вот толмач и Изольда стояли и смотрели, как люди опускаются на колени и карабкаются вверх. Каждый полз по-своему. Кто-то шмыг-шмыг, обгоняя других. Кто-то подолгу останавливался на каждой ступеньке, касался отполированных, полустертых досок лбом и целовал каждую. Одна женщина все время оглядывалась назад и поправляла юбку. Запомнилась совсем молодая девушка-инвалид, ее внесли на коляске и помогли встать на колени на нижнюю ступеньку. Потом она раскорякой поползла наверх. Было видно, с каким трудом ей давалось каждое движение. Потом пришла группа школьников, и они весело и шумно поползли, толкаясь и пачкая друг друга кроссовками и сандалиями – очевидно, это доставляло им особое удовольствие. И вот тут, когда они с Изольдой стояли перед этой лестницей и смотрели, как школьники обгоняют девушку-инвалида, в этот момент толмача кто-то тронул за плечо. Он сначала не обратил внимания – везде толпы туристов, и все пихаются. Тогда его снова кто-то коснулся. Он обернулся и увидел Гальпетру. Она была все в той же мохеровой шапочке и в том же фиолетовом шерстяном костюме. Даже сапоги были полурасстегнуты, а на сапогах музейные тапки. Те же усики, тот же живот. Она кивнула на лестницу:

– Ну что же ты, ползи!

* Святая Святых (лат.).

И еще, покачав укоризненно головой, добавила:

– А ты мне тогда не верил...

Почему-то толмачу показалось важным рассказать это Изольде, но она не поняла. Переспросила:

– Ты встретил знакомую?

Гальпетра исчезла.

Они пошли смотреть головы.

Пока пересекали площадь, откуда-то гремела музыка, итальянская песенка, в которой все время повторялось “amore, amore, amore”, и толмачу было как-то странно, что сейчас они увидят голову – или хотя бы кусочек кости, какая разница, – того самого человека, который в четвертую стражу ночи пошел за Ним по морю – вышел из лодки, переступил через борт и поставил ногу на волну.

В соборе было, как везде, тесно от туристов, динамики бормотали по-латыни. Они бродили в толпе, и толмач все никак не мог понять, где же голова. Течением их прибило обратно к киоску у входа. Изольда спросила по-итальянски продавщицу. Та ткнула в одну из открыток. На карточке был алтарь, весь в золоте и мраморе, как башенка – похожий на иллюстрацию к сказке о Золотом петушке. Продавщица постучала длинным, зеленым со звездочками-блестками ногтем по открытке и показала наверх, мол, идите к алтарю и смотрите наверх.

Толмач понял, почему они сразу не увидели то, что искали, – они зашли в собор не через главный портал, а через боковой. Теперь они пробились через толпу к алтарю со стороны главного входа. На втором этаже сказочной башенки за витой золотой решеткой были, действительно, выставлены два бюста. Толмач вглядывался, но видел только что-то напыщенное, розовощекое, черногривое. Динамики

* Любовь, любовь, любовь (*итал.*).

перешли на итальянский и заметно повеселели, оживились, каждое второе слово было “amore”. Над кабинками для исповеди то гасли, то снова загорались красные лампочки. Мимо протискивалась через толпу экскурсия японцев – за лыжной палкой с привязанным на конце зеленым платком.

Изольда сказала:

– Ты удовлетворен? Пойдем!

Перед тем как уйти, они остановились у капеллы слева от входа – там как раз было венчание. Смотрели через решетку: жених и невеста сидели на стульях, а перед ними стоял священник в белом и что-то говорил. Было забавно, как он размахивает руками. Ему, очевидно, не хватало слов, и он совершенно по-итальянски – отчаянно жестикулируя – пытался убедить молодых любить друг друга до самой смерти и после.

Толмач с Изольдой вышли и достали план, с которым ходили по Риму. Карта была старая, протерлась на сгибах до дыр, к тому же неоднократно попадала вместе с ними под дождь и в конце концов превратилась в лохмотья. Но покупать новую Изольда не хотела, сказала, что привыкла к ней. Толмач подумал, что, наверно, с этой картой она ходила по Риму тогда, с Тристаном.

Совсем рядом была церковь святого Клементя, в которой похоронен Кирилл, именем которого названы буквы, без которых ничего в жизни толмача бы не было.

– Давай зайдем! – предложил толмач, а Изольда сказала, что у нее болят ноги и она никуда больше не пойдет.

Они присели за столик в уличном кафе.

– Ты была там в прошлый раз?

– Нет.

Толмач стал ее убеждать, что это совсем недалеко, десять минут в направлении к Колизею, там они

смогут сесть на метро и доехать до отеля, а Изольда сказала, что новые босоножки трут. И добавила:

– И вообще я не понимаю, почему обязательно нужно увидеть все эти сросшиеся цепи, где-то подобранные щепки и неизвестно чьи кости!

Толмач знал, почему он хотел во что бы то ни стало пойти туда.

Он должен был увести ее у Тристана – из их Рима в другой.

Толмач стал ей рассказывать про Кирилла. Вернее, он хотел рассказать ей о чем-то, чего наверняка не знал Тристан. Толмачу вдруг показалось, что он рассказывает не ей, а ему. Вот ты, Тристан, этого не знаешь, а я знаю. Слушай! Древний Херсонес – это теперь Севастополь, и вот тут, Тристан, начинается мир без тебя. Там, где утопили святого мученика Клементя, третьего Римского папу и ученика Петра, в Гражданскую войну топили офицеров. Им привязывали – кому на шею, кому на ноги – старые якоря, куски железа, камни и бросали в воду. В одних воспоминаниях толмач читал, что водолазы, которые опускались в том месте на дно, оказывались как в лесу: мертвые тела хотели всплыть и, привязанные, стояли в глубине, кто вверх ногами, кто вверх головой, их клонило всех в одну сторону подводным течением, как деревья ветром, и у одного обрывки рубахи поднялись, как крылья. И вот по тому берегу проходил Кирилл, который получил из облаков кириллицу, толмачовы буквы. Получатель небесных букв рассказал о мученичестве Клементя жителям Херсонеса, которые ничего об этом уже не знали и не поверили ему. Кирилл тогда поплыл на то место и начал поиски, чтобы убедить их. Уровень моря за прошедшие после Клементя века опустился. Море ушло, и образовалась песчаная отмель. И вот Кирилл искал в том песке и ничего не мог найти. Жители

смеялись над ним. А Кирилл продолжал перекапывать песок дальше, потому что искал он, разумеется, не кости – кому нужны кости? Не ребра и не череп он хотел найти, а доказательство. Просто должно было сверкнуть на солнце отбеленное морем и песком ребро. Ведь что-то должно было доказать, что есть Бог и, значит, нет смерти. Доказать это могло только чудо. И вот в песке что-то сверкнуло, засияло на солнце – ребро. Слепящая белизной кость. Стали копать дальше и нашли голову и все остальное. И еще всех поразило благоухание. А запахи – это ведь язык Бога. И вот эти вкусно пахнувшие кости Кирилл привез в Рим. И его самого похоронили в этой церкви вместе с Клементом. Наверно, потому, что его кости тоже хорошо пахли.

– Опять кости! – вздохнула Изольда. – Ладно, пошли!

Они посидели еще немного в кафе, выпили эспрессо из крошечных чашечек, будто из яичной скорлупы, и отправились в San Clemente. Изольда сказала только, что обязательно должна зайти по дороге в аптеку купить пластырь. Но аптеки по дороге не оказалось.

Изольда уже хромала, когда они дошли. Она злилась и молчала. Села в церкви на скамейку и сказала, что ни в какое подземелье не полезет.

Толмач спустился вниз один.

Он бродил под тускло освещенными сводами и в свою очередь злился на Изольду, а еще больше на себя, что притащил зачем-то сюда ее с натертой ногой, могли бы прийти и завтра или послезавтра.

Кругом валялись какие-то обломки. Было сыро. Толмача обгоняли группы туристов, которых вели в нижний этаж, где в таких же сырых, тусклых подвалах поклонялись Митре. Толмач забрался и туда, но там было то же самое: обломки, сырость.

В полумраке переходов он наконец нашел гробницу Кирилла. Притаилась где-то сбоку. На каменной плите лежали бумажные, покрывшиеся толстым слоем пыли цветы. А стены кругом были в мемориальных досках, на которых увековечили себя забытые правители, издававшие указы на кириллице.

Тут толмач увидел Изольду. Она все-таки спустилась. У нее в руках был путеводитель.

– Вот ты где! – сказала Изольда. – А я сидела и читала. Слушай, оказывается, никаких мощей Кирилла здесь нет. Их выбросили в 1798 году – тут было восстание, и все кости вышвырнули на улицу. И папы-мученика Клементя тоже не было, вернее, было два Клементя – какой-то консул, тот действительно был мучеником, но он не был папой, а другой был папой, но не был мучеником. А потом, в легенде, они соединились в одного человека. И еще здесь написано, что, по новейшим исследованиям, Петра вообще не было в Риме!

Мимо, не останавливаясь, прошла группа японцев. Их вели в митреум. В полумраке они высоко поднимали ноги, чтобы не споткнуться на неровном земляном полу. По одному туристы исчезали в узком проходе, ведущем в следующее подземелье. Толмач с Изольдой поднялись наверх, вышли на улицу, где даже пропитанный запахом бензина ветер показался после подземелья свежим воздухом, и пошли к Колизею, медленно, с частыми остановками. Она хромала и держалась за его руку.

Снова начались киоски. Они остановились у лотка, на котором лежали путеводители по Риму на всех языках. Толмач взял полистать русское издание. Показал Изольде, мол, смотри, какую печатают ерунду, просто фотографии с подписями, нет чтобы издать что-нибудь человеческое. Тут к нему под-

скачид италиянец-продавец, залепетал, наведено расхваливал, убеждал купить, стал чуть ли не впихивать толмачу книгу в руки, тыкать пальцем в иллюстрации, мол, смотри, какие красивые картинки! Толмач сунул ему книжку обратно, но получилось как-то неловко, книга выскочила из рук, упала. Изольда бросилась поднимать, заулыбалась продавцу. Шепнула толмачу, что тот должен улыбнуться и извиниться.

– Он мне хочет всучить какую-то дрянь, а я должен ему вежливо улыбаться?

– Да, – сказала Изольда, – все равно нужно вежливо улыбаться.

– Почему я должен ему вежливо улыбаться?

– Потому что.

– Я не должен никому вежливо улыбаться.

– Должен.

Когда они отошли от лотка, Изольда бросила:

– Ты – грубый.

У него вдруг вырвалось:

– Не то что Тристан.

Изольда остановилась. Посмотрела толмачу в глаза. В ее взгляде были и удивление, и обида, и боль. Она резко отвернулась и пошла быстрым шагом, припадая на одну ногу. Им нужно было к метро, а Изольда пошла совсем в другую сторону, обратно, к Латерану.

Толмач хотел броситься за ней, схватить за руку, остановить, но вместо этого повернулся и направился к Колизею. Шел и убеждал себя: ничего, все равно ни ей, ни ему никуда друг от друга не деться, и вечером они увидятся в гостинице.

Тротуар был усеян обертками, бумажками, раздавленными пластмассовыми бутылками. В руках у толмача были лохмотья карты. Он вышвырнул их.

29 сентября 1914 г. Понедельник

Сегодня мне приснился кошмарный сон! Стыдно писать. Я летала по коридору нашей гимназии – почему-то голая.

С утра ходили с Талой к Игнатьевым. Опять кроили бинты из марли и катали, но уже не вручную, как раньше. Нам принесли машинки для резки бинтов, и катать тоже можно специальной машинкой, так что остается только складывать пакеты вручную. Очень удобно и можно успеть намного больше!

Погода холодная, то солнце, то дождь.

Прочитала то, что написала в этот день год назад. Каким же ребенком я еще была!

30 сентября 1914 г. Вторник

Маша получила письмо от Бориса и читала его нам вслух. Не все, что-то, наверно самое интересное, пропускала, потому что пришлось выслушивать только подробные описания занятий в училище, распорядок дня, чем кормят и какая погода. Они с отцом решили поменять фамилии. Теперь они не Мюллеры, а Мельниковы. Как только он будет выпущен мичманом, приедет за Машей, и они поженятся. Когда она про это читала, вся зарделась! Такой был замечательный вечер, еще долго все сидели и говорили, а ночью Маша вся в слезах забралась ко мне в постель – ей приснилось, что Борис на корабле и идет ко дну. Я хотела ее утешить и сама расплакалась.

Как же Бог может забрать все, еще ничего не дав? Конечно, не может.

Я очень завидую Маше – она так любит своего Бориса!

1 октября 1914 г. Покров

«Любовь – это неизвестно что, которое приходит неизвестно откуда и кончается неизвестно когда». Мадлен де Скюдери.

Завтра наконец начнутся занятия. Так соскучилась по Мишке, Тусе, по всем нашим, даже по нашим преподавателям! Помещение гимназии Билинской заняли под лазарет, а мы будем ходить на Большую Садовую в Петровское реальное, напротив Большой Московской гостиницы. Занятия будут в две смены, гимназистки с утра, а реалисты с обеда.

С утра еще было солнце, а сейчас зарядил дождь.

3 октября 1914 г. Пятница

На парте я нашла выцарапанные ножом мои инициалы. Какая глупость!

Девочки переписываются с реалистами, оставляют записки в партах. А мы с Талой считаем, что это глупо! Все разговоры только о второй смене и о том, кто в кого влюбился. Все скопом сходят с ума по Терехину. Павлин! Набитый дурак! Даже не хочется об этом писать.

Маша записалась в общину Сестер милосердия и поступила на двухмесячные курсы. Хочет обязательно на фронт, в действующую армию, и переживает, что не попадет, что за время ее учебы война уже кончится. Учится бинтовать и пристает с бинтами ко всем домашним. А всем не до того. Так она мучает бедную нашу няню. Вот сейчас на кухне няня покорно сидит на табуретке с перебинтованной головой, ждет, пока Маша свернется с книжкой.

Вчера у Маши был первый день в лазарете. Когда вернулась домой, без конца мылась и полоскалась одеколоном. Хотела отделаться от больничного запаха. За столом ничего не ела. Она пообещала, что будет брать меня с Талой с собой в госпиталь. Нам разрешат для раненых читать и петь.

6 октября 1914 г. Понедельник

Сегодня получили письмо от Нюси из Петрограда. Она пишет про свою учебу в консерватории

и еще что в столице всюду чувствуется война. В Мариинке перед началом каждого спектакля исполняют гимны союзных держав. Сначала русский, потом «Марсельезу», потом “God save the King”*. Сколько же это времени нужно стоять?! Вагнера, и вообще немцев, совсем исключили из репертуара. А в крупных магазинах вывесили таблички «Просьба не говорить по-немецки», даже в немецком отделе Публичной библиотеки появилось объявление: “Bitte, kein Deutsch!”** В трамвае, в котором Нюся ехала в консерваторию, какой-то молодящийся старичок уступил даме место и сказал по привычке: “Bitte, nehmen Sie Platz!”*** – его выбросили из трамвая! Ужас!

8 октября 1914 г. Среда

Мир сошел с ума! Только на прошлой неделе мы читали в газете, что в Петрограде гимназистка выбросилась из окна, держа в руках образ. Сегодня в проливной дождь под зонтиками мы хоронили Дмитрия Порошина из мужской гимназии Беловольского, сына следователя. Он застрелился из отцовского револьвера! Ляля сказала, что он был влюблен в любовницу своего отца. Какой только ерунды не услышишь от наших девиц!

10 октября 1914 г. Пятница

«Любовь – изменница. Она царапает вас до крови, как кошка, даже если вы хотели всего лишь с ней поиграться». Нинон де Лакло. И где только Тала все это находит!

Близнецы Назаровы убежали на фронт. Оставили письмо. И кому! Тусе! Она нашла его у себя

* Боже, спаси короля! (*англ.*)

** Пожалуйста, не говорите по-немецки! (*нем.*)

*** Садитесь, пожалуйста! (*нем.*)

в парте, страшно возгордилась и, прежде чем отнести директрисе, вслух всем зачитывала на переменке. Назаровы написали, что или упокоятся под дубовым крестом, или вернутся с Георгиевским.

Тюсю просто распирало от гордости!

14 октября 1914 г. Вторник

На перемене я смотрела с другими девочками в окно, как брат Талы Женя Мартьянов во дворе делает упражнения на параллельных брусьях. А вдруг это именно он выцарапывает везде мои инициалы? Глупость! Но тогда, у окна, по рукам и ногам как будто побежали мурашки.

Женя так ловко соскочил на землю, как цирковой атлет, очень красиво вскинул руки и гордо посмотрел в нашу сторону. Девочки захлопали в ладоши. Я отошла от окна, потому что подумала: а вдруг его взгляд ищет именно меня? Открыла учебник, уткнулась в буквы. А там про Цицерона.

Смотрела полвечера на себя в зеркало. Все дома уверяют, что я красавица, а тут – картофелина вместо носа, толстые щеки, ужасный подбородок, отвратительный лоб! А глаза! А ресницы! Брови! Все какое-то недоделанное, жалкое! Неужели кто-то такую может полюбить? А тут еще их дурацкие уроки! Господи, при чем здесь какой-то Цицерон?! Что за Форум? Какое отношение ко мне имеет Рим? Зачем мне нужен какой-то Нума Помпилий?

19 октября 1914 г. Воскресенье

Были у обедни. В церкви я увидела мать Назаровых. Она стояла на коленях на полу. Потом никак не могла подняться, пока ей не помогли. Так жалко ее! От близнецов никаких известий.

22 октября 1914 г. Среда

В гимназии был молебен в празднование Казанской Богоматери. Молились за освобождение России от немцев, как тогда от поляков. Мне было неприятно, что наши все время шушукались Бог знает о чем! Все девочки перевлюблились и показывают друг другу под клятвой хранить молчание дневники с записями: «Сегодня я перестала быть влюбленной в N и влюбилась в X» с указанием не только даты, но и часа! Какие они все еще дети!

Я никому ничего не показываю. Этот дневник – только для меня. Ни для кого больше. Может быть, покажу только человеку, которого по-настоящему люблю. Ведь у Талы, Ляли, у других – все это ненастоящее! Настоящее так не бывает!

Сейчас снова взяла с полки Марию Башкирцеву, открыла посередине, а там кто-то из сестер отметил карандашом: «Я похожа на терпеливого, неугомонного химика, проводящего ночи над своими ретортами, чтобы не упустить ожидаемого, желанного мгновения. Мне кажется, что это может случиться каждый день, и я думаю и жду... С тревогой спрашиваю – не то ли это?»

Вот и я все время прислушивалась к себе – не то ли это?

Кажется, нет... Нет. Нет!

На полях в книге приписано: «Любовь – величайшее счастье, даже несчастная любовь». Машин почерк. Это у нее-то несчастная любовь с Борисом? Мне бы хоть кусочек такой! Как же я ей завидую!

29 октября 1914 г. Среда

В гимназии все начали делать себе маникюр: ножничками обрезают кожицу, отпускают длинные ногти, подпиливают, чтобы имели красивую форму.

У меня такие некрасивые руки!

Вчера в классе испортился свет, пришел электромонтер. Принес длинную лестницу с раздвижными ногами. Залез под потолок, копошится там – и вдруг замечаю, как девочки стали ломаться перед ним, кокетничать. Презираю! И все только потому, что в класс вошел молодой мужчина!

31 октября 1914 г. Пятница

Евгешка заболела и, наверно, серьезно, потому что немецкий нам теперь вместо нее преподает отец Бориса. Я его видела, когда мы с Машей приходили к ним в гости. Тогда Николай Викторович был очень симпатичный и веселый, все время угощал нас ландрином. Перед классом он совсем другой, хмурый, недоступный. Немецкий все и так ненавидели из-за Евгешки и из-за войны, а теперь еще никто не может простить ему смены фамилии: был Мюллер, а стал Мельников. В этом все видят только трусость и карьеризм. После уроков в гардеробной девочки стали говорить про него гадости, передразнивать, как Николай Викторович учит произношению. У него действительно кривые и нехорошие зубы, но почему из-за этого надо над этим человеком издеваться? Я вдруг почувствовала такую ярость в себе! Какие же это подруги! Просто злобная стая! И я произнесла громко и четко: «Он поменял фамилию не потому, что трус, а потому, что ему стыдно за свою нацию!» Стало тихо. Все смотрели на меня. Я повернулась и ушла. По дороге мне стало очень-очень плохо. Испугалась, что теперь они станут меня бойкотировать. А уже дома пришел другой страх – страх страха. Неужели я так малодушна, что испугалась остаться в одиночестве? Мне ужасно стыдно. Я такая же, как они. Ничем не лучше. Нет, я хуже. Потому что они смеялись над Николаем Викторовичем искренне, а я за него за-

ступилась и потом сама же испугалась своего заступничества.

А еще перечитала запись за среду. Как же так я могу писать о других и презирать их, если я ничем их не лучше? Подумаешь, они стали кокетничать перед каким-то монтером! Дело же не в монтере! Просто они хотят нравиться всем, вообще всем кругом и влюбить в себя весь мир, вплоть до последнего монтера! И я такая же.

Какой ужас!

4 ноября 1914 г. Вторник

Сегодня был отличный солнечный день. Зашла за Талой, чтобы идти гулять. Она пошла переодеваться и, как всегда, прокопалась чуть ли не битый час. Пока я ждала ее, из своей комнаты выглянул Женя и позвал к себе. Я вошла в его комнату, и он показал кристаллы медного купороса, которые два месяца выращивал на подоконнике. Прямо настоящие изумруды! Ничего такого я еще не видела! Женя – удивительный! Потом спустилась Тала, и мы пошли.

А сейчас легла спать, но не могу – все время думаю о нем. Вижу его глаза, крепкие мускулистые руки, стройные ноги в гетрах. У него красивые руки, даже несмотря на то, что ошпаренные реактивами. А на скуле у него шрам – он подрался в Новопоселенском саду с хулиганами из Темерника, один из них ранил его кастетом. Какой он сильный, бесстрашный!

Это еще не то? Это не он? Нет, нет, нет.

Сегодня утром по дороге в гимназию опять видела сумасшедшую старуху в чепце на углу Таганрогского. Какой-то кошмар – у нее недержание. Стоит, а под ней лужица. И вдруг спрашивает меня каким-то мертвым голосом: «Ты уроки выучила?» Ее голос все еще стоит в моих ушах. Как все это ужасно – старость!

11 ноября 1914 г. Вторник

Целую неделю ничего не записывала, потому что ничего и не происходило.

Что устроила сегодня наша Жужу!

После уроков в кабинете химии проглотила большой кристалл карболки! Кто бы мог такое ожидать от нашей серенькой мышки?! Романтическое самоубийство на деле выглядит совершенно неромантично. Бедная Жужу корчилась в рвоте, вся перемазалась – и платье, и ботинки, и чулки, даже ленты в волосах. Было видно, что она ела вермишель. Отвратительно! Ее увезли в папину больницу делать промывание.

Все гадали: кто же он? Жужу такая скрытная!

«Женщины бывают трех типов: кухарки, гувернантки и принцессы».

12 ноября 1914 г. Среда

Даже сегодня в классе, хотя всю ночь проветривали, чувствовался запах Жужу. С ней все порядке. Тотто все будут над ней смеяться, когда она снова появится! Бедная. А влюбилась она, оказывается, в Женю Мартьянова! В моего Женю! Не знаю, верить или нет. Это говорит Ляля, но, может быть, только чтобы позлить меня? С нее станет. И это называется лучшая подруга!

В моего Женю? Почему в моего?

На уроке смотрела на выставленные в шкафах чучела, на банки с заспиртованными лягушками, на дурацкие бюсты из папье-маше представителей различных рас: китаец, индеец, негр, – и вдруг подумала: все просто. Я, наверное, урод. Я, наверное, не умею любить. Просто не умею. Все умеют, а я – нет. Меня нужно вот так же набить, как чучело, и выставить. Разве можно такую полюбить? Конечно, нет.

17 ноября 1914 г. Понедельник.

Рождественский пост

Первый снег. И какой! Завалило весь Ростов.

Пришлось залезать в зимнее пальто, а оно с прошлого года стало тесным.

Сегодня задержалась после уроков, наши девочки уже все ушли, выхожу во двор, а там реалисты играли в снежки, и нужно было через них пройти. Страшно одной! Но все равно пошла. Тут снежок мне сзади в плечо! И гадкий хохот. Думаю: не обернусь! Стиснула зубы и иду дальше. Слышу сзади топот. Подбегает. Из последнего класса – Козлянинов. Подбежал и пробубнил: «Извините!» Так удивилась, что не нашлась что сказать. А потом мне вдруг стало так весело! Влетела домой и, не раздеваясь, к зеркалу. Щеки румяные, глаза горят. Какие у меня чудесные глаза! Да я же хорошенькая!

Няня принялась ворчать, что снегу нанесла, а я ее целовать.

22 ноября 1914 г. Суббота

Все говорят, что таких ранних морозов еще никогда не было.

Ходили с Женей на каток. Он нес мои коньки и потом шнуровал мне ботинки. Как это было приятно! Мы катались, взявшись за руки. Все на нас смотрели. Несколько раз прокатились мимо Жужу. Она каждый раз делала вид, что нас не видит! Потом сидели на лавочке. Женя очень смешно рассказывал про своих однокашников. Я так хохотала!

Что это? Что со мной? Я люблю?

Написала, и страшно стало от этих двух слов: я люблю.

23 ноября 1914 г. Воскресенье

Мне кажется, что это пришло. Я люблю. Так долго ждала, что теперь страшно поверить. Неужели это правда? Нет, лучше не обманываться. Все это еще не настоящее. Нет!

Сегодня видела Женю только издали. Он на меня посмотрел. Улыбнулся. Конечно, я люблю его! Люблю! Женя – особенный! Он совсем не похож на остальных!

Вечером заходил Виктор. Его тоже захватил общий порыв! Виктора не призвали как единственного сына, но он горит патриотизмом и записался ратником ополчения первого разряда. Совершенно невозможно представить его идущим в атаку: подслеповатый, мешковатый. Он пришел уже в форме: гимнастерка, галифе, сапоги, бескозырная фуражка, шинель. Солдатская одежда вдруг сделала его таким похожим на тех, кто уходит маршевыми ротами. Сказал, что его мать в отчаянии, потому что он идет нижним чином и будет в солдатских казармах.

25 ноября 1914 г. Вторник

Слышу шепот за дверью: мама говорит отцу, что со мной что-то не в порядке, третий день подряд читаю Библию. Отец раздраженно: «Но если человек читает Библию, это же еще не значит, что он заболел!» Мама зашикала на него и вошла ко мне, присела, приложила губы ко лбу, стала говорить, что нельзя все время сидеть дома, надо идти погулять, проветриться. А я только мотаю головой и жду, когда она уйдет – чтобы перечитывать одно и то же в сотый раз. Разве можно от этих строк оторваться: «Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот голос возлюбленного моего, который стучится: “Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Пото-

му что голова моя вся покрыта росой, кудри мои –
ночную влагою”».

27 ноября 1914 г. Четверг

Сегодня пела для раненых. После уроков ходили с Лялей и Талой в госпиталь – в нашу старую гимназию. Мы ходили по классам, превратившимся в палаты, и спрашивали, кому написать письма домой. Одни солдаты были рады, просили посидеть, не отпускали. Другие, наоборот, стеснялись, сторонились. Один ранен в мочевого пузырь и ходит еле-еле с бутылочкой. Я увидела его с полной бутылкой, хотела взять, отнести ее в уборную, а он покраснел, не дал. И я сама ужасно застыдилась. Просто глупо. Ведь здесь нет ничего стыдного!

Меня в каждой палате просили спеть. Говорили, что мой голос залечивает раны лучше всяких лекарств!

Один рыжий парень потерял кисти обеих рук. Такой симпатичный балагур, все время всех кругом смешил. Он рассказывал с гордостью о разгроме австрийской армии, как солдаты-славяне не желают воевать и целыми ротами сдаются в плен. Он не мог сам есть, и мы кормили его с ложечки.

Еще он говорил о том, какой величины ловил сомов у себя дома, и растопыривал перевязанные культы. Тогда сдержалась, а сейчас не могу. Пишу и реву.

Женю сегодня не видела. А вдруг он меня больше не любит? Вдруг все это я только придумала?

2 декабря 1914 г. Вторник

Сегодня! Это произошло сегодня!

Он меня поцеловал!

Зашла, как обычно, за Талой, чтобы идти в лазарет. Немного раньше. Совсем не умышленно, так получилось! Дома был только Женя. Спросил, хочу ли

я посмотреть на его кристаллы. Я подошла к окну, а он обнял меня сзади. Поцеловал в шею, в ухо и в щеку!

Как я на себя злюсь! Смотрела только тупо перед собой и не могла вымолвить ни слова. Как окаменела! Не могла ни рукой пошевелить, ни ногой. И глаза как прилипли к этому дурацкому медному купоросу! В голове только: Господи, он меня целует, а я совершенно как чучело! Так хотелось обернуться, обвить его шею руками, поцеловать его тоже! В губы! И так хочется поцеловать его шрам на щеке, не знаю почему – и не могла!

И тут послышалась входная дверь! Талка пришла! Я вырвалась и быстро вышла из комнаты, она ничего не успела заметить.

Мы пошли в лазарет, Талка болтает что-то, а я ничего не слышу и ничего не вижу! Внутри все пело, просто разрывалось от счастья! Прямо чувствовала, какая у меня глупая улыбка.

А теперь так плохо на душе. Что он обо мне подумал?

В лазарет как раз привезли мальчика, который подобрал на улице петарду и зажег ее, она взорвалась прямо в руках и обожгла лицо. Отец ребенка, пока врач снимал обгоревшую кожу и накладывал повязку, вдруг разрыдался, стал сморкаться, никак не мог найти платок. Я протянула ему салфетку, обняла этого чужого человека, стала целовать в щеку, в висок, зашептала что-то успокаивающее.

Ведь это тоже поцелуй, тоже объятие, почему здесь, с чужим человеком, все так просто, а там – с любимым – все так сложно?

С любимым? Боже, как хорошо: с любимым...

3 декабря 1914 г. Среда

Господи, как я его люблю!

Да, я уверена – это то, чего я ждала. Это – настоящее. Какая я счастливая!

Все время думаю о нем, о моем Жене. Он такой необыкновенный. Он станет великим химиком. Сегодня на катке я устала и села прямо в снег, а он выделял передо мной пируэты. Он так замечательно катается на коньках! И как я ненавижу того хулигана из Темерника, ведь ударь он Женю чуть выше, попал бы в висок!

Жужу со мной не разговаривает. Ну и пусть. Это моя любовь! Это мое счастье, а не ее! Не всем же быть счастливыми.

У всех моих подруг романы, только Мишка одна. Но она совершенно не страдает от этого или делает вид, что не страдает. Она презрительно слушает разговоры наших девочек и скатывается с ледяной горки на коньках – стоя, так даже не все мальчишки решаются. Страшно! Можно расквасить нос!

Извозчики под снегом – как деды-морозы. Все говорят, что Рождество будет снежное, метельное.

6 декабря 1914 г. Суббота

Дай Бог здоровья и счастья всем Николаям, а самое главное, тому, от кого зависит русская победа!

Виктор вернулся. Его хватило ненадолго. Он заявил комиссии, что ничего не видит, и его отпустили. Пришел злой и стал говорить, что не может переносить муштру, дикость нравов и вонь. Сказал очень серьезно: «Я шел защищать родину, а научился лишь приветствовать генералов». У него это получилось так смешно, что все расхохотались. Виктор сначала обиделся, а потом стал уморительно показывать, как нужно вытягиваться и отдавать честь при виде генерала. Он так пучил глаза, что можно было надорваться от смеха!

А Катя счастлива. Весь вечер держала Виктора за руку, будто боялась, что он снова убежит. И что она в нем нашла? Он же клоун!

Какой Женя другой! Совсем не такой! Умный, глубокий, настоящий! Как он интересно рассказывал сегодня о химике Лавуазье! Когда тому отрубали голову на гильотине, Робеспьер сказал: революции не нужны химики.

Какой дурак этот Робеспьер!

11 декабря 1914 г. Четверг

Ну за что, за что меня так ненавидит этот Забутский! За то, что ничего не смыслю в его геометрии? Так в ней никто ничего не понимает! Ни Ляля, ни Та-ла. Даже Мишка! А они не глупее меня! Когда Забутский ругается, то говорит, что мы делимся без остатка. Просто он сам ничего не может толком объяснить!

Сегодня Забутский сломал большой циркуль и стал проводить на доске круг с помощью тряпки, прижав один конец к доске, а в другом зажав кусок мела. Мы все засмеялись. Он расшвирипел и, написав какую-то формулу, поставил точку на доске с такой силой, что кусок мела разлетелся вдребезги. Смеялись все! А к доске вызвал меня! Опять довел до слез. Это он умеет! Вызовет и в молчании рассматривает презрительным взглядом. Хочется под землю провалиться!

Ко всему прочему у него некрасивая бородавка, которая растет сбоку на носу. Какая-то намагниченная бородавка, потому что все время притягивает к себе взгляд. И не хочешь смотреть, а посмотришь.

Папа работает теперь и в городской управе, занимается эвакуированными, носится по городу целый день. Была с ним сегодня в больнице для умалишенных. Он отчитывал кого-то, а я смотрела, как няня мыла пол, неприятно пахло хлоркой, и рядом с ней стоял какой-то больной, но с нормальным, интелли-

гентным лицом. Он вдруг взял ее руки, грязные от тряпки, и поцеловал. Меня это поразило.

Сейчас вспомнила этот поцелуй, и стало не по себе. Как, наверно, ужасно вот так потеряться. Потерять себя. Не приведи Господь когда-нибудь начать запись в дневнике с «надцатого мартабря».

12 декабря 1914 г. Пятница

Сегодня в госпитале произошло ужасное. Я писала для Еврюжихина, ослепшего, с толстой повязкой на глазах, письмо в его деревню, родителям и невесте. Мы сидели в коридоре у окна. Он попросил потрогать мою руку и стал гладить ее своими жесткими, земляными пальцами. Потом пальцы поползли вверх, и он схватил меня за грудь. Я испугалась, растерялась, а он попытался меня обнять, прижаться. Захотела закричать, но сдержалась. Сбросила его руку, вскочила, выбежала. На улице мне вдруг сделалось стыдно. Хотела рассказать Жене, но не смогла. Вдруг поняла, что есть такие вещи, которые никому рассказать невозможно.

13 декабря 1914 г. Суббота

Получила от Жени записку, что с 4-х у них дома никого не будет. Еле дотерпела до половины четвертого! Помчалась. Подходила к их дому и умирала от страха, что столкнусь нос к носу с Талой и родителями.

Мы сидели на диване в гостиной, не зажигая света, и целовались!

Целовались!

Какое это удивительное ощущение! Нет, это совершенно невозможно описать! Я счастлива! Как же он хорошо целуется!

Написала, а теперь полночи не спала, все думала: кто же его так научил целоваться?

16 декабря 1914 г. Вторник

В гимназии мы собирали на фронт подарки, кисты для табака, носовые платки. И вот пришло в голову, что тот, кто получит мой платок, может быть, тот самый парень из Темерника, с которым дрался Женя.

В госпитале один раненый, которому отрезали ногу, потерял рассудок. Когда Маша принесла ему костыль, он швырнул деревяшку со всей силой в нее. У Маши теперь большой синяк на ноге.

27 декабря 1914 г.

Впервые такие грустные святки. Мне так плохо! Мартьяновы уехали на каникулы. Я не увижу Женю две недели!

Ходили с девочками в Александровский сад в Нахичевани – там народное гулянье и музыка. Катались в вагончиках с гор. Народу тьма.

Хожу и думаю: зачем мне все это, если рядом нет его?

Вечером гадали: по краям таза с водой прилепили жеваным хлебным мякишем бумажки с желаниями. На воду опустили зажженный огарок тонкой церковной свечки в ореховой скорлупке, как в лодке. Надо было дуть так, чтобы свечка, доплыв до бумажки, сожгла ее: у кого сожжет – у того сбудется желание. И дуть надо осторожно, чтобы не затушить пламя. Это к несчастью. Я написала одно слово, какое – никому нельзя говорить – иначе не сбудется. Думала: можно ли написать в дневник, потом решила, лучше все же не рисковать – не напишу. Договаривались дуть легонько, чуть-чуть, а стали дуть что есть духу в груди, и скорлупка перевернулась. Наш кораблик утонул! Все засмеялись, начали плескаться водой из таза. Смотрю – а Маша ушла в угол и сидит одна, с глазами, полными слез. Она сразу, конечно,

подумала о том, что это плохой знак для ее Бориса – ему скоро выходить в море. Так стало ее жалко! Подошла, села рядом, взяла за руку, стала ее гладить: «Сестренка, Машенька, ну что ты, не надо! Все будет хорошо!»

А откуда мне знать, что все будет хорошо? Откуда мне вообще знать, что будет? Я про себя-то ничего не знаю.

Женя, где ты? Что с тобой? Думаешь ли обо мне?

1 января 1915 г.

Новый год. Сперва были дома, потом разошлись кто куда. Папа с мамой спать, Саша в какую-то свою компанию, сестры в свою. Звали, но я отговорила. Вот сижу теперь одна в новогоднюю ночь и грущу. В первый раз в жизни выпила бокал шампанского. Так хотелось чокнуться с Женей, с Талой, но они далеко. У их дяди имение в Екатеринославской губернии. Они всегда проводят там каникулы – в какой-то Соколовке.

Долго наряжалась, надела мое голубое платье, приколола брошку, сделала красивый бант. А в голове: зачем? Он ведь не увидит. Гадали: когда часы начали бить двенадцать, каждый сжег свою записку с задуманным желанием и проглотил пепел, иначе не сбудется. Даже маму и папу заставили проглотить. Но было как-то несмешно. Я снова написала все то же единственное слово. Стали петь черными от злы губами. И вдруг опять стало невыносимо. Без Жени все скучно, глупо и никчемно. Я ушла к себе, и все быстро разошлись. Мне кажется, в нашей семье что-то не так. Папа стал в последнее время совсем другим. И с мамой они почти не разговаривают.

Я люблю его! Я люблю его! Я люблю его!

Вот бы оказаться сейчас в этой чудесной Соколовке!

2 января 1915 г.

К няне приходил ее крестник. Молодой, красивый парень – и без руки. Он писарь, и ему на фронте оторвало правую руку. Теперь он учится писать левой.

Перечитываю Марию Башкирцеву. Боже, читала это всего год назад – и ведь ничего не понимала! «Мне кажется, что я создана для счастья – сделай меня счастливой, Боже мой!» Ведь все это про меня! «Я создана для триумфов и сильных ощущений – поэтому лучшее, что я могу сделать, – это сделаться певицей». Мне начинает казаться, что она – это я, что мы – один человек, что она никогда не умирала. Я ведь живу. Ведь это не она, а я больше всего на свете люблю «искусство, музыку, живопись, книги, свет, платья, роскошь, шум, тишину, смех, грусть, тоску, шутки, любовь, холод, солнце, все времена года, всякую погоду, спокойные равнины России и горы вокруг Неаполя, снег зимою, дождь осенью, весну с ее тревогой, спокойные летние дни и прекрасные ночи со сверкающими звездами». И еще Женю. Она не знала моего Женю.

3 января 1915 г.

В журнале «Нива» в конце номера печатают списки погибших на фронте офицеров: перед каждой фамилией крестик как трефовый туз.

Идет страшная война, а мы переписываем друг у друга анкету про любовь. Как ужасно устроен мир – вот этот вопрос анкеты вдруг становится важнее всех войн на свете: «У царя была дочь, которая полюбила простого человека. Царь, узнав об этом, рассердился и хотел казнить его. Принцесса плакала, умоляла своего отца, и он решил так: в цирке на арене устроят две двери – за одной будет страшный, голодный тигр, за другой прекрасная

женщина. Любимого выведут на арену, и он должен открыть наугад одну из дверей. Откроет дверь с тигром – смерть. Другую дверь – ему дадут красавицу в жены, дадут много денег и отправят на корабле в далекую, прекрасную страну. Принцесса знала, где тигр и где женщина. Собрался народ в цирке, и осужденный умоляюще смотрит на принцессу – помощи! Влюбленная девушка переживала, то краснела, то бледнела, потом указала на дверь – что было за ней?»

Я искренне ответила, что, конечно, женщина, потому что любовь не может быть корыстной и желать зла. А бессонной ночью вспоминала, как мы втроем – Тала, Ляля и я – сидели у Талы дома, Ляля попросила Женю объяснить ей какую-то задачу, и они закрылись в его комнате, и поняла: тигр...

Любезный Навуходозавр!

От Вас ничего. Кроме той открытки. А Вам посылаю римские карточки каждый второй день. Ничего, не обращайтесь внимания, все хорошо.

Кстати, долетела сюда та Ваша открытка в два счета. Чудеса!

Интересно, когда Вы получите вот это мое послание?

Такие письма идут медленно, тем более если их не отправлять.

Неотправленные письма доходят вернее.

У неотправленных писем есть особенность протыкать время. Без всяких марок и штемпелей – прыг – и уже у вас в руках. Можем через многолетье и многозимье поболтать о погоде – я сейчас и здесь, а вы тоже сейчас и здесь. Что там у Вас? Вселенная расширилась? А какой день недели? Что за полушарие за окном?

Может, у Вас у самого уже семья, ребенок. Сын?

Не сомневаюсь, что Вы однажды покажете ему фокус, который я показал Вам, а мне его показал мой бывший подводник. Как сейчас вижу: мы идем в воскресенье стричься, я хнычу, потому что боюсь машинки и ненавижу парикмахерскую, он тащит меня за руку, а потом вдруг говорит – смотри, фокус! И происходит чудо. Отец в мгновение ока вырастает, становится великаном. Берет трамвай с остановки и протягивает мне на ладони.

Фокус, конечно, не ахти какой, но думаю, что и Ваш сын когда-нибудь покажет его своему ребенку. Станет великаном и протянет ему на ладони трамвай, или дом, или гору.

Может, в этом и есть весь фокус.

Проходили недели, месяцы, и иногда вдруг толмач включал компьютер Изольды, когда ее не было дома, – у них был уже у каждого свой лэптоп – и читал новые записи.

При этом у толмача было чувство, что ворует.

А он и был вором.

Иногда она записывала просто обрывки из той жизни, до толмача. О каникулах в Италии.

«А еще помнишь, как мы разругались тогда в Пизе? Я выскочила из машины и хлопнула дверью. Так хлопнула, чтобы сломать ее. Ты уехал, разъяренный, злой, бросил меня. Там стригли газон и пахло скошенной свежей травой и бензином. На площади везде стояли туристы с вытянутыми руками, будто упирались ладонями в воздух, – это они позировали для фотографии: поддерживали падающую башню. Я вошла в собор, села на скамейку, все равно идти было некуда. Там было прохладно, а на улице зной. Закрыла глаза – стрекотание косилок доносилось сквозь открытые двери, и даже в соборе был острый, свежий запах скошенной травы. Сидела и думала

о тебе, как я тебя люблю. И что буду так сидеть здесь и ждать тебя. И знала, что ты вернешься и найдешь меня».

Ее дневник толмач читал только тогда, когда они ссорились. И теперь они ссорились все чаще и чаще.

Толмач знал, что Изольда может проверить, когда в последний раз открывался файл, но боялся спросить у знакомого программиста, как сделать так, чтобы этого нельзя было определить.

И еще странно было читать, что Изольда была ночами с толмачом, а представляла себе, что это Тристан обнимает ее в темноте.

Это Тристан, а вовсе не толмач, целовал и входил в нее по ночам.

Один раз Изольда вернулась домой, когда вор сидел за ее компьютером, но он успел все выключить, потому что она сразу пошла в туалет.

Один раз толмач прочитал новую запись, что их сын похож на Тристана, каким тот был на детских фотографиях.

Толмач стал рыться на полках Изольды в ее папках, альбомах, коробках – хотел найти фотографии Тристана. Когда-то она показывала их, но он не обратил внимания, не запомнил. Теперь всматривался в каждое фото, неужели действительно есть сходство?

Каждый год у них дома собирались друзья Изольды и Тристана – в день его смерти.

Так получилось, что накануне очередной встречи толмач и Изольда из-за какого-то пустяка очередной раз поссорились. Даже с битьем посуды. Когда Изольда ушла на работу, толмач включил ее компьютер, открыл тот файл и прочитал:

«Сегодня ушла спать в детскую. Слушала, как сопит во сне ребенок, и так захотелось, чтобы это был наш с тобой сын. Он и есть твой ребенок. Твой, а не его».

Когда Изольда вернулась с работы, толмач подошел и обнял ее, как обнимал после ссор, чтобы помириться. Сказал, как они говорили друг другу:

– Мир?

Она улыбнулась, прижалась лицом к его груди:

– Спасибо! Я так боялась, что сегодня у нас опять будет плохо.

Толмач улыбнулся:

– Все будет хорошо!

Пришли гости. Изольда приготовила раклет. Было тепло и говорливо.

Толмач пошел укладывать сына, читал ему перед сном про Урфина Джюса и дуболомов. Ребенку давно пора была спать, а он все просил почитать еще, и толмач читал и читал.

Не хотелось к ним туда выходить.

Сын наконец заснул, толмач выключил свет, лежал в темноте и слушал детское сопение.

Вышел уже к десерту. Разговор зашел о России, о Чечне. Зубной техник, отщипывая виноград, спросил толмача, что испытывает человек, если принадлежит не к маленькому народу, как швейцарцы или чеченцы, а к большой нации – и тут он запнулся – не завоевателей, не угнетателей, а как это сказать – он крутил пальцами виноградину, все не мог найти нужного слова и смотрел на толмача с улыбкой, словно ожидая помощи.

Толмач подсказал:

– Если принадлежит к русским.

Техник засмеялся, бросил ягоду в рот, стал разжевывать, отщипнул еще:

– Ты ведь понял, что я имею в виду!

– Конечно, понял.

Толмач разлил остатки вина из бутылки, пошел на кухню за следующей и, вернувшись к гостям, начал разговор о видео, которые снимают чеченцы.

Кто-то видел короткие отрывки по телевизору. Толмач сказал, что знакомые журналисты из Москвы прислали кассету. Изольда прервала его:

– Не надо!

Толмач привлек ее к себе, поцеловал в шею:

– Конечно, не буду.

Гости принялись настаивать:

– Покажите!

Толмач стал отговариваться, что действительно лучше не надо, потому что эти кадры не показывали ни по какому телевидению, даже в России.

– Тем более покажите! Покажите!

Особенно хотел увидеть то, что не надо видеть, зубной техник.

Толмач понес тарелки на кухню, Изольда пошла за ним и сказала тихо, чтобы никто в комнате не слышал:

– Зачем ты хочешь испортить мне этот вечер?

Толмач ответил:

– С чего ты взяла?

Наконец кассета в видеомэгнитофоне, все расселись, толмач включил.

Сначала кто-то просит, чтобы за него заплатили выкуп, совсем еще мальчишка, изможденный, грязный, наверно пленный солдат, ему отрезают палец, он принимается тихо скулить. Палец крутят перед объективом.

Потом какой-то иностранец – он говорил по-английски – протягивает в камеру банку с мутной жидкостью, свою мочу с кровью, жалуется, что ему отбили почки, тут его сзади стегают железным прутом, он дергается, кричит.

Изольда с самого начала не стала смотреть, вышла на балкон курить.

Кто-то из гостей после первых кадров встал и пошел за ней.

Пленному солдату хотят перерезать горло. Он вырывается, сипит: «Не надо! Не надо!» Уходит куда-то вниз из кадра. Его поднимают обратно, черная рука с кривыми пальцами на красном лице.

Еще кто-то из гостей встал и молча вышел из комнаты.

Старик спокойно крестится в камеру и говорит: меня сейчас убьют, и я хочу сказать, что я вас очень люблю, и тебя, Женечка, и тебя, Алеша, и тебя, Витенька! Ему отрубают голову. Камера показывает в первую секунду не голову, а шею – крупно – она толстая, наверно 45-го размера, и вдруг сокращается в кулак, и из нее выпирает горло и льется черная кровь.

Перед телевизором остались вдвоем – толмач и зубной техник. Сидели и смотрели, как насилюют женщину, которая все время кричит: «Только не трогайте ребенка!» Зажигалкой поджигают волосы между ног, потом вставляют ей внутрь лампочку и раздавливают стекло. Женщина воет, охает, корчится на земле. Льется кровь. Бородатый в черных очках вставляет, ухмыляясь, ей в задний проход дуло пистолета и спускает курок.

– Хватит, – сказал зубной техник, – выключи!

Толмач выключил телевизор и пошел на кухню готовить чай. Гости быстро разошлись.

Изольда в ту ночь опять пошла спать в детскую. Сказала вместо «спокойной ночи»:

– Я тебя ненавижу.

26 августа 1915 г. Среда

Сегодня на скейтинг-ринке брат познакомил меня со своим новым другом Алексеем Колобовым, студентом, эвакуировавшимся вместе с университетом из Варшавы. Я каталась с Лялей и издали увидела, как кто-то помахал мне из-за столика, которые

стоят вокруг трека. Подкатила к барьеру. Саша представил нас. Оркестр играл так громко, что нужно было кричать. У него удивительные голубые глаза, красивая узкая рука, и он очень смешно покраснел, когда здоровался со мной. Предложила ему покататься – он отказался. Не умеет. Мне стало с ними неловко и как-то скучно. Не о чем было говорить. Вернее, даже не скучно, а как-то тревожно. Захотелось убежать, скрыться. Снова умчалась на середину трека, в общее течение.

А теперь пишу и думаю, чем меня это задело? Может быть, может быть...

27 августа 1915 г. Четверг

Вернулись Мартьяновы. Сегодня видела Женю. Удивилась: что я могла в нем найти?

Пришел папа с картой, и все стали ее разглядывать. На фронте дела все хуже – отдали Польшу, всю Литву и Белоруссию. Саша с папой следят каждый день за отступлением по карте. В Ростов отовсюду хлынули беженцы.

Ночью думала о Жене и снова вспомнила, как он стал показывать мне тогда опыт, как магнит сквозь лист бумаги придает железным крошкам симметрический рисунок, а я сказала, что больше его не люблю, – и какой он стоял после моих слов жалкий, поникший, беспомощный, с магнитом и бумагой в руках.

Наверно, я очень плохая. Но мне его совершенно не жалко. Вернее, жалко, конечно, но от этой жалости он становится каким-то еще более жалким.

Я не влюбилась в Алексея. Да, я чувствую. Я знаю.

29 августа 1915 г. Суббота

После каникул все съезжаются и рассказывают друг другу о своих летних романах – думаю, большей частью придуманных.

Всех удивила Мишка. Летом она познакомилась с молодым правоведом – его мать снимала рядом дачу. Он сказал, что любит ее, на следующий год закончит университет и женится на ней. А на другой день приехала его мать – важная и гордая, встала на колени перед ней – перед Мишкой! – и стала умолять отказать ее сыну. Стала уверять, что они оба молоды и вовсе не пара, что Мишка будет чувствовать себя неловко в их кругу. И что он будет стыдиться ее, будет несчастен. Напоследок сообщила, что они запутаны в долгах и что у него уже есть невеста, красавица, богачка, светская барышня, и что Мишка если действительно любит ее сына, то для его счастья должна отказать от него. Мишка послала ему прощальное письмо, в котором написала, что больше они никогда не увидятся и он свободен, а она будет любить его всегда.

Не знаю, верить или нет. Хотя Мишка никогда еще не врала.

Ходила в госпиталь.

Тучи серые, как больничные халаты.

На душе очень грустно. Все время думала об Алексее. Он подружился с Сашей и иногда заходит к нам, но на меня не обращает никакого внимания. Я на него тоже. Он то ли застенчивый, то ли скучный. Скорее второе.

31 августа 1915 г. Понедельник

Объявился Петя Назаров. Очень изменился, повзрослел. О Семе сначала говорили, что его убили, но пришла открытка через Красный Крест. Он в германском плену.

4 сентября 1915 г. Пятница

Сегодня у нас снова был Алексей. Лучше бы он не приходил! Он вошел, а я только что из гимназии –

еще не переделась, в коричневом ужасном платье, в черном переднике – на руке чернильное пятно! Столкнулись в прихожей – я выходила из уборной и от ужаса, что он видит меня и слышит шум воды в ватерклозете, вся обмерла, ладони вспотели, моргаю – не могу выдавить из себя ни слова. А они с братом при мне стали обсуждать – и что?! У них в университете на лестнице выставили почтовый ящик с надписью «Половая анкета» – нужно туда опустить анонимные сведения о своей сексуальной жизни. Я стою красная как идиотка. Брызнули слезы. Пулей умчалась.

Ненавижу себя!

8 сентября 1915 г.

Рождество пресвятой Богородицы

Брат стал совсем взрослым – бреет бородку.

Да все стали взрослыми – и Катя, и Маша.

А я? Я в выпускном классе гимназии! И что я вдруг заметила? Теперь я – предмет обожания! У меня появилась поклонница из младшего класса, Муся Светлицкая, возгоревшаяся ко мне любовью и всячески выказывающая свое восхищение. Бегает за мной на перемене, как собачка, льнет, целует мои руки! Сначала нравилось, а теперь стало надоедать. И главное, невозможно отвязаться! Утром по дороге в школу купила ей шоколадку с начинкой из крема, ту самую, мою любимую с детства, в цветной обертке с двумя язычками. Только теперь потянешь за один – выскакивает картинка со злобным лицом Вильгельма, дернешь за другой язычок – появляется чубатая голова вездесущего казака Козьмы Крючкова. Подарила Мусе – та чуть не зарыдала от счастья.

Господи, как я хочу вот так же кого-нибудь любить!

10 сентября 1915 г. Четверг

Погода отвратительная.

Снова был Алексей. Он меня совершенно не замечает. Я его тоже. Он мне не нравится все больше и больше. Что это – заносчивость? Высокомерие? Он считает, что я еще не доросла до их высоколобых бесед?

И не надо!

12 сентября 1915 г. Суббота

Все, я влюбилась! И как! Причем влюбилась с самого первого мгновения, тогда, на треке, просто скрывалась сама от себя, боялась пораниться, сделать себе больно. То, что было с Женей, – чушь. Детство. Женя – ребенок, мальчишка. Я просто еще не знала, что такое любовь!

Алексей! Алеша! Какое чудесное имя!

И какой дивный день!

13 сентября 1915 г. Воскресенье

Сегодня ходили с Алешей в электротheater «Возрождение», смотрели «Стеньку Разина». Сижу и ничего не вижу, только чувствую его близость, его руку на моей руке.

Как он умеет целовать меня! Я только с ним, с моим Алешей, узнала, что такое мужской поцелуй! Это ни с чем сравнить невозможно! Я второй день в какой-то горячке.

И еще вот, очень важное: на обратном пути Алеша рассказывал, что студенты образовали театральный кружок и готовят благотворительный спектакль. Он сам не играет, а отвечает за освещение. Спросил, хотела бы я играть. Господи! Я? Играть? И еще готовить спектакль вместе с Алешей? Да я умру от счастья! Спросила, что они собираются ставить. Еще не решились. Ставить спектакль будет Костров, который учился в Студии Художественного театра!

Вот так! Я уже без пяти минут актриса!

Наверно, этого нужно стыдиться, но я хочу быть на сцене, хочу быть в центре внимания, хочу аплодисментов, хочу идущих на меня из зала волн восхищения и любви! Верно, это дурно, но я ничего не могу с собой поделать.

Вместе с Высшими женскими курсами из Варшавы эвакуировался женский медицинский институт. Тала и Ляля хотят записаться туда. Зовут идти с ними.

Нет, я знаю мою дорогу. Я буду петь. Я хочу петь, и ничто не сможет мне помешать – ни война, ни землетрясение, ни всемирный потоп! Сколько же лет я ждала этой минуты, чтобы появиться на этом свете! И что? Отказаться от себя? Нет, я буду петь в этой жизни и другой ждать не собираюсь!

Или театр.

Как я счастлива! Алешенька мой!

17 сентября 1915 г. Четверг

Сегодня на урок зоологии Р.Р. принес скелет – наши девицы перепугались, завизжали, а он нашел чем успокоить, сказал, что это скелет нашего старого швейцара у Билинской, толстовца, который завещал свое тело науке и просвещению. Я даже не знала, что он умер. Старик исчез куда-то после переезда гимназии. Говорили, что уехал в Новочеркасск к сестре.

Упокой Господь его душу! С телом покоя не получилось.

В профиль Р.Р. напоминает какого-то грызуна. Противный. Еще противнее Забугского, и тоже априори считает нас всех тупицами. На первом уроке он стал показывать нам опыт – мол, не Бог создал Солнечную систему, а смотрите: принялся вращать в стакане ложечкой каплю жира – от быстрого вращения большая капля разорвалась и разделилась на

несколько маленьких – наглядная картина возникновения Солнечной системы с планетами. «Поняли?» – «Да». «Вопросов нет?» – «Нет». Разозлился: «Надо было спросить – кто вращал тогда ложку! Умнички!»

Он говорит «умнички», чтобы не называть нас дурами.

Говорят, в него влюблена начальница.

Женя еще совсем ребенок. Он встретил меня на улице, подошел, хотел что-то сказать, но только молчал и так беспомощно вертел в руках свою гимназическую фуражку.

А Алексей – взрослый, умный, настоящий. С ним так интересно! Он такой начитанный, столько всего знает! Оказывается, играть – о театре – придумали французы, а театр греков – это аго, т.е. действую, живу. Отсюда и слово агония.

Именно так: театр для меня не игра, а сама жизнь и смерть.

Не могу заснуть. Уткнувшись в подушку и вижу его, как он улыбается, как целует меня. Сегодня ему попала ресница в глаз, и я вылизала ее языком.

19 сентября 1915 г. Суббота

Итак, решено, мы ставим «Ревизора»! Я играю Мэрию Антоновну.

Костров все-таки невероятный воображала, возомнил себя чуть ли не Станиславским и требует от всех, чтобы слушались его, как бога, будто мы в самом деле студия Художественного театра. Но, с другой стороны, он умница и действительно талант. И мне нравится, что все у нас всерьез.

И он настоящий артист. Знает все о театре. У него случайно вылетела из роли страница на пол, и он тут же сел на нее. Объяснил, что это давний актерский оберег. Если не сядешь на упавшую роль – будет провал.

Тала обиделась, что у меня нет теперь времени ходить с ней в госпиталь. Или это из-за Жени? Она так любит брата!

Наверно, это плохо, что я делаю – между помощью раненым и театром я выбрала театр. Но искусство – разве это не такая же помощь людям? Не знаю. Нужно еще подумать об этом. Но там, на репетициях, так интересно! А в госпитале все время одно и то же!

Перечитала и подумала: какая же я эгоистичная! Стало стыдно перед Талой.

Сегодня после репетиции, когда все расходились, Костров очень смешно рассказал, как на съемку «Обороны Севастополя» пришли местные жители с прошениями и жалобами. Они увидели целую свиту в расшитых мундирах и решили, что это какое-то начальство. И в Кострова, одетого в генеральский мундир, тоже вцепилась какую-то старуха, плакала и о чем-то просила. Все никак не могла поверить, что он никакой не генерал. Чтобы не срывать съемку, пришлось разгонять крестьян полицией.

За ужином рассказываю про репетицию, а папа спрашивает: «А знаете, что в «Ревизоре» самое главное?» – «Обличение?» – «Нет». – «Немая сцена?» – «Нет». – «Тогда что?» – «Самое главное – это как Бобчинский просит передать царю, что есть такой Петр Иванович Бобчинский». – «Почему?» – «Это нельзя объяснить. Это можно только понять».

Иногда папа умеет быть просто удивительно противным!

Целую тебя, Алеша! Спокойной ночи!

3 октября 1915 г. Суббота

Так давно ничего не записывала! Совершенно некогда. Все время с Алешей и в театре. Почти ничего не делаю для гимназии. Нужно обязательно

подтянуться, а то стыдно будет получить плохие отметки!

Вживаюсь в роль. Дома переодеваюсь и хожу в гриме. Няня, увидев меня, рассмеялась. Я разозлилась на нее, захлопнула дверь. Она старая и глупая!

Пытаюсь проникнуть в мою роль, войти в глубину характера моего персонажа: вот я влюблена в Хлестакова. Но как же так? Почему? Ведь он ничтожество, фигляр, пьяница! Дурак, в конце концов! Так не бывает! Вот я люблю Алешу. И это мне понятно. Он совсем не такой. Умный, обаятельный, нежный, тактичный. Красивый, мужественный. У него такой красивый рот, и нос, и лоб. А руки! Можно влюбиться в одни только руки!

Но все это в моей работе над ролью никуда не ведет. Нужно найти какие-то точки соприкосновения – то, что мне понятно и близко, во что могла бы влюбиться и я.

Снова воображаю себе дурашливое лицо лопухого Петрова, нашего Хлестакова, – нет, ничего не получается.

И не получится, потому что думаю все время только об Алеше – он будет сегодня ужинать с нами. Сажу у окна и смотрю на улицу. А там осень, холод, дождь, лужи.

Вдруг пришла дурацкая мысль, что вот сейчас умру, и эта мостовая и это полуопавшее дерево, пробежавшая мокрая собака, и это дождливое небо над Ростовом – это все. Это и есть вся моя жизнь. Кошмар!

Идет!

Дописываю вечером.

Алеша очень интересно рассказывал, как в начале войны он с родителями и младшим братом был в Германии и как всех русских отправляли в Швейцарию. Людям, которые жили там годами, дали на сборы 24 часа! Они переехали через Боденское озе-

ро на пароходе с самим Качаловым! Возвращались через Италию морем до Греции.

Где он только уже не побывал, а я ничего, кроме этого проклятого Ростова, не видела! Оказывается, «Тайная вечеря» Леонардо, написанная на стене трапезной монастыря в Милане, погибает! Он написал ее масляными красками, и слой краски тоненькими лепестками свертывается в трубочки и отделяется от стены. Я не удержалась и воскликнула: «Какой ужас!» А Саша, дурак, сказал: «Тысячи людей гибнут в окопах, а тут краски!» Я так и сказала ему: «Дурак!» Мы с братом стали ругаться, и Алеша – мой умница – так тактично снова нас помирил!

Из Салоник поездом их повезли в Сербию. При чем везли бесплатно, потому что русская кровь лилась из-за Сербии: контролер проверил вместо билетов паспорта с нашим гербом. Леша рассказал, что серб глядел на русских сочувственно, а это было до обидного незаслуженно. «А мы что – кровь проливали? – сказал Алеша. – Мы только бежали, ворчали на неудобства и безденежье да враждовали из-за лишнего местечка!»

Потом они приехали в Болгарию, оттуда в Румынию – там на пароходе по Дунаю к Черному морю. Алеша сказал, что это похоже на низовья Волги. Папа спросил: «А Измаил? Вы же проплывали мимо Измаила!» Алеша засмеялся и рассказал, что увидел Измаил совершенно случайно – вышел покурить. «А весь Измаил – это вроде нашей донской пристани-баржи». «И все?» – «И все».

Устала, нет времени и сил писать.

Лешенька! Я тебя люблю и целую! До завтра!

5 октября 1915 г. Понедельник

Опять этот Забугский! Он доведет меня до петли! Сегодня на контрольной работе он ходил по классу,

следуя, чтобы никто не списывал. Каждый раз, проходя мимо, он останавливался за моей спиной, заглядывал через плечо в мою пустую тетрадку и шипел: «Шикарно! Шикарно!» Я чуть не разрыдалась. Наклонился так близко, что я чувствовала его дыхание – отвратительное. Один раз мне даже показалось, что он тронул мои волосы – наверно, еле сдержался, чтобы не схватить меня за косу и не отодрать. И все почесывает свою бородавку!

Дописываю после ужина. Рассказала только что о моем мучителе, а папа сказал, что Забугский в прошлом году похоронил жену, которая умерла при родах вместе с младенцем. Я не знала. Почему люди такие злые? Почему я такая злая?

9 октября 1915 г. Пятница

Сегодня была у Алеши, он хотел познакомить меня со своими родителями. Было немножко страшно. Алеша потом мне сказал, что я им понравилась! Очень симпатичные люди. И видели целый мир, жили в разных странах. Его отец рассказывал, как ему пришлось в 1894 году пережить страшное землетрясение в Константинополе, когда за две минуты погибли 2000 человек. Еще он сказал, что видел высоко на стене Святой Софии след кровавой руки султана, который тот оставил, когда верхом въехал в церковь через горы трупов после осады города.

Ну почему я нигде не была? Господи, так хочется увидеть мир!

Родители Алексея много говорили о Варшаве, где они прожили столько лет. Рассказывали, что поляки русских всегда не любили, и даже приказчики в магазинах, услышав русскую речь, сразу начинали «не розумить по-русску», а прохожие, если спросишь дорогу, посылали «москалей» в непра-

вильном направлении. А я все молчала и вдруг заявила, что мы, русские, не умеем держать зло и всем все прощаем, и рассказала, как Нюся в письме написала, что из-за сочувствия к Польше в «Жизни за царя» теперь наш народный герой умирает не от польских сабель, а от мороза. Все рассмеялись, а я страшно смутилась, но Алеша так хорошо посмотрел на меня, что мне тоже стало легко, и я хохотала вместе со всеми.

Младший брат Алексея – очень симпатичный мальчишка, но жуткий зануда – прибежал к брату в комнату и никак не хотел идти к себе. Алеша обещал показать ему фокус, и только за эту мзду Тимошка согласился уйти: Алеша налил в детское ведерко воды и во дворе стал крутить им так, что вода из перевернутого вверх дном ведерка не выливалась.

Мы целовались, потом говорили про театр, потом он спросил про госпиталь, в который я хожу. А я там уже давно не была, и мне стало стыдно. Алеша стал говорить, что его мучает, что другие должны воевать, а он отсиживается в тылу. Он не подлежит призыву. И еще сказал, что его дед по матери – немец.

Я просто не знала, что такое настоящее сильное чувство! Теперь я люблю. Теперь, я знаю, настоящее.

12 октября 1915 г. Понедельник

Женя демонстративно – назло мне – ухаживает за Лялей. Пусть. Мне это даже смешно.

13 октября 1915 г. Вторник

Сегодня Алеша сказал, что хочет пойти на фронт. Мне стало страшно. Он хочет пойти добровольцем. «Я не имею права оставаться чистеньким при всеобщей грязи».

Мне страшно.

15 октября 1915 г. Четверг

Сегодня сказала наконец маме, что хочу стать актрисой и после окончания гимназии поеду в Москву поступать на драматические курсы. Сперва она молчала, потом ее как прорвало. Стала кричать, что никуда меня не пустит, потому что меня затянет, как она выразилась, «омут богемной жизни». А я заявила ей, что решительно считаю буржуазную спокойную жизнь с ее сплошным обманом и скукой куда хуже – и хочу посвятить себя искусству. Она бросилась к буфету за каплями: «Да что ты понимаешь в театре? Все мечтают стать Ермоловыми или Савиными, а становятся содержанками богатых мерзавцев и изображают бедных поселянок в тысячных серьгах или превращаются в театральные кляч на сорокарублевое жалованье!» Я знала, что она будет против, и была готова услышать что-то в этом духе. Но потом она сделала такое, что я не смогу ей простить! Я уже уходила, а она крикнула мне вдогонку: «Посмотри на себя в зеркало! Разве можно с такой внешностью мечтать стать актрисой?!»

Я – ужасный, гадкий человек. Я ненавижу свою мать.

Алешенька, как мне тебя сейчас не хватает!

17 октября 1915 г. Суббота

Папа – золото! Мой милый, добрый, умный папа! Мы с ним проговорили полвечера, и он сказал, что будет платить мне за уроки у Кольцовой-Селянской! Только я ничего не должна говорить матери. Папочка, чудесный мой, как я тебя люблю!

Во вторник первое занятие.

18 октября 1915 г. Воскресенье

Сегодня опаздывала на репетицию, мчалась что есть духу, споткнулась, и тетрадь с ролью выскольз-

нула на землю! Кошмар! Сразу села на нее – прямо на грязный тротуар. Все оглядываются, как на сумасшедшую. А я посидела, отдышалась и вприпрыжку побежала дальше. Почти не опоздала!

Алеша сегодня очень плохо выглядел. Он простыл и чихал. Я хотела увести его домой, но он досидел репетицию до конца.

Катин Виктор играет Добчинского и Бобчинского – находка нашего режиссера, что обоих играет один актер. Виктору и не нужно ничего специально играть – он и так Бобчинский и Добчинский в одном лице.

Оглоблина по уши влюблена в Кострова – опять краснела без конца, путала роль. Костров наконец не выдержал, взорвался, стал бегать по сцене, кричать на нее: «Выходишь на сцену – откуда? Из какой жизни? Что было за кулисами? Что ты там делала? Спала? Вот и появишься заспанной, шлепая туфлями, волоча юбку! Ты жила за сценой – вот эту жизнь и принеси!» Она, конечно, в слезы. Ему пришлось просить у нее прощения. Даже стал на колени, когда та собралась вовсе уйти. Сумасшедший дом!

19 октября 1915 г. Понедельник

Ходили с Алешей в «Возрождение». Фильм смотреть было интересно, а пересказать – ерунда какая-то. У скульптора Марио есть невеста, но он встречается со своей бывшей возлюбленной Стеллой. Свадьба не состоялась, и Марио в отчаянии уходит в монастырь. Там он работает над статуей. В это время в монастырь приезжает веселая компания, с ней Стелла. Она узнает Марио и пытается его соблазнить: «Ты меня не можешь забыть! Черты статуи – мои!» Тут он хватает молоток, разбивает скульптуру, потом убивает Стеллу, а сам бросается со скалы.

Вышли, идем под дождем. Весь Ростов под зонтиками и в галошах. Прижимаюсь к Алеше и думаю: какая-то там не любовь, а чушь. А любовь – вот, здесь: он и я.

Неужели Алеша действительно хочет пойти на войну? Как он может вот так взять и оставить меня?

20 октября 1915 г. Вторник

Только что вернулась от Нины Николаевны. Какая она необыкновенная! Старая, но красивая, грациозная, умная! Знала всех!

И как все-таки несправедливо устроен мир! Все это никому больше не нужно! Вся ее жизнь, весь ее опыт, вся ее красота, все ее слова, знания, память о людях, истории – все уйдет вместе с ней!

О Кадминой, знаменитой певице, с которой в юные годы была дружна: «Дуреха! Отравилась на сцене спичками из-за отвергнутой любви!»

О себе: ушла из театра, потому что не хотела заканчивать комической старухой.

О партнере: «У него не должно быть потных рук».

О сценическом имени: когда стала актрисой, родня матери заставила ее переменить фамилию, чтобы не позорить семью. «Главное – чтобы совпадали инициалы, из-за меток на белье и вензелей на ложках».

Еще она мне сказала: «У тебя есть талант, деточка! Но этого мало. И трудолюбия мало. И любви к театру тоже мало. Всего мало! Нужно, чтобы горе постучало в твою дверь, – нужно все пережить и все узнать – и то, что не нужно знать, – тоже».

Зачем мне горе? Не хочу никакого горя!

У нее на подоконнике в большом горшке ничего нет, просто земля. Спросила: «Нина Николаевна, что это?» «Посадила косточку от лимона и загадала: если вырастет деревце – буду жить долго. Старушечья глупость».

На комодe фотография – ее второй муж, актер Селянский, очень красивый мужчина. Она увидела, что я разглядываю его, и рассмеялась. Стала рассказывать, какой он был пьяница. Что-то натворил, попал под суд, и перед слушанием дела адвокат ему говорит: «Только ни слова от себя! Вот я написал вам текст – выучите и сыграйте!» Оправдали. «Была его лучшая роль!»

И все объяснила мне про Хлестакова. Все очень просто! Я влюбляюсь ни в какого не в Хлестакова, а в Петербург – в ту далекую, настоящую жизнь! И даже не в Петербург, а просто в свою любовь. Я влюбляюсь в любовь! Так вдруг стало все понятно!

Вспоминала приезд Сары Бернар в Одессу. Французской знаменитости устроили обструкцию из-за ее еврейского происхождения, и на Дерибасовской кто-то даже бросил в ее карету камень. Бернар была в то время худая и рыжая. Все говорили о ее эксцентричности, что спит в гробу, ходит дома в костюме Пьеро. «А на самом деле – просто ломака. И ее хваленый голос в подметки не годился Ермоловой!»

Слушала и думала: неужели это просто зависть старой неудачницы? Одной все – мировая слава, успех, а другая прозябает на старости лет в каком-то Ростове. А таланта у нее, может, не меньше было, чем у знаменитой Сары Бернар. Так в чем же дело? Почему судьба одних жалует, а других наказывает?

Судьба моя! Будь ко мне ласкова! Пожалуйста! Ну что тебе стоит? Дай мне все!

24 октября 1915 г. Суббота

Утром проснулась, и первое, что увидела, – пылинки в горке света. Получилась как горка поперек комнаты – из солнца и пыли, прочная, упругая – вот бы по ней скатиться!

Как здорово вот так просыпаться – возвращаться откуда-то в себя: надевайтесь, мои ручки, надевайтесь, мои ножки! – и знать, что тебя уже поджидает любовь!

Алешенька! Свет мой! Как же я тебя люблю! Как же я жила без тебя? Без твоих голубых глаз! А как они умеют менять свой цвет! Как я люблю смотреть, как они то сияют лазурью, то становятся серыми, то совсем чернеют, когда расширяется зрачок.

С Женей все было так сложно – прижаться, поцеловать, – а с Алешей так хорошо, так легко! Ужасно только, что не умею ему показать всей нежности, любви, преданности.

Как хорошо проснуться и знать – сегодня его увижу!

4 ноября 1915 г. Среда

Домашние уроки Нины Николаевны: я осталась одна дома – нужно было прибраться – и вот стала представлять себе, что служу у какой-то сварливой барыни и она ходит за мной и ворчит, что я все не так делаю, – и то сделай, и там подотри! Сама с собой разговариваю.

А потом опять стала думать о нем. И вот села записать просто, что я его люблю.

5 ноября 1915 г. Четверг

И смех и грех! По пьесе я должна упасть «как подкошенная» – и вот вечером репетирую в своей комнате, вырабатываю падение – прибежала испуганная мама: «Что случилось?»

7 ноября 1915 г. Суббота

Оказывается, мама Алешки – эпилептик. Мы сидели у него в комнате, когда его позвал брат. Прибежа-

ли, она лежала на полу в припадке, вытянувшись, будто ее, как тетиву, натягивали на невидимый лук. Из рта шла пена – я вытирала платком, а Алеша держал голову. Глаза закатились, она обмочилась, потом, после припадка, лежала как труп.

Бедный Алеша! Он так страдал!

14 ноября 1915 г. Суббота

Сегодня произошло что-то ужасное. Мне кажется, я даже не осознала еще толком весь ужас. Но такое ощущение, что внутри, в душе, уже все им заражено.

Репетицию, как всегда, начали с упражнения – нужно было сыграть, будто персонаж только что убил свою любовницу. В соседней комнате убил, а теперь к нам вышел. Мы падали с хохоту под стол, особенно когда убийцу играл Виктор – он изображал, что расчленил ее и съел. А потом Костров мне сказал сыграть то же самое: я только что за дверью убила любовника. И вот я вышла в коридор, и вдруг меня как парализовало. Я – убила? Любовника? Какого любовника? Как это – убить? Как это – любовник? Алексей мне – любовник? Оттуда зовут, а я все стою. И понимаю, что ничего такого никогда не сыграю. И не могу, и главное – не хочу. Костров недоволен: «Ну где же ты?» Я отшутилась, крикнула им: «А я его отравила, а потом сама отравилась и лежу мертвая рядом».

Все смеялись, а мне вдруг стало страшно.

Господи, неужели я – не актриса?

17 ноября 1915 г. Вторник

Перечитала и ужаснулась самой себе: о какой ерунде я пишу! Сегодня Алеша сказал, что уходит на фронт. Уже все решено. Он не говорил мне до последнего – не хотел расстраивать.

Была у Нины Николаевны и никак не могла собраться. Она сразу заметила, что со мной что-то не то, и была очень недовольна.

«Каждая актриса хочет сыграть настоящую женщину, влюбленную и несчастную». Не понимаю. Это неправда. Так не должно быть. Почему настоящая женщина должна быть влюблена и несчастна, а не влюблена и счастлива?

Она показывала мне что-то перед зеркалом – у нее в гостиной огромное трехстворчатое зеркало, в котором можно видеть себя во весь рост во всех поворотах. Я смотрела на нее и думала: какая она старая и никому не нужная. И не дай Бог дожить до этого. А она вдруг будто прочитала мои мысли, сказала: «Была, как ты, молодая, красивая и боялась старости – вот Бог меня наказал». И добавила: «Лучше быть старой, чем мертвой. Но это тебе еще не понять».

Читала монолог и вдруг разревелась – из-за Алешки. Нина Николаевна на меня закричала, хлопнула ладонью о стол: «Нельзя плакать по-настоящему! Пусть публика думает, что ты плачешь, сама же ты не должна плакать!» Я не могла больше продолжать урок, ничего ей не стала объяснять, извинилась, что плохо себя чувствую, и ушла.

18 ноября 1915 г. Среда

Через неделю его со мной уже не будет.

Алеша – мой жених. Я – его невеста. Сегодня мы сказали это его родителям. Его мама заплакала, она в ужасе, что Алеша уходит на фронт, а отец поцеловал меня и сказал очень хорошие, важные слова. Назвал меня своей дочерью. Стал благословлять иконой, а взял ее вверх ногами – это заметил только Тимошка и рассмеялся, и всех тоже взял смех. Так было легко, так хорошо!

Мы повенчаемся, когда я окончу эту дурацкую гимназию.

Маме и отцу я ничего не хочу говорить. Потом, не сейчас. Знаю, опять все кончится скандалом и вальерьянкой. Не хочу.

Алеша провожал меня домой, и мы зашли в Александро-Невский собор. В соборе было много приезжих. Вообще, город переполнен беженцами. Бегут в Ростов отовсюду – с юга спасаются от турок армяне, с юго-запада бегут галичане, с запада – поляки, украинцы, евреи – им теперь разрешили селиться вне черты оседлости, с северо-запада – прибалты.

Мы стояли со свечками в руках, и я представляла себе, как мы будем здесь венчаться. Смотрела на все и будто заключала мой собственный завет со свечками, и с васнецовскими росписями, и с мозаикой на полу, и с мраморными иконостасами и престолами, и с канадскими тополями в окошках, и с гулкостью свода, и с запахами ладана и растопленного воска – что они нас подождут и мы обязательно придем.

Алеша наклонился к моему уху и сказал, чтобы я посмотрела, как священник бьет по губам старух, которые

На середине фразы заверещал мобильник.

– Baumann, Direktion für Soziales und Sicherheit*.

Все понятно – ищут переводчиков.

– Grüzi, Herr Baumann! Kann ich Ihnen helfen?

– Wir haben einen Dringlichkeitsfall, hätten Sie jetzt Zeit zu kommen?

– Nein, Herr Baumann, es tut mir leid, aber ich kann nicht.

– Schade. Es ist eben sehr dringend. Und ich kann niemand finden. Vielleicht könnten Sie sehr kurz bei uns vorbeikommen? Ich habe da einen jungen Mann bei

* Бауманн, управление социальных вопросов и безопасности (нем.).

mir, ich muss ihm etwas mitteilen. Aber er versteht nichts, weder Deutsch noch Englisch.

– Es geht wirklich nicht, Herr Baumann. Ich bin jetzt in Rom.

– In Rom? Schön! Wissen Sie was, vielleicht könnten Sie ihm etwas per Telefon ausrichten? Nur ein paar Worte. Der junge Mann steht hier neben mir, ich gebe ihm den Hörer, und Sie sprechen kurz mit ihm.

– Gut. Was soll ich ihm sagen?

– Also, er heißt Andrej. Es geht um zwei Brüder, Asylsuchende aus Weißrussland, aus Minsk. Sagen Sie ihm, dass sein Bruder Viktor gestern um 18 Uhr vor dem Durchgangszentrum in Glatt bewusstlos aufgefunden wurde. Er lebte noch, aber starb unterwegs ins Spital. Es ist nicht klar, was passiert ist. Entweder hat ihn jemand aus dem Fenster gestossen oder es war ein Selbstmord oder ein Unfall, die Ermittlungen laufen noch. Alles zeugt davon, dass er betrunken war. Er ist vom dritten Stock mit dem Hinterkopf auf den Asphalt gefallen. Wir haben versucht Andrej das zu erklären, aber er hat nichts verstanden. Das ist alles.

– Gut, Herr Baumann, geben Sie ihm den Hörer*.

* – Здравствуйте, господин Бауманн! Чем я могу вам помочь?

– У нас срочное дело, вы не могли бы сейчас приехать?

– Нет, господин Бауманн, сожалею, но не могу.

– Жаль. Дело действительно очень срочное. И я ничего не могу найти. Может быть, вы смогли бы заехать к нам хотя бы коротко? Тут у меня молодой человек, я должен ему что-то сообщить. Но он ничего не понимает ни по-немецки, ни по-английски.

– Это невозможно, господин Бауманн. Я сейчас в Риме.

– В Риме? Здорово! Знаете что, может быть, вы могли бы сказать ему по телефону? Всего несколько слов. Молодой человек стоит сейчас рядом со мной, я дам ему трубку, а вы с ним коротко поговорите.

Трубка сказала совсем мальчишеским испуганным голосом:

– Алло?

– Андрей, такое дело. Твой брат Виктор...

– Что-то с ним случилось? – голос у трубки стал совсем тихим.

Сказал все, что нужно было сказать.

Какое-то время трубка молчала. Потом послышался странный звук, похожий на икоту.

– Алло, Андрей, ты меня слышишь?

Сдавленное, между икотой:

– Да.

– Передай трубку господину Бауманну.

Снова бодрый полицейский голос:

– Baumann.

– Ich habe es ihm gesagt, Herr Baumann.

– Merci vielmal! Und schönen Tag noch!

– Ihnen auch!*

– Хорошо. Что я должен ему сказать?

– Итак, его зовут Андрей. Речь идет о двух братьях, которые приехали просить убежище из Белоруссии, из Минска. Скажите ему, что его брата Виктора нашли вчера в 18 часов без сознания перед центром проживания беженцев в Глатте. Он еще жил, но умер по дороге в больницу. Неясно, что произошло. Или его кто-то вытолкнул из окна, или это было самоубийство, или несчастный случай, еще ведется расследование. Все свидетельствует о том, что он был пьян. Он упал с третьего этажа затылком на асфальт. Мы пытались Андрею это объяснить, но он ничего не понял. Это все.

– Хорошо, господин Бауманн, дайте ему трубку (*нем. с элементами швейц.-нем.*).

* – Бауманн.

– Я все ему сказал, господин Бауманн.

– Большое спасибо! И хорошего дня!

– Вам также! (*нем. с элементами швейц.-нем.*)

Алеша наклонился к моему уху и сказал, чтобы я посмотрела, как священник бьет по губам старух, которые идут прикладываться к кресту, а девушкам протягивает крест мягко.

Я на него сперва обиделась, а потом вдруг стало так стыдно, что я из-за такой ерунды на него могла обидеться! Господи, а вдруг его убьют! Как же я буду жить? И снова стало так страшно, что ноги подкосились, схватилась за Алешу, чтобы не упасть.

20 ноября 1915 г. Пятница

Именины у Ани Трофимовой. Танцы, смех. Выбежала в уборную, заперлась, разревелась. Как можно веселиться, если он через три дня уедет – и, может быть, навсегда.

22 ноября 1915 г. Воскресенье

Завтра Алеша уходит на фронт.

Мы ходили по улицам, замерзли, зашли в кинематограф. Ничего не видела – только шевелящийся слепой луч в темноте. Было странно и невозможно – завтра он уедет на фронт, а мы тут сидим, смотрим какую-то ерунду. Я потянула его за руку: «Пойдем!» Ушли, не досмотрев до конца.

Не знаю: писать об этом или нет.

Напишу.

Мы пришли к нам. Поднялись ко мне в комнату. Я заперла дверь изнутри. Выключила свет. Обняла его. Сказала: «Возьми меня, Алеша!» Так мы стояли, обнявшись посреди комнаты. Он стал говорить, что не может так, а я сказала: «Я так хочу!» Оба боялись и стеснялись. Нет, ничего не буду писать.

Я ничего не понимаю, что произошло. Знаю только, что я все сделала не так!

На душе очень тяжело. Все было и больно, и стыдно. Ничего не получилось. Он ушел, ничего мне не объяснил. Что? Что я сделала не так?

Алеша, как я тебя люблю и как мне плохо и страшно!

23 ноября 1915 г. Понедельник

Сегодня проводили Алешу. Поехали все на вокзал, было много разных знакомых. Поезд стоял на путях, где уже кончились платформы, мы долго шли по шпалам. Я все ждала, когда Алеша подойдет ко мне, а он то был окружен друзьями, то стоял с родителями. Мне после вчерашнего было так неловко, так нехорошо, что не смела к нему подойти. Потом он подошел, и мы обнялись. Не могла посмотреть ему в глаза. Все женщины кругом, кто провожает сыновей, братьев, женихов, плачут, а на меня будто напал столбняк. Только прижалась к его шинели и смотрю в каком-то оцепенении, как солдаты взбегают в вагон по доскам – и как доски под ними прогибаются.

А когда расходились, услышала краем уха, как кто-то кому-то шепнул про меня: «Он, может, не вернется, а у нее ни слезинки». Даже знаю, кто это сказал.

И вот пришла домой и разрыдалась.

Алешенька, как же я буду теперь жить без тебя?

Он подарил мне на память часики – в крышке прядь его волос.

24 ноября 1915 г. Вторник

Первый день без Алеши.

День святой Екатерины. Днем – литературно-музыкальное утро для младших классов, вечером – концерт-бал для старших. Не пошла.

Только что вернулась от Нины Николаевны. Читала монолог «Я одна...» и все срывалась, несколько

раз начинала сначала: «Я одна...» А сама думаю: что за черт, я вовсе не одна и вовсе не там, где должна быть по действию пьесы, а в этой комнате, пропахшей старушечьим телом. И вот передо мной на столе графин с водой, которая должна отстаиваться и очищаться с помощью брошенной туда серебряной ложки, иначе старуха, называющая меня деточкой, не пьет. И вдруг все эти слова, которые я должна была говорить по сцене, показались враньем и чепухой. И снова пытаюсь начать: «Я одна...»

И тут поняла: я учусь никакому не искусству, я учусь врать. Стало противно и скучно. Кое-как отбарабанила и поскорее убежала.

Села писать письмо Алеше. А что писать – не знаю. Хотела написать, как я его люблю, и не могу. С ума схожу – что я не так сделала? Я все сама в тот вечер испортила! Что он теперь обо мне думает?

Я хотела целовать его, ласкать, я хотела, чтобы он был со мной счастлив! Почему все вышло так ужасно?! И так стыдно! Так стыдно, и больно, и нехорошо!

От Алеши ничего.

27 ноября 1915 г. Пятница

От Алеши ничего.

Как вспомню опять тот вечер, как я стала расстегивать кофточку, как схватила его руку и притянула к себе, – так опять нестерпимо стыдно! И как он стеснялся, как мучился, что у него ничего не получается! И как потом мы одевались, боясь взглянуть друг другу в глаза!

Прости меня, Алеша, это я во всем виновата!

1 декабря 1915 г. Вторник

Нина Николаевна сегодня рассказывала про гастроль в Москве знаменитого мейнингского театра,

как со сцены вдруг запахло сосной при изображении леса.

Я решила, что больше не буду к ней ходить.

От Алеши ничего. Наверно, после того, что тогда произошло, он больше мне не напишет.

4 декабря 1915 г. Пятница

Наконец-то письмо от Алеши!

Ждала, ждала, а вот оно пришло, и я не могла открыть конверт – перечитывала по нескольку раз адрес – его рука, его почерк.

«Дорогая моя! Любимая! Далекая!»

Проглотила, пробежала строчки – три страницы, – выискивая главное, а главное в самом конце: «Вот мы расстались, и только теперь по-настоящему понял, как много в этой жизни ты для меня значишь, и как сильно я тебя люблю, и как, по сравнению с моей любовью, ничтожны и страх умереть, и вся эта война!»

Переписываю строчки из его письма, и Алеша будто приближается, будто он где-то совсем рядом, за моим плечом. Будто мы соединяемся с ним вот так: через эти слова, через эти буквы!

«Послал тебе письмо еще с дороги, но не знаю, получила ли ты его. У меня все хорошо». Ничего я не получила, Алеша! Ничего!

«Сижу в землянке, устроенной из погреба разрушенного дома. На столе – бутылка, увы, молока, хлеб и свеча. Мы сегодня стреляли только утром. Я один на батарее. Офицеры ушли все в деревню.

Я целый день теперь занят – это адъютантство не так уж обременительно, но зато нельзя отойти от телефона. Заснешь, а под ухом дребезжит – сейчас же просыпаешься и слушаешь, а потом бежишь докладывать командиру.

Вчера в 10 вечера сообщили, что летит дирижабль. Я тотчас приказал потушить все огни, и через

несколько минут началась страшная канонада. В звездном небе мелькала красная мигающая звездочка, около нее, вокруг, рвались снаряды. Скоро дирижабль был совсем над нами. В воздухе стояла страшная трескотня и свист от снарядов. Осколки и пули падали вниз, производя звук вроде того, который производит молоко во время дойки коровы, но только длительней. Снаряды рвались очень близко и часто, огнем освещали корпус дирижабля – сигарообразный, темный».

И еще три страницы. Перечитала сто раз. Господи, спаси его и сохрани!

Только теперь, после того как он уехал туда, где ему грозит смерть, каждый день, каждый час, я стала понимать, что такое любовь, и как я не умела любить и показать ему мою нежность, все, что я чувствую к нему, и даже просто не умела сказать о своей любви! И вдруг стало ясно, как же я невероятно ниже и недостойна его и как я перед ним виновата за то, что так мало любви дала ему!

Сегодня возвращалась из лазарета уже затемно, в стужу, – там умер один раненый – и представляла с ужасом, что и Алешу уже, не приведи Господь, ранили и он умирает сейчас где-то в лазарете или просто в темноте в окопе или просто в снегу и зовет меня, и вдруг так схватило сердце: он не вернется! Он не вернется! И в этом буду виновата я – ведь его должна спасти моя любовь, а ее он получил от меня так мало, что не хватит, не спасет...

Я виновата, что не умела его любить так, как он того достоин.

8 декабря 1915 г. Вторник

«Вечер. Сижу в землянке у телефона, от которого мне как адъютанту дивизиона отходить нельзя. То и дело звонят.

Война – это совсем не то, что вы себе представляете. Снаряды, верно, летают, но не так уж и густо, и не так-то много людей погибает. Война сейчас вовсе уже не ужас, да и вообще – есть ли на свете ужасы? В конце концов, можно и из самых пустяков составить ужасное. Летит снаряд – если думать, как он тебя убьет, как ты будешь стонать, ползать – в самом деле становится страшно. Если же спокойно глядеть на вещи, то рассуждаешь так: он может убить, верно, но что же делать? Кипеть в собственном страхе? Мучиться без мученья? Пока жив – дыши.

Не хочу хвастать, но мне уже не так страшно, как раньше, – да почти совсем не страшно. Если бы был в пехоте, тоже, думаю, приучился к пехотным страхам, которых больше. Единственное, что я мог уступить страху моей матери, – это то, что я пошел в артиллерию, а не в пехоту. Один офицер нашей батареи заметил, что артиллерист не обращает внимания на снаряды, но боится пуль, а пехота наоборот. Видишь, какие смешные у нас здесь страхи.

Думаю все время о тебе, дорогая моя, и чувствую, что с каждым днем моя любовь к тебе все сильнее и сильнее. Как ты там?»

11 декабря 1915 г. Пятница

Сегодня был литературный суд над Рудиным. Мишка так разгорячилась, что Рудин не умеет и не хочет любить, что он боится настоящей большой любви, и вошла в такой раж, что вдруг заявила, что Рудина надо расстрелять. Так и выпалила – расстрелять! Все смеялись.

Среди ночи проснулась и не могла заснуть. Думала об Алеше.

12 декабря 1915 г. Суббота

«Вчера в первый раз было по-настоящему опасно. Снаряд упал в двух шагах от меня. Бог спас. Камуфлет. Камуфлет – это снаряд, который падает отвесно, почти вертикально, и зарывается глубоко в землю. Взрыв не имеет силы поднять землю, и появляется лишь дымок. Камуфлеты случаются редко – повезло.

Ты пишешь, что ходила молиться за меня в ту нашу церковь – вот видишь, помогло.

И знаешь, что самое забавное? Это то, о чем я думал в тот последний момент, когда в меня летел снаряд. Ты, наверно, думаешь, что твой герой, глядя в небо, представлял себя этаким Андреем Болконским на поле Аустерлица – или что-то в этом роде? Ничего подобного. Мои мысли вращались вокруг того, что здесь в карманах шинели придумали держать маленькие грелки для рук – в металлическом корпусе, обшитом бархатом, тлеют угли. Вот видишь, как хорошо, что я тогда не умер. Обидно было бы умереть с такой чепухой в голове.

Целый день на горизонте висят “колбасы”, корректируют стрельбу. Я сегодня смотрел с наблюдательного пункта – у нас великолепная цейсовская труба.

Самое трудное – вынужденное безделье. Так важно чем-то занять голову! Днем захотелось почитать и посмотреть что-либо из математики, и пожалел, что не взял с собой Гренвиля “Элементы дифференциального и интегрального исчисления”. Я уже попросил маму прислать мне эту книгу. А пока приходится читать урывками что придется. Иногда везет. Вот и теперь мне улыбнулась удача: взял у одного офицера второй батареи популярную книжку о беспроволочном телеграфе и просидел над нею до вечера. А утром, наоборот, как расплата за радость: очень неудачно закурил, “безо-

пасная” спичка отскочила прямо в глаз на роговицу и обожгла ее. Образовался белый пузырек, и глаз плохо открывается. Местный железнодорожный врач посмотрел и сказал мне, что я счастливо отделался, так как, по его словам, в таких случаях прожигает насквозь. Причем удивительно, что в тот же день несчастье подстерегло и моего друга Ковалева – в последнее время я очень сошелся с этим человеком, показавшимся мне сперва недалеким и с претензиями, но на самом деле у него простая и добрая душа. Так вот, когда разводили спирт, Ковалев, желая испытать крепость водки, пробовал зажечь ее спичкой. В это время спирт вспыхнул и опалил ему руки, шею и губы, так что везде у него вскочили волдыри. Видишь, как люди калечат себя безо всякой войны».

13 декабря 1915 г. Воскресенье

Почти перестала писать в дневник, потому что все свободное время провожу за письмами Алеше.

Зато вкладываю сюда его письма, и получается, что это наш общий с Алешей дневник. Господи, еще год назад вкладывала между страниц цветочки – а теперь Алешины письма.

Всю ночь шел снег, и город красивый, праздничный, свежий. И тут же думаю: а каково ему там, на позициях? Он ведь мерзнет. И уже смотрю на снег – и никакой радости.

Или в гимназии. Вдруг задумалась об Алеше и будто проснулась в каком-то другом времени – какие-то древние греки. При чем здесь какая-то Эллада? Зачем Гомер написал столько страниц про какую-то Троию? Все это не стоит и одной Алесиной строчки! Какое мучение ходить в гимназию и сидеть на ничемных, глупых уроках! Зачем это нужно, если я хочу обнять его и не могу?

Написала одно письмо совсем особенное. Про то, о чем ни с кем еще не говорила. И решила не отправлять. Представила себе, как Алеша вернется и как мы прочтем его вместе, лежа на его диване, прижавшись плечами, висок к виску.

14 декабря 1915 г. Понедельник

«Отпустили в командировку в город. Проехали через несколько местечек. Везде полное разорение. На улице и на дворах валяется брошенная дорогая мебель, сломанные швейные машинки, граммофоны.

Вышел из штаба и на главной площади услышал военную музыку – похороны. Какого-то генерала везли на лафете. И стало вдруг интересно, как прикрепляется гроб к орудию. Ведь раз я артиллерист, значит, меня тоже будут так хоронить. Пристроился посмотреть. Вот видишь, далекая моя, какие глупости меня интересуют. Потом зашел в церковь. Там дьякон взывал к Богу, прося даровать “победу нашему христолюбивому воинству”. А там не христолюбивые? Вдруг вспомнил моего деда-немца. Он учил меня читать *Vater unser**.

И вот сейчас, в эту минуту, в немецких окопах по другую сторону леска, кто-то читает молитву и просит Бога даровать победу их христолюбивому воинству. Кто кого побьет, тот, значит, более христолюбив?

Это я с тобой разговариваю обо всем на свете, а здесь, в окопах, вообще никогда не говорят вслух о главном – люди курят, пьют, едят, разговаривают о пустяках, о сапогах, например. Ты даже не представляешь себе, что об этой теме люди с образованием могут говорить часами! Смерть, может, уже подслушивает их разговоры, а они будут вспоминать, как до войны были сапоги, которые нельзя

* Отче наш (нем.).

снять без денщика, такие узкие, что невозможно было просунуть палец. И спорить, что было лучше использовать – тальк или канифоль. И рассказывать, у кого какая была дощечка с вырезом для каблука, на случай, если некому помочь. И дружно, счастливо хохотать, когда кто-то расскажет, как для парада сапоги зашивали на ноге и потом распарывали. А знаешь, что теперь входит в моду? Последний шик – ботинки с крагами, какие носят офицеры авиации и бронетанковых войск. Но это все мечты, а мы тут носим валенки и бурки – это такие теплые кавказские сапоги из черного войлока.

Ночью перед сном вспомнил гоголевского поручика из Рязани, который все никак не мог заснуть, любуясь на свои новые сапоги. И подумал: вот мы все, кто сегодня весь вечер проговорил о сапогах, исчезнем, а тот поручик останется. Так и будет каждую ночь любоваться стачанным на диво каблуком.

Лег, прочитал на ночь молитву, а все не спится – и вот опять зажег свет и пишу тебе. Так хочется выговориться. А что тебе еще написать, голубка моя, и не знаю.

Один солдат научил меня молитве, которую произносит каждый день по девять раз, в уверенности, что с ним тогда ничего не может случиться. Вот она: “Бог-отец впереди, Божья мать среди, а я позади. Что с Богами, то и со мной”.

И я теперь каждое утро повторяю ее девять раз. Загадал: если мы с тобой увидимся – значит, помогла солдатская молитва!»

16 декабря 1915 г. Среда

В гимназии на уроке Забутский опять отвратительно меня всю разглядывал. И все мял пальцами свою родинку. И вдруг стало так мерзко! Не хочу писать об этом Алеше.

Сидела в классе, и как ударило: что я здесь делаю? Зачем? Попросилась выйти. На этажах тихо, везде уроки. Спустилась вниз – слышу, швейцар говорит по телефону. Не хотела подслушивать, но он меня не видел и, думая, что один, телефонировал какой-то своей горничной пассии и грубо шутил, договаривался о встрече.

Как все невероятно пошло, и убого, и омерзительно.

Лешенька мой, где ты? Когда же мы увидимся?

Пошла после гимназии в собор Рождества Богородицы на Старопочтовой. Захожу каждый день помолиться за Алешу в разные церкви. Кругом матери, жены, сестры, невесты. Вот стоим все и просим об одном и том же: спаси и сохрани!

18 декабря 1915 г. Пятница

«Позавчера бомба попала в склад снарядов третьей батареи, но они не сдетонировали, как им бы полагалось. Их разбросало, как кегли. Все говорят о шпионстве в тылу. А это шпионство парадоксальным образом спасло многим жизнь. Как все Бог запутал на этом свете!

Поручик Ковалев – я тебе, кажется, писал о нем – привез мне с Кавказа сапоги. Стоят всего 12 рублей, но высокие, очень мягкие и легкие, как перо.

Скоро пришлю тебе мою фотографию верхом.

Все время перечитываю твои письма. Целую слова на измятой бумаге, целую твою руку, которая эти слова писала. Целую и жду. Ведь мы же увидимся? Ведь не может же такого быть, чтобы мы больше не увиделись? Правда?»

20 декабря 1915 г. Воскресенье

Зашла к родителям Алешки. Хотела посидеть в его комнате, а теперь там хозяйничает Тимошка. Стал

показывать мне фокус: натирал сургуч суконкой так, чтобы мелко нарезанные бумажки подпрыгивали и приставали к нему. Тимоша вырезает из бумаги человечков, солдатиков. У него еще не очень хорошо получается, неровно, то ногу отрежет, то фуражку с ухом. Стала ему помогать.

Потом шла домой, а улицы с войной наполнились калеками: будто кто-то их вот так же вырезает неаккуратно ножницами – то руку отрежет, то ногу по колено.

Господи, сделай так, чтобы Алеша вернулся ко мне целым и невредимым!

21 декабря 1915 г. Понедельник

«Вот уже сколько времени на передовых, а вчера только был мой первый настоящий бой. Все, что я видел и пережил здесь до этого и о чем писал тебе как о чем-то важном, – на самом деле пустяки.

Мы выдвинулись на позиции соседнего полка для подкрепления, ждали наступления и вдруг оказались нос к носу с немцами. Я в первый раз стрелял в человека из винтовки. С непривычки при первом же выстреле мне отбило скулу. Мы заняли окопы – тут же мне навстречу пронесли раненого – того самого солдата, Василенко, который научил меня молитве, помнишь, я тебе о нем писал? Мне пришлось прижаться к стенке, чтобы пропустить. Хоть на фронте уже больше месяца, но развороченное человеческое тело увидел впервые. Мне стало тошно и захотелось домой – впервые мелькнула мысль, что убить могут вот так – чтобы сперва долго и бессмысленно мучиться.

Немцы пошли в атаку, и дошло до рукопашной. Я никого не убил. Или убил, я не знаю. Знаю только, что я уже почти погиб, но меня спас Ковалев. На меня набросился немец и собирался уже пырнуть

штыком, но Ковалев успел выстрелить в него из револьвера. Тот упал. Пуля застряла где-то во рту. Он прикрыл развороченную щеку руками. Из рта фонтаном била кровь. Он лежал и смотрел на нас. Ковалев подошел и выстрелил в глаз лежавшему. Тот еще был несколько мгновений жив и смотрел на нас левым глазом, у него дергалось веко. Запомнились окровавленные осколки зубов.

Дорогая моя, любимая моя, что я делаю, зачем я все это тебе пишу? Прости меня!»

25 декабря 1915 г.

Рождество. Ужасное. Отвратительное. Дома находиться совершенно невозможно. Все друг с другом перессорились, переругались. И невозможно об этом написать Алеше.

Папа поругался с мамой и ушел туда, к своей другой семье.

И вот мы сидели без него за столом, и все молчали. Ничего в горло не лезло – ни ячменная каша без молока и масла, ни взвар. Ждали звезду, а повалил снег.

Саша, чтобы что-то сказать, стал уверять, что Вифлеемская звезда – это Венера, тут и все мы ни с того ни с сего друг с другом перессорились, стали кричать друг на друга. Я разревелась, убежала к себе.

Рождество – это праздник любящих друг друга людей, семьи, а у нас семьи никакой уже давно нет.

И папа сейчас там, со своим другим ребенком. Наверно, разворачивают подарки.

Леша, я без тебя не могу! Никак жить без тебя не получается.

29 декабря 1915 г. Вторник

«Ура! Сегодня получил посылку из дома и – еще раз ура! – достал связанный тобой шарф, развернул

его и вдруг почувствовал запах духов, затаившийся в шерстяных порох, – твой запах! Запах моей любимой из ожившего шарфа! Кто бы знал, как хочется обнять тебя, прижаться к твоим волосам и нюхать их, целовать, дышать!

Рождество нам придется провести на передних позициях. Жаль очень, что не получится сходить ко Всенощной.

Взял полистать наугад Евангелие, которое мне дала с собой мама. Стал читать откровения Иоанна и вдруг подумал, что Апокалипсис – от страха личной смерти. Всеобщая смерть – это утешительная справедливость. Страшно умереть, потому что обидно отстать – другие пойдут дальше и увидят то, что для тебя навсегда останется скрытым за поворотом. Поэтому самое обидное в Апокалипсисе – что его не будет.

Пытался заснуть – и снова не смог. Вот сел накарябать мысли, не дающие мозгам ночной покой. Апокалипсис на самом деле вот он, здесь, обыденный, морозный, с поземкой, просто размазанный по времени. Все умирают, только не одновременно. Но какая, в сущности, разница – уходят так или иначе целыми мирами, поколениями, империями. Где Византия? Где римляне? Где эллины? Пшик. Ничего нет. Ничего и никого, ни победителей, ни побежденных. Все кануло – просто не так театрально, как «небо яко свиток свиваемо», а буднично. Человек из всего хочет устроить чуть ли не трагедию – и непременно скопом, массовой, чтобы побольше эффекта. Читаешь Иоанна, а это чистый Ханжонков! Но что-то я заговорился. Спи, голубка моя! Спи! Спокойной тебе ночи! Целую тебя сейчас, через все эти версты в этой ночи, и, значит, я с тобой!»

10 января 1916 г. Воскресенье

Писем от Алеши нет почти две недели, и я просто схожу с ума, а сегодня ночью приснился ужасный

сон. Я проснулась вся мокрая от слез. Мы едем с ним куда-то морозной ночью на тройке. И я так близко его чувствую, его дыхание, губы. Такое сильное вдруг охватило всю меня желание жить полностью, всем существом, хотелось, чтобы без конца слышались звуки колокольчиков и приятный скрип полозьев. И тут все это куда-то исчезло, и я одна. И меня везут куда-то, как в детстве, натерев от мороза щеки гусиным жиром – все лицо. Липко, противно. Жир нагрелся, потек. Передо мной лошадиные крупы с заиндевевшими хвостами. Прямо вижу их, чувствую запах медвежьих шкур, на которых сижу, и лошадиного помета и газов, все время испускаемых животными. И вдруг проснулась и почувствовала – умер...

Сердце чуть не разорвалось.

11 января 1916 г. Понедельник

Письмо от него! Жив! Жив! Жив!

«Рождество пришлось встречать на передней позиции – немцы нас совершенно не тревожили ни в сочельник, ни в самый праздник. В сочельник на батарее была зажжена елка, поставленная перед землянками. Вечер был тихий, и свечей не задувало. Невольно мыслями переносился к вам в Ростов. Живо представлялся этот вечер: сначала суета на улицах, потом прекращение уличной сутолки и, наконец, начинается звон в церквях, какой-то торжественный, праздничный, начало службы великим предвечерием и, наконец, Всенощная. Народ по окончании рассыпается из церквей и расходится в радостном праздничном настроении. Здесь же совершенно тихо и у нас, и у немцев. Ночь была звездная, и эта тишина особенно нагоняла грусть, и сильнее чувствовалась оторванность от вас. Вспоминался дом, детство, как под скатерть стелили сено в память о рождении Христа и как вкусно оно пахло в комна-

те, мешаясь с запахом хвои. Рождество у нас был постный день, и никто с утра и до появления первой звезды не ел. Голодали до вечера и смотрели на звезду – потом садились за стол. Ели особые, рождественские пироги: с рисом – белый король, с фасолью – желтый король, со сливами – черный король. Пишу – и так вдруг захотелось снова попробовать тех пирогов! Так бы и набил ими живот до отвала!

Целую тебя! Спокойной ночи! Допишу завтра.

Доканчиваю начатое позавчера письмо и спешу отослать его с оказией.

Нет, ничего не успеваю дописать, отправляю как есть. За окном солнце, мороз, сверкает снег и воробьи, пронзительно чирикают, налетели на свежий лошадиный навоз – воробьиное счастье!»

Вопрос: Опишите ваш путь следования.

Ответ: Вышел и пошел, не ведая, куда иду, и шел сорок дней.

Вопрос: Через какие страны вы следовали?

Ответ: Пришел я в землю, в которой живут люди с песьими головами. И они – псоглавцы – смотрели на меня и не причиняли мне зла. Во всяких местах они живут с детьми своими, между камней устраивая гнезда. Шел я через землю их сто дней и пришел в землю пигмеев. И встретились мне множество мужей, и жен, и детей. Увидев их, я утрашился, думая, что они съедят меня. И решил: растреплю волосы на главе моей и устремлюсь на них. А если побегу, то съедят меня. И сделал так, и они побежали, подхватив детей своих и скрежеща зубами своими. И взошел я на гору высокую, где ни солнце не сияет, ни древа нет, ни трава не растет, только гады и змеи, свищущие и скрежещущие зу-

бами. И скрежетали зубами аспиды, и ехидны, и увалы, и василиски. Видел и других змей, но многим названия не знал. Так шел я четыре дня, слыша шипение. Уши свои залепил воском, не в состоянии терпеть свист змеиный.

Вопрос: Вы говорите правду?

Ответ: Вот же еще воск в ушах моих. Потом я шел дальше еще пятьдесят дней, не ведая пути, и нашел льдину, с локоть от земли высотой, и, грызя ее, прошел землю ту.

Вопрос: Где, когда и как вы перешли границу?

Ответ: Я дошел до большой реки и напился воды из нее, и губы мои начали слипаться от сладости, превосходящей сладость меда и медовых сот. И когда настал девятый час, разлился по той реке свет, в семь раз светлее дневного света. И были ветры в земле той: западный ветер зеленого цвета, а от восхода солнца – рыжий ветер, а с севера ветер – словно свежая кровь, а с южной стороны ветер белый как снег.

Вопрос: Вы действительно говорите правду?

Ответ: Ширина реки той – как отразившееся в воде небо, а глубина – как промелькнувшее мгновение – не имеет дна. И вот когда я захотел перейти через нее, возопила река и сказала: «Не можешь ты пройти через меня, ибо нельзя человеку пройти через воды мои. Посмотри, что есть сверху вод». Я же посмотрел и увидел стену из облаков, стоящую от воды до небес. И сказало мне облако: «Через меня не проходит ни птица мира сего, ни дуновение ветра, и никто иной не может пройти через меня».

Вопрос: Как же вы перешли границу?

Ответ: И помолился я Господу Богу, и выросли из земли два дерева, прекрасные и украшенные очень, полные плодов благоуханных. И наклонилось одно дерево, которое стояло на этой стороне реки, и взяло меня на верхушку свою, и, вознеся меня высоко, наклонилось до середины реки. И его встретило другое дерево и взяло меня на верхушку свою, наклонилось и поставило меня на землю. Так возвысились деревья и перенесли меня через реку.

Вопрос: Хорошо, допустим. Но сколько вам лет? Вот вы здесь написали, что девятнадцать, но на самом деле?

Ответ: В то время, когда исполнилось мне 165 лет, родился у меня сын Мафусаил, и после этого жил я еще 200 лет, и всего исполнилось мне 365 лет.

Вопрос: Что было потом?

Ответ: В первую ночь месяца нисана я спал. И во сне вошла в сердце мое скорбь великая. И сказал, плача, ибо во сне не мог я понять причину скорби: что со мной будет? Проснулся и лежал долго без сна. Весь мокрый от пота. Никак не мог понять, где я проснулся. Потом вспомнил. Захотелось куда-нибудь убежать, будто я проснулся кем-то другим, а не собой. Кругом сопение, храп. Где-то капала вода. Вдалеке проехала машина. Вдруг стало слышно часы. У них там внутри все живет. Потом я надел шапку, набросил на плечи бушлат и вышел. Раздавил лед на луже – хрустнул веером.

Вопрос: Тогда, в ту зимнюю ночь в апреле – но еще с мартовской гнильцой, все и началось?

Ответ: Не знаю. Я снял шапку – испарина быстро подсохла. В темноте у грибка кто-то пошевелился. Окликнул меня: «Енох, ты, что ли?» Я ответил: «Я». Он: «Иди сюда! У меня тут есть вареная сгущенка!» Я подошел, только не узнал, кто это. Он открыл банку штыком. Стали есть пальцами. Обмакнешь палец и облизываешь.

Вопрос: Но почему именно Енох?

Ответ: Меня всегда так звали, и в детском саду, и в школе, и в армии. Фамилия-то Енохин. Вот Енохом все и звали.

Вопрос: Звали и не имели никакого понятия о хранилищах облаков и хранилищах росы, не говоря уже о том, что между тлением и нетлением?

Ответ: Вы о чем? Я не понимаю.

Вопрос: Хорошо. Только времени у нас немного – на всех кораблях, затонувших и плавающих, уже бьют склянки. Вот что, рассказывайте поскорее про то, как шлепала резинка от трусов по голому животу, а то не управимся.

Ответ: Первые дни в части били.

Вопрос: Ну, наверно, так и положено?

Ответ: Да мы и не сопротивлялись. Уже знали, что после присяги будут бить сильнее и по лицу – а пока до присяги по лицу не били.

Вопрос: Скажите, что это была за часть и где она расположена.

Ответ: Часть как часть, ничего особенного. Там у входа стоят две сосны, как часовые, а прежде стоял сосновый батальон. Это даже не так важно. А важно, что я сижу в красной комнате в воскресенье, смотрю телевизор, тут Серый приходит: «Встать! В казарме

бардак! Бегом!» Прибегаю, а там солдаты лежат на кроватях, а моя вся взбита. Заправляю, а Серый снова ее взбивает. И так целый час. А всем потеха. Да еще получаю пинки от лежащих. И Серый все время щелкает резинкой от трусов по своему животу. Мы пришли несколько человек молодых солдат из учебки, и нам, как полагается, в первую ночь устроили прием: заставили полотенцами «выгонять зиму» из казармы. Один отказался, так его табуретом по голове. А вот еще был случай...

Вопрос: Да знаю, знаю я все ваши случаи! Сейчас начнете рассказывать, что утром должны были чистить зубной щеткой «взлетку» в казарме.

Ответ: Как, и вы тоже?

Вопрос: А вы что же думали, вы один, что ли, такой? А другие, что ли, для дедов койки не заправляли, воротнички им не пришивали? Помните бытовку? Стриженные салабоны стирают и гладят ХБ для стариков. А у Серого – ушитая до предела по дедовской моде гимнастерка. И вдруг видишь себя в треснувшем, запотевшем зеркале, а в глазах только страх – не повредить, не прожечь.

Ответ: И у вас тоже был Серый? И тоже любил похлопывать себя по животу резинкой от синих трусов?

Вопрос: Один раз пришивал ему подворотничок к гимнастерке и уколол себе палец, да так неудачно, что подворотничок испортил – капнул пятнышко крови. Серый лютовал!

Ответ: Так это же со мной было! Сначала кулаком в живот – и смотрит, как я корчусь, задыхаюсь, весь в соплях, затем локтем по спине,

чтобы рухнул на пол. Потом сапогом, но не так, как придется, а чтобы не наделать переломов. А еще он любил так делать: заламывает мне руки за спину и ладонью перекрывает нос и рот, чтобы я не мог дышать, и ждет. Только начнешь терять сознание, он тогда приоткрывает ладонь, чтобы глотнул воздуха, и снова перекрывает дыхание. Потом отпускает и вытирает свою ладонь о мой отросший ежик на голове.

Вопрос: А помните, как они увидели в бане вашу письку – маленькую, беленькую, без каких-либо признаков растительности, и никак не могли остановиться, зайдясь в хохоте? Но вы же не обиделись на них? Сами посудите: два года в казарме, и только в банный день, когда ведут по городу, можно поглазеть на гражданских, да и те по большей части переодетые офицеры, а женщины – те вовсе офицерские жены, да и баня-то всего через квартал от казармы. И сапоги, и листва – даже те крутят друг с другом шуры-муры на плацу. А ребята ведь все живые, в смысле еще не мертвые, о чем им говорить, если не о женщинах, вот у них и вся политучеба только о том, кто бы в какую дырку бабе сейчас засунул. А замполит, надев рясу, им в красном уголке все про то же: старого, немого спартанца, который стал в строй, чтобы идти на войну, спрашивают – куда ты такой? А тот, скривив губы в улыбке, отвечает, мол, коль пользы от меня нет другой, пусть враг о меня хотя бы меч свой затупит. Разве можно так оставлять столько мужчин одних, без женщин? И так надолго! Это же свинство! Вот лежишь ночью, прячешь го-

лову под одеяло – и так хочется целовать, прижаться, войти! И представляешь себе невесту что. И капли жизни, крутые и горячие, умирают в простыне. И спать потом мокро и холодно.

Ответ: Да, у всех только одно в голове. И еще выпить. Когда отпустили в первый раз в увольнение, мне Серый говорит: принесешь бутылку, иначе построю ночью роту и при всех тебя опущу – готовь дырочку!

Вопрос: Принесли?

Ответ: А куда денешься.

Вопрос: Но ведь на КПП шмонали?

Ответ: Серый сам вышел. Он ведь не зверь. Так, больше пугает. Да вообще-то жить везде можно. Но очень уж тяжело. Только заснешь, тут пьяный Серый заваливается, встаешь сапоги ему снимать. Он рыгает – чувствуешь: огурцы малосольные и квашеная капуста. «Поклон!» – кричит, заставляет наклониться. Наклоняешься, он снова: «Еще ниже, пидор сраный, ниже!». Зажмуриваешься, наклоняешься, Серый хватя тебя за шею и притягивает твое лицо к самому своему задку в синих трусах. Ждет несколько мгновений, сосредоточивается и пердит. «Ну что, – спрашивает, – нанюхался?» Потом отпускает. «Ну, иди, спи!» И вот снова залезаешь на двухэтажные нары и вспоминаешь перед сном что-нибудь хорошее. Маму, например. Вот бы проснуться дома, а она уже оладушки сделала, все на столе. А тут уже рассвело, и тебя будят половой щеткой в лицо.

Вопрос: Но вы же могли косить?

Ответ: У нас один косил – вешался на ремне, но так, чтобы не удавиться, – так хотелось по-

лучить «ст. 7-б». Ничего не вышло. Серый заставил его окопаться за казармой, и все на него поссали.

Вопрос: И вы тоже?

Ответ: И я.

Вопрос: Почему?

Ответ: А вы разве не понимаете?

Вопрос: Понимаю.

Ответ: Тогда зачем спрашивать.

Вопрос: Что было потом?

Ответ: Получил автомат в оружейке, поставил подпись в журнале. Вдруг радость, какая-то свобода, что вот можно так просто пойти и расстрелять боекомплект во всех этих людей кругом. А главное, в Серого. И никто и ничто уже не остановит. Взял калаш и иду себе гулять вдоль колючки. Хожу, в темноту всматриваюсь. А уже выпал снег, все от снега чуть светится. Зябко. И хруст под ногами. И так захотелось, чтобы зеленое яблоко вот так же на зубах хрустело. Хожу, смотрю на звезды, пытаюсь разобраться в созвездиях, а ни одного на самом деле, кроме Медведиц, не знаю. Нашел две звезды, как двоеточие, и думаю, вот пусть это будет мое созвездие, созвездие двоеточия. И еще думал о том, как Серый объяснял строение мира: что все планеты – это атомы какого-то другого, верхнего мира. А наши атомы – тоже чьи-то планеты. «Вот я сейчас плюну, – говорил Серый, – и в тех мирах тысячи таких галактик, как наш Млечный Путь, накроются медным тазом!» Может, Серый и прав, может, все так и есть. Хожу, думаю Бог знает о чем, а в любой момент может разводящий появиться

или дежурный. Тогда, сами знаете, надо по уставу крикнуть «Стой! Кто идет!». Если не ответит как положено, выстрелить в воздух. Это первый выстрел. Если на предупредительный не остановится, то следующую пулю в приближающегося.

Вопрос: И что? В чем проблема?

Ответ: Ну, в том-то все и дело, чтобы сначала в приближающегося выстрелить, а уж потом в воздух. Вопрос в том, можно ли потом определить, какая пуля была первой, а какая второй?

Вопрос: Это все теория. Расскажите, как вы сели на корточки и уткнули в себя ствол автомата со взведенным затвором и спущенным предохранителем.

Ответ: Мне показалось в тот момент, будто сижу над очком. И эта жизнь – вот это засранное очко и есть, и оттуда дует. И я так в эту яму сейчас и провалюсь. А они будут потом надо мной смеяться – даже после этого. Им ведь все смешно.

Вопрос: Именно в этот момент загромыхал гром?

Ответ: Да, где-то вдалеке стало греметь, гулко, раскатисто, будто кто-то бегал по крышам гаражей. У нас, где мы жили, за окном справа были ворота какой-то фабрики, а слева гаражи. Мы с мальчишками бегали по крышам. Крыши прогибались, железо было ржавое, труха. Мне нравилось, как громыхал наш топот. Будто мы делали далекий гром. А хозяева гаражей на нас кричали и гоняли. Один раз устроили облаву. Мы перепрыгивали с одного гаража на другой, и я сорвался, не допрыгнул и упал. Меня вытащили и стали бить. В окно мать

увидела и прибежала. Забили бы до смерти, если бы не она.

Вопрос: Значит, там, на небе, раздался гром, будто кто-то бегал по крышам гаражей, – и что?

Ответ: И я спросил: «Господи, как ты мог все это устроить?»

Вопрос: И тут вас позвали к Серому, а он сидел в гинекологическом кресле. Так?

Ответ: Да, мы должны были выносить из подвалов старой больницы всякую рухлядь. И во дворе стояло проржавленное непонятное кресло. Такое самое. И Серый в него уселся, растопырив ноги в сапогах, пощелкивая резинкой от трусов. Кроме синих трусов, на нем ничего не было.

Вопрос: И вас не смутило, что вы по снегу хрустите, дышите легким ночным морозцем, а он в одних трусах?

Ответ: Я об этом в ту минуту как-то и не подумал вовсе. Позвали к Серому, я и иду – чего тут спрашивать. Там как раз били гагауза. Дохленький такой парень из Молдавии, даже не знаю, как он к нам попал. Серый сказал, что гагаузы – вообще не народ, а потомки оставшейся там турецкой армии, а само слово «гагауз» в переводе с турецкого означает «предатель». И каждый должен был подойти и что-то с ним сделать. Я ударил его носком сапога по голени – тот даже подскочил, схватился за ногу от боли. Предатель – он и есть предатель, чего его жалеть. Даже неважно: гагауз, не гагауз.

Вопрос: И что гагауз?

Ответ: Да ничего, поскулил в уголке и стал вместе со всеми вытаскивать больничные кровати во двор.

Вопрос: И тогда?

Ответ: И тогда я спросил: «Как ты устроил этот мир, Серый?»

Вопрос: А он?

Ответ: А он ответил, пошлепывая по животу резинкой от трусов: «В каждом плежке летит вселенная. Ведь это только кажется, что часовой неподвижен, а солнце садится, – тогда как всем со времен Коперника известно, что солнце стоит на месте, а мир летит к черту. Сначала был человек, потом его плевок. Чтобы отправить в полет вселенную, я должен был создать человека. И создал я плоть его – от этой усеянной окурками земли, кровь его – от ржавой воды из-под крана, очи его – от зеленого бутылочного стекла, кости – от ножек нар, ум – от облаков, жилы и волосы – от пожелтой травы, пульс – от сквозняка, дыхание – от ветра, перхоть – от сухой снежной поземки. И повелел я, чтобы он бродил по свету в поисках Бога, мяса и самок. И чтобы на дороге всегда исчезали следы, но оставалась нога. И чтобы говорили о собаке – умерла, а о человеке – сдох».

Вопрос: Но вы хоть поняли, как трудно быть хозяином мира! Ногти хотят жить, и они не виноваты в том, что вы их грызете. Черепаха хочет узнать, что будет в конце, а ребенок раскалывает ее об асфальт, чтобы узнать, что было в начале. Пахарь просит дождя, а моряк – попутного ветра и ясной погоды, генерал – войны, а солдат мечтает, как вернется домой и выбросит погоны в форточку.

Ответ: О чем вы?

Вопрос: О том, что если мы и действительно только какой-то атом в харкотине Серого и летим к черту, то и в той вселенной из плевка все равно сидит в форточке кошка и ловит лапой снежинки. И в той вселенной тоже есть какой-нибудь Талмуд, в котором рассказывается, как к мудрецу прибежал теленок, скорбящий, что его хотят зарезать, и мудрец сказал ему: «Ступай, куда тебя ведут, – на то ты и создан».

Ответ: Какая кошка? И что все это значит?

Вопрос: А то и значит, что сначала я – старослужащий, а вы – салабон, а потом, наоборот, вы – старослужащий, а я – салабон. Кто-то ведь должен нас, салабонов, учить! Просто нужно понять судьбинный язык, ее воркование. Мы же слепцы от рождения, ничего не видим и не можем уловить связь событий, единение вещей – так крот копает свой ход и натывается на толстые корни, и для него это просто непреодолимые препятствия, и он не может представить себе крону, которая питается этими корнями. Так взвод, идущий походным маршем с полной выкладкой по лесной дороге в середине беснежной зимы, когда голые ветки деревьев уже полезли из утреннего тумана, тоже не может осознать ту самую крону – ее цвет осенью, ветер, шорох ее листьев и то, что она похожа на чьи-то легкие. Позвоночные и беспозвоночные по-разному реагируют на окружение – первые повышают свою температуру, когда температура среды падает, и все равно замерзают, а другие живут всегда в гармонии со средой и, если наступает зима, превращаются в лед, а потом, пе-

реждав, отгаивают. Нужно переждать, перетерпеть, и тогда мы станем черпаками и будем освобождены от побоев, а там и дедами, и тогда уже нам с вами будут стирать ХБ, подшивать воротнички, чистить сапоги, чесать пятки, и в столовой будем накладывать себе полные тарелки с горкой, а что не сможем съесть, то оставим на тарелке, предварительно харкнув туда, чтобы не могли достать голодные юноши, еще так мало знающие о любви и так много о ненависти. И если кто-то из салаг сядет в нашем присутствии на единственный табурет в бытовке, то мы скажем, похлопывая резинкой на животе, что здесь произошло оскорбление деда и поэтому каждый сейчас подойдет и плюнет недотепа в харю. И никто не осмелится нам с вами перечить. И каждый подойдет и плюнет. Этим держится та вселенная в летучем плевке – иначе мир распадется, развалится, разлетится, как стопка исписанной бумаги по паркету.

Ответ: Это необходимо?

Вопрос: Это же инициация. Чудо превращения прыщавой гусеницы в перламутровую бабочку! Приобщение к загадочному и удивительному миру взрослых! Ритуал мужества, пройдя через который вы разнесете это таинство по всей родине, во все гаражи и постели. Подумаешь, плюнули, или поссали, или пернули! Чтобы стать мужчиной, в каждой культуре что-то придумали. Не вы первые, не вы последние. Тот же Тацит сообщает, что у хаттов салабон не стриг бороду и усы до тех пор, пока не убивал врага. У тайфалов и герулов вы не дотронулись бы до женщи-

ны, пока не убили бы вепря безоружным! Скажите еще спасибо, что вам между ног ничего не отрезают, как некоторым. А на Суматре вообще делают юношам не об-, а подрезание, вскрывают нижнюю часть уретры, после чего мужики могут мочиться только сидя, как женщины. Все просто: юноши, молодые воины должны потерять свою человеческую сущность и обрести сущность более высокую, стать волками, или медведями, или дикими собаками. Так что ничего страшного. Помучили и помучили. Дело же не в этом.

Ответ: А в чем?

Вопрос: В красоте.

Ответ: Что же здесь красивого – в звуке шлепающей о живот резинки трусов?

Вопрос: Вспомните, как солдаты играли во дворе той больницы в футбол дырявым резиновым мячом, и после каждого удара появлялась вмятина, которая потихоньку затягивалась, – мяч как бы переводил дух, втягивал в себя через дырку воздух. Потом Серый, вскочив со своего кресла, ударил так сильно, что мяч стал похож на резиновую шапку. Разве вы не чувствуете в этом красоту? Не с глянцевої обложки в витрине киоска, а настоящую, живую. Не говорю уже о том, что эти люди в синих трусах и сапогах, бегающие за мячом-шапкой по больничному двору, усеянному битым стеклом, заключили обет жертвы, готовы отдать себя, свои мозги-облака, свой пульс-сквозняк, свое дыхание-ветер другим, тому же отечеству, – разве в этом нет красоты? Разве не красивы были те двое, поднимавшиеся на гору с вя-

занкой дров для жертвы старик и мальчик, который все спрашивал: «А где же агнец, отец?» А старик отвечал: «Подожди, увидишь!» Так и здесь – вот они бегут все вместе, загорелой, потной гурьбой, топая тяжелыми сапогами, скользя на осколках стекла по асфальту, и им кажется, что они бегут за мячом, чтобы побольнее ударить его в живот, но это им только кажется. Они бегут за испустившим дух мячом с больничного двора на разбитый проселок, и дальше то ржаным полем, то березовым лесом. Иногда останавливаются перевести дух, когда кто-то запустит мяч на крышу гаражей, и вот, пока кто-то громыкает сапогами по железным крышам, они, будто опомнившись, спрашивают: «Серый, а где же жертва? Где агнец?» – «Подождите, узнаете!» – отвечает тот, и тут снова сбрасывают с крыши мяч, и все бегут веселой гурьбой дальше. Топают сапоги по ржаному полю, по березовому лесу. И завтра всегда будет война.

Ответ: Как быстро стемнело.

Вопрос: Ничего, посумерничаем.

Ответ: Тихо у вас тут. Колокольчики. Коровы в тумане пасутся.

Вопрос: Да, здесь тихо.

Ответ: Скажите, а зачем вы записываете то, что я говорю, если все равно никакого толка не будет. Ведь скажут: послушал колокольчики, и давай, вали отсюда! Я знаю, так всем говорят.

Вопрос: Чтобы от вас хоть что-то осталось.

Ответ: Значит, то, что вы про меня запишете, – останется, когда меня уже здесь не будет?

Вопрос: Да.

Ответ: А то, что вы не запишете, исчезнет вместе со мной? И ничего не останется?

Вопрос: Нет. Ничего.

Ответ: И я могу рассказать про всех-всех-всех?

Вопрос: Можете, но у нас очень мало времени. Расскажите про тех, кого вы любите.

Ответ: Про маму можно?

Вопрос: Можно.

Ответ: Сейчас, я сосредоточусь. Нужно ведь вспомнить что-то важное. Я помню, как однажды в детстве заснул, но сквозь сон слышал, что вошла она, и, наверно, в шубе, потому что в комнате стало холодно. Записали?

Вопрос: Да. Это все?

Ответ: Подождите, не торопите меня. Я и так сбиваюсь.

Вопрос: Может быть, про те коробки конфет и про мороженое?

Ответ: Да, конечно. Мама работала в магазине и приносила домой коробки списанных конфет. То есть домой она приносила совсем хорошие, а продавала старые. Она у меня непутевая была – ее потом устроили работать продавщицей мороженого с лотка, а она в первый же вечер напилась, и раздала все бесплатно, и уснула прямо около своего рабочего места. Но это же все совершенно неважно! Вы меня путаете.

Вопрос: Что еще?

Ответ: Еще помню, как я лежал в больнице, и родителей в палаты не пускали – карантин. Пришла мама и стояла внизу, кричала мне что-то в окно, но ничего не было слышно – даже форточки заклеили. Мы крупно писали на бумаге, что нам принести для передачи,

и прикладывали к стеклу. Но в тот день стекла заморозило.

Вопрос: Вы знаете, почему она дала вам имя отца?

Ответ: Нет.

Вопрос: Она представила себе – когда вы подрастаете и будете бегать в толпе мальчишек – так радостно будет крикнуть, позвать вас, как его, – просто чтобы вы оглянулись. А про отца вы что-нибудь знаете?

Вопрос: Ничего. Да и не хотел ничего знать. Он подонок. Бросил нас, когда я еще не родился. Он умер. Я помню, что он умер зимой в другом городе, где жил, и весной мы с мамой к нему поехали. Там еще в купе с нами ехал странный такой старик весь в наколках. И он, глядя в окно на рельсы, вдруг сказал, что тут под каждой шпалой – покойник. Мы приехали на кладбище, снег сошел, земля оттаяла, и вместо холмика на могиле было углубление. Мама сказала, прижав меня к себе, когда мы стояли там перед просевшей в моего отца глиной: «Ну вот, теперь нет у нас больше папы». Как будто до той самой минуты он был. Что-то ничего и не вспомнишь, когда надо. Так много всего было, а что важное рассказать – не знаю.

Вопрос: Расскажите про что-нибудь другое. Книжки читать любили?

Ответ: Любил. Там в одной были картинки, из чего состоит человек: пять небольших гвоздиков означали, что столько железа находится в нашем организме. Чашечка соли показывала, сколько в нас соли. И так далее: черпачки, мензурки, кульки. Еще любил про всякие морские приключения – мне очень нравилось, что на кораблях били склянки.

А любимая книжка у меня была про историю, про князя Василько. Там брат брата ножом ослепил. Все читал и думал, какие же звериные были времена. И люди были какие-то свирепые, грубые.

Вопрос: А что там случилось на даче с шариком от пинг-понга?

Ответ: Да ничего особенного. Я украл у соседской бабки лупу и прижигал муравьев. Даже помню, что я в ту минуту думал: вот ползет муравей и ни о чем не подозревает, а я уже знаю, что ему осталось совсем ничего, – и раз! – солнечный фокус на него. Или на другого – а того милую. Казню и милую. Одних казню, других милую. И от них ничего не зависит. И ни в чем они не виноваты. Просто я – вершитель муравьиной судьбы! Тут кто-то свистнул. Я оглянулся. Она стояла у забора. Соседская Ленка. В одной руке ракетки от бадминтона, в другой шарик от пинг-понга. Звала играть. Вот и все. С бадминтоном ничего не получилось, и мы пошли на речку – плевали с мостика в воду. Что тут рассказывать? Это было летом на каникулах в Быкове, мы воевали с лесной школой, стреляли друг в друга сосновыми шишками через забор. Хорошо получалось бить по шишкам ракетками от бадминтона. Летели, как пули. Мы с Ленкой прятались по кустам, собирая в майку целые кучи шишек, наши боеприпасы, и обстреливали больных – это была лесная школа для туберкулезников. А они нас. Потом Ленка бросила щебенку. Тут и они стали обстреливать нас щебенкой – там асфальтировали дорожки и лежали кучи

щепня. Война так война. Я кому-то разбил голову до крови.

Вопрос: Вы знаете, что у вас есть сын?

Ответ: Знаю, что есть. Но я про него ничего не знаю. Даже не видел никогда.

Вопрос: Расскажите о матери ребенка.

Ответ: Лика мне тут приснилась. Представляете: я на посту, а она вдруг идет. Я ей громко: «Стой, стрелять буду!» А шепотом: «Откуда ты взялась?» Подходит, целует меня в губы и кладет руки на плечи, а мне показались ее пальцы лычками на погонах. Чушь какая-то. Я к ней по веревке залезал прямо в окно общаги. Лика смеялась, что это – ее коса. Работала медсестрой и училась на заочном. Иногда ночью заснуть не могу: так вдруг захочется дотронуться до нее, понюхать волосы. И вдруг увидишь, будто наяву, как сквозь черные колготки розовеют ее колени и как сильные бедра распирают короткую юбку. Один раз у меня сломанный ноготь царапался, и она боялась за колготки. Сказала мне: «Подожди!» Взяла свои короткие кривые ножницы и подрезала мне остаток ногтя.

Вопрос: Что она вам говорила? Что-нибудь важное?

Ответ: Один раз, когда я положил голову ей на живот, вдруг сказала: «В какой-нибудь прошлой жизни я была тебе мамой».

Вопрос: А про монетки-шоколадки?

Ответ: Да, в детстве ей подарили красивую бархатную сумочку на золотой цепочке, полную монеток-шоколадок в серебряных и золотых бумажках. Они куда-то ехали на поезде, и она хотела положить сумочку с собой спать, но ей сказали, что шоколад растает,

монетки расплющатся. А ночью их обокрали и все забрали – и эту сумочку тоже.

Вопрос: Еще?

Ответ: Еще помню, как она вытирала тряпкой свои сапоги и говорила, что невозможно жить в городе, где на сапогах каждый день выступает соль.

Вопрос: Но как она объяснила вам, что вы у нее не один?

Ответ: Сказала, что любовь такая большая, что она не может существовать сама по себе, что она как апельсин – цельная, но состоит из отдельных долек. Надо любить и того, и другого, и третьего, чтобы в целом как раз и выходила та большая любовь, – просто люди, которых любишь, намного меньше твоей любви, она в них не помещается. У Лики была тетрадка, куда она записывала разные мысли. Не свои, конечно. Она где-то прочитала и выписала, что дерево разбрасывает семян больше, чем способна вырастить земля, ручей горной реки держит про запас непомерное русло под внешнее половодье, а в душе заложено складок больше, чем требуется для повседневности. И вот наступает время, когда душа начинает раздвигать складки. Я знаю – это была не любовь. А если любовь, то какая-то нелюбовная.

Вопрос: Ничего вы не знаете.

Ответ: Давайте про что-нибудь другое.

Вопрос: Как хотите. Но теперь вы понимаете, почему она дала сыну ваше имя?

Ответ: Вы меня все время пугаете. О чем мы говорили? Я ведь рассказывал вам про учебку? Так? Потом нас отправили в Моздок. Там пыль нависала пещерой.

Вопрос: Как это?

Ответ: Столько пыли, что едешь на БТРе, а кругом поднимается до неба и клубится над головой. Как в пещере. Потом все это возвращается с неба на землю. На волосы, одежду, еду. И все становятся похожи друг на друга. В первые дни лицо так запылилось и обгорело на солнце, что во время умывания я не мог провести по лицу рукой, всякое прикосновение доставляло режущую боль. Лица представляли сплошную темную маску, из которой сверкали только белки глаз. Мы неделями не мылись, а когда приезжала водовозка, то раздевались догола и лезли под шланг. Стирали одежду и мокрую тут же на себя надевали. Вы успеваете?

Вопрос: Да.

Ответ: А в дождь за минуту пыль становится непролазной грязью. Все покрывается тестом. Это тесто все пожирает, все следы. Всюду слякоть и сырость. Разъезженная танками жирная глина налипает на сапоги пудовыми комьями. У входа в палатку очищаешь саперной лопаткой сапоги, но эта глина все равно шлепками валяется на нарах, на одеялах, въедается в бушлаты, забивается в стволы автоматов. И очиститься невозможно: только помоешь руки, но за что ни возьмись – снова все в липкой грязи. Тупеешь, покрываешься глиняной коростой, пытаешься затаиться в теплом бушлате, сохранить тепло. Руки в несмываемой грязи, будто в перчатках. Сырые дрова в палатке обливаешь соляжкой – плещешь из консервной банки в печурку, и по промозглой палатке стелется едкий смолистый дым.

Вопрос: Что вам запомнилось от первых дней там?

Ответ: Как мы шли мимо детей. Стайка мальчишек и девчонок высыпала на дорогу. Мы им улыбались, пытались рассмешить, строить им рожи – никто из детей не улыбнулся. Еще были оголодавшие собаки на цепях у брошенных и сожженных домов. А в Грозном собаки были, наоборот, толстые, отъелись мертвечиной.

Вопрос: Я записал, дальше.

Ответ: Один раз палатку поставили внутри разбитого дома, без крыши, окна заложили кирпичом, и там валялось детское ведро, в которое набралась вода и замерзла, а я потом перевернул – и выпал ледяной кулич.

Вопрос: Дальше.

Ответ: Так хотелось пить, что таблетками для обеззараживания воды, которые клали в сухпайки, никто не пользовался, потому что надо было выдерживать воду четыре часа. Ведь сдохнешь, пока дождешься. А пить-то хочется. Вот и пьешь, зачерпнув прямо из реки, мутную, цвета цемента.

Вопрос: Какой та вода была на вкус?

Ответ: Зачем вам все это? Вода пахла тухлыми яйцами. Кто-то сказал, что сероводород полезен для почек. И мы каждый раз повторяли, что сероводород полезен для почек. А для чего нужно, чтобы остался запах той воды?

Вопрос: Говорите дальше.

Ответ: Еще запомнились женщины в стоптанных тапках и цветастой одежде. Беженки в Чечне одеваются во что-то яркое. Закутывают голову в пестрые, красивые косынки. Раз траур – так надевай черное, а они повязывают самое пестрое. Одна такая, помню, подо-

шла к тому, что осталось после ее дома, и молча стояла. Долго вглядывалась. Потом на меня посмотрела и так же молча ушла.

Вопрос: Еще что?

Ответ: Еще помню, как убили Серого.

Вопрос: Где это было?

Ответ: Его под Бамутом убили. Только закурили в рукав, пряча бычок в глубине бушлата, как он бросил: «Енох, замри!» – и выпрыгнул за угол сарая куда-то, намотав ремень автомата на запястье. Тут выстрелы – и он уже ползет обратно с распоротым животом, кишки волокутся – в соломе, в говне. Там и умер. Я сижу рядом и вижу, как кровь смешивается с лужею воды под ним. И еще небо запомнилось – с перистыми облаками на закате, ребристое.

Вопрос: Что вы испытали, после всего, что он вам сделал?

Ответ: Серый – хороший. Без него там было бы совсем худо. Там все вконец озверели, а он держался. Один раз после боя нам попался раненый. А мы до этого насмотрелись на то, что они с нашими ранеными сделали, в первый раз тогда увидел: двое ребят – глаза выколоты, уши отрезаны, все суставы в обратную сторону вывернуты. Мы обозлились, привязали его к БТРу и потаскали по засохшей глине всласть. Потом бросили на пустыре, хотели оставить его подышать на солнце. А Серый подошел и пристрелил. Пожалел. Все недовольны были, но против Серого ничего не скажешь. А умер глупо. Хотя по-умному не умирают. А один раз я выстрелил из «мухи» и неудачно развернулся – струя выхлопа ударила Серому прямо в ухо – он ска-

тился под откос, зажал пальцами нос, стал продувать уши, сглатывать. Думал, убьет меня, а он ничего. Выругался только. Серый мне там, на войне, как братом стал. И жратву делили, и зимой ночью в один ковер завертывались. То прямо на улице спишь, то на роскошной кровати, не раздеваясь, в наших перемазанных бушлатах. Жалко Серого. А когда пили, он всегда опрокинет в рот и прислушивается к себе, говорит: «Ух ты, как Бог босичком по жилочкам...» Уже столько времени прошло, а я тут ночью вдруг проснулся, потому что показалось, будто он шлепает по животу резинкой трусов. Просыпаюсь, спрашиваю темноту: «Серый, ты, что ли?»

Вопрос: Все? Или еще что-то?

Ответ: Везде надписи на стенах, на разрушенных домах: русские свиньи.

Вопрос: Вы убивали мирных жителей?

Ответ: Это они днем мирные, на базаре, а ночью с гранатометом охотятся за машинами с ранеными. Мы поймали гранатометчика, который стрелял по ребятам из нашей роты. Прикрутили его проволокой к гранатомету, облили бензином и подожгли. Те в машине сгорели, теперь пусть он сгорит. Сначала молчал. Презирал нас так. Потом, когда вспыхнул, заорал.

Вопрос: Вы стреляли в детей?

Ответ: Зачем вам это?

Вопрос: Чтобы простить. Кто-то же должен все знать и простить.

Ответ: А кто вы здесь такие, чтобы прощать?

Вопрос: Я только записываю. Вопрос-ответ. Чтобы от вас что-то осталось. От вас останется только то, что я сейчас запишу.

Ответ: Этого нельзя простить. Вот он стоит, вытирает сопливый нос – рукава пальто по локоть блестят от соплей. Еще совсем пацан, но знает, что это мы, русские, убили его отца. Он подрастет и будет мстить. И нам он не простит. И деваться ему некуда. У него и выбора никакого другого нет. Вот мы схватили такого, и у него в карманах нашли десяток патронов – все пули были со спиленными кончиками. Попадая в тело, такая пуля действует как разрывная. Этот пацан с рукавами, блестящими от соплей, не вырастет и не будет стрелять в моего сына.

Вопрос: Дальше.

Ответ: Меня никто не может простить, потому что никто не посмеет меня ни в чем обвинить. Ясно?

Вопрос: Что было потом?

Ответ: Не торопите меня.

Вопрос: У нас совсем не остается времени. Вспомните еще, только самое важное.

Ответ: Что?

Вопрос: Как на улице играл ребенок и вдруг у него голова разлетелась вдребезги – это русский снайпер. Или про бомбежку в Шали, как девочка трех лет играла на дороге около своего дома, тут пролетел самолет, и ее не стало – в полном смысле этого слова – вместо ребенка захоронили ее зимнюю шубку. Почеченски ребенок – «малик ду», это переводится как «ангел есть».

Ответ: О чем вы? Вы что-то путаете. Это было не со мной.

Вопрос: Какая разница. Расскажите про то, как приехала в Чечню искать вас ваша мать.

Ответ: Я ничего про это не знаю.

Вопрос: К ней пришли из военкомата с обыском и предъявили бумагу – «верните своего сына на добровольных началах». Так она узнала, что у нее сын – СОЧ. Самовольно оставивший часть. Шла по вашей Гастеллю и думала: «Господи, сделай так, чтобы он был жив и здоров, а если не можешь, если он убит, то сделай так, чтобы его убили сразу и не мучили». Она у себя на работе попросила об отпуске и о деньгах, чтобы поехать искать сына, а ей ответили: сперва возьмите в части справку, что сын пропал. Она собралась и поехала через всю страну во Владикавказ, оттуда добралась до штаба части. Там ей сказали: а вы его найдите и приведите к нам. Стала ездить на опознания – в огромных холодильниках хранились обгоревшие трупы, и все одинаковые. Майор, который с ней зашел, посоветовал: «Мать, признай кого-нибудь». Она не поняла, а как ей объяснить? Там еще несколько таких женщин собрались, жили вместе и искали своих сыновей. Сказали себе, что не уедут из Чечни, пока не найдут своих детей живыми или мертвыми. Вечером сидели и гадали: выдирают волосы из своей головы, продевают в кольцо и застывают над фотографией. Висит кольцо неподвижно – сын мертвый, если движется – живой. А днем бродили по деревням – сидит чеченка у корыта перед разбитым домом, а русская к ней с карточкой: «Не видела ли ты, мать, моего ребенка?» А они на карточках все одинаковые. «Видела, – отвечает, – это тот, кто моего сына убил».

Ответ: Подождите...

Вопрос: Вы бежали, не исполнив того, что должны были сделать?

Ответ: Подождите! Я просто хотел заснуть и проснуться кем-то другим. Перестать быть собой. Вернуться к себе под кожу не там и не тогда. И вот мне снилось, что я на посту, а она вдруг идет. Я ей громко: стой, стрелять буду! А шепотом: откуда ты взялась? Она подошла, поцеловала меня в губы и положила руки на плечи, а мне ее пальцы показались лычками на погонах. И я проснулся и никак не мог понять – где? Я был на каком-то корабле, каком-то странном, как из музея. Вокруг меня были какие-то странные люди, мореходы. Меня растолкал кто-то, как оказалось начальник корабля, один глаз серый, другой карий, пропойца и убийца, и стал кричать: «Что ты спишь, когда Бог воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась великая буря, и корабль готов разбиться!»

Вопрос: Что за корабль? Что за мореходы? Куда вы плыли?

Ответ: Какой-то корабль, который шел из Иоппии в Фарсис и давным-давно утонул, а мореходы давным-давно умерли, если жили. И вот на корабле били склянки, и капитан мне кричал, что корабельщики уstraшились, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля. «А ты тут в трюме дрыхнешь! – кричал он. – Встань, воззови к Богу твоему! Может быть, твой Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем!» И сказали корабельщики друг другу: «Бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И все бросили жребий, и жребий пал на меня. Тогда они спросили:

«Скажи нам, за кого постигла нас беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И я сказал им: «Я – СОЧ. Народ мой, в синих трусах и кирзовых сапогах, играет в футбол сдутым мячом. Ночью я вышел на двор. В темноте у грибка кто-то пошевелился. Окликнул меня: “Иди сюда! У меня тут есть вареная сгущенка!” Я подошел, только не узнал, кто это. Он открыл банку штыком. Стали есть пальцами. Обмакнешь палец и облизываешь. Тут он сказал, что завтра я должен пойти в какую-то Ниневию около Катыр-Юрта на зачистку. Мне стало страшно, потому что я понял, что проснулся не собой, а кем-то другим». И устрашились мореходы, потому что поняли, от кого я бегу. «Иди, – возопили корабельщики, – иди скорей в Ниневию! Ты же бежишь от лица Господня!» Я их спросил: «А кто это?» Они еще больше изумились: «Бог – это то, без чего жизнь невозможна». Я им: «Да погодите вы! Нам что-то говорили про первоначальный сгусток чего-то, потом этот сгусток вроде как взорвался и с тех пор все растет и растет – вселенная расширяется. Так, что ли, мореходы?» Они мне: «Что-то вроде этого. В начале была любовь. Такой сгусток любви. Вернее, даже не любовь еще, а потребность в ней, потому что любить было некого. Богу было одиноко и холодно. И вот эта любовь требовала исхода, объекта, хотелось тепла, прижаться к кому-то родному, понюхать такой вкусный детский затылок, свой, плоть от плоти – и вот Бог создал себе ребенка, чтобы его любить: Ниневию. Он

взял одного убитого под Бамутом солдата. Ты его знаешь, это же Серый. И вот из тела его сделал землю. Из крови, что вытекла из его раны, получились реки и море. Горы – из костей. Валуны и камни – из передних и коренных зубов. Из черепа – небосвод. Его мозг – облака, пульс – сквозняк, дыхание – ветер, перхоть – снег. Но это он тебе сам все говорил. Его волосы стали пожухлой травой. И вот так началась Ниневия. Это для нас непредставимо, а для Него это, может, раз плюнуть. Может, мы и есть только Его плевок. И какая разница, проснулся ты на этом корабле собой или нет». Я испугался: «И что же теперь будет?» – «Мы тебя сейчас выбросим за борт, и повелит Господь большому киту тебя проглотить, но это ошибка в переводе, ты же не планктон, но неважно. Важно, что у этой рыбищи будет ребристая глотка». – «А потом? Как я окажусь в Ниневии?» – «Этого мы не знаем. Наше дело мореходское – бить склянки. И вот ты придешь в Ниневию и сделаешь все, что нужно. И там еще что-то будет с деревом, мы точно не помним. То ли оно вдруг засохнет, то ли сухое зацветет. Одним словом, Господь опечалится и скажет: “Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором сто двадцать тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множества скота”. Сжалится и уничтожит Ниневию, чтобы не мучить больше ни людей, ни животных».

Вопрос: Уже поздно. Смотрите, совсем стемнело.

Ответ: Я им сказал: «Возьмите меня и бросьте в море – и море утихнет для вас». А они снова бьют склянки и отвечают: «А ты разве еще

не сообразил, что мы уже в чреве кита, раз у него такая же ребристая глотка, как у того неба над Бамутом. Мы и так проглочены небом. Мы и так все внутри той рыбы. Устроились и живем понемногу. Видим каждый день ребристый свод ее глотки – и ничего, привыкли. Потому что внутри рыбы все уравновешено и гармонично – и смертей ровно столько, сколько рождений, а рождений ровно столько же, сколько смертей – ни на одну больше или меньше, и в этой бухгалтерии все всегда сходится и всегда будет сходиться». И я спросил: «Так куда же мне идти?» Они ответили: «Это все равно. Все дороги тебя приведут в Ниневию. Иди куда хочешь». И я пошел. Завернув за угол, я оказался в сумерках. В полумраке увидел аиста на крыше – ног не было видно, и он будто повис в воздухе. Доцветали бульденежи, развернулись к вечеру каприфолии. Донесся далекий звук колокола, будто поварешкой скребли по громадному чану в пищеблоке. Поезд издали – как школьная линейка. Я долго шел по шоссе, заслоняясь рукой от фар. Потом стоял на переезде и смотрел, как мимо на платформах везли автомобили в неприличных позах – грузовик лез на грузовик. Закат еще чуть теплился, и в застывшей воде пруда облака плавали не пленкой, по поверхности, а светились из глубины. Я присмотрелся – это отражались те самые перистые облака как небесное горло. Мне на руку села запоздавшая божья коровка и поползла к локтю, переваливаясь через волоски, вернее, волосы поднимали ее, как волны. Я подумал, что это уже долж-

на быть Ниневия, где жаркий день начинается с утренней политвы, а когда приходит зима, то снова все пишется черным по белому, где, помимо здравого смысла, есть еще другой, нездоровый, который сильнее, где даже снег – любовь и человек там, где его тело.

Вопрос: Я устал.

Ответ: Подождите, немного осталось. Я был в Ниневии. Меня поразило, что там все было совсем как у нас. Кошка лапой ловила снежинки, на кораблях били склянки, князя Василько ослепил брат ножом, мама раздавала мороженое бесплатно и свернулась калачиком спать. Меня звали как отца, а моего сына звали как меня. Слышались гулкие раскаты грома, то ли приближалась гроза, то ли кто-то бегал по крышам гаражей. Обломанный ноготь цеплялся за юбку и колготки. В бытовке салабоны пришивали дедкам подворотнички. Собаки рыгали, наевшись мертвечины. В зеркале отражались покосившиеся часы шиворот-навыворот. В подвалы бросали гранаты. Матери показывали всем на рынке фотографии в полиэтиленовых мешочках. Снайпер выбивал из головы красную пыль. Деда, не доев кашу в тарелке, харкали в нее. Вместо ребенка хоронили детское платье. Через забор летели шишки и щебенка. Из сострадания пристреливали. В трусах и сапогах играли в футбол сдутым мячом на больничном дворе. Мяч сипел и не мог отдышаться, когда ему били под дых. И никто не хотел сжалиться, чтобы никого больше не мучить. Из сострадания. Бог ведь обещал пожалеть Ниневию, но все оставалось по-прежнему, как было.

Тут я увидел, что в ржавом гинекологическом кресле сидит Серый. Он поманил меня пальцем. Я подошел, скользя сапогами по разбитому стеклу на асфальте. «Серый, это ты? Тебя разве не убили под Бамутом?» Он сплюнул сквозь зубы на асфальт, заложил руки за голову и усмехнулся: «Как же убили, если ты со мной разговариваешь?» Тогда я спросил: «Серый, ты что, и есть Бог?» Он снова сплюнул, почесал под мышкой и сказал: «Нужно верить или знать».

Вопрос: Но ведь вера и знание – это одно и то же.

Ответ: Я так ему и сказал. И еще спросил: «Господи, ну почему Ты не пожалеешь Ниневию?»

Вопрос: А он?

Ответ: А он ухмыльнулся: «Разве ты еще не понял, дурак, что Бога – нет?» И хлопнул по животу резинкой от трусов. Тут кто-то свистнул. Я оглянулся. Она стояла за забором под акцией – в одной руке ракетки от бадминтона, в другой шарик от пинг-понга. Оттопыривала нижнюю губу и вздывала упавшую на глаза челку. Протягивала мне шарик, улыбалась и звала: «Иди сюда!»

Сретение

Не брала в руки дневник все это время. Уже месяц, как убили Алешу. Была в Александро-Невской церкви. Поставила за него свечку. Встала на то самое место, где мы тогда с ним стояли. Смотрела снова на все, как тогда с ним: на васнецовские росписи, на мозаику, на иконостасы. Все как тогда. Даже тот же самый батюшка. Только тополей в заснеженных окнах не видно и Алеши больше нет.

Потом пошла к нему домой. Сергея Петровича не было. Татьяна Карловна лежала у себя. Посидела не-

много с ней, потом зашла к Тимоше. Ему нравится смешной толстый человечек, весь сложенный из шин, в автомобильном шлеме и очках – из рекламы шин «Мишлен» – найдет в газете и раскрашивает его цветными карандашами. Села с ним, раскрашивали вместе. Тима уже может смеяться беззаботно, счастливо. Для него брата уже больше нет.

Он так похож на Алешу!

Я ведь в ту ночь все почувствовала – его больше нет – и проснулась. А наутро письмо – читала, радовалась, что жив, а Алеши уже не было. Так живо представляла себе за его окном солнце, мороз, как сверкает снег, воробьиное счастье, а его уже убили.

На обратном пути встретила на Никитинской Нину Николаевну. Мы с тех пор не виделись. Она ничего не знала. Говорит мне: «Разве можно ходить такой размазней? Нужно на людях быть не наизнанку, когда все видно, а налицо! Пусть все думают, что у вас не может быть никаких неприятностей и что вы привыкли к тому, что вам все повинуются – и мужчины, и обстоятельства!» Я расплакалась, сказала ей, что Алешу убили. Охнула: «Деточка моя!» Обняла, заплакала вместе со мной. Там была скамейка, сели. Стала мне рассказывать, как погиб человек, которого она любила в молодости. Он был со Скобелевым в Болгарии. Меня это так растрогало: вот, старая, мудрая женщина, знает, что такое терять близких! Как она умеет найти, что сказать в такую минуту, что-то важное, настоящее! И вдруг она добавила, что моя шапочка надета явно без участия зеркала. А на прощание сказала: «Если хочешь стать великой актрисой – нужно знать все о любви и уметь жить без нее». Господи, она ведь и сейчас не утешала меня, а играла роль ангела-утешителя!

Я не хочу стать великой актрисой. Я хочу, чтобы мне вернули моего Алешу!

Хотела поставить дату и запуталась. Знаю, что суббота.

И сейчас иногда куда-то проваливаюсь, теряюсь. Сегодня бродила по квартире, смотрела в окно, там георгины осенью не срезали, их прибило снегом, так и простояли до оттепели, а теперь бурые осклизлые комья. Тут вернулась мама и молча вынула у меня кастрюлю из рук. Оказывается, я все время бродила по квартире с кастрюлей. Ложусь и не могу встать. Зачем вставать, куда-то идти, есть, говорить? И глаза принимаются пересчитывать полоски на коврик. Одна, две, три, четыре, пять. Тридцать семь, тридцать восемь. Одна, две, три, четыре, пять. И в горле так сухо, будто выпила стакан песка вместо воды. Лежу, а в голове какие-то монологи, которые разучивали с Ниной Николаевной. «Я одна...» Тогда не могла понять, о чем это. «Я одна...»

8 февраля 1916 г. Понедельник

На перемене сегодня осталась в пустом классе. Окна открыты, проветривают. И все показалось таким незнакомым, чужим. Что это кругом? Где я? Зачем? Тут в дверь заглянула Муся – моя Муся, которой я опять забыла купить конфету. Подбежала, поцеловала меня, приласкалась. Я стиснула ее, прижала к себе сильно-сильно.

Снег повалил.

9 февраля 1916 г. Вторник

Сегодня случилось что-то очень плохое. Меня разыскал Костров. Еще только увидела его и сразу догадалась, почувствовала, о чем пойдет речь, и с самого начала о себе знала: откажусь. Он сказал, что заболела Оглоблина, а через три дня премьеры, на которую приглашен сам Л., который сей-

час на гастролях в Ростове. Стал упрашивать заменить, выручить, спасти его и всех. Я ответила: «Нет». Костров так расстроился, что мне вдруг стало его очень жалко. И сказала: «Хорошо!» Костров улетел счастливым, а я места себе не нахожу. Что я надела? Зачем?

Это предательство.

Алеша, любимый мой, я завтра же пойду и откажусь.

13 февраля 1916 г.

Сегодня была премьера.

Как все это странно! Как все перепуталось! Перед представлением я сидела, меня причесывал приглашенный из Асмоловского театра гример, и я чуть не вскочила и не убежала, а он меня насильно усадил. Все носились как сумасшедшие, бормотали под нос каждый свой текст. Костров всем руки жал и повторял: ни пуха ни пера! Все посылали его к черту. Вдруг подумала, что я здесь делаю, среди этих сумасшедших с приклеенными бакенбардами и усами, в каких-то карнавальных костюмах? Зачем? Костров подошел ко мне: «Ну как, Белочка? Все в порядке?» Сделала усилие над собой, кивнула. С закрытыми глазами повторяла себе: надо сосредоточиться, концентрация. Теперь важен только текст, только роль. Обо всем остальном подумаю завтра. Я – звук, слово и жест. Все как учила Нина Николаевна. В голове звучал ее голос: если ты не завладеешь телом, оно завладеет тобой.

Потом все было как в тумане. Перестала быть собой, превратилась в какую-то совсем другую женщину. И все время присматривалась сама к себе, как бы в стороне стояла. Голос звучал совсем по-другому. И так вышла на сцену и отыграла. Неужели это была еще я?

А когда вышли кланяться, пронеслось в голове: а вдруг Алешу вовсе не убили, вдруг он вернулся, никому ничего не написав, и вот сейчас, узнав о том, что я здесь, пришел и сидит где-то в последнем ряду, смотрит на меня, радуется, хлопает в ладоши. Заревела, а все подумали, что это я от счастья. А я и плакала от счастья. Но никак не могу это объяснить.

После представления Л. пришел за кулисы, Костров ему всех представил. Зоя Субботина стала делать реверанс и села на клавиши рояля! Все чуть не умерли от хохота! Мне Л. пожал руку и что-то шепнул на ухо. А я вся еще в гриме, оглушенная, ничего не понимаю – и не услышала, а переспрашивать постеснялась.

Л. остался ужинать с нами. Все от него в восторге. Он очень смешно рассказывал, как начинал карьеру в балетном училище – выступал задними лапами льва в балете «Дочь фараона». Ему нравится быть в центре внимания, и он умеет это делать. Подозвал Петю, племянника Кострова, и тут же достал у него из одного уха гривенник, а из другого конфету. У него так просто и легко получается дарить людям кругом улыбку, радость. Костров поднял тост за Л., а тот – за нас. Сказал: «Вы – это русский театр завтра!» Он смотрел весь вечер на меня! Наверно, мне так только показалось. Он совсем не похож на свои фотокарточки. Намного старше. Но в жизни он еще красивее. Высокий, статный. Он ходит с тросточкой из испанского камыша, рукоятка которой сделана из человеческой берцовой кости. Пошутил, что это мощи того самого Йорика.

Теперь вот не могу спать: что он мне тогда мог шепнуть? А вдруг он сказал, что я замечательно играла и что у меня талант?

Алешенька! Я играла сегодня для тебя!

16 февраля 1916 г. Вторник

Сегодня Леонид Михайлович читал перед ранеными в нашем лазарете. Увидел меня и, когда уже прощался, подошел запросто, как будто мы старые знакомые. Сказал, что у него еще два часа перед спектаклем и он хотел бы прогуляться, подышать воздухом. Спросил, не откажусь ли я составить ему компанию. Не откажусь ли я? Боже мой! Отказать? Ему? Мы поехали в Коммерческий сад, там еще все завалено снегом, где-то расчищены дорожки, где-то протоптаны.

Рассказывал, как он придумал Станиславскому крылья в «Ганеле» Гауптмана – знаменитую сцену, когда появляется ангел смерти и расправляет крылья, которые заполняют собой всю сцену.

Еще говорил, что был у больного Чехова. У того рядом с кроватью лежало много приготовленных из бумаги колпачков. Он отплевывался в эти колпачки и бросал их в корзину.

Иду, слушаю, и в голове стучит: может, все это сон? Господи помилуй, кто гуляет со мной по нашему Коммерческому! Он одновременно и такой простой, и какой-то нездешний.

Потом вдруг стал говорить, что людей кругом много, а верного друга найти невозможно. Леонид Михайлович сказал: «Женатые живут всю жизнь собакой, а умирают барином, а холостой всю жизнь живет барином, а умирает собакой».

На прощание поцеловал руку. Когда снимал перчатки – так замечательно запахло! Хорошо еще, что я была в перчатках, а то бы он увидел мои обгрызанные пальцы. Каждый раз даю себе слово не грызть заусенцы, а потом забудусь и все пальцы перекусаю!

Пригласил меня на все оставшиеся спектакли. Он уезжает через неделю в Москву.

Он милый, хороший, добрый. И такой несчастный. Очень одинокий. Я это почувствовала.

17 февраля 1916 г. Среда

Я его не узнала, когда он вышел на сцену! Как он преобразился! Это был не он, а сам Бранд! Так передать глубину чувств человека, готового пожертвовать личным счастьем, единственным сыном, горячо любимой женой! И не ради отечества на поле боя, а ради чего-то неизмеримо более важного! И как он гениально сыграл концовку – одинокий, покинутый, поруганный! Но не побежденный! Неужели действительно есть что-то такое, ради чего можно пожертвовать всем – даже любовью?

После спектакля я дождалась его на выходе. Там была целая толпа! Он увидел меня, помахал рукой, я протолкалась, и он позвал с актерами ужинать. Пошли в «Бельвуар» на Садовой, там был снят большой кабинет. Как было хорошо и весело! Гоголев и Варинская дурачились и никому слова не давали сказать. Леонид Михайлович выглядел очень усталым и почти все время молчал. Гоголев рассказывал про оживление мертвых! Не знаю, правда все это или выдумал, чтобы посмешить. Оказывается, раньше пробовали оживлять гальванизмом. Какой-то ученый по фамилии Биша во время Французской революции проводил эксперименты с трупами казненных на гильотине и написал целый научный трактат о том, что благодаря гальванизму ему удалось вызвать движение мышц в обезглавленных телах. А сам Гальвани, который изобрел гальванизм, выступал в анатомических театрах Лондона и Оксфорда с публичными опытами – электризовал труп, так что голова открывала глаза и шевелила языком. Такие вот разговоры на ночь глядя! Кто-то стал уверять, что все это детский лепет и что современная медицина идет

вперед такими шагами, что в скором времени она сможет продлить жизнь человека практически до бесконечности. Варинская ужаснулась: «Целую вечность жить старухой!» Все хохотали! А Леонид Михайлович сидел молча на диване, и я присела рядом с ним и спросила: «А что вы думаете?» – «А я думаю, что Скрябин умер из-за фурункула, и что заражением крови его наградили в парикмахерской, и он ничего не успел, что хотел сделать». – «И что, теперь не надо ходить стричься в парикмахерскую?» – «Нет, надо быстрее делать то, что хочешь».

А что я хочу успеть? Я хочу выступать на сцене и любить.

Мама недовольна, что я каждый день возвращаюсь так поздно. Ворчит, что утром меня не добудишься. Дело вовсе не в гимназии. Ей просто не нравится моя дружба с актерами!

18 февраля 1916 г. Четверг

Сегодня после обеда опять гуляли с Леонидом Михайловичем. С ним очень интересно разговаривать. Он очень умный и так много читает! Столько всего знает!

Очень интересно говорил о времени и об искусстве. Время – это что-то вроде машинки уничтожения. «Настольная гильотинка, если хотите. Что-то вроде хлеборезки. Каждой секунде отрезают голову. Только появится – вжик! Дело художника – остановить руку того, кто крутит эту машинку. Положить свою руку на его».

Все время говорил о смерти и бессмертии. Сказал, что очень много читает древних авторов, греков. Сейчас читает Ксенофонта. Я сказала, что пыталась его читать, но ужасно скучно, бесконечные переходы, парасанги, все друг друга убивают. Спросила, что он нашел там интересного. «Вы правы. Эти люди не-

интересны. Наемники пришли в чужую страну убивать и сменить одного тирана на другого, а потом всю книгу идут к морю, чтобы отправиться домой. В этом нет ничего ни красивого, ни благородного. Но дело же не в них. Они не лучше и не хуже наших сегодняшних солдат, которые стреляют сейчас в кого-то, в эту самую минуточку». – «Не в них, а в ком же?» – «В авторе, Ксенофонте. Представьте себе, сколько людей прошмыгнуло (так и сказал – прошмыгнуло, какое неприятное слово!), а эти греки остались, потому что он их записал. И вот они уже третье тысячелетие каждый раз, увидев то море, к которому он их вел, бросаются обнимать друг друга и кричать: Таласса! Таласса! Потому что он привел их к совершенно особому морю. Таласса – это море бессмертия».

Ехал грека через реку...

Господи, ну зачем нужно целое море бессмертия?

Заговорили о Древнем Египте. Он объяснил, почему у них навозник считался священным существом. Оказывается, тесто египтяне месили ногами, а глину руками и навоз подирали руками, потому что корова – священное животное, и оттого навоз тоже священный. И вообще, все, что от жизни, – священное: и самое великое, и самое ничтожное. И вот что может быть ничтожнее навозного жука? Значит, он и есть самый священный.

Откуда он все это знает? Может, придумывает? Может, на самом деле все проще: в нашем климате навоз долго остается воняющей мокрой лепешкой, а в Египте после нескольких минут все сухое? Боже мой, как скучна моя навозная философия и в каком удивительном мире живет он!

19 февраля 1916 г. Пятница

Вчера видела его в «Мысли» Андреева. Его игра удивительна и ни с чем не сравнима!

Сегодня снова гуляли с ним целый час. Говорили об очень важных вещах. Я не все понимала.

Все наши русские беды – от презрения к плоти. Все перевернули вверх ногами – самое святое оказалось скверной: «Спасутся те, кто не осквернился с женами, – ибо девственники суть». У древних вавилонян всякий раз после общения с женщиной мужчина воскуривал фимиам – в другом месте дома то же самое делала женщина, с которой он общался.

В Вавилоне был обычай, что каждая женщина обязана иметь раз в жизни сношение с иноземцем в храме Милитты – это касалось всех, и богатых, и бедных, и знатных, и простых крестьянок. Она садилась в храме с веревочным венком на голове и сидела до тех пор, пока иноземец, или любой бродяга, или калека, или урод не бросит ей монету на колени и не скажет: «Зову тебя во имя богини Милитты». Как бы ни мала монета, женщина не вправе была отвергнуть и шла с этим мужчиной, кто бы он ни был. Вот это и есть настоящая любовь к ближнему. Порядочные женщины таким образом жалели тех, у кого нет любви, ласки, тепла, того, что нужно каждому, без чего нельзя жить. И в этом – высшее целомудрие, чистота, святость, любовь. Калека ты, изгой, урод, несчастный бездомный чужестранец – ты все равно человек, ты достоин любви. Вот это есть настоящая милость к ближнему – а не наши копейки.

Я не могу с ним согласиться, но чувствую, что в том, что он говорит, есть какая-то правда.

В воздухе весна. Все тает. Ночная капель.

20 февраля 1916 г. Суббота

Вчера был последний спектакль. Завтра Леонид Михайлович уезжает. Мы с ним встретились, чтобы попрощаться, и захотелось в последний раз пройтись по нашему городскому саду. Оттепель, все рас-

ползается. По дорожкам не пройти. Ходили по тротуару вдоль решетки – туда-сюда. Несколько раз прощались, а потом снова ходили. Леонид Михайлович пригласил поужинать в ресторане Большой Московской. Я открыла рот, чтобы отказаться, и ни с того ни с сего согласилась! А потом у входа оробела. Испугалась, что увидят знакомые. Да еще я одета совершенно неподходяще. Леонид Михайлович поговорил с кем-то из obsługi, и нас провели мимо дверей большого зала в кабинет. Серебряные приборы, хрустальные бокалы, крахмальные салфетки, пальма у зеркала. Красота! И жутко! Сели на бархатный диван у камина. Он взял мою руку, захотел поцеловать, а я выдернула – постеснялась обгрызанных пальцев! Спросил: «Что вы скажете дома?» – «Скажу, что была у подруги». Веду себя так, будто каждый день в рестораны хожу! А внутри все трясется! И даже не знаю, кого больше боюсь – его или себя! Л. заказал всякой всячины. Принесли шампанское в ведерке со льдом. Чокнулись: «За ваше будущее!» – «За мое будущее!» Пригубила только – и такая чудесная волна пошла по всему телу! Леонид Михайлович рассказывал о жене, детях, а у меня в ушах: «Где я? Что со мной происходит? Неужели все это наяву?»

У него это второй брак, и тоже несчастливый. С женой они давно только делают вид, что семья. У него двое детей от первого брака. Старшая, дочь, тоже пошла на сцену, а младший, сын, слепой с детства. Какой кошмар! Так хотелось пожалеть! А я ничего умнее не нашла, как спросить: «И что, ничего нельзя сделать?» Он горько усмехнулся и сказал: «Извините меня! Что об этом говорить? Давайте говорить о вас!»

Сказал, что у меня удивительный голос и огромный талант. Попросил спеть. Откуда-то взялась гитара. Он чудесно играет! Я спела несколько романсов,

моих любимых. Наговорил всяких приятностей, но не из вежливости, ему очень понравилось, я это знаю наверняка! Еще он сказал, что моя любовь, какая она у меня будет, зависит только от меня: как Шекспира играют тысячи актеров, и только от них зависит, что даст Шекспир, так и любовь – может дать много, а может ничего не дать, только отращивание, и нужно иметь особый талант любить, одаренность в любви. Как это верно! Я тоже так чувствовала, только не могла найти этих слов.

Я, наверно, опьянела. Стало так хорошо, так уютно! Из зала доносилась такая чудесная музыка! И вдруг я совершенно перестала бояться. Страх куда-то исчез. Только заныли заусенцы, когда сполоснули руки водой с лимоном после креветок, но я совершенно не стеснялась больше. Вот и сейчас еще ноют! И так хотелось, чтобы он еще взял мои руки и поцеловал! А он уже боялся после того, как я так грубо их выдернула. Или из-за креветок?

Леонид Михайлович вышел, а мне так захотелось еще шампанского – решила незаметно допить прямо из бутылки, но там уже ничего не было – только кислый запах. Даже не заметила, как мы выпили целую бутылку! Я выпила только один бокал. Или два? Он вернулся и сказал, что довезет меня до дома, но я отказалась, сказала, что хочу пройтись пешком. Он пошел меня провожать. Завтра у него поезд с утра. Попрощались совершенно бестолково. Какие все слова глупые! Пожелал мне удачи. Так хотела поцеловать его на прощание – и не решилась. Повернулся и пошел. Дождь начался, а он без зонта.

Пришла, мама сразу набросилась. А я заперлась у себя и вот все записываю.

Господи, какой же он порядочный, милый, добрый! Чуткий, деликатный! И какой несчастный!

21 февраля 1916 г.

Только что записка от Л. Пишет, что пропустил поезд – ради меня. Просит о встрече. Написала ему одно слово: «Нет».

1 марта 1916 г.

Вот уже прошла неделя, а все чувствую себя грязной. Да, я – грязная, мерзкая тварь. Я отвратительна самой себе. Решила: я все должна рассказать, все, как было – со всеми подробностями, самыми гадкими, самыми унижительными! Пусть будет еще унижительнее, еще стыднее. Я это заслужила!

Написала «нет», а сама побежала. Помчалась, чтобы опередить записку. Он был у себя в номере. Он молчит, и я молчу. В голове только: «Что я делаю? Что я делаю?» Не обнял меня, не поцеловал, не дотронулся. Отошел к окну. «Сейчас я тебе буду читать великие стихи. На колени!» В висках стучит: «Я – на колени?» А он посмотрел на меня так, что я совершенно потеряла волю. «На колени!» Ноги сами подкосились. Он читал как бог. Не знаю, сколько времени: две минуты? Два часа? Два года? Потом поднял, усадил за стол. Я совсем не заметила, что там был накрыт стол. Я ничего не ела. Он тоже. Спросил, не раскаиваюсь ли я, что пришла. «Нет». И тут он вышел из-за стола и опустился передо мной на колени. Все, не могу больше писать.

Я – мерзкая, развратная тварь.

Пришла в тот вечер домой очень поздно. Незаметно прошла на кухню и налила себе рюмку водки. Пила водку первый раз в жизни. Насыпала две ложки сахара и выпила. Тут на кухню вышла мама. Стала на меня кричать. Я молчала. Она стала требовать, чтобы я сказала ей правду, где я была. Сначала хотела ей соврать, что у Талы, а потом вдруг так захотелось сделать ей больно! Спросила ее: «Ты действительно

хочешь знать правду?» – «Да!» – «Я была в Большой Московской у Леонида Михайловича». Сказала и ушла к себе. Я слышала, как мама сидела на кухне и плакала, но не вернулась к ней.

Алеша, я тебя предала.

Помнишь, тогда у нас с тобой ничего не получилось. Ни ты ничего не умел, ни я. Я предала тебя вдвойне, Алешенька, потому что я поняла, что может тело. У Л. удивительные руки. И как это удивительно и сладко быть в его руках женщиной!

Тогда с тобой, Алеша, было и больно, и страшно, и стыдно. А с ним все было совсем по-другому. И я ему благодарна.

И знаешь, что самое нехорошее, Алеша? Я рассказала ему о тебе. А он сказал: «Значит, это был не он». Я ничего сначала не поняла: «Как не он?» – «Так, не он».

Алеша, прости меня, я тебя недостойна.

Я ведь только сейчас поняла, Алешенька, что ты будешь любить меня всегда. Всегда! У тебя никого, кроме меня, никогда не будет.

Я себя презираю и ненавижу.

14 апреля 1916 г. Четверг

Сказала себе, что никаких дневников больше не будет, а тут разбирала у себя в столе и нашла вот эту пустую тетрадку. Когда-то приготовила ее для дневника.

Умерла няня. На Страстной. Не дотянула до Пасхи. Она мечтала умереть на Пасху.

Няня в последние недели сильно страдала. Стала страшная, сильно исхудала, лицо, шея – все в каких-то обвисших морщинах. Ее положили на стол, под стол поставили железное стиральное корыто, полное льда. За ночь покойница преобразилась, разгладились все морщины, как будто и не было страшной болезни.

Я слушала панихиду, и вдруг вспыхнули, высветились слова: в месте покойне, месте злачне, месте светле. Господи, как хорошо, тепло, ласково: в месте покойне, месте злачне, месте светле. Где это?

У нее рано умер муж, а когда я ее однажды спросила, почему она не вышла второй раз, ответила: «Покойники видят нас, и радуются, и печалются за нас – и когда встретимся, как же мне с двумя мужьями-то быть?»

Пасху делала мама, и она у нее получилась какая-то ненастоящая. Няня, когда разминала пасху и перекладывала в пасочницу, всегда протягивала мне деревянную ложку: «Оближи!» И я облизывала. И ничего вкуснее этого не было! А тут мама мне протянула ложку и сказала: «Оближи!» Я ничего ей не сказала и вышла. С мамой мы стали совсем как чужие.

Вроде все так же, как обычно, колокола празднично звонили, огоньки текли по переулкам, а никакого пасхального настроения. И просить прощения хотелось только у няни, а уже не попросишь.

Няня в последний месяц все читала Библию – разные пророчества: придет конец мира, брат пойдет на брата, будет голод и мор. Настанет время, когда люди будут прятаться в щелях, чтобы сохранить свою жизнь. Может, ей было так легче уходить?

Отец на поминках принялся рассказывать, как у мусульман хоронят не в гробах, а закутывают в саван и несут к месту погребения на специальных носилках, в землю тело опускают ногами вниз, лицом хоронят к Мекке, а если у мусульманина скончалась жена христианка или иудейка, и при этом известно, что она беременная, ее должны хоронить, наоборот, спиной к Мекке, чтобы младенец у нее во чреве был обращен лицом к этому священному месту. Слушала его и вдруг увидела, что он старый. Он стал следить за собой, молодиться, подкрашивать седые волосы,

купил костюм маренго, модный материал в елочку, а все это только еще больше старит. Ходит с перевязанным пальцем – помогал оперировать какой-то сложный случай и порезался. С ним такого раньше никогда не было. Мой любимый, милый папа – и вдруг старик... Не удержалась, подошла сзади, обвила его шею руками, прижалась. А он: «Подожди, Белка, не мешай!» И дальше что-то говорит. И стало так страшно, что он тоже умрет!

В месте покойне, месте злачне, месте светле...

А когда приехала племянница няни из ее деревни забирать вещи – вдруг стала говорить, что мы няню обманули – недоплачивали, и еще какие-то серьги и брошки пропали. Мама выгнала ее.

Еще пришло письмо от Маши, описывает подробно, как ехала к Борису из Петрограда в Або. Пишет, что там совершенно не чувствуется войны, по дороге на любой станции можно отлично закутить – в буфете опускаешь в кружку марку и берешь все, что есть на столе, – мясо, рыба, закуски, любые вина, десерт. Борис повел ее в Гельсингфорсе в ресторан, и там они заказали медвежьи лапы и язык оленя! Еще пишет, что счастлива – но ужасно боится за Бориса. Ей все время снится один сон – как он тонет. «Просыпаюсь в поту, а он – здесь рядом. Если его нет, если он на корабле – не могу заснуть». У них маленькая квартирка, и она подробно описывает, где что и как она пытается создать для Бориса уют. Там война другая – моряки гибнут вместе с кораблем или возвращаются в привычную обстановку домой.

В Гельсингфорсе невиданная для России вещь – в трамвае никто билетов не спрашивает, а каждый кладет в кружку свои пятаки.

Катя собирается замуж за Виктора, они переедут в Москву.

От Саши давно ничего нет.

Нюся была здесь и снова уехала. Ходили с ней на «Веселую вдову» Легара – поставила крыловская труппа. Мне очень понравилось, а Нюся кривила губы. Весь Ростов ходит и мурлычет мелодии оттуда.

Стало одиноко дома – все разъехались.

Вот сколько всего написала.

Совершив переправу около полудня, эллины построились и прошли по долине, поднимаясь в горы, не менее пяти парасангов. Войско вытянулось, изгибаясь, как гигантская сороконожка. Вблизи реки не было деревень из-за войн с кардухами. Эллины расположились лагерем, а ночью выпал обильный снег. Снег шел много часов, плотный, тяжелый, и к рассвету покрыл оружие и лежащих на земле людей, сковал по ногам вьючный скот. Утром не хотелось вставать, потому что снег согревал лежащего под ним человека. Когда же Ксенофонт решился встать неодетым и начал колоть дрова, то тотчас же встал еще один человек, отнял у него топор и принялся за рубку дров. Вслед за этим и другие начали подниматься, разжигать костры и натирать мазью. В этой горной стране много мази, которой пользовались вместо оливкового масла. Она готовится из свиного сала, кунжутных семян, горького миндаля и терпентина.

Отсюда в течение всего следующего дня они шли по глубокому снегу, и много людей изнемогало от голода и холода. Переход был очень тяжел, так как северный ветер дул прямо в лицо, все замораживая и приводя людей в состояние окоченения. Тогда один из жрецов предложил принести жертву ветру. Это было исполнено, и всем явственно показалось, будто сила ветра спала. Глубина снега достигала одной оргии, и из-за этого погибло много вьючного

скота, и людей в обозе, и до тридцати солдат. Ксенофонт, находясь в арьергарде, подбирал упавших, чтобы похоронить их с причитающимися почестями, но это было невозможно, и умерших просто засыпали снегом.

Враги следовали по пятам за эллинами, похищая обессилевший вьючный скот и вступая из-за него в драку друг с другом. Отставших преследователи жестоко добивали, отрубая им, по своему обычаю, правую руку. Одна мысль о таком конце гнала солдат вперед, но все же усталость была столь велика, что некоторые стали отставать: у одних началась от слепающего снега болезнь глаз, у других пальцы на ногах отмерзли. Надо было непрестанно двигаться, не упокаиваясь ни на минуту, а на ночь разуваться. Если кто-либо ложился, не сняв обуви, то ремни врезались ему в ноги и примерзали, ведь старая обувь износилась, и башмаки, карбатыны, были сделаны из недавно содранной бычьей кожи.

Из-за таких бедствий некоторые солдаты отстали и увидели какой-то клочок земли, черный потому, что с него сошел снег. Действительно, он растаял под воздействием испарений из источника, находившегося поблизости в лесистом ущелье. Свернув туда, они сели и отказались идти дальше. Ксенофонт узнал об этом и всеми способами и средствами принялся их уговаривать не отставать, указывая на то, что за ними следуют собравшиеся в большом числе враги, и наконец он даже рассердился. Но солдаты просили прикончить их, так как они не в силах идти дальше. Тогда решили попытаться напугать следовавших за ними врагов, чтобы те не нападали на выбившихся из сил. Уже было темно, и враги подходили, громко разговаривая на своем варварском наречии. Тогда здоровые солдаты арьергарда приготовились и побежали на врагов,

а больные подняли крик и изо всех сил стали колотить копьями по щитам. Варвары испугались, бросились по снегу в лесистое ущелье, и никто из них не издал больше ни звука.

Ксенофонт со своим отрядом, сказав больным, что на следующий день за ними придут, двинулся вперед и, не пройдя и четырех стадиев, встретил на дороге спящих на снегу закутавшихся солдат, при которых не было выставлено стражи. Их разбудили, и они сообщили, что передовые отряды не двигаются вперед. Ксенофонт пошел дальше и выслал наиболее выносливых пелтастов с приказом узнать причину задержки. Они сообщили, что все войско отдыхает подобным образом. Тогда и отряд Ксенофонта расположился тут на отдых. Ночь элины провели у костров. Где горел костер, там вследствие таяния снега образовывались большие ямы, доходившие до самой земли, поэтому можно было измерить глубину снега.

В это самое время в Мунтянской земле, по которой проходили элины, отмечался день Красной Армии. Жителей в Грозном согнали на главной площади и объявили, что, поскольку население республики оказало поддержку немцам, партия и правительство приняли решение о переселении всех гагаузов и предателей. «Сопrotивление бесполезно, – зачитывали собравшимся приказ номер такой-то, – потому что вы окружены войсками, и будет расстрелян каждый, кто попытается не подчиниться или предпримет попытку к бегству».

Ошарашенная, замершая от ужаса толпа – рассказывает дальше Ксенофонт – во главе с местными чиновниками двинулась строем по четыре на рынок, где людей погрузили в грузовики и повезли на железнодорожные пути, но не на вокзал, а на сорти-

ровочную станцию, где ожидали эшелоны с вагонами для перевозки скота.

В других селениях арестовывали только мужчин, а женщинам велели паковать вещи и быть готовыми вместе с детьми на следующий день покинуть дома. По домам ходили русские солдаты и помогали растерявшимся матерям собирать вещи, говорили, чтобы брали теплую одежду и продукты, а не патефоны или ковры, помогали снести в грузовик вещи.

Во второй половине того дня выпал обильный снег, и возникли затруднения с отправкой людей, особенно в горных районах. Перевозили на грузовиках-«студебеккерах», которые прибыли из Америки через Иран по ленд-лизу. Машины стояли с включенными двигателями, с зажженными фарами, высвечивая валивший снег. Издалека было видно зарево – мощные фары десятков грузовиков.

Жители аула Хайбах отказались исполнять приказание покинуть свои дома. «Лучше мы все умрем!» – кричали старухи и взывали к Богу не допустить несправедливости и забрать их скорее, чтобы не дать им умереть на чужой земле, а быть похороненными на земле своих предков. В Хайбах из окрестных аулов согнали всех, кто не мог или не хотел добровольно уезжать, – больных, стариков, кого поймали на дорогах, кто пас скот, кто прятался. Людей собирали в колхозной конюшне. Сквозь щели дул ледяной ветер и пронизывал до костей. Солдатам приказали обложить длинный сарай сеном, чтобы людям внутри не было холодно – так говорили замерзавшим в конюшне. Потом мунтянский воевода по фамилии Гвешани приказал запереть ворота и сжечь сарай.

Шел мокрый крупный снег, солдаты бегали по грязи и пытались поджечь отсыревшую солому. Один шофер плеснул бензином из канистры. Соло-

ма вспыхнула. Быстро поднялся огромный костер до неба.

Внутри началась паника. Под натиском обезумевших людей двери рухнули. Бегущие впереди падали, заграждая путь напиравшим сзади. По выбегавшим стали стрелять из автоматов. Чтобы быстрее все кончилось, солдаты забросали кричавших через окна гранатами.

Мунтянский воевода послал в Москву списки сожженных. Вот эти имена, но их можно не читать. Просто перелистнуть страницу.

Гаев Тута, 110 лет;

Гаева Сарий, его жена, 100 лет;

Гаев Хату, его брат, 108 лет;

Гаева Марем, его жена, 90 лет;

Гаев Алаудди, сын Хату, 45 лет;

Гаева Хеса, жена Алаудди, 30 лет;

Гаев Хасабек, его брат, 50 лет;

Гаевы Хасан и Хусейн, дети Хесы, близнецы, родившиеся накануне;

Газоев Гезамахма, 58 лет;

его жена Зано, 55 лет;

сын Мохдан, 17 лет;

сын Бердан, 15 лет;

сын Махмад, 13 лет;

сын Бердаш, 12 лет;

дочь Жарадат, 14 лет;

дочь Тайхан, 3 года;

Дули Гелагаева, 48 лет;

ее сын Сосмад, 19 лет;

другой сын Абуезид, 15 лет;

третий сын Гирмаха, 13 лет;

четвертый сын Мовлади, 9 лет;

дочь Зайнад, 14 лет;

вторая дочь Сахара, 10 лет;

Пакант Ибрагимова, 50 лет;

ее сын Аднан, 20 лет;
дочь Петимат, 20 лет;
Минегаз Чибиргова, 81 год;
ее невестка Залимат, 35 лет;
сын Залимат Абдулмажед, 8 лет;
дочь Лайла, 7 лет;
дочь Марем, 5 лет;
Кавалбек Газалбеков, 14 лет;
Зано Дагаева, 90 лет;
Керим Амагов, 70 лет;
Муса Амагов, 8 лет, из Чармаха;
Дата Бакиева, 24 года;
Маций Хабилаева, 80 лет;
врач Гириха Гаирбеков, 50 лет;
Петимат Гаирбекова, его жена, 45 лет;
Аднан Гаирбеков, их сын, 10 лет;
Медина Гаирбекова, их дочь, 5 лет;
Зурипат Берсанукаева, 55 лет;
ее дочь Ханпат Берсанукаева, 19 лет;
вторая дочь Бакуо, 17 лет;
третья дочь Балуза, 14 лет;
четвертая дочь Байсари, 9 лет;
пятая дочь Базука, 7 лет;
сын Мохмад Ханип, 11 лет;
семья Абухажа Батукаева:
его мать Хаби, 60 лет;
его жена Пайлах, 30 лет;
его сын Абуезид, 12 лет;
его дочь Асма, 7 лет;
вторая дочь Гашта, 5 лет;
третья дочь Сацита, 3 года;
новорожденная дочь Тоита;
семья Косума Алтиминова:
дочь Залуба, 16 лет;
сын Ахмад, 14 лет;
второй сын Махмад, 12 лет;

семья Кайхара Алтмирова:

дочь Товсари, 16 лет;

сын Абдурахман, 14 лет;

сын Муций, 12 лет;

Хож Ахмад Эльгаев, 15 лет;

Сайдат Ахмад Эльгаев, 13 лет.

Также погибла – продолжает свой рассказ Ксенофонт – Алимходжаева Пайлаха. Не знаю, сколько ей было лет, ее тоже убили в Хайбахе. Ее труп, когда ушли солдаты, местные жители, спасшиеся в горах, опознали по несгоревшей косе. Эту косу хранила все эти годы ее сестра. Она и теперь где-то лежит, та коса.

Снегопад перекрыл дороги в горах, и до отдаленного аула в Галанчожском районе, последнем перед перевалом, солдаты добирались по засыпанной снегом тропе с проводником из местного партактива. Солдаты боялись не выполнить приказа в срок и торопились. Они увели мужчин, а оставшимся жителям приказали готовиться к выселению, сказав, что вернутся, как только позволит погода. Мужчин вели гуськом по узкой тропе над пропастью. Один чеченец вдруг обнял идущего рядом солдата и бросился с ним вниз. Так стали поступать и другие пленники. Солдаты открыли огонь. Все мужчины аула погибли.

То, что произошло в ущелье, видели мальчишки и, вернувшись домой, рассказали, как погибли их отцы. Старики собрались и стали решать, что им делать. Тогда самый старый из них встал и начал кружиться в древней пляске смерти, которую плясали его деды и прадеды. И тогда в круг вошли и стали плясать все старики, и старухи, и женщины, и дети аула. Все они клялись умереть, но не сдаваться русским. Потом старейшины решили, что сражаться они не могут – у них нет ни оружия, ни сил. Но и ждать, когда за ними придут и уведут их с земли

предков, они не будут. Все оставшиеся жители аула собрались, взяв только самое необходимое, и пошли вверх, в горы, на перевал.

Идти по глубокому снегу было трудно, ветер сбивал с ног. Женщины несли маленьких детей и прижимали их к себе, чтобы не замерзли. До перевала добрались не все: люди, обессиленные, садились в снег и замерзали.

Так шли они долго, потеряв счет времени, выбиваясь из сил и замерзая в метели. Вдруг те, кто шел впереди, увидели внизу, там, где начиналась долина, огни. Прямо на снегу горели костры, около которых спали какие-то люди. Это были элины.

Жители аула обратились к ним, не могут ли они погреться у костров и получить что-то поесть. Греки поделились с чеченцами тем немногим, что у них было. Ксенофонт, как мог, объяснил этим замерзшим, уставшим, изголодавшимся людям, не понимавшим элинской речи, что он ведет своих греков к морю. «Таласса! – показывал Ксенофонт старейшинам рукой в направлении моря. – Таласса!»

И наутро они вместе отправились дальше в путь.

26 июля 1919 г. Пятница

Как приятно начинать новую тетрадь! Да еще с хороших новостей! Проныра Торшин устроил выступления в дивертисментах кинематографа «Солей»! Выступать будем по воскресеньям шесть раз – три дневных сеанса и три вечерних. Скетч ужасно глупый, но получается смешно. «Голодный Дон Жуан». Сценка – объяснение в любви. Голодный гимназист приходит на свидание – и в конце концов бросается на колени и признается, что он хочет есть. Торшин корчил такие рожи, что невозможно не смеяться. На нас напал дикий хохот, никак не могли остановиться. Соберемся, начнем по тексту, вроде

все хорошо идет, а стоит только посмотреть друг другу в глаза – и опять хохочем до коликов. Не приведи Господь так завестись на публике!

Шесть выступлений в день! Будем богачами!

А завтра Павел, наконец, ведет меня к Никитиной! Ростовские осважные сливки!

27 июля 1919 г. Суббота

Как я зла на Павла!

Наконец он взял меня с собой на субботу к Никитиной. Прямо салон княгини Евдоксии Федоровны! Высший свет! Первый бал Наташи Ростовской! Кошмар какой-то!

Сама Никитина – обаятельная женщина, но приглашает к себе Бог знает кого! Какая-то Миртова, поэтесса, кажется из Киева, кривляка, громче всех говорила и басом хохотала не к месту, никому слова не давала сказать и все норовила прочитывать свои стихи. Неужели, чтобы всем понравиться, всего-то нужно – вести себя вульгарно и вызывающе, и вот, пожалуйста, весь вечер в центре мужского внимания!

Меня попросили спеть. Поотказывалась совсем немного, как полагается, и тут чувствую на себе снисходительные взгляды всех этих столичных знаменитостей. Как меня это задело! Робость как рукой сняло, наоборот, появилась какая-то веселая злость, азарт. Ну, подождите! Выхожу, одну руку на фортепьяно, в другой платок. И тут удар: Павел сказал, чтобы об аккомпанементе не беспокоилась – и кто же садится за инструмент? Эта самая Миртова! Играла отвратительно, меня не слушала. А куда денешься? Стала петь. Внутри разозлилась и на Павла, и на эту Миртову, которая возомнила, что это ее концерт. И под ней еще все время стул скрипел! Хотелось провалиться на месте!

И несмотря ни на что – успех! Сам Чириков подошел и поцеловал руку! Замурлыкал, что у меня будущее и что буду петь на столичных сценах. Все-таки приятно слышать такие слова! Очень хвалил голос.

Вот, сказали дежурный комплимент, какой у этих знаменитостей всегда наготове, – и расплылась. Но сама-то чувствую, что пела хорошо!

Павел сразу с кем-то сцепился, с каким-то профессором, не запомнила фамилии. Ко мне даже не подошел после аплодисментов! Ну и хорошо, что не подошел, а то получил бы затрещину. Ничего ведь совершенно не понимает!

Напишу еще пару слов про знаменитостей. Не каждый ведь день с великими чай пьешь. Чириков читал из своего нового романа. А я от возбуждения никак не могла сосредоточиться, все летело мимо. Ноги дрожали, не могла успокоиться. Да еще жарко, хотя окна открыты. Вспотела, все казалось, что лоснятся щеки и нос, и невозможно было выйти попудриться. Услышала только легенду про узника, который сидел в одиночной камере тюремного бастиона много лет и должен был просидеть там всю жизнь до самой смерти, – и однажды он черенком ложки нацарапал на стене лодку, сел в нее и уплыл, и когда открыли дверь, чтобы дать ему похлебку, камера оказалась пустой. Чириков, когда закончил чтение, после аплодисментов вдруг сказал: «Этот роман – моя лодка. Напишу, сяду в нее и уплыву». Все молчали, и молчание сделалось какое-то неловкое. Тогда Никитина спасла положение и все свела к шутке: «И это говорит человек, у которого пятеро детей!» Евдоксия Федоровна умница, но одевается ужасно старомодно. Поль Пуаре научил женщину чувствовать и любить свое тело, а она...

Потом всех пригласили в столовую и угостили пирогами и печеньями – пекла сама хозяйка. Пили

чай из золоченых внутри чашек, отчего казалось, что это красное вино. Я сидела с ее мужем. Подумать только – за мной ухаживал бывший министр! Павел сидел напротив и вместо того, чтобы бросать на свою невесту ревнивые испепеляющие взоры, налегал на пирожки да все дискутировал с соседом. А чем же развлекал свою даму государственный деятель? Рассказами о кооперации! Невероятно захватывающая тема! Я заметила, что за весь вечер мой кавалер, без конца предлагавший мне сушки, не перекинулся с женой и словом. А у нее что-то намечается с тем самым профессором. Ладыженский, кажется. Забавно наблюдать за людьми. Она его спасла от Павла, увела за руку и ворковала с ним о чем-то в уголке.

Потом опять все стали внимать Чирикову. Тот рассказывал про свои тюрьмы, царскую и красную: его когда-то посадили за «Оду царю», там он мог спокойно писать, имел покой и все, что необходимо для жизни, получал даже суточные, а в прошлом году его арестовали в Коломне, и от расстрела ему удалось спастись лишь чудом. Его «Евреи» в России до революции так и не были поставлены, их исполнял только Орленев во время заграничных гастролей. Ему рассказывали, что «Евреев» поставил в этом году Глаголин в красном Харькове с трупной Синельникова, причем в последнем действии выпустил на сцену Христа в образе городского, его били по щекам и плевали в лицо. А еще выпустил артисток из студии Вольф совершенно голыми, девицы бегали по зрительному залу, подсаживались к зрителям и т.д. Даже Валерская выступала совершенно голая!

Его спросили о Горьком. Отрезал: «Смердяков русской революции!» Надо же так говорить – о ком! О Горьком! Может быть, он просто завидует, поэтому такая ненависть? А вообще-то Чириков – бодрый, шустрый, даже ласковый. С ним чувствуешь себя

уютно и просто. Он будто выпорхнул откуда-то из прошлого со своим галстуком-бабочкой, сорочкой, сверкающей безукоризненной белизной. Так быстро в последнее время мужчины опустились, обветшали, а он сумел себя сохранить. Он женат на актрисе Иолшиной. В Ростове он без жены, та с младшими в Крыму, у них там дом, а старших разбросало по всей стране. Странно устроены люди: вот он не знает, что с его сыном, жив ли вообще, и при этом сидит тут за самоваром, уплетает пирожки с печенкой и рассказывает анекдоты.

И кто, интересно, в отсутствие жены заботится о белизне сорочек?

А пирожки, кстати говоря, – дрянь порядочная. Зубы вязнут в полусыром тесте. Видно, хозяйка салона стала демократично играть в кухарку совсем недавно. Но при этом все, разумеется, учтиво восторгались.

Еще там все время несмешно смешил какой-то тип с лицом купца-старообрядца. А потом я узнала, уже в самом конце вечера, что это кинофабрикант Трофимов, который сейчас снимает под Ростовом на деньги Освага картину «За единую Россию». Я шепнула Павлу, чтобы он меня представил, а в ответ: «Да я сам с ним незнаком!» – «Ну придумай что-нибудь!» – «Хорошо, Бэллочка!» И все. И ничего не будет – я уже знаю, что значит «Хорошо, Бэллочка!»

Никитина подарила на прощанье каждому свою книгу стихов – только что вышла. «Росы рассветные». Подписала мне: «Очаровательной Изабель».

А кончился вечер очень забавно. Обсуждали, что будет в следующий раз, и Никитин сказал, что хотел бы прочитать свои воспоминания, над которыми он сейчас работает, об осаде Зимнего дворца и о том, как было арестовано Временное правительство, а Миртова опять перебила и стала рассказывать, что

в тот самый вечер 25 октября она тоже была в Петрограде и пошла с кем-то, с кем у нее был роман, на оперу «Дон Карлос» в Народный дом – должен был петь Шаляпин. Сначала все было как обычно, театр забит до отказа, и, когда на сцене появлялся Шаляпин, публика каждый раз неистово аплодировала, кричала, барышни на галерке истерично визжали, а когда кончался последний антракт и занавес должен был вот-вот подняться, в зале потух свет и наступила полная тьма и тишина. Все сидели в темноте, и стало страшно. Пошла волна шепота, что где-то горит. Раздался какой-то звук, казалось, что за сценой рубят декорации. Никто ничего не говорил и не вставал с места. Если бы поднялась паника – все бы друг друга передавили. Потом в темноте кто-то вышел на сцену и сказал, что никакого пожара нет, что сейчас электричество восстановится. «И вот в той темноте он сделал мне предложение! Потом свет зажегся, и спектакль продолжился. Думала, что рубят декорации – а это стреляли, это был стрекот пулеметов! И я тоже об этом когда-нибудь напишу, и это будут мои революционные мемуары!»

Есть же такие люди, которые на всех похоронах хотят быть покойниками!

28 июля 1919 г. Воскресенье

Проснулась с чувством, что должна объясниться с Павлом. Сегодня же, немедленно. Нельзя больше откладывать этот разговор.

Отправилась в его новую лабораторию, я еще там не была – в помещении бывшей фотографии Мейерсона на Садовой, которое реквизировал для него Осваг.

Пришла и никак не могла начать. Павел печатал фотографии из своей последней командировки. Страшно. Он все время рассказывал. Не мог остано-

виться. Ему нужно было выговориться. Я никак не могла его перебить. Какой кругом ужас! Ничего человеческого не осталось! Он снимал казни. Казаки и офицеры позировали с готовностью. Вешали двоих сразу, перебросив веревку через перекладину, чтобы они удавили друг друга. Одного приказали расстрелять, поставили перед дорогой, а он крикнул: «Дурачье, поставьте к стенке, ведь сзади проезжая дорога!»

Стоим в свете красной лампы, и так жутко в ванночке вдруг проступают изуродованные детские лица. Я закрыла глаза, не могла смотреть, а он рассказывал про то, что видел у калмыков. На их земли давно положили глаз крестьяне из русских сел, поэтому и поддержали большевиков и уничтожали калмыков, вырезали целые деревни, которые там называются хотоны. Убивали всех, кто не успел убежать. Кажется, Большой Дербетовский улус, не помню точно. Паша фотографировал сожженные буддийские храмы – хурулы. Все загрязнено, измазано нечистотами. Разбитые изображения Будды. Разорванные священные книги. Вместо икон у них шелковые полотнища – разграбили, а все это из Тибета. В одном храме вырыли прах какого-то ламы, выбросили кости на дорогу. Господи, как же озверели люди!

Паша собирал остатки буддийских изваяний с обломанными руками и головами, привез все это в Ростов, хочет устроить выставку.

Я взяла подержать в руках статуэтку. Маленький Будда с отбитой головой.

Паша стал меня целовать. Не могла. Оттолкнула его. Он обнял меня и сказал: «Понимаю». А мне хотелось его ногтями царапать и кричать: «Ничего не понимаешь! Ничего!»

И еще рассказал, как они ехали в степи и заметили свиней. Послали двух человек захватить поросенка.

Но конные подъехали, постояли и вернулись. «Почему не взяли свиней?» – «Они жрали людские трупы».

Там везде висели для просушки фотографии. Я не могла на все это смотреть. Мне стало дурно. Глаза будто приклеились к одной: из-под песка торчали босые ноги. Совсем белые. И я никак не могла отвести взгляда. Сразу вспомнила брата, как в детстве мы на реке его закапывали в песок. Так закопали, что только голова торчала, руки и две стопы. Саша кричал: «Откапывайте!» А мы хохотали и щекотали ему пятки. И вдруг мне показалось, что это там на фотографии лежит Саша. Павел мне говорит: «Бэллочка, успокойся, прости! Я не должен был тебе этого показывать! Но с кем мне говорить? Пойми!» – «Оставь меня!» Полетела, хлопнув дверью. Бежала домой и все время видела перед собой белые босые ноги.

29 июля 1919 г. Понедельник

Сегодня забежала Муся. Я ее уже давно не видела. Стала такая взрослая, красивая девушка! Бросилась мне на шею. И в слезы! Что такое? Протягивает письмо. «Дорогая Муся! Я тебя очень люблю!» Целое любовное послание с грамматическими ошибками, и в конце угрозы покончить с собой. «Ты его любишь?» – «Нет». – «Ну и не переживай!» – «Но что же теперь делать?! А вдруг он действительно убьет себя?» Глажу ее по голове. «Ну и пусть!» – «Да как ты так можешь говорить?!» Обиделась и убежала. Выбежала за ней на крыльцо, звала, но уже не догнать.

Сразу вспомнила Торшина: «От любви умирают редко, зато рождаются часто».

Муся еще совсем ребенок.

Занимаюсь каждый день, работаю над диафрагмой. Распеваюсь и представляю себе, что Корецкая стоит за спиной, прислушиваюсь к себе ее ушами и делаю сама себе замечания, как она: «Освободи

гортань! Подними верхнюю губу! Не опускай грудь!» И будто чувствую ее руку на своей диафрагме. Очень помогает! Как же я ей благодарна!

Надо объясниться с Павлом. Меня это мучает.

30 июля 1919 г. Вторник

Махно – школьный учитель. В России как-то все странно: почему учителя возглавляют банды и руководят погромами?

Хотела зайти к Павлу, так и не зашла. Завтра.

31 июля 1919 г. Среда

Как легко на душе! Сегодня весь день испытываю какую-то необъяснимую радость.

До обеда репетировали в «Солее». Зал показался таким огромным! Но голос звучит очень хорошо. Аккомпаниатор – Рогачев. Он из Москвы, работал концертмейстером еще в мамонтовской опере. Сперва говорил со мной снисходительно. Потом, после того как спела, высокомерие как сдуло! Похвалил скупое: «Очень рад. Не ожидал!» Но в его устах это что-то да значит!

В нем сразу чувствуется опыт и мастерство. Я очень довольна. Договорились, какие романсы в какой дивертисмент исполнять. Сказал, чтобы я сдерживала свой темперамент. «Нужно сохранять холодную голову».

Пошла после репетиции побродить по городу. Солнце, легкий ветерок, хорошо! На Садовой между «Чашкой чаю» и кондитерской Филиппова народу столько, как на гулянье. Мне кажется, не только у меня, а у всех ощущение, что все ужасы кончаются и начинается, наконец, опять человеческая жизнь.

А какие витрины! Какие шелка, шляпки, готовые костюмы, духи, драгоценности! Как элегантно одета публика! Сколько офицеров-щеголей в новеньких

френчах! Все время открываются новые кафе и рестораны! А афиши! Театры, кабаре, концерты! Боже, как хорошо, что снова обыкновенная жизнь! Война – это была болезнь. И вот весь мир выздоровел. И Россия выздоравливает.

На углу Садовой и Таганрогского, как всегда, толпа перед громадной витриной с картой. Трехцветные флажки с каждым днем лезут все выше и выше. Люди приходят смотреть на жизнь толстого желтого шнурка. И все живо обсуждают, все стратеги! Шнурку осталось совсем немножко подтянуться – и война кончится! Увидимся снова с Машей, Катей, Нюсей!

Зашла в гостиницу, где разместился Осваг, там для всех желающих какой-то важный генерал, бывший директор привилегированного учебного заведения, объяснял картину военных действий. Переставлял флажки на карте, поднимал руки, и сверкали потертые локти серой тужурки. Прямо «Три сестры»: Москва! В Москву! На Москву!

Столкнулась нос к носу с Жужу. Она там устроилась работать и берет на дом корректуры осважных изданий. Вся цветет. В зеленом платье из жоржета. У нее никогда хорошего вкуса не было. И вообще, почему блондинки упорно хотят носить пронзительно-зеленый? Ей это совершенно не идет. Очень собой гордится и хвастает, что сахар, муку и дрова получает со склада, и даже спирт из Абрау-Дюрсо! Поговорить не дали – солдаты ворочали тяжелые тюки с литературой, да и Жужу торопилась. Сказала, что устроилась в отделе у профессора Гримма и что, если я хочу, она замолвит словечко. Застучала каблучками по широченной лестнице туда, откуда доносился стук пишущих машинок.

Еще бы! Без протекции Жужу мне теперь никуда! Если я хочу...

А не хочу!

Я знаю, чего хочу. И все будет так, как я хочу!

Увидела на афише, что приедут Емельянова и Монахов! Вот получу деньги и куплю самые лучшие билеты!

1 августа 1919 г. Четверг

Вчера так было хорошо! А сегодня с утра будто провалилась в какую-то черную яму. Прошла мимо афиши «Солея» – с моим именем. И не испытала ничего, кроме страха.

Это на людях я храбрая, а все страхи и слезы достаются вот этим страничкам. Боюсь провалиться, боюсь, что не смогу хорошо спеть, что будет пустой зал. Всего боюсь. А самое главное, боюсь, что все мне врут в глаза! Говорят ложь, потому что жалеют! А что, если на самом деле у меня нет ни голоса, ни таланта?

Ночью опять приснился все тот же кошмар с комаром! Опять и опять!

Я ничего не умею и ничего не могу! Возомнила про себя, что певица, – и вот получила по мордам. Да, по мордам! Так мне и надо!

Все, что хочется забыть, – именно это и лезет ночью в голову. Закрою глаза, и опять я на сцене в бывшем Клубе приказчиков. Объявляют, выхожу, ничего не вижу, начинаю петь мою любимую, из репертуара Плевицкой: «Над полями, да над чистыми» – и опять повторяется этот ужас! Поперхнулась! В горло попал комар!

Вот вам и дебют! Была бы коса подлиннее – повесилась бы на косе!

Написала, чтобы освободиться, чтобы забыть об этом.

Все говорят о приезде качаловской труппы МХТ! Только что был Вертинский, а теперь к нам едет МХТ! Я их всех увижу! Качалова, Германову, Книппер!

Купила сборник песенок Вертинского. Боже, какой он гений! Так и вижу бедную безноженьку, просящую между могил у Боженьки к весне подарочек – две большие ноженьки, и лиловый фрак негра, подающего манто, и ту обезумевшую женщину, целующую в посиневшие губы убитых юнкеров.

Как хорошо, что тогда у Машонкова не пожалели и купили билет в третий ряд – 85 рублей! А в первом стояли все сто!

Могли бы шрифт взять и покрупнее.

Какая я, наверно, тщеславная. Фу!

Завтра встречаюсь с Павлом. Это наш последний день.

2 августа 1919 г. Пятница

Плохие новости. Я сразу почувствовала, что с Павлом что-то случилось. Мы встретились, как обычно, под навесом Асмоловского, потом пошли в «Ампир». Все возвращается на круги своя. Прислуга – во фраках, в крахмальном белье, чисто выбритые, пахнущие одеколоном. Красивые наряды у дам. Красивая музыка – правда, музыканты, евреи, перекрасились перекисью в блондинов. А вот пела какую-то заезжая штучка чудовищно. Роза Черная! Одно имя чего стоит! А ей еще бросали цветы! Ничего не понимают! Им лишь бы рожица посмазливее!

Павел все молчал, потом сказал: «Уйдем отсюда! Терпеть не могу всю эту публику!» А мне так хотелось еще там посидеть! И опять ничего не сказала. Послушно поднялась и пошла. Проходили по Садовой мимо карты. Я ему сказала: «Скоро, даст Бог, все кончится!» А он набросился на меня: «Ничего не кончится!» Стал ругаться на Осваг, что все скрывают, а если кто-то начнет говорить то, что есть, – сразу зачислят в агентов красных. «При этом в контрразведке грабители, воры и подлецы – честный человек

туда не пойдет! Борются за места и власть, везде грабеж и взяточничество, а все молчат, дрожат за свою шкуру!»

Я поняла, что с ним что-то произошло. Стала расспрашивать, сначала отмалчивался, потом сказал, что у него неприятности в Осваге. Он узнал об одном случае и хотел, чтобы об этом напечатали в газетах, а его вызвали и пригрозили, чтобы молчал. В вагонах из Новороссийска, вместо снарядов, одежды и продовольствия для фронта, везли товары, принадлежавшие спекулянтам. При этом фронт не получает из тыла ничего, кроме лубочных осважных картинок с изображением Кремля и каких-то витязей. Не хватает снарядов, а комендант со своими сотрудниками везли мануфактуру, парфюмерию, шелковые чулки, перчатки, прицепив к такому поезду один вагон с военным грузом и просто поставив в каждый вагон по ящику со шрапнелью, благодаря чему поезд пропускали беспрепятственно как военный.

Мы долго ходили. Павел очень ругал союзников. Им на самом деле на нас наплевать – прислали обмундирование размером либо на карликов, либо на великанов. Пришли несколько вагонов ботинок только на одну левую ногу! Прислали бамбуковые пики, прислали пулеметы без патронов и лент, к которым наши патроны не подходят, какие-то пушки времен бурской войны. Меня рассмешило, что англичане прислали мулов, которые до фронта и не дошли, превратившись по дороге в шашлыки, а Павел на меня обиделся.

На следующей неделе у него опять командировка.

Когда проходили мимо его лаборатории, сказал, что все время приходит старик Мейерсон, у которого сын ушел с красными. Приходит, молча смотрит на свою мастерскую и уходит.

Кажется, он из-за какого-то старика переживает больше, чем из-за меня.

Опять не решилась начать самый важный наш разговор. Сердце сжалось: как же я ему сейчас все скажу? Что с ним будет? Как он поедет на фронт с этим в душе? Нет, мы объяснимся, когда он вернется.

3 августа 1919 г. Суббота

Такой длинный день! Все по порядку.

Снова вечер у Никитиных. Лучше бы не ходили!

С Павлом не сдержалась уже с самого начала. Он зашел за мной, а я только одеваюсь. Стал торопить. Меня это просто взбесило! Как я выгляжу – ему все равно! Лишь бы поскорее начать решать судьбу мира! Сказала ему, что судьба мира подождет! Хорошее *entrée* нужно не только на сцене, поэтому мы опоздаем настолько, насколько это будет нужным! Он надулся. Так и явились – злые друг на друга. Зато когда вошли – все глаза на меня!

Только что толку? Никому даже в голову не пришло попросить меня что-нибудь исполнить!

Чирикова не было, Трофимова не было. Был зато Борис Лазаревский! У меня есть его книга рассказов. Я помню, что мне очень понравилось, а папа тогда сказал: «Зачем писать, как пишет Лазаревский, если так уже писал Чехов?». Еще был Кривошеин из редакции «Великой России», которая только что переехала из Екатеринодара. Но таких мы знаем! Лысый, толстый, воняет на версту потом и полез сразу с двусмысленностями. Снова был тот профессор, его фамилия – Ладыжников. И опять весь вечер выкаблучивалась Миртова! Зачем таких приглашать? Не понимаю. Еще были какие-то серые ученые мышки. Не запомнила фамилий.

Никитин не читал, извинился, что еще не готово. Смотрю на Евдоксию Федоровну. Вот момент! А она

к своему профессору, мол, расскажите нам что-нибудь интересное! И началось! Настоящий цирк!

Сцепились Никитин с Ладыжниковым. Да еще как! Аж искры летели! Как два петуха из-за несушки!

Ладыжников стал говорить, что Добрармия ничем не лучше красных. «Они – Темерник, и мы – тот же Темерник, только нас в детстве помыли и почистили и научили понимать по-французски, а при первом же удобном случае опустимся и будем такими, как они! Уже стали! Власть в России держится только зубами, чуть царь разжал зубы – так все и развалилось! И чем крепче зубы, тем русский народ больше позволяет: ешьте нас! А не то мы вас! И вот теперь со злом борются белорыцари из контрразведки, и мы расстреливаем в той же роще, в которой расстреливали нас!» И еще он сказал, что эту войну мы все равно проиграем, даже если победим, потому что стали такими же, как те, против кого боролись. Ударил по столу кулаком, так что ваза чуть не слетела, и зарычал: «Добро должно проигрывать злу – в этом его сила!»

И все в таком роде, причем никто никого и не слушает! Никитин: «Заставляют кричать ура – а нужно кричать караул! В Осваг отовсюду поступают материалы, что мобилизация провалилась, что крестьяне берут оружие и уходят в леса, а их подшивают в папки!» Набросился на руководство Добрармии. «Фронт оборван, бос и наг – а здесь сидят в щегольских френчах и пьют шампанское. Одни кричат о скором взятии Москвы и воруют, а у других ничего нет, кроме совести и вшей, и они идут на смерть! Ради чего? Ради России? Ради какой России? Вот этой? А стоит ли?»

И полилась речка: и отечество, и долг, и миссия, и святые жертвы, и народ! Правда, кто-то красиво сказал: нельзя раскладывать пасьянс в пылающем доме!

Слушаю все это, и так захотелось тоже крикнуть: Господи, какая миссия? Какой долг? Какой народ? Люди хотят просто жить, радоваться, влюбляться!

Лазаревский попытался их примирить, перевел разговор на календарь, что совсем неразумно отменять введенный большевиками григорианский календарь. Действительно, календарь-то в чем виноват? И еще он сказал удивительную фразу: «Хотели вырезать в календаре 13 дней, а прорвали во времени дыру!» Как это точно! Мы – у времени в дыре. Но его никто и слушать не стал, стали кричать дальше. Лазаревский насупился, что его никто не слушает, посидел еще с полчаса и ушел.

Бедный Павел то и дело пытался вставить что-то про свою русскую идею! Он так и не понял, что дело у спорщиков вовсе не в идее, а в хозяйке! Куда ему понимать такие простые вещи! Он понимает только сложные.

Крик стоял и за чаем. Стали говорить о произволе и жестокостях, о том, что дух добровольчества давно выветрился. Никитин о Добрармии: «Мученически свято встала и позорно пала – так в России всё!» И опять по кругу: лозунги оказались фальшивыми, доверие растоптано, подвиг оплеван! Слушала, и показалось, будто все крутят ручку одной и той же шарманки! Как это скучно!

Под конец ужина, когда все наелись и устали ругаться, разговор зашел о рыцарстве. Ладыжников сказал, что у нас никогда не было рыцарства, а была добродетель смирения, послушания, растворения в массе: «Рыцарь – всегда одиночка, заложник не отечества и царя, но чести!» Никитин стал возражать, что именно в России и есть настоящее рыцарство, потому что в основе рыцарства лежит понятие долга. «У тех – прекрасная дама, у нас – Россия. Их рыцари “обручали” свою жизнь с какой-нибудь не-

мытой дурой с поясом верности на чреслах, а наши – с народом, с родиной! Разве это не есть подлинное рыцарство?»

Павел тут успел в паузе, пока спорщики прихлебывали чай, вставить, что в русской истории было только два рыцарства – орден кромешников при Иване Грозном и кратковременное командорство Павла над мальтийцами. Ладыжников на это снисходительным тоном: «Смею напомнить вам, молодой человек, что в русской армии с 1894 года разрешили дуэли, и это о чем-то говорит! Впрочем, вас тогда, думаю, еще и на свете не было». Я ткнула под столом Павла в ногу, чтобы молчал, потому что почувствовала, что он сейчас вспылит и наговорит лишнего. Мы после этого быстро ушли. Испорченный вечер!

Павел провожал меня домой, и тут уж досталось осваждам! И «самовлюбленное дурачье», и «возможившие о себе бездарности!» Особенно не мог им простить вот что: «Получают от Освага огромные деньги и тратят их на издание своих стишков! Вот она, русская интеллигенция во всей красе!»

Проходили мимо Машонкина. Там везде кафе, рестораны, кабаре, свет, музыка, люди поют, смеются, танцуют! Так вдруг захотелось танцевать! Сбросить с себя все эти разговоры! Потянула его: «Пойдем, Пашенька, пожалуйста!» А в ответ: «Сейчас как раз читаю “Историю крестовых походов”». Поразительное сходство! Там смесь идеализма и животного эгоизма, и здесь у нас то же самое. На фронте восторженные дураки жертвуют собой, а умные пытаются отвертеться и сбежать в тыл, где вакханалия и пир во время чумы!»

Весь вечер терпела, а тут взорвалась! Схватила его за уши и закричала прямо в лицо: «Павел, очнись! Мы не в книжке! Мы здесь и сейчас!» А он: «Отпусти, больно! Мне завтра рано уезжать. Я очень устал и хо-

чу спать». Повернулась и пошла. Не могу так больше! Он поплелся за мной, как собачка на поводке. Я ему: «Уйди! Оставь меня! Видеть тебя не могу!» А он все равно идет. Так и дошли до самой Никитинской. Вдруг стала противна самой себе. Как же я могу его завтра вот так отпустить? А если с ним что-то случится? Подбежала, обняла.

Когда расставались, вдруг спросил: «Дождешься?» Почему он так сказал? Боится, что я брошу его, не дождавшись?

Дождусь. И скажу все, когда вернется.

4 августа 1919 г. Воскресенье

Сегодня было первое выступление в «Солее». После кинокартины поднимают экран. Вышла на сцену и сразу поняла, что не то платье. Нужно темное, черное или бордо. На меня сильный свет – совсем ничего не вижу, ослепило – на репетиции этого не было! Вдруг потерялась, не знаю, как двигаться в этом свете, что делать с руками. И прямо чувствую, как от волнения покрываюсь пятнами! Хорошо еще со сцены не свалилась! Надо петь одному какому-нибудь лицу в зале, а тут – черная яма. Сжало горло, стала форсировать связки. Хорошо, что пела только три романса. Четвертый уже не смогла бы. Пока шел номер балабачника, стала дышать, как учила Корецкая, чтобы успокоились нервы: три коротких, быстрых вдоха и один длинный, глубокий. И все время в голове считать дыхание. Рогачев, добрая душа, поддержал: подошел и шепнул, что пела я замечательно! Потом наш «Влюбленный Дон Жуан». Уже спокойнее. Торшин сказал: «Смотри на меня. Держись за меня глазами. Все будет хорошо!» И было. Публика валилась на пол от хохота. Торшин – комический гений!

После снова опускают экран, и приходят другие зрители. Каждый раз полный зал! А мы ждем

следующего сеанса и смотрим фильм за экраном, «с изнанки». Даже титры научилась читать шиворот-навыворот. И каждый раз снимала туфли, мои единственные концертные, на высоком каблуке, чтобы отдыхали ноги. Потом уже все шло хорошо. Устала с непривычки ужасно. Получили деньги, хотели пойти кутить, но сил никаких не было.

Вот заснуть не могу от усталости. Перевозбудилась. Закрою глаза, и снова я на сцене, и кругом аплодисменты. И раскланиваюсь в подушку!

5 августа 1919 г. Понедельник

Я должна записать весь этот ужас.

Вернулась Тала, остановилась у нас. Смотреть на нее страшно. И еще вши. Мы с мамой отвели ее в пустую Катину комнату, постелили на пол бумаги, принесли таз с горячей водой, вымыли ее, переодели. Всю ее одежду завернули в бумагу с пола – и все сожгли.

Их полевой лазарет попал к махновцам, вернее, банда отступала и вышла как раз на лазарет. Раненых офицеров закалывали штыками. Фельдшера повели на расправу – он просил не трогать жену, так как она в ожидании. Кто-то сказал: «А это мы сейчас посмотрим!» – и распорол ей штыком живот. Потом замучили фельдшера. У Талы был цианистый калий – сестрам милосердия раздали как раз на такой случай. Она носила яд в ладанке на цепочке с крестом. Хотела принять и не смогла. Ее насильовали. Потом пришел их командир и забрал ее к себе. А ночью помог бежать.

Тала рассказывала спокойно, потом вдруг замолчала, будто куда-то провалилась сама в себя. Легли спать вместе под одно одеяло – согревала ей ледяные ноги. Ночью у Талы была истерика.

6 августа 1919 г. Преображение

Что еще рассказывала Тала:

Сереза Старовский погиб очень глупо и очень страшно – прямо в санитарном поезде. Стоял в дверях теплушки, высунув голову. В это время шли маневры на станции – вагон резко толкнуло, дверь задвинулась, и ему раздавило шею.

Тала принимала участие в операциях «на челюстях» и «на барабанах», то есть открывала барабан со стерильным материалом или держала челюсти больного при наркозе. Рассказывала, что держать челюсти при трепанации мучение, особенно если голова лежит на боку – пальцы затекают – и как удержать, когда хирург начинает долбить? А их врач еще кричал на нее, если дрогнет голова или если сестра подаст не тот инструмент! Один раз оперировали несколько дней без передышки, а с нее требовали отчета, сколько человек было перевязано, запомнить их количество было невозможно, тогда Тала поставила одну банку с горохом и одну пустую – с каждым перевязанным перекладывала горошину, а потом все пересчитывала.

Расстреливать пленных красных вызывали по желанию. Кричали: «Желающие на расправу!» И сначала шли немногие, а потом все больше и больше. Еще живых добивали прикладами. А перед расстрелом еще специально мучили. Заступаться было бессмысленно. Тала попыталась, а один доброволец, уже немолодой, ей сказал: «Это им за мою дочь».

Уже везде тиф, только не дошел еще до Ростова. Скоро нужно ждать. Вагоны с больными приходилось запираť на ночь: больные в бессознательном состоянии убегали, бродили по станции, кто одетый, кто в одном белье. Помогает только силоварзин, его вливание сразу прекращает болезнь, но при

этом уничтожает иммунитет, и можно снова заразиться.

Столько всего надо бы каждый день записывать, но нет ни нервов, ни сил.

Идет война, а я пою. Но я не могу, как Тала, перевязывать раненых. Могу, конечно. Но это могут и сотни других девушек – да, пусть смелых и решительных, а не таких, как я. Нет, я тоже смелая и решительная. И я хочу петь. И я не виновата, что моя молодость пришлась на войну! И другой молодости у меня не будет! И я убеждена, что петь, когда кругом ненависть и смерть, не менее важно. Может, еще важнее.

А я так считаю: если где-то на этой земле раненых добивают прикладами, значит, необходимо, чтобы в другом месте люди пели и радовались жизни! И чем больше смерти кругом, тем важнее ей противопоставить жизнь, любовь, красоту!

7 августа 1919 г. Среда

Сегодня мы все чуть не взлетели на воздух. Старик Жиров увидел через забор, как мальчишки Панковых играют английским порохом. Он выглядит как макаронина – длинный, с дырочкой внутри, только коричневого цвета. Жиров сказал, что эти макароны укладывают в снаряды, и они обладают таким свойством: если сжатый воздух, давление – такой порох моментально вспыхивает и стреляет, а если просто поджечь – он сгорит дотла, но никакого взрыва не будет.

8 августа 1919 г. Четверг

Сегодня провели вечер с папой вместе. Мы уже с ним сто лет не разговаривали вот так, как раньше. Я спросила его про Елену Олеговну. Он сказал, что любит эту женщину уже давно, а с мамой они дого-

ворились сохранить видимость брака ради нас, пока мы не подрастем. Он пришел забрать остатки своих бумаг. Я помогала ему собирать вещи.

Жаловался на невозможные условия в лазарете. Раненые капризны и позволяют себе многое – приносят вино в лазарет, до глубокой ночи шатаются по городу, горланя песни, и управы на них нет. Что может сделать дежурная сестра, если она их сама до смерти боится? Лекарств нет, хирургические больные, за неимением перевязочного материала, не перевязываются по нескольку дней, операции откладываются со дня на день. Шприц один на все отделение! Уборные загажены, коек настолько мало, что раненые лежат прямо на досках и на полу – укрываются собственным тряпьем. Бедный папа, он так переживает, но ничего не может сделать! Хорошо еще, в городе не началась повальная эпидемия тифа, но ее ждут. Все разворовано – сами нянечки и воруют, забирают все, что можно унести, и уходят в деревни – остаются только заведующие отделениями. Папа добился у градоначальника, чтобы объявили сбор пожертвований, тот напечатал в газетах приказ всем сдать белье для больницы. Принесли – так белье подменяют прачки: вместо белья из прачечной больница получает тряпье. Воруют и пьют спирт, даже несмотря на запах карболки, которую специально добавляют, чтобы его не употребляли для питья!

Хуже всего в отделении для душевнобольных. Их вообще все забыли.

Деньги обещают, но не выдают, папа кормится своей основной специальностью. Горько шутит: «Гонюккам все равно, какая власть на дворе».

Озверели все, даже персонал. Папа рассказал страшный случай. В хирургическом отделении лежала раненая медсестра-большевичка. Надзира-

тельницей была Мария Михайловна Андреева, я ее прекрасно помню, она бывала у нас в гостях. Сын у нее учился в кадетском корпусе и был замучен красными казаками. Раны у той женщины гнили, ей не делали никаких перевязок – Мария Михайловна не позволяла, говорила: «Собаке собачья смерть».

9 августа 1919 г. Пятница

Вот уже сказывается успех в «Солее»! Сегодня пригласили петь в «Мозаику»!

Торшин обещал устроить выступление в «Гротеске»! Уже говорил с Алексеевым. Там будут выступать актеры из киевского «Кривого Джимми». Буду на одной сцене с Владиславским, Курихиным, Хенкиным, Бучинской!

Итак, я уже пела в «Дивертисменте» и «Яхте». Сейчас «Солей». Теперь будет «Мозаика»! А еще открылся, наконец, «Буфф» на Сенной! После всех митингов там был сплошной разгром. Зашла туда взглянуть – не узнала! Роскошная отделка зала, уютные кабинеты, электрическое убранство! И там буду петь! Да, буду! И сцена Асмоловского будет моя! И Машонкина! И Нахичеванского! Все сцены – мои! Вот увидите!

Перечитала – и самой смешно стало. Просто Хлестаков какой-то.

Но так хочется!

10 августа 1919 г. Суббота

Были с мамой на панихиде по Саше. Прошел год, как его больше нет.

Мама стала в последнее время такой потерянной. Так жалко ее!

Пришли домой и помянули нашего Сашеньку. И мама пригубила, и я.

Вспоминали разное. Как будто все это было в чьей-то чужой жизни. Вспомнили, как Саша тогда вбежал в комнату с криком: «Как, вы ничего не знаете?» Все перепугались, мама схватилась за сердце. Оказалась, что соседская собака ночью родила. Как сейчас вижу: мама идет к буфету, где у нее хранился флакончик с лавровишневыми каплями, мы с Катей и Машей хохочем, бежим смотреть на щенят. А позже в тот день мы узнали, что началась война.

У мамы теперь на ночном столике все время лежит Аввакум. Она то и дело повторяет: «Время приспе страдания. Подобаает вам неослабно страдати». Сегодня она сказала, что когда-то эти слова прочитала, и они запомнились, но не поняла. «А теперь все стало так просто: наказание дается не за грехи вовсе, а за счастье. Все имеет свою цену: за счастье – горе, за любовь – роды, за рождение – смерть».

Вспоминали весь тот ужас в прошлом феврале, что мы тогда пережили, когда Саша прятался несколько дней на Братском кладбище вместе с другими студентами и гимназистами из Студенческого полка генерала Боровского, которые не ушли с Корниловым. Несчастные мальчики ютились в склепах. Морозными ночами! Один из них ночью пробрался в город и передал весточку своим родителям, так, по цепочке, дошло до нас. Я ходила к нему, приносила теплую одежду, еду. С узлами идти было опасно, и я обматывалась как можно большим запасом белья, старалась пролезть в какую-нибудь дырку в заборе, чтобы не заметили у главных ворот. Там в отдаленных склепах пряталось много офицеров. Саша рассказал, что один сошел с ума и стал петь – его придушили, чтобы он своими криками их не выдал. Папа через доктора Копия, у которой муж ушел с добровольцами, достал документы, и ночью Саше с несколькими товарищами удалось уйти. Потом

кто-то донес, на кладбище устроили облаву и остальных, кого нашли, всех расстреляли.

Кругом шли обыски. Мы сожгли тогда со страху, из-за Саши, много бумаг – и погиб мой дневник.

Мама собрала все наши золотые вещи и закопала в жестяной коробке – а потом мы так и не смогли их найти. Кто-то, наверно, подсмотрел и выкопал. А Сашин новенький велосипед папа – он еще жил тогда здесь – из опасения реквизиций разобрал по частям и рассовал их по разным углам квартиры. Помню, как Саша гордился своим «Дуксом». Они все с папой перед покупкой спорили, что лучше, наш «Дукс» или иностранные «Триумф» или «Гладиатор».

Потом вспомнили с мамой тот обыск, когда ввалились пьяные, злые: «Что вам известно о вашем сыне?» И начался кошмар – со срыванием обоев и взламыванием досок с пола. Еще потребовали чаю – пришлось греть им воду. Об обыске мне до этого рассказывала Тося Городисская, ее брат Петя ушел в Ледяной поход и погиб где-то на Кубани. Когда Тося рассказывала со скрежетом зубов, что и как у них забрали, я только удивлялась такой привязанности к вещам. У нее отец – богатый биржевик. Ведь жить можно и без персидских ковров, и без серебра! Что за несчастье, если люди, которые работали в поте лица и ничего не имели, заберут землю, или дом, или мебель, которую они заслужили всей своей жизнью и которую у них, по сути, украли! Ведь не трудом праведным нажил Тосин отец палаты каменные! Они и сами должны были поделиться или что-то сделать для других – ведь это стыдно жить богато в нищей стране и при этом еще хвастаться своим богатством! И поделом им – возмездие. Ведь гениальный Блок все объяснил в своей поэме! И только когда пришли к нам, я поняла, что дело вовсе не в вещах и не в их ценности. Мама тогда стала упрости-

вать, плакать, как стали забирать все, что приглянулось, а я поняла: дело в человеческом достоинстве. Лучше стоять и молчать! А спас всех тогда папа. Обыск закончился тем, что они заперлись с ним в его кабинете, и он всех осматривал. А уходя, еще и благодарили: «Спасибо, доктор!»

Эти части от велосипеда и сейчас лежат по всему дому, как их тогда спрятали. И Саша никогда их уже не соберет.

11 августа 1919 г. Воскресенье

В первом ряду увидела Забугского. Старик совсем спятил и совершенно опустился. Грязный, помятый, но поджидал меня с букетом цветов. Бедный Евгений Александрович! Как забыть то, что он тогда отчудачил? На его экзамене плову, а Забугский все время мимо проходил – ничего не спишешь! Бросаю украдкой умоляющие знаки Ляле прислать шпаргалку – и вдруг Забугский незаметно кладет на стол аккуратно сложенный листок. Развернула – а это его почерк! Все решения, все ответы! А после экзамена попросил меня зайти в свой кабинет и стал объясняться в любви и делать предложение!!! И смех и грех!

Какой же он жалкий! И какая я слепая – ничего не видела! Когда он ходил по классу и останавливался у моей парты, дышал прямо в затылок, мне все казалось, что вот он еле сдерживается, чтобы не схватить за косу, отодрать. А он, наверно, хотел потрогать, погладить.

Мои поклонники! Как на подбор! Не знаешь, куда и прятаться!

Чего стоит только тот безымянный мальчик, мой молчаливый пунцовый воздыхатель! Вот уже месяц подкарауливает меня, а подойти боится. Так и хочется приманить его конфеткой и отшлепать

хорошенько, чтобы учил уроки, а не занимался глупостями!

А тот дантист с его шедевром: открываете рот – и ни одной пломбы!

А Горяев! Ведь он мне нравился, и еще как! До той самой минуты, пока мы с ним не столкнулись, когда я забежала к папе. Сидит и ждет приема! Увидел меня и позеленел. Что у него там – сифилис? Гонорея? Вот и вся любовь.

Я знаю, что я умею нравиться. Я все время ощущаю на себе эти голодные, жадные взгляды.

Но разве этого я хочу?

Ночью плачу и умираю, а утром встаю опять смелая и сильная. А потом опять ночь и страх. Мне нельзя оставаться одной. Вдруг начинает душить тоска, такая жажда любви, ласки, внимания – что кажется, пойду за первым встречным, кто ласково позовет!

Иногда, очень редко, мне снится Алешенька. И я снова гимназистка, у меня только и есть что эта любовь. Это самые чистые, самые печальные и самые светлые мои сны. Потом хожу как сомнамбула, вырванная из жизни. Испытываю отвращение ко всем мужчинам, неважно, кто рядом. Это, наверно, болезнь. Болезнь прерванной смертью любви. Так и буду, наверно, болеть Алешей всю жизнь.

И тут еще Павел!

Как хорошо, что Алеша этого не видит.

А если видит?

12 августа 1919 г. Понедельник

На следующей неделе Павел вернется.

Когда думаю о нем, сердце сжимается от странного ощущения какой-то виновности, какой-то тоски, одиночества и скуки, которые описать невозможно!

Как вылечить его от этой ненужной любви? Чуть! Любовь ненужной не бывает. Но что мне делать? Я хочу ему счастья и мучаю его.

Отчего я его мучаю? Оттого что мне самой плохо.

Иногда мне кажется, что Павел – самый близкий мне друг. Так хочется прижаться к нему, спрятаться у него на груди. А иногда, наоборот, чувствую, что все не так, что это мне чужой, непонятный человек.

Мама говорит: «Зачем ты мучаешь Павла – выходи за него!» Он сделал предложение по-старинному – пришел к моему отцу, поговорил с мамой. Будто они, а не я, решают мою судьбу.

Выйти замуж! За кого-то надо выйти замуж. Надо? Почему надо?

Меня ошеломила его влюбленность. Я сдурела от восторга. Любовь заражает.

Знаю, что буду любить только одного, но этот один не будет им!

Как долго еще могу это выдерживать? А если расстаться, то что со мной будет?

Так неудобно становится, пусто внутри от всех этих мыслей.

А если нет? Если совсем не люблю? Почему держусь за него? Да какое там держусь – вцепилась в него когтями, зубами!

Буду сильная. Буду холодная. Я скажу ему так: Павел, я тебя очень люблю, но любовь – это еще не все.

Нет, не так.

Надо прямо: тебе не нравится, что я хочу выступать, что хочу быть в центре внимания, что мной восхищаются, делают комплименты, что у меня появляются поклонники, а это неизбежно, если выходишь на сцену. Ведь для чего сцена? Для того, чтобы отдать любовь не одному, а многим и влюбить в себя весь мир! И тебе это больно! Вернее, это льстит твоему самолюбию, но еще больше царапает твое чув-

ство собственности. Да, мне приятно, что мне оказывают знаки внимания, что меня любят, но для этого жизнь и дана, чтобы меня любили! И наоборот, какая женщина не оскорбится, если кто-то не обратит на нее внимания? Вот я и заставила тебя в меня влюбиться! Понимаешь, что произошло? Я влюбила тебя в себя, а теперь не знаю, что с твоей любовью делать!

Нет, все не то. Скажу так: мы очень разные. Ты очень хороший человек, Павел, добрый, мужественный, сильный. Но у тебя тяжелая душа. Ты, кажется, вообще не умеешь смеяться. А я – легкая! Хочу смеяться и радоваться всему, всем красивым вещам на свете! Вот папа подарил мне новую шелковую рубашку с настоящими брюссельскими кружевами. Так приятно надеть ее на голую кожу! А ты, ты вообще умеешь радоваться жизни? Помнишь, Паша, ты сказал: как можно петь и веселиться, когда такое время, столько кругом боли и несчастий, зла! А я считаю, что, если красота и любовь не ко времени, тогда нужно быть красивой и любить назло времени!

Он спросит: «О чем ты?» Как всегда, не поймет меня.

Ты видишь только себя! Вот, например, Павел, фотография. Очень важно, если хочешь быть на виду, на сцене, иметь хорошие фотографии. Я все ждала, что ты будешь меня снимать, сделаешь красивый портрет, ведь мне это так важно! А ты и не догадался, пока не попросила. Извинялся, ругал себя, что олух. Сделал, но неудачно. А переснимать тебе некогда. И я тебя больше об этом не попрошу. У тебя есть более важные вещи, чем я. А я так и осталась без хорошей фотографии.

Нет, про фотографию ничего говорить не буду. Надо сказать просто и без всяких объяснений – ведь

он все равно ничего не поймет: если я выйду за тебя замуж, это будет ошибкой, болезненной для нас обоих.

Я смогу ему все это сказать? Не знаю.

Я очень хорошо отношусь к нему, и мне его жаль. Мне жаль его чувств ко мне. Сильный и мужественный, он становится беззащитен и жалок в любви. И ревнив. И обидчив. Любовь и жалость – это разные полюса. И это значит, что совсем-совсем не люблю его.

Почему я не объяснюсь с ним? Потому что знаю, что сделаю ему очень больно. Дарить любовь легко – отнимать трудно.

Павел, все дело в том, что тебе нужна жена, которая создаст дом, уют, тепло. И мне все это тоже очень важно, и я тоже хочу это кому-то дать! Но кроме этого, есть еще что-то в моей жизни, без чего дом, и уют, и все остальное теряет всякий смысл! Я не могу представить мою жизнь без сцены. Я испытала то удивительное ощущение, которое невозможно передать словами. Я пыталась объяснить тебе те чувства, а ты назвал это снисходительно сценическим экстазом! Ты просто не можешь понять, что это такие мгновения, когда чувствуешь себя владычицей мира, когда это уже не я пою, это кто-то поет мною! Мне надо испытывать это опять и опять. Иначе я не выживу! И поэтому я должна быть готовой ко многим, многим жертвам.

Ерунда. Ничего я не смогу ему сказать! Скажу только так: Павел, ты можешь дать счастье женщине. Но не такой, как я.

13 августа 1919 г. Вторник

Паша, миленький, хороший мой, прости меня за все эти глупости, я тебя очень-очень люблю! Только возвращайся поскорей!

14 августа 1919 г. Среда

Виделась с Жужу. У нее теперь роман с англичанином из миссии. «Он такой необыкновенный!» Своего Вольфа уже забыла. Тот тоже был «такой необыкновенный!». Удивительно, как никто больше и не вспоминает немцев! Взяли и дружно забыли. Будто ничего и не было. Все постыдное память услужливо стирает! Воевали-воевали, а как пришли немецкие каски на улицы Ростова – так уже не враги, а чуть ли не освободители! И как все в момент преобразились! Еще накануне одевались победнее, старались стереться, казаться незаметными, а тут в одночасье вынули лучшее – шелка, драгоценности, дамы первым делом надели шляпы! Мужчины – галстуки, крахмальное белье, гетры. Витрины магазинов вдруг засияли, за ними настоящие товары, колониальные продукты, ткани, обувь, часы! Это после всех реквизиций! И откуда что взялось? Только что все охотились за едой – вдруг еда стала охотиться за кошельками. Немцы запретили торговать и лузгать семечки – и семечек не стало, а до этого только их и продавали! Просто стыдно было смотреть, как все немцам обрадовались! Сразу спокойствие и порядок, вдруг откуда-то появились дворники и стали усердно подметать улицы и тротуары, не метенные бог знает сколько. Грабежи, убийства, обыски, реквизиции – как отрезало. Как это позорно и унижительно, что порядок и освобождение русским могут дать только немцы!

Я до сих пор все это не могу понять, как так получается: воевали против немцев за порядок и довольствие в своей стране, а смогли получить это, только когда немцы нас победили. А что случилось с железной дорогой! В одночасье вагоны и вокзальные помещения разделили на классы, поезда пошли по расписанию, порядок стал такой, как до революции!

Вдруг на перекрестках появились столбы с точным обозначением направлений и расстояний – путь на вокзал, в город, в комендатуру – только в минутах, «10 минут ходьбы». Сразу заработал городской телефон, дали электричество, не нужно было сидеть вечерами со свечами в полутемных комнатах. Просто поражает, с какой радостью все были готовы принять порядок – немецкий, с германским флагом, веющим над городом, – и не способны ничего сделать сами! И как все обрадовались, что на концертах стали играть не игравшуюся давно немецкую музыку – Вагнера! Но с Вагнером как раз понятно. А вот все остальное как объяснить?

К папе стали приходиться немецкие офицеры лечиться. Помню, с какой горечью он тогда сказал, что Россия никакая не великая, а просто очень большая рабская страна и должна быть немецкой колонией и что, если уйдут немцы, мы все друг друга здесь перережем, перегрызем друг другу глотки.

Вот и нет немцев.

15 августа 1919 г. Четверг. Успение

Все кругом озверели.

Сегодня я видела, как повесили человека, говорили, что это какой-то Афанасьев, красный агитатор. На Вокзальной площади. Я пошла за керосином, а там собралась большая толпа. Стояли молча, плотно прижавшись друг к другу. Бабы всхлипывали. Его вели, толкая прикладами в спину. Лет 25. Подвели к дереву. Никакой виселицы даже не устроили. Зачем, когда есть деревья? Один солдат надел ему на голову петлю и, примерившись, закинул веревку на толстый сук. С первого раза не получилось. Несколько раз забрасывал. Парень стоял и глядел перед собой широко раскрытыми глазами. Хотел еще что-то крикнуть, но не успел.

Пришла домой еле живая. Открыла книжку Никитиной. «Тучи вьются, струи льются, звон стекла. Часты капли, так, не так ли, жизнь прошла». Господи, какая чушь! «Росы рассветные». «Очаровательной Изабель». Швырнула в угол.

Почему Изабель? Какая я ей Изабель? Все будто специально кривляются и хотят казаться кем-то. Гадко. И я такая же. Больше не пойду к ним.

Все время думаю о Павле. Как он? Где? Я так за него боюсь. Не могу больше.

16 августа 1919 г. Пятница

Заходила Муся. Опять реки слез. «Что такое? Он покончил с собой?» – «Нет». – «Так что же ты решишь?» – «Он меня больше не любит!» – «Ну и хорошо!» – «Но теперь я его люблю!»

17 августа 1919 г. Суббота

Вернулся Павел. Слава Богу, целый и невредимый. Только что забежал на минуту, сказал, что сегодня или завтра добровольцы Бредова возьмут Киев. Помчался в свою лабораторию. Осунувшийся, небритый, в грязной шинели с золотистыми пятнами от навоза.

Дописываю вечером. Сейчас была у него. Он выглядит очень плохо. Опять столько всего насмотрелся. Рассказывал, как ехал с артиллеристами через поле, на котором был бой, и лежало много трупов. Трудно было провести орудие и не раздавить человека: красные бежали, сдавались в плен, но казаки устроили резню. Ездовые старались наехать колесом на голову, и она лопалась под колесом, как арбуз. Павел стал на них ругаться, а они божились, что наехали случайно, и гоготали. Он слез и ушел подальше, чтобы не слушать хруста голов под колесом и гогота. «Некоторые мертвые конвульсивно дергались.

А может, они еще жили. И знаешь, что я понял? Я понял, что я всех ненавижу!»

Мы стояли в красном полумраке. Он разводил свои растворы, а я гладила его по спине, по голове. Мне показалось, что у него жар. Я испугалась – вдруг тиф? Он стал успокаивать, что это обыкновенная простуда. Но мне тяжело на душе.

Опять ничего не сказала.

18 августа 1919 г. Воскресенье

Сегодня целый день в «Солее». Приплелась сейчас домой без ног, устала как собака. Хочу записать только несколько слов.

Отыграли с Торшиным четвертый дивертисмент, вышли отдохнуть во двор, и вдруг появляется – кто? Моя Нина Николаевна! Вся бешеная, как фурия. Я ее и не заметила в зале. Говорит недовольным тоном: «Что вы играли?» – «Как что? “Голодного Дон Жуана”. Гимназист объясняется своей пассивности в любви, а думает о еде». Тут Нина Николаевна прямо взорвалась: «Нет, вовсе не это вы играли! Я видела только, как вам жарко и как вам хочется поскорей отбарабанить свое и уйти!» Я взмолилась: «Нина Николаевна, да ведь это уже четвертый сеанс за день!» Она на меня набросилась: «Какое дело зрителю? Вы же не спрашиваете в парикмахерской у мастера, скольких он сегодня обслужил и устал ли он!» Снова прошла с нами всю сценку и только тогда отпустила играть в пятый раз.

Вот еще одна неотправленная открытка.

Это такая открытка, в которую лезут из дождя, как в окно, рыбацьи баркасы.

Дом стоял на самом берегу маленькой гавани Масса-Лубренце. В хорошую погоду слева виден Капри, справа – Везувий.

В тот день с утра не было ни Капри, ни Везувия, и ничего не оставалось, как гулять под зонтом или читать. Изольда пошла гулять с сыном, а толмач при- тащил из багажника в бумажных мешках от «Мигро» две пачки книг, которые перед отъездом набрал в библиотеке Славянского семинара.

В окно кухни было видно, какие женщина и ребенок на набережной маленькие и какие лапищи у прибоа.

Толмач стер капли с обложки верхней книги, оказавшейся житиями русских святых, и принялся перелистывать. Наткнулся на жизнеописание Антония Римлянина и увлекся историей итальянца, который стал новгородским чудотворцем.

«Преподобный Антоний родился в Риме в 1067 году от богатых родителей и был воспитан ими в благочестии. Он рано лишился отца и матери и, раздав все наследство бедным, стал скитаться в поисках праведной жизни, но везде находил лишь ложь, блуд и несправедливость. Он искал любовь и не мог ее найти».

Женщина и ребенок стали еще меньше, величиной с капли на стекле.

«Однажды он лежал на земле, среди цветов, и смотрел, как белый крест на красных петуниях зовет колонну муравьев штурмовать их муравьиный Иерусалим. Послышался бой часов, Антоний вздрогнул – прошло полжизни. Так Бог может свернуться в какой-нибудь предмет, или тварь, или в звук колокола – как молоко в творог.

И вот, отчаявшись и воскорбев в сердце своем, – продолжал автор «Жития», – Антоний пошел вон из города. Шел, не оборачиваясь, день и ночь, пока не вышел на берег моря. Идти дальше было некуда, и он вскарабкался на камень, выступавший из воды. Он простоял на этом камне целый день, повернувшись

спиной к оставленному городу и глядя в море. Потом наступила ночь, а он все не сходил с камня и не оборачивался. И так простоял он еще день и еще ночь. И неделю. И две недели. И месяц. И тогда камень вдруг оторвался от берега и поплыл».

Далее легенда течением гнала камень с Антонием вокруг Европы и непосредственно прибывала к берегу Волхова. Собственно, потом житие приобретало банальный характер с чудесами исцелений и нетленными мощами, исчезнувшими вместе с серебряной ракой в 1933 году. Осталась лишь ветвь осоки, с которой Антоний приплыл из Рима, держа ее в руке.

Потом вернулась Изольда и сказала, что завтра она с сыном уедет, потому что больше так жить невозможно.

Изольда с толмачом решили приехать на каникулы именно в это место, чтобы попробовать спасти их семью.

А скорее, семьи уже и не было. Просто они жили в одной квартире, ожесточаясь. Изольда укладывала ребенка каждую ночь между ними. Так когда-то делала мама толмача, беря его с собой на диван в подвале Староконюшенного, чтобы ребенок, который должен соединять, служил оградой, стеной, границей.

Решили приехать именно сюда, в Масса-Лубренце, потому что здесь они проводили каникулы за несколько лет до этого дождя.

Тогда все было по-другому. Слева каждый день был виден Капри, справа Везувий. В окно спальни лезли рыбачьи баркасы. Каждую ночь местные рыбаки уходили в море и утром приносили им свежую рыбу и «фрукты моря», фрутти ди маре, которые пугали их сына тем, что жили и ворочались.

Море чуть покачивалось, повешенное на горизонт, как на бельевую веревку.

Иногда шли дожди, но короткие, жаркие, после них все сверкало и дымилось. Один раз сын копался в мокрой после ливня клумбе и вдруг сказал, что дождевые черви – это кишки земли.

Они купались каждый день. Иногда к берегу приносило муть и грязь, кругом плавали водоросли и дынные корки, но если заплыть подальше, то начиналось совсем другое – там жила прозрачность в воде и в небе, и было видно, как на берегу ветер перемешивал виноградники и как сверкал на солнце золотой желудь церкви.

Толмач с Изольдой ужинали в ресторане на берегу, где ребенок каждый вечер засасывал в себя длинные спагеттины. Он так уставал за день, что засыпал прямо в детском кресле, приставленном к столику в ресторане, и они подолгу сидели и пили вино «Лакрима кристи» со склонов Везувия, слушая сопение спящего ребенка и плеск волн.

У них было свое дерево, платан, и, перед тем как идти спать, они проводили пальцами по его гладкой коже – воздух в темноте свежел, а она оставалась теплой.

Ночью в стороне Неаполя были видны за морем огни, казалось, что это за черной водой громадное гнездо трепещущих светляков.

Звезды были огромные, угловатые, неровные, грубого помола.

Наверно, толмачу и Изольде не надо было снова приезжать именно в Масса-Лубренце.

Они решили, по выражению Изольды, дать их семье последний шанс. Что все это зря, стало ясно с самого начала: они снова поругались – из-за открытого окна – еще в пробке перед Сен-Готардом, а потом всю дорогу ехали молча.

Ночью они проговорили до трех: все одно и то же, какие-то бессмысленные, никому не нужные

слова, потом толмач пытался заснуть в столовой на неудобном диване, закрыв голову подушкой, чтобы не слышать всхлипывания Изольды.

Утром не было сил ни о чем больше говорить. Ребенок чувствовал, что его мир рушится, и сидел в углу тихо, затаившись, что-то рисовал. У него пролилась вода из банки, и он размазывал пальцем мутные разводы по мокрой, покоробившейся бумаге.

После завтрака Изольда пошла с ним гулять, а толмач читал про чудотворные исцеления и нетленные останки.

И вот они вернулись с набережной. Сын включил телевизор и стал смотреть мультфильмы, а Изольда сказала, что завтра с ребенком она уедет, потому что больше так жить невозможно, и она просит, чтобы толмач сейчас же куда-то ушел, потому что она больше не может быть с ним в одном доме, находиться с ним в одном помещении.

Толмач ответил, что хорошо, действительно, так жить невозможно, и они все завтра же с утра уедут, и что он тоже не может находиться с ней в одном помещении. Тут сын, который сидел, свернувшись в кресле перед телевизором, тихо заскулил. Толмач хотел еще сказать Изольде, что они ведь договаривались ничего больше не говорить при ребенке, но сдержался, потому что все это было ни к чему. И чтобы ничего больше не сказать, поскорее вышел на улицу, изо всей силы постаравшись медленно и мягко прикрыть за собой дверь.

Толмач не знал, куда пойти, дождь то моросил, то останавливался. В окна домов на него смотрели, и захотелось где-то оказаться, где никого нет и быть не может.

По морю ходили буруны, а низкое небо было все в мутных разводах, будто по нему кто-то размазывал тучи пальцем.

Толмач дошел до парковки, сел в машину и поехал в сторону Сорренто. Там на полпути есть одно место, где скалы уходят далеко в море, и по ним можно гулять. В такую погоду там наверняка никого не будет.

Нужно было проехать через деревню. Иногда двери домов выходили прямо на улицу, и толмач тормозил и смотрел, как итальянцы живут – во все без прихожих, сразу за открытой дверью начинается семья. Вот сидит и смотрит на проезжающую машину старуха в черном, со страшными руками, исковерканными работой, за ней мерцает телевизор. Слышно в открытые окна голоса детей. Чернявый коротышка в белой майке и тренировочных штанах перебегает улицу в шлепанцах – с кастрюлей, из которой валит на дожде пар.

В каждом доме – семья, а то и несколько. И как же они могут жить вместе?

Да никак не могут! И за каждым окном кто-то рано или поздно сказал или скажет другому: так дальше жить невозможно, мы должны расстаться, потому что я больше не могу быть с тобой в одном помещении. И другой ответил или ответит: хорошо, действительно, так жить невозможно. И рядом в кресле свернется их ребенок, захочет стать совсем маленьким, слепым и глухим, чтобы ничего не видеть и не слышать, как подушка.

Когда толмач спустился по мокрой, скользкой дорожке, местами вырубленной в камне, к морю, то вдруг увидел, что там кто-то стоит у самого приboя. Какая-то коротконогая, полная женщина в розовом полиэтиленовом дождевике с капюшоном. Она недовольно оглянулась – видно, хотела постоять здесь одна, а он ей помешал.

Ее лицо показалось ему знакомым.

– Buona sera!* – сказал толмач.

Она, не ответив, отвернулась.

Толмач побродил по скалам, но женщина все не уходила, и ее нелепая розовая фигура торчала среди моря, назойливо лезла в глаза.

Могла бы хоть кивнуть в ответ.

Приехал успокоиться, а тут опять кому-то жить не даю!

Тогда толмач решил, что это не он ей мешает, а она ему, и сказал себе, что из принципа буду стоять здесь, пока та, в розовом дождевике, не уйдет.

Он стоял, прислонившись к скале, чтобы не так дуло, и думал, кого эта женщина ему напоминает. С ним уже было, что в разных странах он встречал двойников своих московских знакомых. Просто живет такой же человек в параллельном мире. И сам толмач сейчас бродит где-то по улицам разных городов.

От ветра и прибоя закладывало уши. Стало темнеть.

Вдруг толмач понял, кого напоминала женщина в розовом плаще. Только прошло много лет. Поэтому он ее и не узнал.

Она была похожа на ту девушку, которая всегда спала в позе, как будто плыла куда-то кролем. И еще та девушка стеснялась своей груди. У нее была заплатка из лягушачьей шкурки. Будто человеческой кожи не хватило и приклепали, что под руку попало. Царевна-лягушка.

Эта девушка когда-то резала себе вены, запершись от него в ванной и наглотавшись таблеток, когда им обоим было девятнадцать. Когда он позвонил в «скорую», его спросили: «Что, опять спящая красавица?» Он не понял, потому что не знал, что так в «скорой»

* Добрый вечер! (*итал.*)

называют девиц, которые глотают снотворное. Врач, перевязывая ей руки, с ухмылкой сказал: «На будущее, если захотите серьезно покончить с собой, резать надо не поперек, а вдоль». Пришлось мыть пол в ванной и коридоре, все было в пятнах крови, да еще санитары натащили грязи, была самая весенняя распутица. Потом, через много лет, Царевна-лягушка разрезала вены как полагается, вдоль.

Ветер становился все сильнее. Снова пошел дождь. Толмач вконец промок и продрог. Темнело стремительно, на глазах, как может темнеть только на юге. Нелепый розовый дождевик светился на фоне моря все на том же камне, бившемся с прибором.

И тут толмачу захотелось поскорей вернуться домой, чтобы рассказать все это. И про Царевну-лягушку, и про то, как он здесь стоял и смотрел на начинающийся шторм. И еще поиграть во что-нибудь с сыном. Взяли ведь с собой целую коробку разных настольных игр. Так захотелось тепла, уюта, дома.

Захотелось вернуться, обнять, забыть все злое, что было. Лежать ночью, прижавшись крепко друг к другу, и слушать шторм.

А утром будет снова светить солнце, как тогда, и море будет чуть покачиваться на туго натянутом горизонте.

Толмач стал карабкаться наверх по мокрой, скользкой лесенке, выбитой в скале. Пока поднимался, совсем стемнело, а мерцающий дождевик все чего-то ждал.

Тропинка заворачивала, и толмач оглянулся в последний раз, чтобы посмотреть на море. Камень с розовым пятном отделился от берега и поплыл.

17 сентября 1924 г.

Сто лет не писала дневник, а тут увидела этот блокнот, некрасивый, но мне все равно. Так хочется,

Сережа, все тебе рассказать! Моих писем ты боишься. Вернее, говоришь, что боишься их пропажи. Пусть. Вместо писем ты получишь этот блокнот, когда мы встретимся.

Вот что со мной произошло. После концерта выпила стакан ледяной воды. Знала, что нельзя, но ведь и раньше сто раз так делала – и ничего не происходило! Всю ночь знобило. Утром начало першить в горле. Ужасно было чувствовать, как заболеваю. Насморк. Закуталась в шаль, заглотнула аспирин, выпила липовый чай с лимоном. Стало немножко лучше. Растерла грудь жиром и водкой. Так пролежала до вечера. Зашел Ваня Делазари, чтобы идти в «Яр». Погода солнечная, Ваня хотел пройтись до Седьмой линии. По Среднему проспекту это два шага. А у меня ноги совсем слабые. Он тут только и заметил, что со мной что-то не так. Испугался: «Может быть, тебе лучше сегодня не петь? Найдем замену». Меня это взбесило! Уже готовы заменить! Как у них все скоро получается! Заменить? Меня? И кем, интересно? Сказала себе, что буду петь в любом состоянии – с ангиной, с нарывами в горле, с высокой температурой. Всегда можно незаметно для публики переставить акценты, скомпенсировать невзрачный голос пластикой, темпераментом! Если не петь, то играть. Взяли извозчика, поехали. В гардеробе, как всегда, запустила в глаза по капельке атропина. Глазищи – во! Уже во время второго романса почувствовала, что пришла горячка, в голове шум, боль в висках, с горлом все не так. Кончила петь вслепую, ничего не видела и не слышала. Только слезы катятся по щекам. Это произвело огромное впечатление на публику. Слезы настоящие, а им там кажется: как она божественно играет! Таких аплодисментов уже давно не было.

Дома вызвала врача. Долго осматривал горло, уши, нос, взял мазок из горла. Я уже только хрипеть

могла: «И что?» А он: «Хотите честно?» У меня темнота перед глазами. «По-моему, плохо, воспаление голосовых связок». Шепчу ему: «Но что мне делать? Мне надо петь, у меня концерты!» – «Вам не петь надо, а лечиться. Даже говорить вам нельзя, если не хотите совсем потерять голос».

Это было вчера. Какой ужасный день! И ночь. Сидела и плакала. В конце и слез не стало. Лежала в отупении в кровати. Опустошенная, обесмысленная, разбитая. Боже, почему Ты так меня наказал? Что я сделала? Почему? За что?

А сегодня прибежали все – и Эпштейн, и Ваня, и Клава потом зашла, и Майя. Майя вместо меня будет петь. Она больше всех сокрушалась и жалела меня, но жалость у нее плохо получается. Какая-то радостная жалость. Очень уж неумело скрывала свое счастье. Иосиф сказал, что мне обязательно поможет Поляков – главный ларинголог Питера. Он Собинова спас. У него все великие лечатся. Эпштейн – лапушка! Он меня уже к нему записал. Там запись за месяцы вперед – вокалистов хлебом не корми, дай полечить горло! А Иосиф все сделал так, что тот меня примет в пятницу! Это уже послезавтра.

Вот, все ушли, а я одна. Не одна, а с тобой, Сережа! Как мне не хватает твоих слов, твоего голоса! Так хочется, чтобы ты мне шепнул, что все будет хорошо. Ведь все будет хорошо? Я снова смогу петь? Да?

Я буду. Я должна.

...

Пишу ночью. Мне все хуже. Глотать больно, каждый глоток воздуха царапает стенки горла до слез.

Начался кашель.

Сережа, мне так плохо, а ты так далеко! Так хочу обнять тебя, а приходится лежать в обнимку с коленками. Я все могу, я сильная, но я не могу главного,

Сережа, не могу сама себя обнять, сама себя погладить. Так хочется, чтобы ты сейчас был рядом, прижаться к тебе, спрятать голову у тебя под мышкой! Я так соскучилась по твоему запаху, по твоей коже, по твоим волосам!

А мной интересуются только вот эти зудливые комары!

Я так счастлива, что ты у меня есть, и так несчастна, что на самом деле тебя у меня нет!

...

24-й год – как утверждают оккультисты – год Венеры, и я ощущаю это на себе. Это наш с тобой год. Все у нас с тобой будет хорошо! Все обязано быть хорошо!

...

Ничего хорошо не будет!

Встала с утра злая на себя, на то, что вчера так распустила нюни. Размазня! Подумаешь, горло! У всех горло! Нечего время попусту тратить! Села за фортепьяно. Надо работать! Стала читать ноты, которые прислал Фомин. Боря – гений! Ужасно, если его вконец охмурит его цыганка! Работала «насухо», беззвучно. Не могу открыть-закрыть рот. И все время злость на собственное горло: нет, со мной такого не может быть! Не со мной!

И снова страх: неужели больше никогда петь на сцене не буду? Вспомнилась несчастная Нина Литовцева. Она ведь тоже простудилась, насморк перешел в воспаление среднего уха, пришлось делать прокол нарыва, а сделали так, что началось заражение крови! Это рассказывал Поль, а он близко знаком с Качаловым.

Как просто! Какой-то насморк – и вся жизнь испорчена.

Опять полдня проревела. Так себя было жалко, что слезы сами текли.

И все тот же вопрос: Боже, почему я? Если это наказание – то за что? Неужели за тебя, Сережа, неужели за нашу любовь?

...

До пятницы еще целая вечность!

...

Зашла Клава, стала жаловаться на Ивановского, у которого снималась на пробах в Севзапкино. Ей по сцене нужно было заплакать. Она попыталась вспомнить что-нибудь грустное. Слезы полились, а Ивановский заорал на нее: «Не то! Не то!» И стал кричать на нее площадными словами, что она ни черта не умеет, и не актриса, а дрянь! Тут она заревела от обиды, и сразу стали снимать. Он это все нарочно подстроил! Специально обидел, чтобы слезы вышли натуральными. Я ее утешаю: «Клавочка, солнышко мое, но ты же сама знаешь, что все режиссеры – мерзавцы и свиньи! Работа у них такая!» Тут она за него обиделась: «Ты ничего не понимаешь! Он – гений!» Понятно! Роль у нее: много слез, а в конце топится, и ее приносят мокрую в рогоже.

Еще рассказала странную вещь, что змеи чувствуют пол партнера по сцене, поэтому питоны-самцы «спариваются» в варьете с артистками, самки – с артистами. Действительно, та, в «Эрмитаже», выступала с самцом.

Погода портится. Клаве кто-то сказал, что будет наводнение.

...

После обеда прилегла – из-за бессонной ночи. Забылась, а вскочила вся в поту. Приснилось, что

выхожу на сцену, а шею раздуло, прямо настоящий зоб. Пою, а вместо голоса – сип. Решила: если не смогу больше петь – покончу с собой. Решила и успокоилась. Стала думать про самоубийство. Броситься с моста – страшно. Один раз видела утопленника. Нет! Такой умереть не хочу. Повеситься? Кто-то когда-то сказал, а мне слова врезались: хочешь вешаться – сходи сперва в уборную! У повешенных опорожняется мочевой пузырь и кишечник. С тех пор вешаться – исключено. Остается наглотаться порошков. Умереть, как швейки, – от веронала.

...

Господи, что я такое понаписала!

Сейчас приведу себя в порядок. Накрашусь, причешусь. Надену самое лучшее. Ни для кого, для себя! Сяду за фортепьяно и стану играть!

...

Кажется, я просто схожу с ума.

Разорвала ноты. Расшвыряла по комнате. Не будет никакого пения! Никакой музыки! Ничего не будет!

Перемыла посуду. Сижу, смотрю на покрасневшие кисти рук и слушаю спускание воды в уборной. Уборная в этой квартире работает без перерыва.

...

Немного успокоилась. Сидела и клеивала ноты.

...

Меня поразило, как Клава сказала несколько недель назад, что я стала жестокой. Я спросила ее: «К кому?» Она ответила: «К себе».

...

В каком-то французском романе доктор предписал героине проглотить кусочки льда как лекарство от ангины. Все никак не могу вспомнить – в каком?

Выйти бы сейчас пройтись, но ночь, страшно. Все газеты только про грабежи да убийства.

...

Вдруг подумала: что я на самом деле делаю на сцене? Я люблю. Люблю тех, кто пришел, добиваюсь их любви. У меня любовь с целым залом, с сотнями мужчин и женщин. Я умею сделать их счастливыми на один вечер. А потом возвращаюсь домой одна и ложусь в эту ледяную постель.

Так отвратительно это ночное одиночество, пронизанное тоской и страхом.

Приняла понтанон. А ведь знаю, что от него будет болеть голова!

...

Фонастения!

Наконец была у Полякова! Ничего хорошего.

Функциональное заболевание голоса. Развивается на фоне нарушения нервной системы. В тяжелых случаях наступает афония. Это значит, что я могу вообще остаться немой.

Старик сначала напугал, потом смазал горло камелью и успокоил, что все будет хорошо: «Сделаю вам соловьиное горлышко!» Он, не сомневаюсь, всем так говорит. Но в это так хочется поверить!

Полный покой, абсолютное молчание в течение нескольких дней, бромистые препараты, витамины.

А может, это светило Поляков сам ни черта не смыслит? Может, он из тех врачей, которые уверяют больного, что с лекарством пройдет через неделю, а без лекарства через семь дней?

Как бы то ни было, говорить мне строжайше запрещено. Придется изъясняться теперь бумажками.
Я – немая.

...

Еще Поляков сказал, что стакан холодной воды тут вовсе ни при чем. Все от переживаний. Видишь, Сережа, все оттого, что ты далеко.

Погода ужасная. Ветер. Дождь.

Вот и я опять отплакала свою порцию слез. Хорошо, что ты меня сейчас не видишь.

...

Какой сегодня день? Я совсем потеряла счет времени.

Тоска, холод – глупо это записывать. Еще и чулок порвала обо что-то.

Состояние у меня крайне напряженное. Все во мне натянуто. Достаточно какого-нибудь толчка, испуга, чтобы я окончательно свихнулась. Ничего делать совершенно не могу. Успокаиваю себя бромом с кодеином.

...

Поздно вечером – Ваня ушел сейчас. Поругались – в первый раз. Никогда такого не было. Он пришел меня навестить, поддержать, а достал бутылку. Я и не поняла сперва, что он уже пьян. Мой аккомпаниатор стал вдруг говорить мне такие неприятные вещи, но, может быть, он и прав. Ни с того ни с сего заявил, что я, когда пою на сцене, – богиня, а когда за столом что-то говорю – обыкновенная и несу чепуху. Я его в конце концов прогнала. Он, как выпьет, злой. Но, наверно, в этом что-то есть. Все кругом невыносимо, и я сама невыносима.

Кто это сказал, что артисты и публика не должны встречаться вне театра? Как мудро! После того как занавес падает, нужно попросту исчезнуть, испариться, как по мановению волшебной палочки.

...

Странно все-таки, у меня успех, цветы, поклонники и проч., а мне все кажется, что это какая-то ошибка, будто меня за кого-то принимают.

...

Конечно, я самая обыкновенная, и мне все нужно, что нужно для земной женщины, и нужно сейчас: боты, пальто, пара зимних платьев, шляпа, духи, отдельная квартира. Но все это глупости. Настоящей земной мне нужен ты! Сейчас, немедленно и каждый день! Ты мое спасение. Я не могу без тебя жить. Я умру здесь. Почему ты сейчас не со мной, а с ней? Ведь она убивает тебя. Ведь ты обещал оставить ее и прийти ко мне! Ты ведь говорил, что для тебя наша любовь важнее всего на свете! Почему так мучаешь меня? Где ты?

Вот перебираю в руках бусы из агата, моего июньского камня, приносящего удачу. Он принес мне тебя. Но разве ты у меня есть?

...

За дверью крики. На чердаке у соседей украли все белье.

...

Вот уже неделю от тебя ничего нет, а хочется получать твои письма каждый день. Ведь я живу от письма до письма. Напиши – с твоим письмом так сладко спится!

А еще ты не написал, видел ли уже чеховского «Гамлета». Здесь все только об этой постановке и говорят.

Напиши хоть что-нибудь! Ведь мне не нужны от тебя подробные отчеты. Просто несколько строк. Просто твой почерк, твоя рука.

...

Сижу, смотрю в дождливое окно и вспоминаю, как мы бродили тогда, в апреле, неприкаянные, по Москве. Хотелось остаться вдвоем, только вдвоем, и некуда было приткнуться. И так замечательно было прятаться от всех где-нибудь в музее. Помнишь Морозовскую галерею? Импрессионистов? «Весну» Дега? В Шукинской меня поразила «Кубическая Венера» Пикассо. Чудовищная, тяжелая, вся из углов. Ты мне объяснял что-то про кубизм. А потом до меня дошло, что дело не в кубизме. Просто это женщина, от которой ушла любовь. Как страшно стать такой!

...

За окном туман. Осенний, питерский. В воздухе мокрота, эта особенная, без дождя, мокрота, какую можно ощущать только здесь. Но и то лучше, чем летняя пыль. Все лето стояла духота и пыль столбом, всюду чинили мостовые, белили стены домов, по улице нигде не пройдешь, все перерыто, валяются инструменты, ведра, лопаты, воняет краской, лошадиным потом.

А все-таки хорошо, что все те страшные годы позади. И так радостно, что все ужасное, нищее остается в прошлом, город чистится, впервые со времени войны красят дома, чинят тротуары, везде восстанавливают центральное отопление, люди снова хорошо одеты, на деньги все можно купить, летом снова уезжают на дачи!

Все еще путаются в деньгах. В Гостином дворе купила себе туфли, пошла в кассу, а барышня спрашивает, сколько я хочу платить – в чеке продавщица

неразборчиво прибавила то ли *м.*, то ли *т.* Миллионы? Тысячи?

Все так быстро меняется! И быстрее всего исчезают шутки. Помнишь плоскую шутку про водопроводчика, починившего трубы? «Вошел к нам без копейки, через полчаса вышел миллиардером». Никто и не поймет, чему мы смеялись.

И забывается все так же быстро. Знаешь, что я получила от сестры Кати к именинам в 21-м? Портьеру на зимнее пальто! Сколько было счастья!

Теперь у меня появляются деньги. Иногда даже много. Но что такое иметь деньги в нищей стране? Все перепуталось – богатство и голод. У Елисеева на Невском – дичь, и живая рыба, и тропические фрукты, и галантные приказчики, а у входа – нищие. И так всегда было, и так всегда будет. И нужно научиться жить, не обращая внимания. Нужно, только невозможно.

Иду по городу, а оборванные спят прямо на тротуаре, и в одиночку, и семьями, все в лохмотьях, вшах. И на тротуаре шапка или рваная фуражка, чтобы бросили мелочь. Бросишь, а эти деньги потом украдут беспризорные или все равно пропьет. И все босиком. Чего стоят эти ноги! Посмотришь – и настроение на неделю вперед испорчено, ни в какой ресторан не захочется. Идешь мимо, и ничего сделать невозможно. А может, надо только радоваться, что сама не лежу среди них. И очень хочется завтра быть не с этими на улице, а там, где красиво, и чисто, и тепло, и весело. Непонятно, как это раньше хотели упрощаться, уходить в народ, в босяки. Наверно, тех ног не видели.

А беспризорных детей сколько повсюду! И хочется их пожалеть, а как их жалеть, если они собираются в стаи и нападают? Нюся рассказала: хотели вырвать у нее сумочку, а там вся зарплата за месяц. Она

вцепилась, не отпускает. Мальчишка ей кричит: «Укушу, а у меня сифилис!» Она пальцы и разжала. Прибежала вся в слезах.

Нужно стыдиться своего благополучия, когда рядом нищета и убожество? А может, наоборот, надо радоваться, что я не на тротуаре в лохмотьях, что у меня красивая шляпка, и туфельки, и раскрасневшиеся щеки, и молодость, и здоровье, и любовь?

Господи, о чем я пишу!

Подошла опять к зеркалу, разинула рот, пытаюсь что-нибудь рассмотреть. Отвратительное зрелище!

...

Дождь. Да еще какой!

Вся мостовая в желтой пузырьчатой пене. Это смола выходит из торцов. И чего питерцы гордятся своими торцовыми мостовыми? Ну и что, что такого больше нет ни в одном городе! Чуть дождит – и скользко, будто по мылу идешь! Того и гляди, ногу сломаешь.

...

Пробила пушка. Но это вовсе не значит, что полдень. Один раз я хотела поставить часы по выстрелу, а Эпштейн сказал, что пушке доверять уже нельзя, потому что Пулковская обсерватория больше не дает сигнала в крепость, когда наступает 12 часов, – сигнал дается теперь только на почтамт.

...

Все время думаю о тебе, вспоминаю твои приезд. Какие это были чудесные дни! Здесь все напоминает о тебе. Даже хлеб! Только что заходила Клава. Принесла халу с изюмом из филипповской булочной, такую, какая тебе так понравилась. Помнишь, я водила тебя на угол Старо-Невского и Полтавской – там пекарня.

Как я мечтала о том, чтобы ты приехал! Представляла себе, как мы встретимся в Михайловском сквере, как пообедаем в «Европейской» в ресторане на крыше. И вдруг – ты! Без письма, без телеграммы! Что может быть чудеснее на этом свете: прихожу к себе, а ты здесь меня ждешь! Вот это и есть чудо.

Я выступала тогда в Летнем театре, и шли дожди, но каждый раз был аншлаг. Я сказала тебе, что это все – Леда, который читал Зоценко, а ты уверял, что это из-за меня! Так замечательно было петь для тебя! Вот так бы выходить каждый раз на сцену, зная, что увижу в зале тебя.

А до Эрмитажа так в тот раз и не дошли! Все пути приводили вот в эту постель, такую никчемную, такую пустую без тебя!

Помнишь твой носовой платок? Я завязала его узлами так, что получился маленький тряпичный человечек. Он живет у меня под подушкой. Я теперь могу заснуть, только если этот человечек держит меня за палец.

...

Помнишь поездку в Стрельну? Как в нас летели камни, когда пошли погулять по парку? Надо же предупредить влюбленных за версту огромными плакатами, что в большом дворце Петра теперь детдом!

А как поднялись на купол Исакия и у меня закружилась голова от высоты?

И так не хотелось вылезать из кровати, а нужно было что-то придумать на ужин, и ты сказал: «Замри», а сам сбегал вниз в кооператив и принес шоколадных конфет, швейцарского сыра, винограда, бутылку вина! Как было чудесно!

Кладу тебе в рот виноградину, а ты держишь ее в зубах! Какие у тебя божественные зубы!

...

Пришел Эпштейн и выгасил меня на улицу. Сказал, что без свежего воздуха я совсем превращусь в мумию. Шли, шли и дошли до «Пиккадилли». Уселись и погрузились в созерцание глупейшего немецкого фильма – вошли в середине 3-го акта. Не выдержали, ушли, отправились попытать счастья в «Колизей». Перед началом сеанса публику развлекали балалаечники, исполняли фокстроты. Смотрели кинодраму «Прокурор». Глупость, но она меня ужасно взволновала, а главное, отвлекла. Прокурор выступает как обвинитель против любимой женщины, которая не оправдывается, чтобы не запутывать его в дело, и ее гильотинируют.

Промолчали весь вечер. Я по необходимости, а он, наверно, оттого, что нечего сказать. Вернее, сначала он без конца что-то болтал, а потом вдруг сказал: «Странно все время говорить с молчащей женщиной», – и тоже замолчал.

Потом поехали в наш «Яр». Не надо было! Вошли, когда пела Майя. Тут мне стало плохо. По-настоящему плохо.

Сижу, кругом ей хлопают.

А меня уже нет?

Сказала, что у меня жар, и ушла. Иосиф посадил меня на пролетку.

А у меня и есть жар.

...

Сережа, любимый мой, помнишь, я пришла вся заплаканная, потому что вылезла из трамвая, из толкучки, и только тогда увидела, что вся перепачкана в молоке и на туфли накапало. А ты обнял меня и стал успокаивать, как дочку. Где ты, Сереженька, приди, прижми, успокой, убаюкай! Так хорошо быть с тобой маленькой! Так хочется забыться в твоих ру-

ках! Позабыть все на свете. Даже сцену! Я так устала открывать на сцене душу, а за кулисами прятать ее поглубже, потому что там нужна не душа, а острые зубы и когти! И главное, нужна не кожа, а шкура, как у носорога! У меня нет шкуры! Мне так больно!

...

Сегодня Эпштейн явился с букетом роз и опять звал замуж. И знаешь, Сережа, чем меня хотел взять мой администратор с Седьмой линии? Не представляешь! Он бросает к моим ногам целую Францию! Его собираются послать туда представителем Межрабпром-Руси!

Бедный, наивный Иосиф!

Ему кажется, что я должна броситься ему на шею из-за какого-то Парижа! Мне не нужен никакой Париж, Сережа, мне нужна твоя любовь!

Никогда еще не отказывала на листочке бумажки. А тут вырвала из этого блокнота и написала крупными буквами: «НИКОГДА!»

Кстати, вот тебе еще забавный эпизод. Эпштейн даже, представь себе, познакомил меня на той неделе со своей мамой! Ожидала увидеть расплывшуюся матрону, этакую библейскую Ревекку, а это такой сухой живчик, говорящий прокуренным, низким голосом. И все интересовалась, нет ли у меня иудейских родственников! Мы с ней сразу друг другу не понравились. Так сказать, нелюбовь с первого взгляда. Зато какой был гефилте фиш! Пальчики оближешь!

И еще Иосиф принес банку дивного какао «Ван Гунтен»! Пью, балую мое бедное горлышко. Помнишь, мы спорили, какое лучше: «Ван Гунтен» или «Жорж Борман»?

Приходил Ваня Делазари, грустный. Проигрался в «Сплендид-Паласе». Занял денег.

...

Все перепугалось – сплю днем, а ночью глаза не могу сомкнуть. Не знаю, какое сегодня число.

Как ненавистна мне эта комната без тебя! Спина уже разламывается от койки-гамака. Я задыхаюсь от недостатка свежего воздуха, открываю окно. Ложусь спать в носках, ногами к стене, опасаясь, что по мне ночью будут ползать тараканы. Сереженька, спаси меня! Постучи вдруг в эту дверь!

...

Не спится. Лежала и вспоминала тебя. Перебираю тебя, как четки, твои слова, жесты. Вот ты помогаешь мне снять сырое, тяжелое пальто, стаскиваешь галоши! Помнишь тот день, когда мы попали под ужасный снег с дождем? А еще снова и снова получаю от тебя на день рождения цветы и флакон «Джики» Guerlain. Каждый раз, когда обмакиваю кончик пальца и провожу за ушами, накатывает такая волна нежности к тебе!

...

А помнишь, как все было в первый раз? Ты – негодный обманщик! Позвал на день рождения к какому-то другу, а не оказалось ни друга, ни дня рождения! И какой чудесный был этот обман! Я пришла с мороза. Знаю, что сейчас все будет, и от этого как в тумане, сама не своя. Медленно хожу по комнате, снимаю с себя шапочку, перчатки, бросаю на пол, не глядя. Ты подошел, взял мои руки, прошептал: «Какие ледяные!» Стал их согревать губами.

...

Что такое законные права? Я признаю только настоящие права – и по праву любви ты – мой. О Господи, до чего жалки супружеские права! И что они

значат по сравнению с моим правом засыпать и просыпаться с тобой каждую ночь и каждое утро? Это право принадлежит мне, а не ей!

Право на тебя есть, а тебя самого нет.

...

Перечитала этот бред гимназистки, и вдруг стало так очевидно, что ничего у нас не будет, что ты никогда не уйдешь от нее ко мне. И так стало пусто на душе! Так расхотелось жить!

Только с тобой я поняла, что значит задыхаться от ярости. Представляла себе тебя с ней. Как ты целовал ее волосы, ее губы, гладил ее кожу и там, и здесь. Представляла, как ты ей шептал – что? То же самое, что мне? Изводилась от ревности.

...

Нет, вру, все не так. Я же знаю, что у вас давно ничего нет. По-настоящему больно мне тогда, когда я вдруг начинаю думать не о том, что у тебя с ней в постели, а о том, что ты ее еще любишь. Мне все время страшно: вдруг ты ее еще любишь?

...

Тот ужасный вечер в Москве, когда я в первый раз пришла к вам домой, преследует меня, как кошмар. Хочу забыть его и не могу. Вошла и сразу почувствовала всей кожей присутствие другой женщины. Она везде, во всем. И все стерильно чистенько, не то что у меня. И запах. Ее запах. Ее одежды, ее духов, ее тела. Невыносимо. Больно. Выдавила из себя: «А у вас уютно». А ты ответил: «Я здесь ни при чем».

Легла в вашу – твою и ее – кровать. В ее кровать. В ее комнате. И как окаменела. Пропало все желание. Боялась тебя обидеть. Ничего не сказала. Но ты все почувствовал.

Как это унижительно! Всегда будто воры. Неужели мы воры, Сережа? Нет, это не так, этого не может быть! Ты ведь любишь меня, а не ее! Ты ведь мой настоящий муж, а не ее! Нельзя украсть то, что и так принадлежит только нам двоим!

Опять говорю что-то не то. Дело ни в каком не в воровстве. Знаешь в чем? В ее тапочках. Я тогда все время смотрела на ее тапочки у дверей.

...

Клава – моя самая близкая подруга. Ты знаешь, что она мне говорит про тебя? Конечно, не знаешь. Она говорит, чтобы я тебя оставила, что нельзя разрушать чужую жизнь. А главное, что, если бы ты любил меня по-настоящему, ты давно бы уже был со мной. Если бы ты действительно хотел уйти от нее ко мне, то давно бы это сделал. Она права.

Уверена, что ты не запомнил тот день. Я уже заметила, что мы запоминаем совсем разное. В тот день я решила уйти от тебя. Все прекратить. Решила, села в угол и долго плакала, не двигаясь и не моргая, упорно рассматривая цветок на обоях. Когда-то в детстве научилась так плакать у Башкирцевой. И поехала к тебе в уверенности, что скажу раз и навсегда: нет! А увидела тебя и вдруг поняла, что так тебя люблю, как никогда и никого еще не любила, что ради тебя мне и дали эту жизнь. Увидела тебя – и все снова произошло. Так хорошо было любить друг друга! Ни о чем уже не могла думать, только о том, какое это счастье – быть твоей!

Ты знаешь, со мной так никогда раньше не было. Я все время в тебя влюбляюсь заново. Нахлынет – и хожу как незрячая, сухие губы, горячечные глаза.

...

Я ревную? Ничуть. Как можно ревновать там, где ничего больше нет, только пепел.

Помнишь, у Шмакова эта невозможная Руна-Пше-сецкая стала расспрашивать тебя про жену: «Почему ее здесь нет? Она очень хороша собой? Какая она из себя? Брюнетка или блондинка?» Думала, вырву ей язык! Но это ревность не к твоей Оле, а к тому, что не я твоя жена. Вернее, к тому, что никто не знает, что твоя жена – я. Почему мы должны это скрывать?!

А если не жена, то кто я? Твоя любовница? Какое гадкое слово.

...

Скажи только одно: ты ее еще любишь?

А если нет, то почему мы не вместе?

...

Я знаю, Сережа, все у нас будет с тобой хорошо. Я через месяц вернусь в Москву. У меня будет комната. Ты уйдешь от нее ко мне. Это и будет наше счастье.

...

Ты говоришь, что все упирается в сына, что вы вместе ради него. Я знаю, что тебе с ним трудно, у него сейчас самый тяжелый возраст.

Ты был таким растерянным, разбитым, когда рассказывал, как он украл у тебя деньги и проиграл их на тотализаторе с какими-то негодьями.

Я понимаю тебя, когда ты говоришь о том, что тебе трудно оставить ее из-за Семы. Но он все равно останется твоим сыном. А у нас будет еще один ребенок. Хочешь, я рожу тебе девочку?

Я тебе этого еще не говорила. Так вот, знай: я так хочу от тебя ребенка!

Только от тебя.

...

Все время задаю себе вопрос: почему ты до сих пор с ней? Знаю, что ответ не в тех словах о сыне и долге. И невозможно тебя спросить напрямик, что дает тебе эта женщина, чего не могу дать я. Не могу дать? Я?

Может, все дело в том, что я сильная и тебе меня не жаль? Есть такие женщины, которые всю жизнь играют роль маленькой девочки и заставляют всех вокруг заботиться о себе. Она – из тех? И тебе ее жаль?

...

Перебираю мои воспоминания, как драгоценные зернышки. Каждое пускает во мне росток: как дурачились, толкали друг друга в снег, как я забросила в сугробы твою шапку. Потом спустились под мост на лед, на самую середину реки, и вытоптали на снегу то наше слово. Вспоминаю тот мороз, от которого у тебя выросли седые усы. И как мы спали, накрывшись и одеялом, и твоим полушубком, он все время сползал на пол.

А утром в зеркале – чужая, незнакомая, красивая. Неужели я? Как ты умеешь своей любовью сделать меня красивой!

...

Ночью во сне целовала твою гладко выбритую щеку, гладила твои волосы.

Однажды ты перебирал на столике мои вещицы и вдруг сказал: «Эти духи пахнут тобой!»

Помню тебя наизусть. Провожу ноготками по спине. На лопатках под ладонями чувствую твою пушистость. Говорю: «Сереженька, у тебя крылышки растут! А правое почему-то больше левого». А ты отвечаешь из-под подушки, что правым ты

машешь сильнее. Почему ты всегда спишь с подушкой на ухе?

Так больше продолжаться не может! Я так больше не могу! Мы должны быть вместе, жить вместе, спать вместе, есть вместе! Когда ты тогда заболел, первым моим порывом было примчаться к тебе – ухаживать, спасать! И – невозможно. Нельзя переступить границы. Ложь, кругом только ложь! Как это недостойно и тебя, и меня, и ее.

...

Я – зареванная, а ты не любишь, когда я плачу. Хорошо, что ты не видишь мое некрасивое, распухшее от слез лицо. Сейчас соберусь и сделаю так, чтобы тебе было приятно.

...

Заказала увидеть тебя во сне. Господи, что это был за чудесный сон! Ты меня целовал везде, понимаешь, везде! Ты довел меня до сумасшествия. Проснулась вся мокрая и внутри, и снаружи! И счастливая! Я была эту ночь с тобой!

И сейчас еще чувствую на своей коже твои руки. Если у мужчины красивые руки, по-настоящему красивые, как у тебя, он не может быть уродливым в душе. Руки не лгут.

Как я люблю твоё тело, твои руки, ноги, пальцы на ногах! Как люблю целовать и гладить все твои родинки, шрамы, твой большой шов на животе! Боже помилуй, тебя же на операции вспороли, как рыбу! Обожаю гладить и целовать твою коленку, где у тебя черный шрам. Надо же было замазать рану сажей!

Ты так любишь, когда я провожу по твоей коже кончиками ногтей. Как ты изголодался по любви и как ты божественно умеешь любить! Ночами пе-

реживаю снова и снова, как ты целовал меня внизу, губы в губы, и как твои губы после этого пахли мной.

...

Ты все время говоришь о семье. Никакой семьи у вас уже давно нет. Как можно жить вместе и не делить друг с другом самого главного, святого, без чего жизнь невозможна?

Я встречалась с Олей всего один раз, и мне кажется, она все сразу почувствовала, догадалась. Если бы ты видел, как она зло сузила глаза. У твоей жены хищные, кривые зубки. Она слишком гладко причесана, волосок к волоску. У нее крепкие пальцы музыкантши с длинными фалангами – они цепко держат.

...

Иосиф смешной. Уверен, что женщине будет приятно, если ей сказать, что у нее святое лицо и грешные глаза. Клава уверяла, что он и ей так говорил.

И все эти дешевые трюки лысеющих ловеласов: «Осторожно, на вас гусеница!» Я закричала и тут же поняла, что никакой гусеницы нет. «Не шевелитесь, я сейчас сниму!» Попытался обнять. Как все это скучно!

Иосиф сегодня ругал «Мы» Замятина. Знаешь, что он там открыл? У героев, ты помнишь, вместо имен – буквы латинской азбуки плюс цифра. Но в латинской азбуке всего 24 буквы. На каждую букву всего 10 000 человек. Значит, их всего 240 000 человек. Это же наш Васильевский остров. Не больше.

...

Как хорошо, что у меня есть Клава! Сегодня на нее все вылилось! Она стала отчитывать меня, что я раз-

говариваю, вместо того чтобы молчать и беречь голос, а у меня уже началась настоящая истерика! Не могу же я устроить истерику на клочке бумаги! Клава принялась утешать меня и вобрала в себя чужое буйство, заразилась и тоже вошла в ярость. Так друг на друга и кричали, она в голос, я шепотом, пока не успокоились в слезах и в объятиях друг у друга.

Она завтра уезжает в Москву. Как ей тяжело с ее Игорем!

...

Да, я хочу того, чего хотят все! Я хочу быть известной, богатой, великолепной! Конечно, я хочу в Париж! Очень хочу! Но все это нужно только для того, чтобы в один сумасшедший день, нет, в один чудесный день, для которого и стоит жить, сжечь все это богатство и великолепие ради самых простых чувств. Ради человеческой ласки. Ради твоей любви. Иначе зачем мне все это?

И еще ради нашего ребенка. Он обязательно будет. Ты и я в одном теле.

...

А знаешь, что сказала один раз Нюся? Она сказала страшные слова. Она сказала, что материнский инстинкт – это просто инстинкт и не заслуживает нашего суеверного благоговения. Так и сказала. Будто это что-то вроде инстинкта голода или сна. Физическое отправление организма. И что высшее проявление материнского инстинкта можно наблюдать у курицы, которая заботливо высиживает фарфоровые яйца. Я ее спросила: «Что же, значит, любовь – это только инстинкт? Фарфоровое яйцо?» А она в ответ: «Любовь вовсе не связана с продолжением рода. Любовь живет сама по себе – неразделенная и вовсе без потомства, а потомство может быть без любви».

После развода Нюся очень изменилась. И озлобилась на весь мир. И ничего поделать с ней невозможно. Я теперь не люблю с ней встречаться. Не могу. Тяжело.

И еще ужасно, что она не хочет понять, что концертировать она больше никогда не сможет. Забудется – и по-прежнему делает гимнастику пальцев для гибкости: закладывает большой палец между другими сначала медленно, затем все быстрее в самых разных комбинациях. Потом будто опомнится и прячет руки.

...

Наводнение! Сегодня 22-е. Или 23-е?

Сидела у окна и смотрела, как на нашем Среднем проспекте появилась огромная лужа и в ней бегали, засучив штаны, мальчишки.

Вдруг вода стала прибывать очень быстро. Все время смотрю на часы – в шесть еще был сухой наш тротуар, а в начале восьмого стало заливать нижние этажи.

Водопровод не работает. Электричество погасло. Весь Васильевский погрузился во мрак. Какая-то странная Венеция. По улицам плавают лодки. Жутко.

Мне вдруг пришло в голову: это потоп! Да, тот самый последний потоп. Божье наказание. И знаешь, за что? За то, что мы не вместе.

...

Ужасная ночь.

Прогремели взрывы. Где-то большой пожар. На полнеба зарево.

...

Я поняла про любовь одно – нельзя так надолго расставаться!

Никогда больше не буду соглашаться на такие длинные контракты! Я должна быть всегда рядом с тобой. Я хочу есть из твоей тарелки, пить из твоего стакана, целовать тебя везде, постоянно чувствовать рядом твой запах! Как грубо, как просто я тебя люблю, Сереженька! И мне совершенно этого не стыдно!

...

Когда ты был здесь, со мной, так было хорошо! А рядом тикали часы. И тебе нужно было на поезд. Захотелось открыть стекло и пальцем задержать стрелку! Вот сейчас все есть, а когда стрелка будет вот здесь – все исчезнет. Так и получилось. Я расплакалась, а ты никак не мог понять, что со мной – ведь мы вместе, ведь нам хорошо. Убежала в ванную, отмывать зареванную распухшую физиономию. Умоляла тебя остаться, злилась на тебя, что ты все никак не оставишь ее, чтобы жить со мной, говорила все это в раковину, и струя из крана смывала слова.

...

Сегодня с утра солнце. Все в воде.

Где-то разнесло дровяной склад, и дрова плывут по нашему проспекту, будто толстые мертвые рыбы. Их ловят с балконов, привязав корзину на веревку.

Узнала, что ночью взорвались и сторели склады химического завода на Ватном острове.

...

Целый день хожу и говорю сама с собой, с тобой – как выжившая из ума старуха.

Всего-то хочу сказать, как я тебя люблю, – и оказывается, что это совершенно невозможно!

Мы должны быть рядом, уже только для того, чтобы не нужно было никаких слов.

...

Вот сейчас разденусь, лягу. И буду грызть подушку, чтобы не рыдать громко. Хорошо, что твой плащочек-человечек снова возьмет меня за палец.

...

Вода стала спадать. Дрова плывут обратно. Конец света откладывается! Так всем и надо!

...

Ходили с Иосифом по городу. Только что вернулась. На улицах – прямо народное гулянье! Вся набережная завалена дровами. Везде следы наводнения, грязь. Трамваи не ходят, по всему Невскому смыты торцы, и вода набила их битком в витрины в ресторанах, магазинах. Все стекла в нижних этажах разбиты. В Александровском саду еще стоит вода. До Летнего не дошли, но говорят, что там вырваны деревья и разбито множество статуй. Видели баржу на набережной.

...

Кажется, возвращается голос.

Без пятнадцати восемь толмач уже звонил в дверь тюрьмы. Обычный вызов: разговор адвоката с арестованным. Было рано, холодно и хотелось спать. В переговорное устройство сказали, чтобы толмач подождал адвоката, и тогда их впустят вместе.

Толмач продрог, проклинал опаздывающего адвоката и от нечего делать ходил по подмерзшим лужам. Лед ныл.

Адвокаты в таких случаях работают по назначению от суда и особого рвения не проявляют: обычно советуют своим подопечным признать все грехи и просить судью о снисхождении. Формальности. Но за это толмачам платят.

Наконец, адвокат появился – им оказалось юное существо, раскрасневшееся от быстрого шага. Фрау П. извинилась за опоздание и крепко стиснула толмачу руку. Она старалась быть деловой и сухой, но, пока они ждали у тюремных дверей, тут же сообщила, что в этом году окончила университет и что идет сегодня на свадьбу своего брата. Узнав, что толмач из России, она радостно воскликнула:

– Und mein Bruder heiratet eine Slowakin!*

Она хотела сказать толмачу что-то приятное. Ей казалось, что Словакия и Россия – это что-то похожее, близкое. Ведь всегда хочется найти с новым собеседником что-то общее. Толмач сделал вид, что ему это действительно приятно.

Впустили. Они предъявили документы, сдали сумки и мобильные телефоны, прошли сквозь специальные двери, как в аэропорту, и оказались в тюрьме.

Их провели по коленчатому коридору в крошечную камеру, в которой еле уместились маленький стол и три стула. Заперли.

Пока ждали арестованного, фрау П. ввела толмача в курс дела. Некий Сергей Иванов, беженец из Белоруссии, получил давно «негатив», но все еще находится в Швейцарии. Причем неоднократно попадал в полицию за воровство и пьяные драки. Один раз подрался с кондуктором в поезде.

– Ja, ja, immer die gleichen Geschichten, – кивнул толмач, чтобы поддержать разговор. – Und immer heißen sie Sergej Ivanov**.

Фрау П. наклонила голову, и ее волосы оказались прямо перед носом толмача. Она то и дело заправ-

* А мой брат женится на словачке! (нем.)

** Да, да, всегда одни и те же истории. И зовут их всегда Сергей Иванов (нем.).

ляла их за ухо. Оно у нее даже не было проколото для того, чтобы носить сережки. И она была не накрашена. Вот уже столько лет толмач жил в Швейцарии и все никак не мог понять: почему швейцарки боятся быть женщинами? Но легкий, едва уловимый на улице запах ее духов здесь, в камере, лез в ноздри пронзительно.

– Ich habe bereits mit Albanern, Afrikanern und Kurden gearbeitet, doch noch nie mit einem Russen*.

– Und ich habe es nur mit denen zu tun**, – пошутил толмач.

– Aber Weißrussland, das ist doch nicht Russland?*** – спросила фрау П.

– Wie soll ich sagen****, – начал толмач и хотел что-то ответить про сложность этнических связей на его родине, но фрау П. уже стала говорить, что никогда еще не была в России и очень хотела бы проехать на поезде по Транссибирской магистрали.

– Das muss sicher sehr interessant sein?*****

– Sicher*****, – согласился толмач. Почему-то все швейцарцы хотят проехать через Сибирь на поезде. Толмач, когда жил в России, не хотел. Да и теперь предпочел бы самолет.

– Dieser Herr Ivanov ist ja immer wieder gewalttätig, – добавила она, просматривая бумаги, которые достала из папки и разложила на столике. – Schauen Sie, er ist in betrunkenem Zustand in eine Coop-Filiale

* Я уже работала с албанцами, африканцами, курдами, а вот с русскими еще не приходилось (нем.).

** А мне вот только с ними и приходится (нем.).

*** Но Белоруссия – это не Россия? (нем.)

**** Как сказать (нем.).

***** Это должно быть очень интересно? (нем.)

***** Конечно (нем.).

gegangen, hat sich da allerlei Lebensmittel genommen, und ohne zu zahlen noch im Laden zu essen und trinken angefangen, vor allen Leuten. Dann belästigte er ein paar Frauen. Und schliesslich widersetzte er sich auch noch den Beamten*.

Она с удивлением посмотрела на толмача, будто ожидая объяснения столь странного поведения его соотечественника.

– Verstehen Sie, – попытался оправдаться толмач, – die Russen sind im Allgemeinen gutmütig, ruhig, nur eben wenn sie sich betrinken...**

Она рассмеялась, приняв сказанное за шутку.

– Sie feiern also heute ein Fest, – сказал толмач, чтобы сменить тему. – Ich gratuliere. Am Vormittag das Gefängnis und am Nachmittag eine Hochzeit?***

– Sehen Sie, so ist das. – Она улыбнулась и, тяжело вздохнув, добавила: – In diesem Leben ist alles beisammen. Der eine sitzt im Gefängnis, der andere tanzt auf einer Hochzeit. Die Welt ist nicht gerecht****.

– Ja*****, – кивнул толмач в ответ, не зная, что сказать.

* Этот господин Иванов все время применяет насилие. Смотрите, он пришел в магазин «Кооп» в нетрезвом состоянии, набрал всякой еды, не заплатил, причем стал есть и пить тут же, прямо в торговом зале, на глазах у всех. Принялся приставать к женщинам. А потом еще оказал неповиновение полиции (нем.).

** Понимаете, русские, в общем-то, люди незлобные, тихие – это только если напьются... (нем.)

*** Значит, у вас сегодня праздник. Поздравляю! С утра тюрьма, а после обеда свадьба? (нем.)

**** Вот видите как. В этой жизни все вместе. Кто-то сидит в тюрьме, кто-то гуляет на свадьбе. Мир несправедлив (нем.).

***** Да (нем.).

Когда фрау П. улыбалась, открывались ее молодые ровные зубы. И еще толмач все время смотрел на ее губы. Она сидела совсем рядом, и получалось, что толмач рассматривал ее в упор. Вот так, в упор, обычно смотрят только на очень близких людей. Глядя на эту девушку, толмач вдруг почувствовал себя старым.

Тут лязгнул запор, и ввели парня в спортивном костюме. Коротко стриженный крепыш. Обычное лицо – такой может торговать на подмосковном рынке или приезжать бизнесменом на переговоры в Цюрих. От него шел густой тухлый запах давно не мытого тела.

Фрау П. бодро протянула ему руку. Он усмехнулся и пожал.

Толмач не стал объяснять ей, что на его родине с женщинами за руку не здороваются.

Их снова заперли, показав кнопку вызова охраны. На всякий случай.

– Herr Ivanov, – начала фрау П., когда они закончили с формальностями. – Ich rate Ihnen, sich in allem schuldig zu bekennen. Sie werden ohnehin aus der Schweiz ausgewiesen werden. Es ist in Ihrem Interesse, mit den Behörden zu kooperieren. Dann müssen sie weniger lange im Gefängnis sitzen und können schneller nach Hause*.

Толмач перевел.

Парень снова усмехнулся:

– А кто вам сказал, что я хочу домой?

Толмач перевел.

* Господин Иванов, я советую вам признать целиком вашу вину. Вас все равно депортируют из Швейцарии. В ваших же интересах сотрудничать с представителями властей. Вам меньше придется сидеть в тюрьме, и вы быстрее отправитесь домой (нем.).

– Aber in diesem Fall erwartet Sie eine Zwangsdeportation*.

Толмач перевел.

Парень почесал у себя в штанах.

– Тоже мне, испугали!

Фрау П. с интересом разглядывала своего клиента. А того вдруг понесло:

– Что я вам, целка, что ли? В самолете буду так орать и лягаться, что никто меня не возьмет. Если капитан не захочет такого брать – вы ему не прикажете! А в тюрьме только полгода имеете права держать. Что я, не знаю, что ли?! А потом выпустите на все четыре стороны. Что, не так? То-то же! Это не вы меня за яйца взяли, а я вас! Понятно? И буду крутить вашу Швейцарию за яйца, сколько захочу!

Оба, и парень и адвокат, выжидательно смотрели на толмача. Он перевел.

Фрау П. смутилась.

– Verstehen Sie, Herr Ivanov, ich möchte Ihnen helfen**.

Толмач перевел.

– Помочь она мне хочет! Избавиться вы все от меня хотите, а не помочь! Вам тут всем и без меня хорошо! Вот ты, толмач, мудила, устроился тут, а я, может, тоже жить хочу по-человечески! И чем вы все тут лучше меня? Может, вы еще хуже! Только вот вы чисто одеты и пахнете духами, а мне переодеться не во что.

– Was sagt er?*** – спросила фрау П.

– Das gehört nicht zur Sache****, – ответил толмач.

* Но в таком случае вас ожидает принудительная депортация (нем.).

** Поймите, господин Иванов, я хочу помочь вам (нем.).

*** Что он говорит? (нем.)

**** Это не по существу дела (нем.).

– Ich möchte, dass Sie alles übersetzen*, – сказала она.

– Gut**. – И толмач стал переводить ей все, что тот говорил.

А парень вошел в раж, видно, давно не перед кем было излить душу, и кричал:

– Я, может, тоже хотел честно жить и работать, а меня за честность и мордой в говно! Я, может, тоже хотел и квартиру, и семью, и чтобы все по-людски – а деньги-то где взять? Хочешь деньги – иди торгуй. Вот и доторговался! Весь в долгах. Если вернусь – мне голову оторвут. Вот и весь бизнес. А почему? Что, швейцарцы, что ли, лучше русских? Предки мои, что ли, были хуже ваших? Может, они не хуже, а лучше: у вас тут за окном Освенцим дымил, а вы радовались жизни и размножались. А мой дед против фашистов сражался, на фронте руку потерял. А мать у меня, между прочим, учительница, всю жизнь детей географии учила, а что заработала? Пенсию? Хуй с маслом она заработала! Так с этой пенсией она у вокзала ночью водку с рук продает. И чем она виновата? Зажрались вы тут все – вот что! Ты же русский, скажи: что, разве не так? Ты переведи ей, все переведи!

Толмач перевел.

Фрау П. покраснела и сказала, что все это к делу не относится.

– Verstehen Sie, Herr Ivanov, ich will Ihnen helfen. Aber Sie wollen mir nicht zuhören. Nun, es tut mir leid, aber in diesem Fall kann ich nichts für Sie tun. Möchten Sie noch etwas zur Sache hinzufügen?***

* Я хочу, чтобы вы переводили все (нем.).

** Хорошо (нем.).

*** Поймите, господин Иванов, я хочу помочь вам. Но вы не хотите меня слушать. Что ж, я сожалею, но ничего в таком случае сделать для вас не могу. Вы хотите что-то еще сказать по существу? (нем.)

Толмач перевел.

Парень криво усмехнулся, сплюнул на пол. Снова почесал в штанах.

– По существу? По существу хочу. В жопу тебя, девка, хочу выебать! Вы вот оба небось каждую ночь с кем-то, а я один дрочу. А я тоже человек! Вам это понятно? А кому я такой нужен? Денег нет – никто не любит. Ты бы, толмач, на моем месте посидел, тебя тоже никто не стал бы любить.

– Was? Was hat er gesagt? – нетерпеливо переспросила фрау П. – Übersetzen Sie genau, was er gesagt hat!*

Толмач перевел, пытаюсь подобрать выражения помягче. Несмотря на его старания, фрау П. вспыхнула, покрылась пунцовыми пятнами и молча нажала на кнопку вызова охраны.

– Hören wir auf. Das hat keinen Sinn**.

Толмач пожал плечами. Два часа ему и так оплатят.

Своему клиенту фрау П. бросила сухо:

– Auf Wiedersehen! Alles Gute!***

Минуту они сидели в напряженном молчании. В крошечной комнатке совсем нечем стало дышать. Парень нагло разглядывал девушку, почесывая в штанах. Подмигнул толмачу, кивая на нее, мол, давай, не упусти!

Наконец дверь отворилась. Толмач вышел вслед за фрау П. из комнатки в коридор.

Парень вдруг бросил вдогонку:

– Скажи ей, что она на сестренку мою похожа!

* Что? Что он сказал? Переведите все точно, что он сказал! (нем.)

** Давайте закончим. Все это не имеет никакого смысла (нем.).

*** До свидания! Всего хорошего! (нем.)

Вышли на Helvetiaplatz. Втягивали в себя свежий морозный воздух. Лицо фрау П. все еще было покрыто красными пятнами. Она смущенно улыбнулась толмачу.

Он улыбнулся ей в ответ:

– Auch das kann vorkommen. Achten Sie nicht darauf. Gehen Sie auf die Hochzeit ihres Bruders und genießen Sie es!

Фрау П. вздохнула.

– Nach so was ist es schwer, etwas zu genießen. Zuerst muss man wieder ein bisschen die innere Ruhe finden**.

– Sicher, – сказал толмач. – Man muss abschalten lernen. Gut wäre jetzt ein kleiner Spaziergang, den Kopf auszulüften, dann geht es vorbei***.

Они всё стояли перед зданием тюрьмы. Толмач смотрел, как она то и дело нервно заправляла волосы за ухо. Мимо прогромыхал трамвай.

Фрау П. сказала:

– Meine Mutter war auch Lehrerin und ist jetzt pensioniert. Trotz allem ist die Welt ungerecht****.

Толмачу захотелось как-то успокоить ее, сказать что-то приятное, только не знал что.

Она протянула ему руку, стиснула.

– Auf Wiedersehen! Und einen schönen Tag!*****

Толмач задержал ее руку в своей.

* И такое бывает. Не обращайтесь внимания! Идите на свадьбу вашего брата и наслаждайтесь жизнью! (нем.)

** После таких встреч сложно сразу чем-то наслаждаться. Нужно прежде прийти в себя (нем.).

*** Конечно. Надо научиться отключаться. Хорошо прогуляться немного, и все выветрится, пройдет (нем.).

**** У меня мама тоже учительница на пенсии. Все-таки мир устроен несправедливо (нем.).

***** До свидания! И хорошего дня! (нем.)

– Wissen Sie was, nehmen Sie das Ganze auf die leichte Schulter. Das gibt es gar nicht, dass es allen Lehrerinnen gut ginge. Man kann sich auch nicht Sorgen machen wegen aller Lehrerinnen, denen die Pension nicht zum Leben reicht*.

И тут толмача вдруг понесло, будто он тоже долго терпел и вот нашел кому излить то, что накопилось:

– Wenn es Ihnen und Ihrer Mutter gut geht, dann freuen Sie sich doch! Wenn es irgendwo einen Krieg gibt, dann sollte man um so mehr leben und sich freuen, dass man selbst nicht dort ist. Und wenn jemand geliebt wird, dann wird es auch immer einen anderen geben, den niemand liebt. Und wenn die Welt ungerecht ist, so soll man trotzdem leben und sich freuen, dass man nicht in einer stinkigen Zelle sitzt, sondern auf eine Hochzeit geht. Sich freuen! Genießen!**

Она посмотрела на толмача как-то странно. Наверно, не поверила.

Да толмач и сам себе не очень верил.

Вопрос: Кто там?

Ответ: Есть такая притча: идет усталый путник – русло для любви, термос для крови, пешеход для задачника, судьба для муравья, тень для

* Знаете что, не обращайтесь на все это внимания! Такого не бывает, чтобы всем учительницам было хорошо. И нельзя переживать из-за всех учительниц, которым пенсии не хватает на жизнь! (нем.)

** И если вам и вашей маме хорошо, то и надо этому радоваться. И если где-то война, то тем более нужно жить и радоваться, что ты не там. И если кого-то любят, то всегда будет тот, кого никто не любит. И если мир несправедлив, то все равно нужно жить и радоваться, что не сидишь в вонючей камере, а идешь на свадьбу. Радоваться! Наслаждаться! (нем.)

дороги. Видит хижину. Что-то вроде домика Ниф-Нифа. Камыш, ветки орешника, коряги, напоминающие линии на ладони: у тебя, ручей, будет трое детей, и жизнь долгая-долгая, а у тебя, овраг, будет две жены, и у обеих родинка на правом плече. Соломенную крышу закат присыпал кирпичной пылью. Окна из чего-то прозрачного с перепонками, как ни вглядывайся, ничего не видно, будто кто-то склеивал языком стрекозьи крылья. Давно не крашенное крыльцо, ступеньки дышат с сипом: наступишь – выдох, поднимешь ногу – вдох. Постучал – тихо, никто не откликается. На яблоньках в сетках от апельсинов висят бульжники – чтобы росли вширь. Гроздь белой сирени после дождей покрылись ржавчиной. У березы под умывальником трава густо заляпана зубной пастой. Старый кирпич у флоксов. Подумал – вдруг там ключ? Подковырнул его, а там сороконожка. Снова постучал – уже погромче. Из-за двери шарканье, приглушенный кашель, скрип половиц. Какой-то странный голос спрашивает: «Кто ты?» Путник отвечает: «Я». И слышит в ответ: «Здесь нет места для двоих». Путник стоит и смотрит, как бабочка, споткнувшись о воздух, села на подоконник, весь в струпьях старой краски, и смотрит на него своим павлиньим глазом, потом вдруг моргнула. Путник снова стучит и просится, чтобы его пустили, а голос опять задает тот же вопрос. И все повторяется. И так до тех пор, пока павлиний глаз не улетает, и на вопрос «Кто ты?» путник отвечает: «Ты». Тогда дверь открывается. Но ты все это знал и без меня.

Вопрос: Даже могу себе хорошо представить этот странный голос. Я слышу его каждый день. Это мой сосед бормочет что-то не переставая. Наверно, раньше, много лет назад, перед тем как стать мальчиком, он был веселой деревянной куклой Пиноккио. А потом злая фея сделала его человеком, оставив кукольный голос. И вот Пиноккио прожил жизнь и состарился, каждый час забывчиво ходит в несвежих кальсонах, пугая людей, к почтовым ящикам, они у нас во дворе, а по ночам подметает метелкой нашу дорожку, на которую сыплются сосновые иголки и шишки. Мы живем в крепком доме, вроде домика Наф-Нафа, но только в нем много однокомнатных квартир, в которые не залезет ни один волк. А старички и старушки, которые в них живут, потихоньку превращаются в куколок. И потом, по ночам, прогрызают коконы и улетают под шелест метелки и бормотание старого Пиноккио в кальсонах. А сосновые иголки все падают и падают. Про путника только ленивый не слагает притчу, но все это чушь.

Ответ: Почему?

Вопрос: Потому что сено и солома, тик и так, краска и холст, подошва и путь, зеркало и комната, метр и секунда, утес и тучка, сутулый пиджак и прокуренная юбка, струна, которая дрожит, и воздух, который рождает звук.

Ответ: Хорошо, ты – пишущий пестик, я – говорящая тычинка. Можно начинать.

Вопрос: Как дела?

Ответ: Все хорошо.

Вопрос: Так не бывает.

Ответ: Ну и что?

Вопрос: Что нового?

Ответ: Ты же смотришь новости!

Вопрос: Скажешь тоже – новости! Последние известия! Тебе даже в голову не придет, какие тут новости! Включишь одну программу – там светская хроника: Лисикл, торговец скотом, человек ничтожный сам по себе и низкого происхождения, стал первым человеком в Афинах, потому что живет с Аспасией после смерти Перикла. Переключишь на другую – там Дионисий идет по Монмартру и несет свою отрубленную голову на вытянутых руках, с нее капает. По третьей римляне полгода уже осаждают Иерусалим. По четвертой какой-то дядя заявляет, что он новый врач детского сада и пришел проверять у всех детей в этом дворе, нет ли прыщей на попе, и надо теперь пойти с ним в поликлинику.

Ответ: Какие же это новости, если я рассказывала про того дядю в нашем дворе столько лет назад!

Вопрос: Ты же знаешь: новости – это то, что осталось на всю жизнь и росло, как вырезанное на коре слово растет вместе с деревом.

Ответ: Но все это на самом деле так неважно.

Вопрос: Как же неважно, когда все это в тебе и ты из этого состоишь. Один раз ты нашла у мамы под подушкой презерватив, набитый скрюченными тряпками. Она была на кухне, готовила завтрак. Сперва ты хотела спросить ее, что это, но вдруг испугалась и так и не спросила.

Ответ: Помню, но все это и вправду неважно.

Вопрос: А что важно? Как ты играла в сказку про трех сестер – одноглазку, двуглазку и трехглазку, и рисовала себе третий глаз на лбу?

Ответ: Да.

Вопрос: А еще?

Ответ: Врач прописал мне соленые обтирания по утрам. Мне это, конечно, не нравилось, а мама каждое утро разводила морскую соль и обтирала меня губкой. Как-то в школе я поссорилась на перемене с девочками, уже не помню из-за чего, сидела на уроке и была такой несчастной, одинокой, никому не нужной. И тут лизнула руку и почувствовала соль на коже. Меня пронзило какое-то странное ощущение. Значит, на свете есть люди, которым нужны вот эти мои соленые обтирания? То есть даже не эти обтирания, а нужна я. Но это я сейчас уже что-то додумываю, а тогда просто лизнула кожу и почувствовала соль и любовь.

Вопрос: Вот и расскажи, как к матери ходили любовники и ты должна была делать на кухне уроки, а мать выбегала в халате, под которым ничего не было, и пулей в ванну.

Ответ: Один, дядя Слава, был смешной, мама его очень любила. Да она всех любила. А на юг отдыхать ездить не хотела, говорила, что невозможно заводить короткие курортные романы – привязываешься. Дядя Слава всегда говорил странные вещи. Например, сидим за столом, едим, а я не хочу. Мама мне: «Чего кочевряжишься, ешь!» А я не ела. И тогда дядя Слава меня защищал: «Тань, да отстань ты от нее, человек – это ведь не кишечная трубка!» А то вдруг прямо за едой начинал маму просвещать, как устроен мир: «Мы, мужчины, – говорил он, – рабы гормонов, которые впрыс-

кивак гся в кровь, бьют по мозгам – ничего сделать невозможно, нас используют! Бог загребает жар нашими телами! А почему в женском инстинкте заложено заботиться о мужчине, как о ребенке? Да потому что сотни тысяч лет, то есть всегда, люди жили в групповом браке, и любовники-мужчины – это ее повзрослевшие дети. Любовник для женщины всегда и ее ребенок!» И подмигивал мне: «Мотай на ус!» Мама его очень любила. Он был женат и приходил к маме раз в неделю, по пятницам. Мама его ждала, готовила что-нибудь вкусное, накрашивалась. Она разрешала мне иногда красить ей ногти ярким красным лаком. Говорила, что пальцы должны быть как церковные свечи, бледные и тонкие, а ногти – как огоньки. Я любила забраться к ней в постель, там уютно свернуться, прижаться к ней и болтать о чем-нибудь перед сном. Или она мне что-то читала. Даже потом, когда я уже подросла. Тогда она мне читала уже не детское, а что-то свое, что обычно лежало у нее на ночном столике, – какие-то романы или гороскопы. Помню, как в гороскопе она вычитала, что они с дядей Славой друг другу просто противопоказаны, и очень расстроилась. Я ее утешаю: «Мамусик, но смотри, зато у тебя с Тельцом и Козерогом все может быть хорошо!» А она: «Не хочу никого другого, хочу только Льва – гриву ему расчесывать, ушки теревить». У нее над кроватью висела репродукция Гогена. Мама часто лежала и смотрела туда, она называла это «мое окошко». Как сейчас вижу те

пальмы, смуглых полуголых девушек. Мама смеялась: «Вот перепояшусь лианой и убегу отсюда, от вашей зимы туда, в таитянский рай. Только лианы нигде не достать, одни сугробы кругом!»

Вопрос: Ты помнишь отца?

Ответ: Нет. Но мама мне много о нем рассказывала. Когда я должна была появиться, он сначала меня не хотел. Мама до этого несколько раз делала аборт. И на этот раз папа, узнав, что она забеременела, сказал, что никакого ребенка они себе сейчас позволить не могут. Они отложили деньги на аборт – это тогда дорого стоило, и у них денег было совсем мало. Но, наверно, я очень хотела жить, потому что папа вдруг взял эти деньги, разорвал и сказал: «Все, денег на аборт нет – будем рожать!» Мама его очень любила. Она хотела, чтобы у ребенка было его имя, и очень радовалась, что он Александр: родится мальчик – будет Сашей, родится девочка – тоже Саша. У нас с ней не было секретов, перед сном я прижималась к ней в постели, и мы всё друг другу рассказывали. И я ей, и она мне – всё-всё, и хорошее и плохое. Она очень переживала, что в детстве из-за нее умерла ее младшая сестренка. Это было летом, на даче, когда маме было восемь лет. Родители ушли и оставили ее смотреть за сестрой, ее звали, как меня, Сашей. Ей было полтора года, и она спала, а потом проснулась и стала кричать. Мама ее пыталась успокоить, но ничего не получалось. Тут пошел дождь, и мама почему-то решила, что если вынести Сашу на двор, то дождь ее успокоит. И вот она закуталась с сестренкой

в старый отцовский плащ, сошла с крыльца и села с ней на ступеньку под кусты сирени. Гнулись ветки, шелестели деревья, булькали лужи, и Саша от шума дождя сразу притихла. Дождь был сильный, косой, а мама забыла закрыть окна, и на террасу налило воды. Она поднялась, чтобы отнести заснувшего ребенка в кроватку и закрыть окна на террасе, и стала подниматься по ступенькам крыльца, но запуталась в плаще, споткнулась, упала и ударила со всей силы Сашу головой о пол. Мама очень испугалась и не знала, что делать, побежала к соседям, те повезли ребенка в больницу, а она осталась ждать родителей. Потом те пришли и тоже поехали в больницу. Домой ребенка так и не привезли. Через несколько дней Саша умерла. Мама так переживала, что все ночи напролет плакала. И решила больше не жить, убить себя, сказала себе: как я могу жить, если Сашенька умерла из-за меня? И вот, когда все вернулись с похорон и сидели за столом на поминках, она пошла в сад и задумала утопиться в уборной, но посмотрела, что там черви, – и испугалась. Я гладила маму по руке, не знала, что сказать, и говорила: «Мамочка, ну не плачь, вместо той девочки теперь у тебя есть я! Может быть, та девочка я и есть! Я ведь тоже Саша!» И мы прижились друг к другу и так засыпали – было так чудесно засыпать вдвоем.

Вопрос: Ты мне кого-то напоминаешь. Одну девушку, которую я знал много лет назад. Но неважно, ее больше нет. Один раз мы с ней поругались, даже не помню из-за чего, нагово-

рили друг другу много больных слов, и она ушла, швырнув в меня книжкой. А потом через полчаса вернулась и тихо сказала: «Надень свитер наизнанку!» Я ничего не понял, только смотрю, что свитер на ней надет наизнанку. Я спрашиваю: «Почему?» «В детстве бабушка мне говорила, что если в лесу заблудишься, то нужно переодеть платье наизнанку, чтобы найти дорогу». Я надел свой свитер наизнанку, и действительно, вдруг все злое и жестокое, что накопилось между нами, куда-то исчезло, и мне захотелось так обнять ее, стиснуть, чтобы никогда больше из рук не выпускать.

Ответ: Что с ней стало?

Вопрос: Какая разница.

Ответ: Мне рассказывать дальше?

Вопрос: Как хочешь. Чего ты улыбаешься?

Ответ: Вспомнила что-то. Мне казалось, что все мои подруги красивые, а я – уродина. Я ужасно стеснялась своего тела – меня ошпарили кипятком в детстве на груди и на шее. Всегда куталась, чтобы никто не увидел. В бассейн, на пляж ходила в закрытом купальнике. А так хотелось быть как все. И вот, помню, я решила закурить – все девчонки курят, а я нет. Подруга все предлагала, а я отказывалась. И тут один раз в сквере взяла предложенную сигарету, попыталась затянуться, поперхнулась. Мимо идет какая-то старуха, остановилась, стала на нас смотреть, качает головой. Потом как закричит на всю улицу: «Вот будете на том свете черту писку сосать!»

Вопрос: А где у тебя ошпаренная кожа? В каком месте?

Ответ: Не покажу.

Вопрос: Над изголовьем дивана была книжная полка. Она взяла какой-то альбом и стала листать. Вдруг говорит: «Почему у нее пупок?» Я не понимаю: «Какой пупок? У кого?» Она показывает мне разворот с Кранахом, там Адам и Ева, и у Евы действительно пупок. Я тогда это записал. У меня была толстая записная книжка, и мне казалось важным все записывать. И еще записал, как она отложила альбом – к себе на бедра, получилось как мини-юбка.

Ответ: Жила и себя не замечала. Это детство. Потом вдруг осознаешь, что ты не просто есть сама по себе, а что ты должна нравиться. Вернее, не должна, а ужасно хочется. Нравиться всем кругом: мужчинам, женщинам, зеркалу, кошке, пассажирам в автобусе, облакам, воде из-под крана. Как будто на тебя наваливают неподъемный мешок и толкают – иди. А с таким грузом и двух шагов сделать невозможно. Я себя не любила. Себя, свое тело. Совершенно не выносила. Было отвратительно, что я вообще существую телесно. Было неприятно, что у меня есть грудь. Это же настоящее мучение – быть видимой каждый день! И ничего сделать невозможно! Прочитала в какой-то книжке, как героиня отрезала себе ресницы ножницами, после чего они отросли так, что можно было положить на них несколько спичек. Сделала то же самое, а отросшие ресницы оказались еще хуже прежних.

Вопрос: Еще помню, мы о чем-то говорили, и я сказал, что существование Бога невозможно доказать. А она возразила, что ничего по-

добного, очень даже просто. Я сказал: «Докажи!» Она помолчала и ответила, что для этого достаточно всего одной строчки. И прочитала строку из какого-то стихотворения, что птица – это нательный крестик Бога. «Разве нужны еще какие-то доказательства?» – и рассмеялась. Как сейчас вижу, как она остановилась – мы шли поздно вечером вдоль набережной, – села на гранитный парапет и стала двигаться глубже, качаясь из стороны в сторону, делая шажки ягодицами.

Ответ: Мне казалось, что на мне, на моей телесной поверхности нарастает что-то не мое, чужое. Я сама по себе, а эта женщина, которой обрастаю, – сама по себе. Я все время краснела и не знала, что с этим делать. Кто-нибудь заговорит со мной – сразу будто парализована, испуганно смотрю, все время кажется, что с одеждой что-то не в порядке. Ни с того ни с сего молния бьет – вдруг колготки поехали? Чувствую себя как голая, не знаю, что сказать, только руки потеют. Плачу перед сном в мамину подушку, а она меня утешает: «Не будь хмурой дурой. Будь веселой!»

Вопрос: Некуда было приткнуться, и мы просто ходили часами по улицам. Помню, одна бабка у метро продавала вишни в запотевшей стеклянной банке. Мы купили и хотели куда-нибудь сесть, а все скамейки были после дождя мокрые, и мы дошли до пустой детской площадки с разломанными качелями. Я положил на борт песочницы свою сумку с учебниками и сел на нее, а она ко мне на колени. Мы стали есть вишни, они были

спелые, и с них капал сок. Косточки мы сначала плевали в песок, покрытый от капель гусиной кожей, усеянный окурками, битым стеклом и пробками от пивных бутылок, стараясь попасть в оставленный каким-то ребенком песочный кулич, обтекший под дождем. А напротив стоял с незапамятных времен памятник погибшим – статуя солдата с отломанной рукой, в которой он, наверно, держал когда-то автомат – из культи торчала арматура. Погибший солдат смотрел белыми пустыми глазницами куда-то вверх, на мокрые кроны деревьев, с которых при порывах ветра начинало снова дождить. Оставшейся рукой он звал кого-то за собой, очевидно нас, потому что никого больше в скверике не было, мол, пошли, ребята, залезем на те деревья, а оттуда до неба рукой подать! И тогда мы стали косточки не просто выплевывать, а сильно сжимать между пальцев так, что они, скользкие, выстреливали и летели прямо в солдата, оставляя на гипсе – или из чего он там был сделан – вишневые царапины. От сока и косточек мы все сами перемазались, и руки у нас были вишневые. Она стреляла метко, лучше, чем я, и один раз даже попала ему в глаз. На белом вдруг появился вишневый зрачок, и получилось, что солдат косит одним глазом прямо на нас, мол, как же так, я за вас погиб, а вы в меня косточками! Мы расхохотались и пошли бродить по улицам дальше. А теперь, через столько лет, я знаю, что гипсовый безрукий солдат, глядя нам вслед, думал совсем другое: я погиб для чего-то важного и еще для себя, и если вы стреляли в этом

пронизанном дождем и вашей любовью скверике в меня косточками, то пусть так и будет, может, это и есть часть того важного.

Ответ: Разденусь и смотрю на себя в зеркало. Вот чье-то голое тело посреди комнаты на холодном паркете. Тощее, уродливое, с заплаткой из лягушачьей шкурки. Царевна-лягушка. И во лбу звезда горит. Не звезда, а целое созвездие. Все чело в прыщах, один собирается вскочить на кончике носа. Ланиты – бледны, но предательски, в самый ненужный момент – свекольны. На устах после простуды герпес. В комнате сквозняк, тело и без того синюшное, ежится. Проводишь рукой – под пальцами не гладко, а все в пупырышках. Перси – не больше подушечки для иголок. Соски – крошечные, как прыщики. На животе красный отпечаток резинки от трусов. Пупок некрасивый – торчит наружу, как неспелая виноградина. Ниже – волосы курчавятся. Можно таскать за вихры. Для чего там волосы? Дальше невидимые отверстия, без зеркала и не рассмотришь. Как же жили, когда еще не было зеркал? Так за всю жизнь ни разу себя там и не увидев? Стою и думаю: неужели вот это посиневшее тело напротив, покрытое гусиной кожей, щелястое, дуплистое, никому на свете, и прежде всего мне самой, не нужно, – это я? И для чего все-таки мне эти волосы между ног?

Вопрос: Мы были в гостях у одной молодой пары, оба музыканты, у них только родился ребенок, мальчик. В комнате стоял рояль, достался в наследство от деда-композитора. Отец, студент консерватории, мой ровес-

ник, клал сына на крышку рояля между двух подушек и играл. Потом сам пеленал ребенка, прямо там, на клеенке, расстеленной на рояле. Мы стояли и смотрели, как он ловко все это делает своими длинными пальцами. И как он щекочет отросшей щетиной на щеках своему сыну ножки.

Ответ: Мне ведь ничего не надо было – только любить. Будто я была чашка, и ее нужно было налить до краев. Или чулок, который ждет ноги, чтобы осуществиться. Ведь в этом и есть смысл чулка – в ноге. Он для этого только и создан – по образу и подобию. Все во мне было готово, а внутри пустота. И вот летом на каникулы мы с мамой поехали на Рижское взморье. Договорились, что мы – сестры. Она очень хорошо выглядела для своего возраста. Так и ходили, как две сестрички. Там был один латыш, совсем молодой парень, он мне очень нравился. И маме. И вдруг впервые в жизни между нами пробежал холодок. Она – царевна-лебедь, а я – лягушка. У нее завязался с этим латышом роман, и я им мешала. Мама до этого лета была мне почти всем, я хотела быть как она. А тут вдруг посмотрела на нее совсем другими глазами. И вот однажды на пляже мама играла в волейбол, а я сидела в песке у воды и мучилась оттого, что у меня ничего и никого нет. Вытирала брызги на лице и почувствовала, что кожа на руке – соленая, как тогда, в детстве. И я загадала, что если четвертая волна лизнет мне пальцы на ноге, то у меня будет любовь – огромная, настоящая, на всю жизнь. А волны какие-то бесильные, дохлые, все дальше и дальше от

ноги – и вторая, и третья. А четвертая собралась, выгнулась и дотянулась. Все пальцы в рот взяла и пятку песком пощекотала! Что со мной вдруг началось! Сижу и слышу, вижу, вдыхаю все кругом, море, небо, ветер, чаек, людей, но это уже не зрение, не слух, не осязание, не обоняние – а любовь, у меня нет больше ничего своего – ни глаз, ни рук, ни ног, все – ее. Вскочила и полетела по воде в море, в буквальном смысле полетела, как птица, кончиками ног лишь касаясь воды, – ну куда мне столько любви? Что мне с нею делать?

Вопрос: Однажды мы поехали кататься на речном трамвайчике. Собирался дождь, и она взяла дома зонт – большой, допотопный, выцветший, нескладывающийся, на который можно было опираться при ходьбе, как на трость. Мы сидели на палубе, и страшно дуло. Она сбросила босоножки, засунула босые ноги в зонтик, спрятала их там от ветра. Натянула зонт, закрылась спицами с перепонками. Кричит: «Смотри! У меня теперь ног нет, вместо ног – зонт!» Стала поднимать и опускать, как свернутый хвост, постукивая о палубу. Потом сказала: «Слушай, полудевушка-полурыба – это русалка. А полудевушка-полузонттик – это тогда кто же получается?» Я ответил: «Зонтилка». Она засмеялась: «Сам ты зонтилка! Я – парaplюйка!»

Ответ: Все-таки скажи, что с ней потом стало?

Вопрос: Она где-то прочитала, что люди – это такая ветка, на которой мы распускаемся, как листья из почек. Листья опадают, а ветка растет. И решила, что в нее переселилась душа

какого-то убитого ребенка, что-то там у них стряслось в семье, не помню. Говорила, что иначе чем кармой не объяснить, почему умирают дети – за что их убивают. Девичий бред. Мало ли что может в любую минуту случиться, – несла ребенка, споткнулась, упала – вот и все. Это же так просто.

Ответ: Ты не понимаешь одной вещи! Вот я смотрела по телевизору, как делали опыты с умирающими. Когда человек умирал, его клали на очень чувствительные весы. Целая программа экспериментов. И выяснилось, что после агонии и смерти масса тела уменьшается в среднем на пять граммов. Или десять, не помню. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это вес человека в чистом виде, без тела. Назови это как хочешь – душой, квинтэссенцией, пылью. И вот эти несколько граммов – они же никуда не исчезают, они где-то здесь. А помножь все это на миллиарды, или сколько там людей десятки и сотни тысяч лет смотрели вечером на закат – квадриллионы? Это же горы, которые давят на наши плечи. Нам говорят, что это атмосферное давление, а это – все то, что было с теми, кто жил до нас, поэтому такая тяжесть. У моряков есть поверье, что души умерших переселяются в чаек, но это не так. Мы – та же самая ветка, но на следующий год. И душа твоего отца-подводника вовсе ни в какой не в чайке. Она в тебе. Вот ты боишься воды, и тебе каждый скажет, что это потому, что в прошлой жизни ты утонул. Но все это ерунда, никакой прошлой жизни нет, жизнь одна, и вот в ней твой отец, ему было тогда девятнадцать лет, ле-

жал со своей лодкой на балтийском дне после неудачной попытки торпедировать немецкий транспорт, который шел в конце войны из Риги в Германию с войсками, а скорее, с беженцами. Он же тебе рассказывал! Вокруг рвались глубинные бомбы, и после одного взрыва отключился аварийный свет, и в полной темноте показалось, что все, конец, что соседний отсек прорвало, потому что оттуда стали стучать в люк, хотя нужно было сидеть молча, что бы ни случилось. И отцу твоему стало так страшно, что этот страх теперь живет в тебе. И вообще все связано, как в дереве, видимое и невидимое, корявое и нежное, верхушки и корешки. Корни – это рот. Листья – мальки. Пыльца – любовь. Это только кажется, что все само по себе, что та пластинка, которую слушал твой отец в подвале на перебинтованном изолентой проигрывателе, – отдельно, и Дракула, который хотел сделать людей счастливыми, но не умел, – отдельно, и этот неумолкающий Пиноккио в кальсонах, который опять шуршит своей метелкой, – опять что-то другое. Разумеется, человек, кроме тех нескольких граммов, назови их хоть пылью, хоть Богом – от названия ничего не поменяется, – не только животное, но и растение и минерал одновременно. Волосы, ногти, кишечник живут по законам растительного мира. С минералом и без того все ясно. Так вот, слепые кишки, которые все никак не могут остановиться, и упрямые волосы, которые не хотят ничего знать, у нас действительно у всех разные. Но вот те летучие граммы – это что-то совсем другое.

Вопрос: Как может быть другим то, чего нет?

Ответ: Твой взгляд, который пристал к отражению лампы на ночном стекле, твой голос, который прячется от тебя под кровать и выпрыгивает в форточку, слова, которые ты пишешь, не говоря уже о молочных зубах, которые собирала твоя мама в баночку из-под вазелина, – это уже не ты, но это не значит, что тебя нет. Так и эта ночь, и кусок куста за окном, белый оттого, что на него падает свет лампы, и гул самолета, и короткое пересвистывание соседа с ключом – будто сосед и ключ пожелали друг другу спокойной ночи – все это пройдет к утру, но это ничего не значит.

Вопрос: И если я ничего не слышал о племени Арунта, верящем в камень Эратипу, убежище детских душ, которые через дырку в камне высматривают проходящих мимо женщин, уверенных, что именно таким образом в их горячую мокрую складку попадает ребенок, то это не значит, что этого племени нет. И если где-то в Кольмаре, известном в России лишь как родина убийцы Пушкина, мыло в одной мыльнице превратилось в медузу, а я ничего об этом не знаю, то мое незнание разве доказывает невозможность превращения мыла в медузу? И оттого, что старуха с седьмого этажа вот уже неделю ничего больше не бросает, – это вовсе не значит, что ее больше нет.

Ответ: Ты все такой же. С тобой нельзя ни о чем говорить серьезно. И если кто-то когда-то сказал, что я сплю, будто плыву кролем, и сквозь сон я однажды почувствовала, как он осторожно, чтобы не разбудить, тронул

мне ладонь губами, то разве этого не было, если это было?

Вопрос: Я, кажется, начинаю понимать, о чем ты говоришь. Я возвращался сегодня домой и видел на дороге задавленную кошку. Колеса машин укатали ее в бумажный лист. Это в нашем мире она плоская, как тень на асфальте, а на самом деле она объемная, трехмерная, как мы, и на одной странице ловит на балконе лапой снежинки.

Ответ: Конечно! Точка видит строку, для нее это линия, и представляет умом плоскость. Кто-то сейчас эту строчку читает и видит страницу, плоскость, но это лишь отражение, проявление какого-то объемного тела, вот этой старой папки на столе с отпечатком чашки, вот этого мотылька, сходящего с ума по лампе, вот этой неудобной ватной подушки, меня, тебя. О чем ты думаешь?

Вопрос: О том, что тебя больше нигде нет – только на этих страницах.

Ответ: Ты меня совсем не слушаешь!

Вопрос: Извини, продолжай!

Ответ: Так вот, мыслящая тень понимает, что она лишь отражение путника, которого она не может ни увидеть, ни услышать, ни осознать. Она состоит из дороги, и травы, и ступенек, и половиц, и стены, и чего угодно, на что упадет. Она может быть одновременно животным, растением и минералом. Но главное ведь в ней – путник. И вот мы – лишь тень кого-то, кого мы не можем ни увидеть, ни услышать, ни осознать. Наше тело – только тень от другого нашего настоящего существования, вот, потрогай мою коленку!

Вопрос: Шершавая.

Ответ: Все, убери руку!

Вопрос: Но кто тот путник?

Ответ: Что тебе с того? Путник, снег, пыльца – все это слова. Важно лишь, что там, где путник, снег и пыльца, мы единое целое. Ну как тебе объяснить, чтобы ты понял? Вот чувствуешь, запахло паленым – это мотылек попался, обжег крылья о раскаленную лампочку, а за окном снова пошел ночной дождь, но с неба падают не капли, а буквы – к, а, п, л, и, – слышишь, барабанят по подоконнику, и запах сгоревшего мотылька – все это буквы. И мы все – единое целое.

Вопрос: Ужасно воняет мотыльком – нужно открыть окно, чтобы проветрилось.

Ответ: Иди, я подожду.

Вопрос: Дождь тихий, невидимый. Когда капли падают у самого окна в свет лампы – вспыхивают. Крупные, редкие, длинные. Будто это старуха с седьмого этажа бросает мне с балкона белые карандаши, которые никому на всем свете не нужны: берет по одному за кончик и отпускает.

Ответ: Иди скорей сюда! Мне холодно.

Вопрос: Погоди, но ведь мы говорили совсем о другом. О чем?

Ответ: Мы говорим все это время о любви. Мы об этом с тобой никогда не говорили. Будто избегали этого слова. Наверно, казалось несоответственным: разве можно собрать все, что чувствуешь, в какое-то узкое слово, как в воронку?

Вопрос: И что делать? Придумать другое слово? Новые значки для букв?

Ответ: Ты опять меня дразнишь! Дело же не в слове. Назови это любым другим словом – тем

же путником, или пылью, или Богом, или вот хотя бы той же сороконожкой. В одном измерении она спряталась под кирпичом между набухшими, тяжелыми от дождя флоксами, а в другом – она везде. Любовь – это такая особая сороконожка размером с Бога, усталая, как путник, ищущий приюта, и вездесущая, как пыльца. Она надевает каждого из нас, как чулок. Мы сшиты под ее ногу и принимаем ее форму. Она ходит нами. И вот в этой сороконожке мы все едины. У нее не сорок ног, а столько, сколько у человечества. Она состоит из нас, как из клеток, каждая клетка – сама по себе, но может жить только одним общим дыханием. Просто мы не осознаем, что живем в невидимом и неосознаваемом четвертом измерении, которое и есть сороконожка-любовь, а видим себя только в третьем – как та раскатанная по дороге кошка, которая на самом деле жива и ловит лапой снежинки.

Вопрос: У тебя ледяные ноги.

Ответ: Ты, как всегда, меня не слушал. А помнишь, я сказала, что с детства недоумевала: «Зачем нужны эти волосы внизу?» А ты ответил так просто: «Чтобы целовать».

Вопрос: Помню. Было очень жарко, и мы ходили по квартире голыми. Ездили купаться, и я весь обжегся на солнце. Ты сказала, что нужно обгоревшую кожу помазать сметаной. Сметаны не было, был кефир. Ты заявила, что кефир не подойдет, а я ответил, что это все равно, главное, что холодное! Я лежал на животе, а ты мазала мне спину ледяным кефиром из холодильника. Только сделали ремонт, и на свежепокрашенном полу были

разложены газеты. Мы ходили босиком, и газеты прилипали к потным ногам, такая стояла жара, даже под вечер. Потом пошли в ванную. Там сидел паук, и ты смыла его струей воды из душа. Очень хотелось снять с тебя, с голой, лифчик и трусики из белой, почти голубой по сравнению с загаром кожи. Мы набрали полную ванну, ты в нее залезла, легла, и в зелени воды твои ноги стали короткие и кривые, как лягушачьи лапки. Я гладил их под водой, длинные и стройные на мокрую ощупь, и думал, что так и должно быть, ведь ты моя лягушка-царевна. А потом, когда капли из меня упали в воду, ты наклонилась, чтобы рассмотреть, и сказала: «Смотри, свернулись, как маленькие облачка».

Ответ: У всех подруг все уже было, а у меня до тебя – ничего. Мама мне давным-давно дала какие-то шарики, которые нужно вводить до этого во влагалище, а что мне с ними делать, с этими шариками? Вот и лежали в холодильнике. Как откроешь молоко взять – увидишь шарики, и хоть плачь. А так хотелось любить по-настоящему, припасть к телу, распластаться, прилепиться каждым кусочком кожи, вывернуться наизнанку, вобрать в себя, как наволочка. Ты, узнав, что я еще лягушка в девичестве, вдруг замер, собирался что-то сказать, а я закрыла тебе рукой рот: «Молчи! Я так хочу!» И все равно долго ничего у нас не получалось – у тебя сразу все извергалось. Размазываю себе по животу, по груди, по разводам на шее, нюхаю, пробую на язык – и все не женщина. Я поступала на психологический,

провалилась и устроилась работать в виварии при университете. Раньше я представляла себе, что все у меня в первый раз с мужчиной должно произойти красиво: в какой-то красивой комнате, обязательно при свечах и чтобы играла красивая музыка. Жизнь должна быть красивой. А потом я поняла, что красота – это совсем другое. Мне нравилось бродить между жбанами с лягушками, мимо стеллажей с лотками, в которых кишели белые мыши. Нравился тот особый запах, теплый, земной, утробный. Еще там были три обезьяны, запуганные, злые. С ними делали какие-то опыты: заворачивали для неподвижности в специальные тиски, чтобы они не могли шевелиться, и вставляли в голову электроды. А в перерывах между опытами они сидели с печальными глазами в клетке. Там стояли мешки с грецкими орехами. Помнишь, ты протянул орех сквозь решетку, обезьяна схватила орех и изо всей силы ударила тебя по руке. И смотрит глазами, в которых вдруг не печаль, а злоба. Во дворе были ряды клеток с собаками. Когда одна начинала лаять, то заводились другие, и тогда лай стоял до неба. Я должна была топить щенков, и ты мне стал помогать: в ведро мы налили воду, бросили щенков и другим ведром с водой поскорее накрыли, вдавили, так что вода плеснула через край, обмочив нам ноги. Я крепилась, но все равно потекли слезы. И ты сказал, чтобы утешить: «Ну что ты, не плачь! Все это можно будет потом куда-нибудь вставить, в какой-нибудь рассказ». Ты сказал такую несурезицу, что меня всю внутри

пронзила такая острая жалость, такая любовь к тебе, что захотелось твою голову прижать к груди, затискать, как ребенка. Нужно было принести сена, которое складывали в крайнюю пустую клетку. Мы пошли туда, и тут не удержалась, обвила тебя, стиснула, зацеловала, повалила. Вот это и была настоящая красота: запах колкого сена, небесный лай, ты в первый раз во мне, и боль, и кровь, и радость.

Вопрос: А помнишь, в тот день, когда альбом прикрыл тебе бедра, как юбка, ты потом пошла в ванную, я думал, ты хочешь в душ, но не было плеска воды, а только было слышно, как ты долго перебирала что-то в шкафчике, где шампуни, ножницы и разные склянки. Я лежал и прислушивался к звукам из ванной, гадая, что такое ты там можешь делать, смотрел на твою босоножку, замершую в кресле, – ты трясла ногой, чтобы поскорее сбросить ее, когда мы раздевались, и она улетела. Лежал и думал, что опять не подготовлюсь к институту, я учился на языковом, и нужно было к каждому занятию делать упражнения, как в школе. И вот лежал тогда на моем старом, продавленном диванчике, скрипевшем от каждого движения, вернее даже, он не скрипел, а орал, мол, эй вы там, немедленно прекратите, вы там любовь крутите, а я вот-вот рухну, все ножки шатаются! – и ждал тебя и думал – черт с ними, с неправильными глаголами! Тут ты вышла из ванной и остановилась на пороге комнаты. Улыбаешься: «Ничего не замечаешь?» Я смотрю, как ты стоишь, прислонившись к косяку, закинув руки за голову, выставив локти,

чуть поводишь коленкой, поставив пальцы одной ноги на пальцы другой. Смотрю на твой розовый перепончатый лоскуток под ключицей, на зернышки сосков, на темный комочек внизу живота – будто ты зажала что-то между ног и держишь: варежку или шерстяной носок – и тут замечаю, что у тебя нет пупка. Я встал, подошел и разглядел, что ты залепила пупок пластырем. Пластырь телесного цвета и издали был незаметен. Подхватил тебя на руки, хотел закружить, но где там кружиться в крошечной комнатке. Потеряли равновесие и упали на диванчик. Помнишь, с каким треском он рухнул под нами? Ты умирала от хохота, а я отдирав пластырь с живота, смертельно захотелось сказать туда, внутрь, твоей виноградинке, торчавшей из пупка, как я тебя люблю.

Ответ: И еще ты тогда поцарапал губу о мою се-режку. Покажи! Нет, ничего не заметно.

Вопрос: И еще мне очень нравилось приходить к тебе в виварий. В ту, нашу клетку.

Ответ: А я сначала всех там любила, а под конец уже не могла ничего делать. Собак собирали по городу и привозили испуганных, полумертвых. На их содержание выписывали разных продуктов, мяса, но мясо все разворовывали, а кормили собак собачиной же. Убьют одну, разрубят и бросят другим. Я сказала себе, что в последний день своей работы, перед тем как уйти, открою все клетки и выпущу этих несчастных. Один раз я задержалась допоздна, это было в конце осени, рано стемнело, и было холодно, как зимой. Так получилось, что в ту ночь все клетки были пусты, осталась только одна

собака. Она несколько раз принималась лаять, и ей никто не отвечал. И тогда она завывала. Я побыстрее убежала, чтобы не слышать этого воя. Может, она почувствовала себя последней собакой в мире. Я пришла домой, в нашу однокомнатную, которую мы тогда сняли в Беляеве, тебя не было, и стала перебирать твою одежду, обнюхивать твои рукава, тереться о твой свитер лицом, натянула на себя твою рубашку. Вот хожу по квартире и люблю – и ничем другим заняться не могу. Тебя со мной нет, а это совершенно неважно, я так наполнена любовью к тебе, что никакой другой мысли, даже крошечной, некуда в меня пролезть. Куда ни посмотрю, вижу все равно тебя. Просто какие-то приступы счастья. Вот урчит в батарее отопление – как уютно урчит! В форточку лезет морозный воздух – до чего хорошо! Вот твой шарф – какой он мягкий на моей шее! Вот смотрю в окно, как два человека стоят под фонарем и переговариваются клубочками пара, – какой замечательный язык они придумали! И так получаю наслаждение от каждого ощущения, уже только потому, что я это чувствую, вижу, трогаю. Впору рыдать от полноты бытия, а я иду жарить картошку с луком – ты скоро придешь – и рыдаю от лука, но для меня в ту минуту это одно и то же.

Вопрос: Подожди, у меня рука затекла. Положи голову мне на грудь.

Ответ: Тебе так не тяжело?

Вопрос: Нет. Говори.

Ответ: Думала о тебе и понимала, что эта любовь – первая и последняя, ее никогда еще не было

и никогда больше не будет. До нас не было и после не будет: тех вишневых косточек, кефира на твоей обгоревшей спине, пластыря на моем животе, который не хотел отдираться. Или вспомни тот вечер на Клязьме, когда мы стояли и смотрели, как лошадь под яблоней тянулась губами к яблоку и набежавшее облако поменяло ее масть. Или как перед сном ты читал вслух что-то уютное о мифах: там сначала истребили всех, кроме одного мальчика, которого спасла и вскормила волчица, а потом она стала его женой и родила ему девять сыновей. Ты читаешь и наматываешь мои волосы на палец. Я шепчу, засыпая: «Чтобы я никуда во сне не убежала?» Ты киваешь головой и читаешь про какое-то божество, которое родилось у другого божества из-под мышки. Так ведь это же я то самое новорожденное божество и есть! Свернулась калачиком у тебя под мышкой, прижимаюсь к тебе, будто только что у тебя из-под мышки родилась. И уже сквозь сон слышу, как кто-то зачинает от удара голубя в лицо.

Вопрос: Скажи, а куда ты тогда плыла во сне – одна рука вперед, под подушку, другая назад, ладонью кверху?

Ответ: Как куда? К тебе! Больше всего боялась, что все это кончится. Где-то прочитала про игру в «нет» и стала себя готовить: чем меньше привязанностей, тем безболезненнее жить. Лекарство от зависимости. Самолечение – расслабиться, повременить, закрыть глаза. Представить себе что-то рядом – пустой стакан на краю стола. Мама пила лекарства, и по краям остались следы от ее губ. Стакан

упал на пол и разбился. На счастье. В шкафу альбом с моими детскими фотографиями. Их можно выкинуть. Или даже сжечь. Взять большую сковородку, поставить на плиту и сжигать по одной. На красивом бабушкином блюде у зеркала – мои колечки и сережки. Пришел тать – и блюде пусто. Ничего страшного. Значит, ты не поцарапаешься больше о застежку сережки. В туалете лыжи – из-за нехватки места, а куда еще поставить? Вернусь летом с дачи, а их сгрыз лыжеед. Лыжные палки можно отдать соседским детям, они будут строить из палок и одеял вигвамы. Вот моя нога приставлена к стене: пальцы растопыриваются, потом собираются, будто нога чешет обоям спинку. Я попаду под трамвай, мне эту ногу отрежут, буду скакать на костылях, сделают протез, можно будет ходить в брюках – незаметно, но я и без ноги обойдусь. Вот моя мама, моя любимая, добрая, глупая мама. У нее не получилась та жизнь, о которой мечтала, и ей казалось, что ее жизнь – это черновик для меня и я перепишу все заново, набело: выйду замуж, все у меня будет по-людски, семья и ребенок от любимого и любящего мужа, и все по-настоящему. Одно из первых моих воспоминаний: мама наливает горячую ванну, прямо кипяток, то есть это и был кипяток – она вскипятила кастрюли и чайник и залила это в наполненную горячей водой ванну, – насыпает сухой горчицы и, взвизгивая и причитая, садится в нее. Потом, когда вылезает, – все распаренное, пунцовое. Во время одной такой ванны она меня нечаянно обварила. Мама

рассказывала, что, когда беременела, а потом делала аборт, у нее было смешанное чувство: и жалость к нерожденному, и еще совсем другое – она ощущала себя полноценной женщиной. И наоборот, если бы не беременела, ей бы казалось, что у нее что-то не в порядке, что она неполноценна, что она не может родить. Для нее каждая беременность – это был знак: все в порядке, все хорошо. В следующий раз можно готовиться к настоящим родам, родить ребенка. И вот я представляю себе, что моя мама умирает. Рано или поздно это ведь все равно должно произойти. В груди, где сердце, все сдавливает, но я знаю, что переживу и это. Вдруг вижу снежные сумеречные похороны. Кто-то говорит: чтобы земля была ей пухом. Я бросаю в яму, в которую ее опустили, мерзлый комок песка. Он ударяется жестко, звонко, подскакивает. Будто я бросила камнем в мертвую. За всю ее любовь ко мне. На глаза наворачиваются слезы, но ведь ничего не поделаешь, так будет, и придется жить без нее. И вот тогда я начинаю представлять себе, что теряю тебя. Но даже не успеваю подумать о том, что может с тобой произойти, какая беда может унести тебя, – в глазах темнеет, внутри все скручивает, даже скулы сводит от пронзившего вдруг страха, от внезапной пустоты, от промерзшего одиночества. В одно мгновение перестаю быть человеком и становлюсь выброшенным на зимнюю ночную помойку чулком.

Вопрос: Жарко. Давай будем лежать без одеяла. Вот так. Скажи, ты ведь хотела открыть перед тем, как уйти, все клетки – ты так сделала?

Ответ: Конечно, нет. В этих клетках они, по крайней мере, жили. А так бы их всех перетравили. Я хотела столько всего рассказать, а теперь вот прижалась к тебе и все забыла. Вспомни еще что-нибудь ты!

Вопрос: Ты один раз сказала, что долго думала, будто дети рождаются из попы, потому что в деревне летом увидела, как у лошади из-под хвоста рождался жеребенок.

Ответ: Я, наверно, тебя душила моей любовью. Тебе ее было просто слишком много. Так бывает: один человек любит, ни о чем не подумывая, а другой испытывает от этой любви удушье. Умираю вдруг от тоски к тебе и звоню, а ты: «Я сейчас не могу с тобой говорить!» – и вешаешь трубку. Я снова звоню. Ты опять вешаешь трубку. Я снова звоню – без конца. Ты не понимал, что мне всего-то было нужно услышать: «Я тебя люблю». И все, я бы больше не звонила. А так доводила до бешенства и себя, и тебя. Ты писал какой-то бесконечный роман и читал мне из него отрывки, я ничего не понимала, но мне все ужасно нравилось. Если бы ты прочитал инструкцию по подключению стиральной машины, мне бы и это показалось чудесным. Один раз ты записал, как я вынимала из лотка за хвост белую мышь, и за нее цеплялась целая гроздь, и у них были глаза-клюквины, и сказал: «Так ты исчезнешь, а вот если я тебя запишу – ты останешься».

Вопрос: А ты засмеялась: «Куда же это я могу исчезнуть? А вот ты свою записную книжку забудешь в метро – и все! Как ты не понимаешь: один мой волос, который останется на по-

душке, когда я утром уйду, реальнее всех твоих слов, вместе взятых!»

Ответ: Я думала все время о нашем будущем, и становилось страшно, ведь нельзя влюбиться в первый раз и протащить эту любовь сквозь всю жизнь. Значит, все когда-то должно закончиться. И снова принималась играть сама с собой в «нет». А потом поняла, что этим только притягиваю несчастья. Зову к себе, воображая их и боясь. Я действительно сломала себе – не ногу, правда, а руку. Ходила с гипсом на перевязи. Им было хорошо колоть орехи. И даже потом, когда мама умерла, все так и было, как я придумывала: заснеженное кладбище в сумерках, кто-то сказал: «Пусть земля будет ей пухом!» Я бросила в яму, в которую ее только что опустили, мерзлый комок песка. Он ударился о крышку гроба жестко, звонко, подскокил, будто я бросила орех. И когда ты ушел, я выла именно так: как та собака, оставленная замерзать в клетке. Я вдруг поняла маму – от чего она каждый раз спасалась любовью: от этого леденящего холода. Ведь это невозможно – оставаться наедине с этим вселенским одиночеством, с самой собой. Она должна была каждый день умирать от любви, чтобы не подыхать от страха ледяной клетки. Я ужасно боялась тебя потерять – и все время думала о других, которые будут у тебя потом. Кто они такие? Неужели можно больше любить, чем я? Исходила ревностью и завистью – вот они будут вместо меня прижиматься к тебе, как я, целовать тебя, как я, трогать тебя везде, как я. А потом пришла простая мысль: но ведь они будут

только повторять меня. Твоя любовь ко мне будет для них как выкройка. Ты каждый раз будешь любить меня. И когда это поняла, даже перестала их ревновать, они стали чуть ли не родными. Даже немножко мной самой, ведь они так же наутро будут пахнуть тобой. То есть это будут совсем не другие, а немножко я. Как если бы мы с тобой не расстались, а встречались снова и снова.

Вопрос: Ту записную книжку я действительно где-то потерял. Казалось, что конец света наступил – столько всего там было важного. А там было, наверно, все неважное. Тех слов нет, а твои волосы на моей подушке – вот они, наматываю на палец.

Ответ: Однажды мы с мамой, когда она уже сильно болела, говорили о моем отце и о других, и она сказала, что разлюбить можно, только если не любил, и что любимого однажды будешь любить и через многих других. Она так и сказала: «Вот бы их всех собрать! Так бы всех прижала к груди! Так бы посадила всех за стол и кормила чем-нибудь вкусным, как детей!» Еще она сказала, что это только расстояние между пунктами А и Б проходят километрами, а жизнь проходят людьми, нужно вбирать людей внутрь себя, и все, которых ты любил, никуда не исчезают, они живут в тебе, ты состоишь из них. Это и есть прохождение жизни. Тогда, после лета на Рижском взморье, я больше всего на свете хотела не оказаться моей матерью. Я хотела во всем быть на нее непохожей. И иногда с ужасом ловила себя на мысли, что я понимаю и чувствую все, что когда-то понимала и чувствовала она. Вот мы любили

с тобой друг друга, а у меня в голове – что, может быть, моя мама точно так любила моего отца, когда я уже была где-то рядом с этим миром. И я точно так же обнимаю тебя, вожу пальцами по твоей спине по позвонкам, точно так же охватила тебя ногами – как она тогда с моим отцом. И испытываю точно те же ощущения, как она. В тот момент мы с ней вдруг соединились, слились. И у тебя даже точно такая же родинка под лопаткой, как у моего отца. Мама сказала, что всю жизнь искала одного человека, свою первую любовь. Может, у него тоже была родинка под лопаткой?

Вопрос: Может, у половины человечества родинка под лопаткой. Просто никто не смотрел.

Ответ: Но скажи, у тебя ведь было хоть раз ощущение, что ты – это твой отец?

Вопрос: Никогда. Вернее, один раз, да. Вскоре после его смерти. Я где-то в поезде, зимой, уже поздно, ночь. Спать от духоты не могу и иду в тамбур – постоять, отдышаться. Пробираюсь в конец плацкартного вагона, отовсюду ноги, руки, храп, сонные стоны, спертый воздух, вонь. Проход узкий, вагон болтает, я хватаюсь за поручни, они холодные и будто потные. Выхожу в тамбур, там все заросло льдом, дверь в соседний вагон не закрывается, грохот, пляшут буфера, лязгает железо. И к тому же еще темнота, ни одна лампа не горит. Вдруг охватил такой холод, сдавила такая тоска. И на какое-то мгновение грохочущий вагон показался мне подводной лодкой, и будто я – это он, отец. Я стал с ним одним целым. Время и все остальное вдруг превратилось в ничто, в труху. Я был моим

отцом. Подводную лодку швыряло, будто кругом рвались глубинные бомбы. Я быстрее пошел обратно, в вонючий, душный вагон. Тут мне встретился в узком проходе проводник с топором, шедший прямо на меня. Я растерялся, а он шел прорубать в туалете застывшие на морозе нечистоты.

Ответ: Ты знаешь, кто жил до тебя в этой квартире?

Вопрос: Нет. Какой-то старик.

Ответ: В твоей квартире до тебя жил ты. Вот так же по ночам прислушивался к звуку метелки, к кукольному голоску – соседу опять не спится. Почему ты не разговариваешь с ним?

Вопрос: Я про него уже написал.

Ответ: Он одинок.

Вопрос: Этот дом так и задуман. Только однокомнатные квартиры. Ячейки, удобные для тихого оукливания.

Ответ: Но с кем старик поделится своим беспокойством или радостью? И завтрашним днем? И тем, что будет гроза? И что скоро осень?

Вопрос: При чем здесь старик? Мы говорили о любви.

Ответ: Мы про это и говорим. А ты понял, кто бросает тебе сверху белые карандаши?

Вопрос: Который час?

Ответ: Вот именно! Минуты и годы – все это неизвестные жизни единицы, обозначающие то, чего нет. Время измеряется поменявшейся мастью лошади, которая тянется губами к яблоку. Время, как швейная машинка, сшивает неровной строчкой ту горячую собачью клетку, полную сена, и пустой вагон метро с забытым блокнотом, шорох падаю-

щих карандашей за окном и эту скрученную в жгут простыню. И вот эту книгу, что валяется на полу, которую можно открыть сразу на последней странице и прочитать о том, как усталые путники, пройдя все испытания, потеряв и обретя, отчаявшись и веря, сбив ноги и поцарапав души, огрубев на ощупь и повзрослев на любовь, приходят к концу своего долгого пути, к тому самому морю, подвешенному на туго натянутый горизонт далекими парусами, как бельевыми прищепками, и, обливаясь слезами, бросаются обнимать друг друга и кричать, сойдя с ума от счастья, какую-то нелепицу.

Вопрос: Но если уже поставлена на последней странице будущего точка, значит, изменить ничего нельзя? А если хочется что-то в жизни исправить? Вернуть кого-то? Долюбить?

Ответ: Наоборот, в любую минуту может измениться даже то, что уже было. Каждый прожитый тобою человек меняет все предыдущее. Вопросительный или восклицательный знак имеют силу перевернуть и фразу, и судьбу. Прошлое – это то, что уже известно, но изменится, если дожить до последней страницы.

Вопрос: Тогда можно листать обратно? И снег будет идти вверх? Акакий Акакиевич пером будет срезать с рукописи каждую букву и стряхивать ее в чернильницу? Поколение за поколением будут воскресать из гробов, а Христос убьет Лазаря? Вода и суша, свет и тьма вернутся в слово?

Ответ: Почему ты никогда не принимаешь мои слова всерьез! Ведь понял, что я имела в виду: на одной и той же странице всегда будет

происходить то же самое. И если моя мама еще была жива и я ее один раз сильно обидела, а потом подошла и обняла ее, прижалась к ней и мы так стояли на кухне, то и сейчас мы так стоим, и я уткнулась лицом в теплый треугольник загара над белой полоской груди. И если мы с тобой в каком-то феврале смотрели, как падает снег на бронзовую лошадь, а хлопья иногда действительно начинали лететь вверх, то у нее и сейчас снежная попона на спине. И если когда-то у меня был приступ счастья от ничего, от просто так, оттого что никогда не любила причесываться, а тут расчесываю себе после мытья волосы, опустив голову вниз и опрокинув их вперед, провожу деревянной щеткой, и крепкие зубья-спички продираются сквозь гущу с потрескиванием, с похрустыванием, с визгом – то и сейчас я в той ванной задыхаюсь от счастья просто от ничего, от того, что ты есть, оттого что спички щетки чешут мне, будто острыми коготками, кожу на затылке, оттого что держу голову вниз и свежепромытые волосы спадают тяжелым душистым пологом и еще оттого, что их много, густых, мокрых, цепких, как жизнь.

Вопрос: Но как ты не понимаешь, что все это невозможно!

Ответ: Почему?

Вопрос: Потому что тебя научили резать вдоль, а не поперек.

Ответ: Какая-то сумасшедшая скрюченная бабка на улице стояла и всем проходящим шипела: «Скоро умрешь!» Я хотела прошмыгнуть, убежать, стать невидимкой. Она старая, а не

знает: мир так устроен, что исчезнуть в нем невозможно – если здесь ты исчез, то где-то появился – в какой-то другой однокомнатной ячейке для одиноких, в чьей-то горячей, мокрой складке, в своей же жизни много лет назад. Если исчез с поверхности – значит, нырнул с головой и вот-вот вынырнешь. И потом, человек все равно не способен осознать, что его нет. Для этого не предусмотрено никакого органа чувств. Моя мама не узнала, не поняла, что ее больше нет. Она умерла во сне, заснула и не проснулась. И сейчас спит. И я не узнаю, не пойму, что меня больше нет. У нас нет свободы исчезнуть. Ты вернешься в меня. Я вернусь в тебя. И вот тут мы свободны вернуться в любую точку и в любое мгновение. И самая сладкая свобода – это свобода вернуться именно туда, где ты был счастлив. Вернуться в тот миг, который стоит возвращения. Я перелистываю жизнь и ищу в ней приступы счастья. И там, где чуть когда-то не задохнулась от любви, я могу остановиться и закрыть книжку.

Вопрос: Ты вернешься ко мне?

Ответ: Нет.

Вопрос: Как же нет, ведь ты уже вернулась ко мне. Я же обнимаю тебя, вдыхаю запах твоей головы. Вот же ты дышишь, чуть посапываешь, засыпая у меня под мышкой. Вот чувствую подушечками пальцев гладкие перепонки твоей лягушачьей кожицы на груди. Вот ты почесала себе живот, где был пластырь. Вот я наматываю твои волосы на палец, чтобы ты никуда во сне не убежала.

Ответ: Нет.

Вопрос: Но почему?

Ответ: Потому что я сейчас совсем в другом месте. Пляж, плоский, балтийский, полупустой. Сажу на песке у кромки моря, холодного, еле живого. Чуть плещется, чуть искрит на солнце. Спереди крики чаек, сзади звуки ударов о мяч, там играют в волейбол. Кто-то проходит мимо, вглядываясь в выброшенные на берег водоросли, ищет янтарь. Хрустят под его сандалиями ракушки. Я знаю, что сейчас будут три бессильных дохлых волны. А потом моя, четвертая, заветная – соберется, выгнется, дотянется до моей ноги, возьмет пальцы в рот и пощекочет песком пятку.

25 июля 1926 г.

Сегодня в Printemps увидела эту тетрадь в чудесном тисненном переплете и не удержалась, купила. Буду опять вести дневник, правда, постараюсь не записывать восторги от Сены, и Нотр-Дам, и музеев, и Эйфелевой башни, и всего остального. Все эти ахи и охи после двух недель в Париже просто иссякли.

А тетрадка мне нужна для того, чтобы записывать в нее те ощущения, которые никто, кроме меня, не пережил, не переживает и никогда не переживет! Потому что то, что сейчас со мной происходит, принадлежит только мне! Мне. Я вдруг почувствовала, что я прежняя стала исчезать, становиться прозрачной, а другая жизнь проступает сквозь меня. Мое тело вдруг принадлежит кому-то еще. Я уже не сама по себе.

Мне иногда кажется, что одно отделение моей жизни закончилось внезапной тишиной, без апло-

дисментов. Тяжелый, плотный занавес отделил меня от всего прежнего и от настоящего, которое вдруг оказалось набитым всякой ненужной ерундой. А самое важное и ценное, что может быть, уже у меня внутри. Это еще никому, кроме меня и Иосифа, неизвестно. Все охотятся за какими-то мелочами. А во мне – моя горошинка. Это Иосиф так сказал, когда мы гадали, кто спрятался у меня в глубине – мальчик или девочка. Горошинка. Она уже управляет мной, моим телом. Все мои желания, прихоти, капризы, странности – все это больше не мое. Мое тело – язык горошинки.

Мама рассказывала, что, когда была мною беременна, ей ужасно хотелось селедку с виноградом. А я теперь хожу по Парижу и вдыхаю, как сумасшедшая, запах машин. Раньше терпеть не могла, а теперь остановлюсь у таксомоторной колонки и нюхаю, нюхаю. Как чудесно пахнет бензином!

Говорят, еврейские отцы – самые лучшие отцы в мире. Сколько в нем терпения и мужества, в моем Иосифе, как он заботлив!

Я так рада, что этот кошмарный период тошноты кончился еще до отъезда в Париж. Ужасно тошнило натошак, и, как только я просыпалась, Ося вливал в меня по ложечке сладкого, крепкого, холодного чая. Удивительно, помогало. А после завтрака уже ничего не помогало! Отвратительно и унижительно было, как по расписанию, садиться перед принесенным Иосифом тазом! Кажется, уже и нечем, а все выворачивает. Потом, опустошенной и изможденной, приходилось отлеживаться.

К врачу ходил вместе со мной, записывал рекомендации и требовал от меня, чтобы я все выполняла. Тогда я начала звать его не Осик, а Пчелик. Осы – дурные насекомые, а Ося надо мной хлопочет, как пчелка.

Хотела написать дату и поймала себя на том, что здесь совершенно потеряла счет времени. Вернее, время теперь измеряется совсем по-другому. Я знаю, что сейчас восемнадцатая неделя, а все остальное кажется совершенно неважным.

Купила сантиметровую ленту и каждое утро измеряю, на сколько вырос живот. Еще не очень заметно. Заметно только моим платьям, пошитым в талию.

Ося на работе, я теперь целыми днями предоставлена сама себе. Пью чай, убираюсь, ухожу бродить по Парижу.

В первые дни не могла пройти спокойно мимо магазинов. Уже по дороге, в Берлине, ощутила себя замарашкой, туфли, юбка – ужасны. А здесь не только музеи – дворцы, но и магазины. Вошла в первый же день в такой дворец и превратилась в соляной столп: снаружи все стекло и никель, вертящаяся дверь, внутри все тоже стекло и никель и дорогое дерево. И сколько всего – яркого, цветного, красивого! И что за наслаждение ходить по бесконечным залам и трогать, гладить эти волны шелков – шелест, сверкание, струение! Захотелось купить прежде всего белье: тоненькое, нарядное, в прошивках и кружевах. Там же, в магазине, переделалась и выбросила ужасные чулки, простенькие панталоны, нижнюю юбку – с гримасой отвращения, которую поймала в зеркале и рассмеялась. Так вдруг стало хорошо! Как важно почувствовать себя хорошо одетой женщиной! А как приятно было нести яркие свертки и картонки домой!

Ося подарил мне путеводитель, я его всегда беру с собой, но мне нравится идти просто так, наобум, смотреть на витрины, на людей. Сегодня вышла на

улицу с замечательным названием: *Cherche-Midi*. Как это здорово: Ищи полдень! Мы эту поговорку еще в гимназии с нашей Марией Иосифовной учили, и тут вдруг – улица!

Как мне нравится Париж, когда светит солнце! Не город, а просто веселый базар, всё продают на улице – и фрукты, и овощи, и цветы. И всюду их длиннущие багеты и круассаны – воздушные, хрустящие! Не могу удержаться – покупаю. Все время хочется есть. И на каждом шагу блинные – *Crêperie*, не жизнь, а масленица! Зашла в какое-то кафе отдохнуть, открыла путеводитель, а это, оказывается, знаменитый «Прокоп»!

Один раз в *Lafayette* остановилась перед окном, и показалось, будто это не окно, а картина. Этот город просто написан импрессионистами! Люблю гулять по улицам, где выставляют свои работы уличные художники. Расставят ширмы и вешают на них картины. Целые уличные выставки. Американцы покупают все подряд. Ося объяснил, что, если сейчас что-то купить задешево, через 20–30 лет будет стоить целое состояние. Я все хочу попросить его, чтобы мы что-нибудь купили. Не для того, чтобы ждать 30 лет, конечно. Зачем нужно состояние через 30 лет? Через столько лет, может, ничего и никого уже не будет. Просто смотришь, и иногда так понравится! Но знаю, как ему сейчас трудно с деньгами. А отказать мне он не сможет. Милый мой Осик!

Сегодня художники все время поглядывали на небо: пойдет дождь или нет? Представляю, каково им с их картинами спасаться. А я люблю дождь! В этом городе дожди какие-то особенные. Париж очень красив в дождь, особенно, как сейчас, вечером, когда в мокрых мостовых плавают отражения электрических огней.

...

Серый, мрачный день. С утра льет дождь. Никуда не ходила. Пела и весь день читала.

Пою даже не для себя, а для горошинки. Говорят, что у цыган принято петь перед животом будущей матери, уже до рождения воспитывая музыкальность. Горошинка! Ты должен быть очень музыкальным! И когда немного подрастешь, мы с тобой будем вместе петь или я буду тебе аккомпанировать, а ты – петь!

А чтобы ты был окружен всем прекрасным, что есть на свете, а не только музыкой, я все время вожу тебя в музеи. Ты ведь тоже вместе со мной замирал от восторга и в Лувре, и у Родена, и в Cluny, правда? Помнишь, как нам с тобой понравилась дама с единорогом? Так и просидели перед ней час! И еще сходим к ней, да?

Господи, как долго тянется день! Скорее бы пришел Ося!

Какое это чудесное чувство – ждать мужа. Придет домой уставший, голодный. Мой муж! Как это красиво звучит: мой муж. Как же я счастлива с моим Иосифом! Как он за мной ухаживает, за мной и нашей горошинкой! Сколько в нем заботы, любви! Каждый день перед тем, как уйти в свое бюро, он встает пораньше, чистит и трет нам с горошинкой морковку. Он такой трогательный!

...

Гуляла долго, до Trocadero. Устала. Все время опять где-то громыхал гром.

Рассматривала витрины и сравнивала их с Берлином. Сейчас кажется, что там все сухо, безвкусно, бездарно. А здесь! Витрины галстуков – как сады, пейзажи, переливы, каскады, струение цвета. Духи – море, весна. И все только контрастами тканей, бархата, шелка.

Стараюсь гулять каждый день, несмотря на погоду, – горошинке нужен свежий воздух. И праздники. У них тут все время сплошные праздники! Каждые две недели в двух районах из сорока уличные праздники – ярмарки, американские горы, карусели, тигры, балаганы, фокусники, жонглеры!

А как было приятно, когда парижане устроили праздник в честь нашего прибытия на Gare du Nord!* Весь город высыпал на улицы! Идут толпами и поют свою «Марсельезу». В Париж надо всегда приезжать только 14 июля! Столько людей, и нигде ни постовых, ни солдат, парочки идут обнявшись, все всем улыбаются!

Обычно я хожу в Люксембургский сад. Мне кажется, это самый красивый сад на свете, особенно когда солнце. И в нем так легко, так свободно! Кто-то жует бутерброды, кто-то целуется. Для французов целоваться на улице, похоже, такая же жизненная необходимость, как жевать бутерброды. И хочется вот так же сидеть там с Иосифом, есть бутерброды и целоваться! Люблю смотреть, как старики играют в свой петанк. Кажется, я уже всех их знаю, они приветливо мне кивают.

А сколько молодых мам с детьми! Кажется, что все женщины Парижа или беременны, или недавно родили – столько детских колясок! Теперь, когда гуляю и встречаю коляски, хочется заглянуть внутрь.

Вчера на скамейке рядом сидела мать с ребенком и читала. Упала соска, ребенок закричал, она подняла, облизнула и снова сунула. Так забавно все это. Неужели, горошинка, у нас с тобой все это будет?

А другой карапуз, уже постарше, никак не мог спуститься с коротенькой лесенки перед фонтаном. Повернулся задом и сполз на пузе по ступеням.

* Северный вокзал (фр.).

Этот сад не простой, а королевский. Гуляешь по аллеям и все время встречаешься с королевами: то с Анной Бретонской, то с Маргаритой Провансальской. Тут Бланш Кастильская, там Анна Австрийская. Вчера я сидела напротив Маргариты Валуа. Выглянуло на минуту солнце, и по ее платью запрыгали солнечные пятна, будто она решила поправить длинные складки, и я подумала, что эти женщины, когда ждали своих горошинок, испытывали ведь то же самое, что теперь чувствую я. Вдруг это нас так сблизило, соединило! И наверняка эти королевы тоже чувствовали, что все королевства по сравнению с этим ощущением растущей горошинки внутри – ничтожная ерунда: внутри растет мир, который больше и важнее всех королевств и республик, вместе взятых.

...

В 7 утра разбудила гроза. И сейчас, когда пишу, – снова гроза.

Живу в Париже, в центре мира, а общаться приходится с Любочкой! Погуляли вчера два часа вместе, а потом до вечера болела голова. Любочка не говорит, а попискивает. И делает это без остановки. Но хоть какое-то общение.

Показала мне, где в мае убили Петлюру, это на углу Расина и Сен-Мишель.

Рассказывала, как ее привезли в больницу на восьмой неделе с сильным кровотечением, и все считали, что шансов выносить ребенка у нее мало. Ей искололи ее тощие ягодицы так, что все было черно от синяков и кровоподтеков, и спасалась только тем, что прикладывала к ним капустные листья.

Первый раз она выскочила замуж «по молодости и глупости», а развелась после того, как муж заразил ее гонореей. Ребенку было тогда четыре месяца.

Она работала в Госиздате вместе с переспелой дамой, все время пыхтевшей папиросой. Это и была «Прекрасная Дама», Любовь Дмитриевна Блок, воспитанная поэтесса. Рассказала, чтобы рассмешить. А мне стало ужасно грустно и неприятно.

Она замужем за секретарем торговой миссии. Я видела его один раз, и он мне показался симпатичным, а после разговора с ней у меня сложилось впечатление, что она его совершенно не любит.

Любочка тараторит без умолку, через полчаса у меня начинает болеть голова, и я не могу отвечать. Да ей и не нужно. Сегодня она рассказала, как гладила дома, уже здесь, в Париже, вдруг раздался звонок в дверь. Молодой человек, француз, представился поэтессой, продавал свои стихи как разносчик. Прогнать не смогла – жалко. Она поторговалась, и он дал ей за франк совсем короткое стихотворение. Ушел, она прочитала, а стихи – потрясающие! Сразу в него влюбилась. Решила, что это и есть ее настоящая любовь, любовь всей жизни, потому что так просто к тебе гении не заходят. Стала везде искать, спрашивать, хотела дать объявление в газету, а потом кто-то сказал, что это – известное стихотворение Артюра Рембо.

Горошинка стал шевелиться! Все как сказал врач – на девятнадцатой неделе.

Днем, оставшись одна, устраиваю тишину. Закрываю все окна. Останавливаю часы. Ложусь. Прислушиваюсь к тому, что внутри.

Вот и сейчас так сделала, легла, прислушалась. Ничего. Перевернулась на живот. Замерла, затаилась. И вдруг – кок! – как крошечный пузырек в животе лопнул. И опять, и снова.

Ау?! Кто ты, горошинка моя?

Ося хочет девочку, а я не знаю, кого хочу. Наверно, тоже. Очень хочется заплетать ей в косички банты и надевать красивые платья.

Я рада тебе, горошинка, и какая разница, мальчик ты или девочка. Если будет девочка, Господи, пусть она возьмет у папы глаза и руки, а нос пусть будет мой. Только не его нос, пожалуйста!

Сегодня обратила внимание, что мой новенький красивый лифчик, который я купила в Lafayette, стал мал. Грудь вдруг в одну ночь опять выросла, и опять правая – так забавно! Сначала увеличивается правая, и только спустя несколько дней левая догоняет ее.

А я стала себе нравиться. Вдруг полюбила смотреть на свое тело, гладить эту кожу. Никогда у меня не было такой изумительной груди.

А иногда кажется мое тело – не моим: тяжелым, чужим. Несколько дней привыкаю к новому состоянию, а только привыкну и перестаю обращать на себя внимание, что-то опять происходит со мной. Завтра куплю новый лифчик, специальный, чтобы расстегивался спереди.

...

Сегодня с утра сильный туман. Ходила гулять, дошла до моста Александра Третьего. Эйфелеву башню будто еще построили только до половины. Подумала, что именно такой, недостроенной, ее видела когда-то Мария Башкирцева. Ведь это ее город, она здесь жила, пела, писала свой дневник, рисовала, ходила по тем улицам, по которым теперь хожу я. Здесь умерла. А я даже не знаю, где, на каком кладбище она лежит.

...

Сегодня была в гостях у Петровых. Любочка ввела меня в светский круг совдам. Я в этом Париже успе-

ла отвыкнуть от людей. Сперва обрадовалась, что новые лица, что все говорят по-русски, а через полчаса захотелось сбежать! Господи, чего только я не наслушалась! Сначала все друг перед другом хвастались, кто что где купил, потом стали обсуждать всякие запреты-обереги для беременных. Причем каждая начинала, что все это бабкины глупости, а потом приводила пример, как с какой-то ее знакомой это самое и произошло!

Нельзя пинать и гладить кошек и собак – иначе у ребенка появится «щетинка». Чушь собачья. Где-нибудь теперь увижу кошку – специально подойду и поглажу!

Нельзя перешагивать через оглоблю, веревку и через что-то еще – родится горбатым. Да где в Париже взять эту оглоблю?

А если перейти дорогу покойнику, то у ребенка будет родимое пятно – запечется кровь. Получается, что родинки – это встречи беременной со смертью?

Вечером рассказала Осе. Все это от деревенской дикости! Ося все объяснил: откуда, например, запрет на перешагивания: да потому что под юбкой ничего не было! Боялись, по темности своей, что какие-то предметы снизу «увидят» детородные органы! Ну увидят, ну и что? Ведь они верили, что в каждом предмете дух. А какой дух в оглобле?

Купила несколько книг о беременности и материнстве. Читаю. Как там все ясно и просто! И не надо ничего бояться. Только все равно страшно, как подумаешь, что с ребенком может что-то случиться при родах. И еще страшно, что будет больно.

Я трусиха и очень боюсь боли. Страшно именно от этого – от того, что будет физически больно, и это надо принять. Ося сказал, что боль в природе нужна для самосохранения, для предупреждения смерти, чтобы полюбить жизнь. Как все устроено!

Причиняют боль, чтобы заставить жить. Гонят в жизнь, как хворостиной. Если бы не было больно, если бы не стегали – кто бы остался жить?

А Любочка про боль сказала: при родах боль, страдания нужны, чтобы суметь полюбить ребенка, чтобы запомнить, какой ценой он достался.

•••

Ося – лапушка! Попросила его достать мне Башкирцеву. Так захотелось перечитать! Он – умничка, золотце, специально ездил в библиотеку и нашел! Старое-престарое издание, зачитанное до дыр. Открыла случайно и сразу наткнулась на вот эти строчки: «Какое удовольствие хорошо петь! Сознаешь себя всемогущей, сознаешь себя царицей! Чувствуешь себя счастливой благодаря своему собственному достоинству. Это не та гордость, которую дает золото или титул. Становишься более чем женщиной, чувствуешь себя бессмертной. Отрываешься от земли и несешься на небо!»

Листаю и поражаюсь этой девочке. «Ничто не пропадает в этом мире... Когда перестают любить одного, привязанность немедленно переносят на другого – даже не сознавая этого, а когда думают, что никого не любят, – это просто ошибка. Если даже не любишь человека, любишь собаку или мебель, и с такою же силою, только в иной форме. Если бы я любила, я хотела бы быть любимой так же сильно, как люблю сама; я не потерпела бы ничего, даже ни одного слова, сказанного кем-нибудь другим. Но такой любви нигде не встретишь. И я никогда не люблю, потому что никто не полюбит меня так, как я умею любить».

Когда она успела это пережить и прочувствовать? Неужели раньше люди были значительно взрослее и умнее нас, сегодняшних взрослых?

Или: «Я, которая хотела бы сразу жить семью жизнями, живу только четвертью жизни».

Но это не может написать девочка в 14 лет!

Заглянула «в сегодня» последнего года ее жизни – запись за 30 августа: «Так вот как я покончу... Я буду работать над картиной... несмотря ни на что, как бы холодно ни было... Все равно, не за работой, так на какой-нибудь прогулке: те, которые не занимаются живописью, тоже ведь умирают...»

А через два месяца ее не стало.

Письмо от Кати! Читала про их московское житье-бытье, и так схватило сердце – как же я по всем нашим соскучилась!

Вот уж от нее не ожидала, что и она стала суеверной! Пишет, чтобы я не стригла волосы – плохая примета: младенцу жизнь укорачивать. Пойду завтра всем приметам назло в парикмахерскую, постригусь и сделаю укладку. Вот вам всем! Я в приметы не верю!

Кажется, совсем недавно я в первый раз к ним в Москву приехала, сколько же лет прошло? Ого! Уже десять! Да, это было в январе или феврале 16-го. Мечтала устроиться петь, а в «Эрмитаже» – это в моем «Эрмитаже»! – меня даже слушать не стали! Как забавно все это вспоминать сейчас, когда то, что казалось когда-то недостижимой мечтой, вдруг стало пройденной ступенькой. А тогда, Боже, какая это была трагедия!

Бродила, несчастная, никому не нужная, по центру заснеженной зимней Москвы часами – в красивой, праздничной толпе. Кто-то рассказал, как Вертинский познакомился с Верой Холодной: на Кузнецком решил приударить за хорошенькой барышней, а та ему: «Я замужем, жена прапорщика Холодного». Отвел ее к Ханжонкову – стала королевой кинема-

тографа. Вот и я, как дура, все ходила и мечтала, как кто-то остановит и скажет: не хотите ли сняться или спеть?

Смотрела на барышень, а у всех прически под Веру Холодную, и всякая мечтает стать кинематографической дивой.

И как же было обидно слышать, как какая-то холеная барышня выходит из магазина и бросает приказчику: «Нет, не то, не нравится. Я, пожалуй, приду с моим женихом».

Ходила мимо одной витрины со шляпками и не выдержала – зашла примерить. Шляпки парижские, нравятся все отчаянно, какую ни возьми, а я: «Нет, не то, не нравится. Я, пожалуй, приду с моим женихом».

А теперь все парижские шляпки – мои. А важно – совсем другое.

...

Все чаще и чаще думаю: а могла бы я здесь петь? Не знаю.

Мой славный Осик водит меня в кафешантаны и мюзик-холлы. Мы перевидали всех кумиров Парижа – Мистангет, Шевалье, теперь Жозефина Беккер. Поют не лучше наших, но совершенно по-другому. Легко, свободно. А у нас любую песенку исполняют всерьез, как оперную арию.

Вчера ходили в «Казино де Пари» на Жозефину Беккер. Маргышка, но талантливая, как чертенок.

Еще мне очень понравилось в «Мулен Руж». Где я была, когда Бог раздавал такие ноги?

Но как мне здесь петь? Вот и начинаешь задумываться, что такое «русская душа». Это когда не можешь так скакать по сцене, как эта Жозефина!

Для «русской души» здесь устроены русские кабаки. Были с Иосифом в одном таком на Монмартре. Ужасное впечатление. Русские продают русское по

дешевке: купите хоть за пятак! Противно смотреть, как американцы веселятся: подпевают цыганам, приплясывают. Пьяные пускаются впрысядку. И все без исключения после величания бьют посуду – им, верно, кажется, что это и есть «русская душа». Во всем что-то унижительное.

Потом потушили свет, в темноте зажгли жженку и устроили шествие в какой-то фантастической военной форме а-ля рюс: торжественно пронесли на рапирах шашлыки.

Отвратительна уже только сама мысль, что пришло бы петь здесь.

Господи, как я скучаю по сцене!

Вот ты родишься, горошинка, подрастешь немножко, мы вернемся домой, и ты отпустишь меня снова петь.

Написала эти строчки, и так вдруг захотелось обратно, в Москву!

Возвращались вчера на таксомоторе. Шофер – русский, из Тулы. Сказал, что в Париже три тысячи русских таксистов.

Да, больше всего в «Казино де Пари» поразил жонглер с подносом в руке, на котором сорок стаканов и сорок ложечек – каждая лежит рядом со стаканом. Ап! – и сорок ложечек оказались в сорока стаканах! Просто – ап!

Снова была в Лувре.

То ли встала не с той ноги, то ли настроение было не «отвосторгазамирательное». Вдруг стало скучно.

Смотрела на Афродиту и вспомнила, как меня ужаснуло, когда прочитала еще в гимназии, из какой пены она на самом деле образовалась. Подумать только: сын серпом отрезал своему отцу тот самый орган!

Бродила по залам, и вдруг стало раздражать: сколько картин на один и тот же сюжет – непорочное зачатие! Что им далась эта непорочность? И в чем, собственно, порочность? Что же в этом плохого?

Родиться от девы и духа Божия – не меньшее чудо, чем от обыкновенной женщины и обыкновенного мужчины. Горошинка – ты и есть чудо.

...

Наконец пришло письмо от мамы. Все то же. Жалуется на все.

В последний раз мы виделись в прошлом году, когда я выступала в Ростове. Вернее, когда бежала из Москвы – просто не могла там оставаться после всего, что тогда произошло.

Какими и мама, и отец после Москвы и Питера показались мне постаревшими, провинциальными. И они, и вообще весь Ростов. Или это меня так перепутало за эти годы, разлохматило, унесло?

Мама очень сдала. Она всегда красит волосы хной, а в тот раз, так как давно их не красила, у корней они стали совершенно седыми. Я ее такой никогда не видела.

Папа был по-прежнему бодрый, а теперь мама пишет, что он сильно болеет. А мне он в последнем письме и словом не обмолвился. Вот он такой всегда!

Целый день думала о них. Я так любила в детстве, как папа играл со мной: будто он зверь и хочет меня загрызть – борода его щекотала мне шею и щеки.

Папочка! Как я тебя люблю! Я никогда не расскажу тебе, что видела тебя тогда, во Всесвятской, как ты, смеявшийся всю жизнь над попами и церковью, молился укладкой, спрятавшись от всех в полутем-

ном притворе. Танечка, дочка от Елены Олеговны, моя сводная сестричка, умирала от тифа.

Я тоже помолилась тогда за нее, вернее, за тебя. А Танечка умерла спустя два дня. Бедный мой папочка! Я совсем ничем отсюда не могу помочь тебе. Только письмо написать и думать о тебе, вспоминать.

Воспоминания – как островки в океане пустоты. На этих островках все они, мои близкие и дорогие мне люди, всегда будут жить, как жили. На одном таком островке папа украдкой крестится в полумраке. Мама красит волосы хной. Моя Нина Николаевна идет в своей старомодной шляпе. Хотела увидиться с ней тогда, в Ростове, а ее уже нет. И на могилу так и не сходила – некогда было.

В первые дни революции встретила ее на улице. Кричу ей: «Нина Николаевна, поздравляю!» Она спрашивает удивленно: «С чем?» – «Как с чем? С революцией! С весной!» Она в ответ: «Милочка! С революцией поздравлять нечего, а весна наступает не по календарю, а когда я меняю фетровую шляпу на соломенную».

Царство ей небесное!

...

Сегодня, гуляя по Ситэ, обнаружила памятную доску, посвященную Абеляру и Элоизе. И вспомнила Забугского. Мой ростовский Абеляр умер от тифа в декабре 1919-го.

Вспомнилось то ужасное время, война, тиф. Сколько было боли, но сколько осталось тепла, света! Вспомнилось то Рождество 19-го года. Все бежали из Ростова. Папа достал нам с мамой билеты на поезд. Простояли где-то за городом на путях пять дней – нас все время передвигали, и страшно было отлучиться на вокзал, чтобы достать какой-нибудь

еды, – вдруг отстанешь. А люди то вскакивали и убегали с вещами в какой-то другой поезд, то снова возвращались, да еще рассказывали, что видели у вокзала повешенных. Говорили, что машинисты саботировали, и действительно, собрали им денег, и только тогда наконец уехали. В вагоне воздух был ужасный – ребенок болел животом. А кто-то все утешал, что после теплушек наш вагон 3-го класса со скамейками – просто рай. Одна женщина все время кричала мужу: «Саша! Меня вошь укусила!» И начинала расстегиваться, ее сын-подросток держал одеяло, а муж долго искал укус, чтобы втереть спирт. А какая-то француженка с мужем, русским полковником, раненым, совсем потеряла голову, натерла своего грудного ребеночка нафталином, чтобы убереечь от насекомых. Тот кричал, а она принималась в отчаянии трясти его, чтобы замолчал, и ругать и Россию, и русских. Был настоящий кошмар. Все озверели и бросались друг на друга чуть ли не с кулаками. А был самый сочельник. Одна женщина решила для детей устроить елку в вагоне – среди шума, вони, истерик. Нашла ветку, еловой не было, обыкновенную, поставила в пустую бутылку. Кто-то постелил зеленый платок. Из бумажки сделали украшения. Прицепили к ветке кусочки ваты. Не было свечек – купили толстую фонарную свечу у стрелочника. Нашлось несколько яблок – их разрезали на тонкие дольки. Елка в вагоне! Дети собрались, взрослые столпились. Я стала с детьми петь. Лица у всех изменились: были уставшие, злые, напряженные – а сделались радостные, торжественные! Один мальчик потом поцеловал меня и подарил мне свое сокровище, какую-то пуговицу.

Где теперь та пуговица? Где та удивительная женщина? Что стало с теми детьми?

...

Как хорошо иногда бывает ошибаться в людях! Наша хозяйка мне с самого начала совершенно не понравилась. Как стала в первый день говорить, что диваны и кресла обиты дорогой тканью «тиссю родье», так сразу и захотелось облить их кофейной гущей, и их, и хозяйку. Она живет прямо под нами и приглашает иногда на кофе. Как откажешься? И разговоры все об ужасных русских, которым ее покойный муж дал в долг уйму денег, купив царских облигаций, а они теперь не хотят возвращать. И удивительное чувство – среди своих можно на Россию ругаться, сколько душеньке угодно, а тут, с чужими, которые начинают плохо говорить о моей стране, отчего-то сразу начинаешь ее защищать.

А вообще-то она милая. Читает все время Библию, ходит в какой-то библейский кружок, меня зовет всегда туда. Забавно, что для нее все пророки вещали не иначе как по-французски.

...

Зашла в кабинет восковых фигур. Злюсь до сих пор! Я стала такой чувствительной на запахи! Воздух там спертый, дышать нечем. И нет чтобы сразу уйти! Стало жалко, что столько денег заплатила за билет!

Бродила там, путая живых людей с восковыми. Зачем это нужно? Мертвое выдают за живое. Придумали – восковое воскрешение! Не дождалась ангельской трубы! Устроили нарядный морг!

Не досмотрела, ушла, а неприятное ощущение осталось. Пошла в Нотр-Дам, чтобы загладилось впечатление. Я люблю там сидеть в полумраке, смотреть на огромные розы витражей, на дымку под потолком, представлять, как здесь венчалась королева Марго со своим Генрихом: она одна перед алтарем, а он за воротами, на улице.

Хотела бы я здесь венчаться? Я бы хотела здесь когда-нибудь петь. Здесь чудесная акустика.

Вышла и еще долго стояла на набережной Сены перед Нотр-Дам. Какую огромную тень он отбрасывал сегодня на закате!

...

Сегодня ездили на rue Daug. С Любочкой ходили по магазинам. Она покупала совершенно безвкусные вещи, и не было охоты переубеждать ее.

Она уверяет, что в следующем году модно будет носить юбки выше колен.

Люба болтает непрерывно, даже не обязательно кивать головой, можно думать о своем, но не получается. Сегодня она рассказывала о своих любовниках – как ни в чем не бывало! Отвратительно! Перебирает своих мужчин, как платья на вешалках в шкафу.

Мальчишки подкладывали гвозди на трамвайные рельсы. Никак не могла понять, а потом дошло, что они делали себе таким образом игрушки: гвозди становились плоскими, как маленькие сабельки. Для солдатиков? Это было так опасно! Хотелось схватить и отодрать за уши! Хорошо, что их спугнул полицейский.

Горошинка, неужели ты родишься мальчиком и тоже будешь придумывать такие глупые, опасные развлечения?

Были с Осей в кино. Смотрели «Пат и Паташон».

...

Увидела сегодня на улице девочку с большим красным пятном на шее и сразу вспомнила те дурацкие разговоры. Подумала невольно: наверно, мама испугалась и схватилась за живот.

Смотрю теперь все время на других детей и думаю: когда-нибудь и ты, горошинка, будешь вот так

играть, как вчера играли дети в парке, мы тоже возьмем длинную веревку за концы и будем делать волны.

А если ты девочка, то будешь играть, как вот те девочки, на которых уже полчаса смотрю из окна: вытащили на двор кастрюльки, чашки и варят суп из сорняков и веточек, кормят тряпочных детей кашей из песка, переодевают, качают, шлепают по попе, ставят в угол, ругают.

Спросила Осю, как он представляет себе нашего ребенка, что он будет с ним делать. Тот ответил: «Представляю себе, как я учу его читать. Показываю, как пишутся буквы. Слово “ПАПА” хорошо получается, и “МАМА”, а букву К он пишет в неправильную сторону». Горошинка, как я люблю твоего папу!

...

Какой-то ужасный день. Дождь зарядил с утра. Вышла ненадолго, вымокла вся. И такая грязь кругом! Кажется, что это самый грязный город на свете. Отбросы покрывают все мостовые и тротуары, и никакая армия уборщиков не справляется. И какая вонь! И вообще, что все по этому Парижу с ума сходят? Придумали какой-то Париж, по которому даже в Париже скучаешь!

Сегодня особенно остро почувствовала, как мне здесь скучно, тоскливо, без друзей, без моих родных. Что я здесь делаю? Зачем я здесь?

Я тут как в золотой клетке! Да и клетка никакая не золотая, а самая обыкновенная – то не купишь, это нельзя себе позволить! Вон Любочка заказывает себе платья в модных домах, а я покупаю в конфекционне – экономлю каждый франк.

Дело, разумеется, не во франках! Иосиф уйдет на работу, а я тут одна. Целый день одна с моими мыслями и уже не радующим меня Парижем! А мне нуж-

ны люди! И не Любочка, и не Петровы! Они совершенно не могут дать нормального, нужного мне человеческого общения!

Вот Любочка сегодня рассказывала, что ночью в Булонском лесу на лужайке собираются автомобили – впускают в этот круг только очень дорогие авто и с каким-нибудь Citroën 10 cheveaux не примут, – в них сидят мужчины в смокингах и плащах и совершенно голые женщины под меховыми манто. Все они выходят из авто и на лужайке предаются свальному греху. Автомобильные фонари освещают эту картину, а за рулями неподвижные, как изваяния, шоферы.

И я сижу и всю эту гадость слушаю!

...

Уже в который раз перелистываю Башкирцеву: «Когда я думаю, что живешь только один раз и что всякая прожитая минута приближает нас к смерти, я просто с ума схожу!» – и думаю о другом – о том, что она сейчас, когда пишет, еще живая, еще только боится смерти, а я вот читаю – и ее уже нет.

И еще знаешь, горошинка, о чем я подумала? Для тебя всего, что сейчас кругом нас, еще нет. А когда ты вырастешь и когда-нибудь, может быть, прочитаешь эти строки, этого всего уже не будет.

Вот я сейчас сижу у окна и смотрю, как мальчишки играют во дворе. Они где-то достали больничные костыли и устроили забаву – прыгают на них, как на ходулях. Откуда у них костыли?

Может, и меня уже не будет.

Как странно. Для того, кто это читает, меня – живой – уже нет, как я читаю Башкирцеву, которая еще только боится смерти и при этом уже давно умерла. Получается, что все это есть и нет одновременно, вернее, есть, но только потому, что я сейчас об этом

пишу. О тебе, горошинка. Вот об этих мальчишках во дворе – а сейчас один, который постарше, размахнул костылями в стороны, будто крыльями, и полетел, как самолет. Все побежали за ним, всем тоже хочется полетать.

Выходит, что Башкирцева еще живая только потому, что остался ее дневник и я его сейчас читаю?

Неужели и от меня живой останутся только эти строчки?

Нет, все это ерунда! От меня останешься ты, горошинка!

...

Давно ничего не записывала. Вроде ничего не делаю, сижу дома, и часы тянутся медленно, но времени ни на что не хватает.

Горошине уже 25 недель! Каждый день стараюсь делать воздушную гимнастику. В книге для будущих мам утверждается, что это полезно для организма. Может, и полезно, но только тогда, когда настроение хорошее. Раздеваюсь догола, подхожу к зеркалу – у нас в прихожей большое зеркало в красивой раме – я помещаюсь в нем вся, и подолгу разглядываю себя, как бы со стороны. Тогда я кажусь себе красавицей, этаким умиротворенной матроной в ожидании таинства. Это я и уже – не я, а я и ты, горошинка. А когда скучно и грустно – я себе ужасно не нравлюсь!

Как-то быстро стала уставать: после обеда хочется прилечь на полчаса, а раньше никогда не спала днем. И вечером, после девяти, как гимназистка младших классов, должна быть в кровати. Спать! Во сне дети растут!

Расти быстрее, горошинка, я уже устала ждать тебя!

Все время чувствую, как ты трогаешь стеночки изнутри.

Вчера зашла в магазин готового детского платья. Все очень красиво, но нет вещей для самых маленьких. Купила желтой шерсти, решила связать кофточку, шапочку и пинетки. Будешь, горошинка, желтым, как цыпленок! Зимним деткам нужны теплые вещи. Подумать только, на Новый год мы уже будем втроем!

Целое утро мыла, убирала, стирала, чистила.

Где вы, мои милые друзья, Клава, Ваня, Боря, Ледя, Оля? Там, в России, я и представить себе не могла, как вы мне дороги! Какая здесь без вас тоска! И в гости некуда пойти! В субботу пришла к Петровым, сняла пальто и хотела повесить на высокий крючок, вдруг все вскочили, закричали, чтобы я не поднимала рук, а то пуповина может закрутиться вокруг ребенка и задушить! И все в таком же духе. И эти люди зовут с ними встречать Новый год!

Я не пойду, решила, что будем встречать втроем – с Осей и Горошинкой.

А как здорово мы встречали прошлый Новый год! Осенин притащил такую громадную елку, которая никуда не влезла! А как все хохотали, когда Даня с Митей внесли детскую ванночку, наполненную снегом, из которого торчали бутылки шампанского и водки! А как Даня показывал коронный трюк своего американского брата: одной рукой играл на скрипке, а другой аккомпанировал на фортепьяно! А как Сорокин изображал всех на гитаре! Как же нам было хорошо вместе! Милые мои, как вы там? Где будете веселиться и дурачиться в этот Новый год? Без меня!

А что вы устроили на мои именины! Вся улица сбежалась на тот оркестр – из тазов и кастрюль, рюмок, подвешенных за ножки на веревку, гребешков с папиросной бумагой, бутылок, по-разному наполненных водой. Это был лучший концерт в моей жиз-

ни! Друзья мои далекие, как же я вас люблю! Только сейчас это поняла.

...

В Printemps. Устала. Вернулась на такси.

В магазине я случайно увидела себя в зеркале рядом с другими женщинами и показалась себе неестественно мертвенно-бледной.

Сейчас в прихожей снова смотрела на себя. Какая я стала некрасивая. Губы распухли, нос заострился. Одутловатое лицо. Глаза как у совы. Живот твердый, как орех. Иосиф подошел сзади, обнял, посмотрел на нас в зеркало и сказал:

– Как ты похорошела!

...

Бывают ужасные дни, когда просто все из рук вон. День начался с того, что разбила чашку. И уже не верится, что на счастье.

Купила *dépilatoire* – кожу дерет, а волосы не вылезают.

Долго сидела на стульчаке, и затекла нога.

Вчера смотрели «Бориса Годунова» во французском исполнении. Какой-то дурной балаган! Певец, певший Бориса, подражал Шаляпину. Но он хоть пел, а остальные! А постановка! А декорации! И это их представления о России! И в довершение всего дьяк крестился на католический лад!

Тут еще забежала Любочка и вылила на меня свою очередную историю. Прямо парижский декамерон!

Вчера она ехала на такси. Шофер – русский. И вдруг она узнает в нем свою любовь, того, кто погиб в Харькове. И шофер тоже на нее все время странно смотрит. Но он не может быть тем, потому что слишком молод. Вернее, ему столько, сколько тому было тогда. И вот она едет и молит, чтобы до-

рога была подлиннее. Прочирикала мне все уши, как он подал ей руку, какое у него стройное, сильное тело, как красиво лежали руки на руле. «И вдруг понимаю, что, если он сейчас скажет: иди за мной! – пойду и сделаю все, что он захочет!»

Но, к счастью для Любочки, шофер только молча взял деньги и уехал.

Я сказала, что хочу пойти на выставку бабочек – увидела объявление. А Любочка на меня набросилась: «Что ты! Ни в коем случае! Они мертвые!»

...

Тала! Моя милая, хорошая Тала! Письмо от Талы! Как она меня нашла?

Она тоже замужем, и уже двое детей! Муж, бывший офицер, устроился рабочим на заводе «Рено», потом заболел, потерял работу, и теперь они оказались в приморском Альбеке. Бедная Талочка! Она сейчас работает прачкой и надеется на хорошее место в пансионе для стариков. Что значит это «хорошее место»?

Как хочется увидеться! Сегодня же ответила ей, чтобы приезжала и что я пошлю деньги на билет. Или мне к ней поехать? Не знаю, что скажет Ося. Он так за меня боится.

...

Весь день думаю о Тале. Она мне даже приснилась!

В гимназии перед экзаменом по истории мы с ней загадывали билеты, писали на бумажках номера и не глядя тянули. Талка вытащила 2. Решила себя перепроверить – снова двойка! А на следующий день ей попался билет с номером 22! Наши гадания! Как в них не верить?

Господи, сколько лет прошло!

Почему-то вспомнила, как мы побежали смотреть на свержение памятника Екатерине. Мы тогда тоже уцепились за веревку, что-то треснуло, статуя дрогнула и рухнула с пьедестала, прямо на ограду – и все утонуло в «ура!». Как же было хорошо на душе! Потом упряжка тяжеловозов потянула статую в 6-й участок – под арест, а навстречу уже шли знакомые гимназисты с повязками на рукавах «милиция». И мы тоже нацепили красные банты и накалывали всем прохожим красные банты на шубы, а Талка даже щеголяла с полицейской шашкой из разгромленного участка – отобрала ее у какого-то новоиспеченного милиционера!

А какое было всеобщее ликование, какие у всех просветленные лица – наша великая! Бескровная! Радовались бескровности, и при этом все говорили, что должна быть только одна показательная казнь – как во Французской революции, – нужно казнить царя, который должен своей кровью заплатить за кровь народа, и не просто повесить, а отрубить голову или посадить на кол. Сейчас кажется удивительным, что люди так спокойно об этом говорили.

А тогда, сразу после нашей ростовской бескровной, пришло письмо от Маши из Финляндии – вот вам и бескровная! Бориса арестовали, на всех кораблях начались убийства офицеров – особенно много убитых было на «Андрее Первозванном», на котором он служил. К Маше ворвалась пьяная компания, искали оружие. У нее был револьвер Бориса. Она успела его бросить в помойное ведро. Ничего не нашли, но перебили посуду и прихватили с собой золотые часы и портсигар, что лежали у Бориса на столе. Маша нашла своего мужа в морге вместе с другими офицерами, изуродованного, с выбитыми зубами.

Бедная моя Маша! Бедная Талочка! Бедные все наши девочки! Каждая ведь хлебнула.

И как хорошо, что все ужасы позади. И у тебя, горошинка, будет только все самое хорошее и ничего плохого. Все плохое уже было.

...

Хотела пойти гулять, но погода опять отвратительная. Холодный противный дождь и сильные порывы ветра.

Скверно спала. Голова болит целый день.

И еще переживаю, что вчера накричала на Осю. Он замучил своими заботами. Сказал всего-то: «Осторожно, здесь ступенька!» А я вдруг взорвалась: «Отстань, ради всего святого!» – «Бэллочка, милая, не волнуйся, я буду молчать! Я ни слова больше не скажу, только не скачи так по лестнице!»

Весь день было стыдно.

Какой он у нас с тобой чудесный, горошинка! И какая я вдруг становлюсь ни с того ни с сего невыносимая!

Вот устроилась в кровати с кружкой чая и пишу. Буду думать о чем-нибудь приятном. О Тале. Так хочется увидеться с моей Талочкой! Хоть одна родная душа! Утром написала ей длинное письмо и в конце спросила про мужа: любишь? Счастлива?

А теперь думаю сама о себе, а что бы я ей ответила: люблю? Счастлива?

Да. Да.

...

Началась тридцатая неделя. Устаю ужасно.

Ехала в метро и вдруг взглянула на свои ноги – Боже, чьи это ноги там? Уставшие, некрасивые, отечные. Только теперь поняла, что имел в виду Андерсен своей Русалочкой, сменившей рыбий хвост на

женские ноги. Вот и я теперь будто ступаю по ножам и иголкам. Тяжело ходить.

В метро сегодня чуть не стало плохо. Парижское метро просто кошмарное. Белые кафли, как в ванной, и банный воздух. Совершенно нечем дышать. Выскочила на бульвар из распаренного нутра. Холод, ветер. Так и заболеть недолго.

Еле добрела до дома, разделась и легла. Отлежалась и стала рассматривать себя в зеркало.

Как я подурнела! Я так гордилась своей белой кожей! Что с ней происходит? Врач сказал, что это пройдет, что пигментация повышается у всех беременных. К черту всех! И пуп – все портящий пуп! Он почему-то стал высовываться наружу. Как будто мой живот кто-то накачивает, как мяч, через этот торчащий пуп.

Я стесняюсь своих изменений. Раньше всегда чувствовала в себе какую-то кошачью грациозность, а теперь кажется, что уже всю жизнь хожу, как пингвин. Так устала! Иногда кажется, я – неподъемное чудище! Скорей бы уже!

Иосиф, мой хороший, добрый Иосиф! Посадил на колени, прижал мою голову к своему плечу. Говорил, говорил... О моей внутренней красоте и особом свечении изнутри. Не верю, но стало легче.

Бегство в Египет. Он встал, взял Младенца и Мать Его ночью и пошел в Египет. Белая равнина, полная луна, свет небес высоких и блестящий снег. Зеленые огоньки стрелок. Паровозы кричат, как чайки. Вагоны первого класса – синие, второго – желтые, третьего – зеленые, сейчас – лунные со снежной холкой. Телеграфист одиночен. Наст скорлупчат. Однажды зимой телеграфист видел, как волчье семейство переходит рельсы. Тень отца является полночно, идет вдоль литерного, стучит молотком

по колодкам, нагибается, будто хочет убедиться, действительно ли там написано «Тормоз Вестингауза» или что-то другое, – все в порядке, машет фонариком, можно ехать. Тишина проглатывает далекий перестук. Гудок короткой отрыжкой. Обратное по тропке-траншее, прорытой в сугробах. Дыхание полнолунно. Морозный вселенный хруст от валежков. Луна вмерзла в тонкое облако, смотрит из-под льдины. Звезда молчит звезде. Сколько точек и ни одного тире. Показалось странным, что под этими же звездами когда-то пустили Моисея в папирусной корзине по водам Нила. Жизнь Самуила Морзе. Глава первая. Самуил Морзе был художником. Земля – это корзина с человечеством, пущенная по Млечному Пути. Возвращаясь на корабле «Салли» из Европы, Морзе смотрел в подзорную трубу на будущее с поправкой на ветер. В окуляре рябь. Он писал жене: «Бог смотрит на нас тем же глазом, которым мы смотрим на него. Дорогая, как много слов, обозначающих невидимое! Бог. Смерть. Любовь. И что делать, если нужно назвать то, что так близко, но для чего нет слов? Вернее, те, что есть, совсем ничего не объясняют, более того, больны, грязны, гадки. У нас так мало слов для состояния души и еще меньше для состояния тела! Как описать то, что у нас было? Описать так, чтобы передать хоть часть того настоящего, удивительного, прекрасного? Придумывать новые слова? Ставить точки или тире? Господи, тогда то, что мы целовали, будет состоять из одних пропусков! Прочитал, не помню где, что душа, как и тело, пахнет собой и своей пищей. Как это точно. Запах души. Это у души может быть грязный запах. А в любви ничего грязного быть не может – там ничего от нас, там только то, что вложил в нас Бог. И поэтому твой запах (всего, чего не могу написать словами) – божественный. И вкус. И каждый раз –

немножко другой. Тело, как и душа, пахнет собой и своей пищей. Нужно придумать новую азбуку, чтобы называть неназываемое, чтобы не было стыдно целовать то, чему еще нет чистого прекрасного имени. Корабль пуст, кроме меня никого, только парусина – жрица ветра. Закат червлен, расхристан. Везу тебе, любимая моя, подарки, а самый чудесный из них – янтарь с доисторической ухверткой, и видны все ее лапки и зазубринки, какими ухо почесывала Бог знает когда. Навожу подозрную трубу на резкость и вижу нашу кошку, как она, жмурясь и потягиваясь у тебя на коленях, выпускает свои коготочки-кавычки». Жена Морзе умрет молодой, и профессор начертательных искусств долго будет искать глухонемую девушку. Найдет. Они поженятся, она выучит придуманную им азбуку, и они будут переговариваться точками и тире долго и счастливо. Наутро равнина переписана набело размашистым сугробистым почерком. Тень от облачка завершила снега, как печать. Бегут по замерзшим проводам слова, но невозможно передать молчание. Дети строят снежную бабу. Колченогие столбы тянутся гуськом за тридцать земель искать счастья не там, где они его потеряли, – так ищут часы не в канаве, куда свалился, а где светлее. Как взглянешь на столбовых беглецов – застывают лямбдой. Далеко не уйдут. Там кромка мира. Край света проходит вот здесь, видите, где кончаются слова. Мироколица синеснежна, скуласта. За ней ничего нет. Немотно. И уйти туда, по ту сторону слов, невозможно. Предыдущий телеграфист, доходя до границы, каждый раз утыкался в буквы, бился о них, как муха о стекло. С этой стороны слов липа в спущенном чулке льнет к столбу, а с той – немь. И сугробы на закате не играют мышцами. И у дыма из трубы нет тулова. А здесь все буквально. И нет никаких времен – только зимнее про-

долженное. В заснежье – обло, стозевно, лайй, а здесь всех спасут, здесь все – ухвертки. Время – буквально, вот я эту строчку пишу, и моя жизнь на эти буквы продлилась, а жизнь сейчас читающего на эти же буквы сократилась. Свет из окна на снегу перепончат. Всемирная история осла. Глава первая. Родился – не крестился, умер – не спасся, а Христа носил. У древних осел – символ мира, а конь – войны, поэтому пророк должен был въехать в Иерусалим на белом осле. Жена Осириса, Изиды, с младенцем-сыном Гором бегут из Египта на осле от преследований злого Сета. По персидским источникам, когда трехногий первоосел издает крик, все женские водяные существа, творения Ахурамазды, беременеют. Колесница Ашвинов запряжена ослом, с помощью которого Ашвины выиграли гонки по случаю свадьбы Сомы и Сурьи. Золотой осел. Буриданов осел. Уши машут ослом. Волосы из креста на спине осла помогают от бесплодия. Ослиной челюстью Самсон убивает несчастных филистимлян. Отравленный Цезаре Борджиа, чтобы спастись от яда, лег в тушу осла, разрезанную пополам, и отлеживался в парных внутренностях. В ослином молоке, если верить Плинию, любила купаться возлюбленная Нерона Поппея. Слышать во сне доносящийся издали протяжный крик осла предвещает, что вы станете богаты из-за смерти кого-то из близких. Кто же это сказал, что время – осел, подгоняешь – упрется и стоит, захочешь задержать – бежит и не смотрит на тебя? Умей осел говорить, он бы задал такой вопрос: сказал Господь Моисею: «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и не умереть», – значит, умершие – это те, кто увидел то лицо, и все храмы и все молитвы – ей, смерти? Снег подошел к окну на цыпочках. Приятно выйти, дышать и смотреть на дым из трубы. Тихо, безвет-

ренно, скоро прогундосит без остановки девятичасовой. Одни поезда проносятся, зажав нос, другие обнюхивают каждый столб. Снег пошел дальше по дороге на Шаблино, где молоко продается на вес – рубят топором, а спят без постельного белья на каких-то дерюгах. Учительница постирала простыни и повесила сушить, наутро смотрит – забросали грязью из-за забора, она опять стирать. Небо – голь, погост – щемь, прохожий – пес. Еще декабрист Завалишин обратил внимание на местные обычаи: смотрю – лежит собака и зализывает у себя что-то окровавленное – у этой сучки были срезаны срамные губы, причем только недавно, еще шла кровь, и Каштанка ее вылизывала. Хозяйка рассказала, что бабы так привораживают мужиков – губы с наговорами зажариваются среди другого мяса, потом подается все это тому мужчине, который любил бы ту женщину. По телевизору родственники заложников умоляют не начинать штурма. Штурм скоро начнется. Те, кто погибнет через несколько минут, еще живы. Механизатор, пьяный по случаю Дня танкиста и своего рождения – всю жизнь шутил, что родился танкистом, – заснул с зажженной сигаретой и сгорел. Он боялся сгореть в танке – ему так и снилось во время смерти, что горит в своей боевой машине. Сидели на поминках и ели то, что осталось от дня рождения. За околицей море – снежное, поколенное. Намело занос – мыс. За ним поднимаются дымки деревни – идут эскадрой от реки к лесу пятистенки с подснежными лодками. Смущало, что такие важные вещи, такие великие дары, как Святые Таинства, подаются в такой грубой форме – еда, надо что-то прожевать и проглотить, или опуститься в воду, искупаться. И глупым казалось объяснение, как дева родила ребенка и не осталось ничего – ни разрыва, ни шва – все затянулось, как Черное море, которое

расступилось ради Израиля и затем опять сомкнулось. В окно видно, как идет по улице баба, такая же вот Мария, останавливается посреди дороги, чуть раздвинет юбку и, не присаживаясь, стоя, замирает на минуту, потом идет дальше, оставив на снегу дырку с желтыми краями. Зимний призыв, снежные погоны. Начало широкой масленицы, на горке парни с девчатами катаются на громаках – из навоза вылепливается нечто вроде сковороды с толстыми и загнутыми краями, не больше пол-аршина в диаметре, обливается водой и замораживается – не удержался и, заразившись общим весельем, тоже несколько раз съехал с горки. Вот так бы, на громаке да с горки и укатить от времени, от этого Ирода. На морозе слезит, ночные облака внахлест, путь искрист, змеетел. За каждым окошком любец и люблица. Людей на самом деле на земле немного – вот в день воскресенья она действительно наполнится. Так и запомнилась та комната: в одном окне зима, а в другом ветки цветущей сирени подталкивают облако. Вдоль путей бутылки, но ни в одной нет записки. Железнодорожный сторож на переезде – зипун, стоптанные валенки, барашковая шапка, два свернутых флага, красный и зеленый, под мышкой, в руках потухший фонарь. Поезд набрал скорость, стакан подъехал к бутылке. Дверь купе приоткрыта, мимо проходят, хватаясь за поручни, женщины с полотенцами и мыльницами в руках, с заплетенными на ночь косами. Слышно, как мягко хлопнуло откидное сиденье о стенку вагона. Но если Ирод уничтожил всех младенцев до двухлетнего возраста, то Иисусу не с кем было играть, у него не было сверстников! Да не избивал Ирод никаких младенцев! Они выросли и потом умерли сами. За белым полем фабричная труба-небососка. Местные жители ничего не продавали эвакуированным, а молоко, которое остава-

лось, демонстративно выливали на землю. Паводок – избе по горло. Мы для зверей – сумасшедшие, с нами лучше не связываться. При аресте разрешили попрощаться с ребенком, вошла в детскую – сидел на постельке, сказала, что уезжаю в командировку: оставайся с Клавой, будь умницей! А он: то папа уехал в командировку, теперь ты – а вдруг уедет и Клава, с кем же я останусь? Традиционные блюда в сочельник – ячменная каша без молока и масла и компот из сушеных фруктов – напоминают о бегстве Святого семейства в Египет. В дома еще пускали переночевать сердобольные люди, а в сердце уже никто. Повесила сдвоенную вишню на ухо, приложила к плечу зонтик, как ружье, и крикнула: ни с места! Для спасения утопающего нужно оглушить его ударом весла по голове. В комнате шла игра, все почесывались и, запустив руку за пазуху, вытаскивали насекомых, которых тут же давили на бумажке для записи, так что к концу пультки на бумажке нельзя было разобрать цифр из-за кровавых запятых. Ушел пароход, обгоняя ненадолго зиму. По реке один берег плывет быстро, а другой медленно. Бросали чайкам шоколад. Во время войны русских немцев везли на барже в ссылку по Каспию, жара, к цистерне с водой очередь, ругань, драка, а одна женщина говорит: перестаньте, вы же не русские! На море лунная пуповина. После обеда – крокет, битвы до самой темноты, когда уже невозможно различить шаров, а Роза еще и жульничает – подолом юбки то и дело поправляет шар, подводит его на хорошую позицию. Художник Фу Дао растворился в изображенном им тумане – нарисовал туман и ушел в него. В камере собирала обгорелые спички и царапала ими что-то по листу бумаги, выданном на уборную, или лепила из прожеванного хлеба. Ходили на кузницу смотреть, как кузнец перековывает лошадей, как из об-

резков копыт варят коричневый пахучий клей. Обратно ехала на возу с сеном – так чудесно! – упала на спину, и такое чувство, будто качаешься в люльке из сена и подвесили ее прямо к небу! Даяй – хорошо поступает, а не даяй – лучше. Когда персидский шах Ага Мохамед захватил Тифлис, его солдаты старались не только изнасиловать как можно больше женщин, но и пометить каждую – надрезали изнасилованным сухожилие на правой ноге – и сейчас еще, через много лет, можно встретить старух, хромяющих на правую ногу. Открыл форточку – воздух уперся лбом в занавеску. Пишущие машинки на солнце брызжут снопами лучей. Спичкой можно подвести брови, вместо крема женщины употребляли собственную мочу – уверяли, что нет лучше средства, чтобы сохранить свежесть кожи, а перед допросом скребли пальцем известковую стену и пудрились этим. Если у матери было мало молока, то будешь восхищаться большими грудями, а если тебя кормили до двух лет, то будут нравиться женщины с маленькой полудетской грудкой. Родственник, но не по семени. Соитие обстоятельств. Знаем мы этих дам из приличных семейств, бросающихся в объятия циркового борца. Смерть во сне – к свадьбе. Дождь некстати, сено в покосах. При раскопках в Помпеях были найдены пустоты людей. Смотрит на себя в зеркало – она в его пижаме, расстегнутой, груди вылезают, торчат в стороны, вялые, без начинки. Спяц, корпулентен, белоресниц. По радио передают семь смертных грехов: зависть, скупость, блуд, чревоугодие, гордость, уныние и гнев. Сын – бестолочь, увлекся какой-то дрянью, плавит киноварь, прокаливает ртуть, пытаясь найти эликсир бессмертия, и больше ничем в мире не интересуется. Просеменил ясень. Ребенок, как речка, любит сосать камни. Ранний пригородный поезд со спящими гриб-

никами, в окна бьют встречные из семейства ленточных. Раз страна обречена, она должна быть очищена от всего светлого. Божедомка, дом Полюбимова, что против большого вяза, – так разволновалась, что, когда хотела развернуть, записка с адресом уже превратилась в кулаке во влажный комочек. Пахучесть – это мы отдаем кусочки себя, мешаем свое «я» со всем миром, становимся воздухом, пространством, всем – как бы размножаемся делением. Смерть – важнейшая, неповторимая минута жизни, от которой столько зависит и в будущем, и в прошлом, – нельзя пускать это на самотек, надо к ней готовиться, надо ее строить. Дождь посыпался редкий, серый, бесшумный, недолгий, набезной, а к вечеру распогодилось, разогнало тучи, и что ни лужа, то звездная цитата. Известный в Москве доктор-гипнотизер Даль излечил Рахманинова от пьянства, убедив его в том, что водка – это керосин, и из чувства благодарности композитор посвятил ему свой Второй концерт. Письмо попало под дождь, чернила расплзлись, буквы набухли, дали побеги. Перед тем как выброситься с балкона, бросила вниз тапочек, смотрела, как он отлетел на середину улицы. В Стрельне закажешь осетра из бассейна, тебе выловят сачком и вырежут ножницами на жабрах кусок, а когда подадут на стол, отрезанный кусок должен совпасть с вырезом. При первом морозе надела шубку – она была сложена и сохранила еще тот запах, какой имела в Риме. Как пауза между звуками тоже принадлежит музыке, так пауза после смерти населена. Жена бьет рукой ножку стола, о которую ударился ребенок: не плачь, вот видишь, мы ей тоже сделали больно. Облако промокло луной. Сын умер в больнице, после вскрытия привезли в морг вещи, стали одевать, поднял его голову, а та легкая, как спичечный коробок, – вынули мозг. От костра по реке сыпь. Так хорошо

было после любви лежать на скрученной простыне, есть виноград, смотреть, как ты заплетаешь волосы, как ходит лопатка под кожей, потом как по этой лопатке ударяет заброшенная за спину коса. Старуха, высохшая, как корочка хлеба, шарит руками по царапанной и прожженной клеенке, намертво присосавшейся к столу на кухне, ищет лупу и объясняет газовой плите, что несчастья не потому случаются, что трескаются зеркала, а это зеркала трескаются потому, что должны случиться несчастья. Деревянные бараки, соседняя камера – мужская, расцарапали под нарами дырку, чтобы рука проходила, очередь под нары. Бог рыбаками уловил вселенную. Божья коровка, улети на небко, там твои телятки кушают конфетки. Птица Ив – рождается только женского рода и зачинает птенцов от ветра. Беременная шла как-то странно, приплясывая, потом подбежала к забору, и ее вырвало, стала утирать губы талым снегом. И все время хотелось гнилых бананов, покупаю у прилавка, а продавщица говорит: вот, женщина, возьмите хороших, что ж вы дрянь-то выбрали! В каждом подъезде впрок заготовили по лестнице, но нет Иакова. Муж звонит на работу любовнице и просит Лену, а набирает по привычке номер в офисе жены, ее подруга отвечает: сейчас, Андрей, сейчас позову Машу. Время – это просто орган осязания. Еще пару дней назад лунный свет в это время лежал на половичке у дверей, а сегодня залез на постель. Яблоки в траве спят голова к голове. Мастерская в подвале, и на лестнице все время кто-то мочится – женщины внизу, под самой дверью, мужчины спускаются только на несколько ступенек. Малыш заснул, и, чтобы отнять от груди, зажала ему нос. Вот здесь немцы расстреляли цыганский табор. Цыгане сначала просили, умоляли оставить им жизнь, хотели откупиться, а когда увидели, что ничего не поможет, стали

плясать и петь, так и умирали – их расстреливали, а они пели и плясали. Так хочется разбудить тебя клубникой, пахучей, шершавой. Читал Соловьева, у него люди делятся на лунатиков и подсолнухов. Прислушиваюсь и не понимаю, что это такое, какой-то странный звук – как грецкие орехи скорлупой о скорлупу. Ждал автобуса под фонарем, раскрыв книгу – на страницы стал падать снег. Помнишь ту ночь на станции, дождь, кудри выбились из-под капюшона, еще больше завились, взял тебя руками за капюшон, стал целовать в мокрые ресницы, а теперь с той ночи прошли квадриллионы лет, биллионы верст. Пустой шкаф в пустой комнате усиливает звуки. На почте плохие перья, залитый чернилами стол, отправил письмо заказным, курносая барышня выдала расписку, а оно вернулось – не доставлено за неточностью адреса. Теперь, когда у меня родился сын, я знаю, что возразить Экклезиасту. Вскрыла кривыми маникюрными ножничками вены, смотрела, как капает кровь, закурила. Наигрались в пинг-понг, не могу теперь заснуть – шарик прыгает в закрытых глазах, и мельгешат пятна солнца на столе. Нет, Валентина Георгиевна, самое главное в Евангелии – это те три дня, когда его распяли и похоронили, и его нет, он не воскрес, те три дня тянутся до сих пор, и все это должно еще произойти: та встреча на берегу, и кто-то должен это еще увидеть: ту печеную рыбу, содовый мед. Стебли пробили асфальт, как бивни. Надо ехать усыплять старую собаку. Все сущее – не тварь, но плоть: Он создал мир собой, своей плотью, напрягся именно в этом положении, как акробаты напрягаются в пирамиде, так Он держит нас – свою плоть – напряжением мышцы, поэтому, раз на свете ничего не изменилось, значит, Бог существует. Прогулка с моими облаками, они никогда не повторятся, эти – мои. Ва-

зе воды по щиколотку. В сказке девочка бежит от злых сил и все теряет, чтобы спасти братца, но, именно бросив братца, она и спасется, от нее отстанут, – но тогда сказка не имеет никакого смысла, и несказка тоже, и не нужно этой девочке вообще жить на этой сказочной земле. Курил на балконе и смотрел, как она в комнате стряхивает с дивана ладонью крошки, выщипывает что-то, расправляет хрустящую на сгибах простыню. Странно представить, что в меня вселятся многоногие или вовсе безногие и безмозглые. Пасха в тумане – прохожие возвращаются ночью домой и держат перед собой свечки, как одуванчики. Наконец, привезли рояль – все столпились, но мама никому не позволила играть, потому что роялю необходимо отдохнуть с дороги. Следы через реку много раз таяли и снова замерзли и оттого стали великаньими. Получила последнее письмо одновременно с похоронкой – в письме извинялся, что, может быть, бумага будет пахнуть рыбой: дорогая мамочка, мы едим руками, а моем руки в другой казарме – много раз потом засовывала нос в конверт, и каждый раз на мгновение казалось, что действительно там внутри сохранился запах. Пока мы пили чай с «наполеоном», Тимка забрался под стол и связывал взрослым шнурки. Один волхв явился в Новгороде, говорил, что знает все наперед, и собрался перейти реку яко по суху перед всем народом, – в городе начался мятеж, многие поверили волхву и хотели погубить христианских священников, тогда князь Глеб, чтобы спасти Христову веру, взяв топор под плащ, подошел к волхву и спросил: знаешь ли, что завтра случится и что сегодня до вечера? Волхв ответил, что знает, и добавил: чудеса великие сотворю. Тогда Глеб вынул топор и зарубил волхва. Вы – вдова, я – холост. Одну женщину поразила молния за то, что она во время нечистых дней

решилась переступить через могилу новгородских святых Иоанна и Лонгина. Сделал на берегу две акварели, смачивал лист бумаги прямо в реке. По углам разбросаны ветки бузины от крыс. А как хорошо, как вкусно называются краски: медовая акварель – вдруг так захотелось попробовать эти брусочки на вкус! Увидела у него на столе в блюде лимон – разрезанный и уже подгнивший, хотела выбросить, а он: что вы делаете? Я буду его рисовать! На каком-то перегоне слетел от тряски замок с двери, и дверь теплушки раздвинулась – там закат, степь в цвету, все замерли, и нет больше никакой тюрьмы – дыхание степи, запах травы, солнце садится, и вдруг кто-то закричал, что надо позвать конвой, а то подумают, что мы это сделали сами, что хотели убежать. Среди гостей кто-то привел двух древних старух, называли их внучками или правнучками Пушкина и почему-то Вальтер Скотта вместе – ели обе очень усердно и жадно. Город не царя, а еврейского рыбака. В замороженном прицепе кондуктор дергает за веревку – звонок, в ответ кондуктор моторного дергает за веревку – звонок, вагоновожатый нажимает ногой на свой звонок – и трамвай двигается с места. Больше всего самоубийств – в белые ночи. Уже убегала, а браслет прыг из рук – и закатился под кровать, полезла доставать и тут увидела, что шпильки от чьих-то туфель оставили на паркете вмятинки. Убийство обнаружили, когда фиговое дерево, под которым был зарыт покойник, принесло необычные плоды. Гуляли под ночным снегопадом, вышли на Дворцовую, там бульдозеры сгребали груды снега к Александровской колонне. Я упряма как черт: когда мне с силой и жаром говорят о бессмертии, я уверена, что с этой жизнью все кончается, и наоборот, когда меня стараются убедить, что все кончено, – я вдруг начинаю верить, что раз я есть, то я буду. От лужицы идет мо-

крый одноногий след. Дом взорвался от газа – и в те времена все так и думали, что от газа. На балконе перистая заря подняла локти, а в губах – петропавловская шпилька. Пойми же наконец, Танюха-горюха, Христос не просто продлил Лазарю четверодневному старость и мучения от болезни, ведь тот все равно потом так или иначе умер, нет, все дело в словах, давших какому-то вифанийцу буквальное бессмертие: иди вон! Мой худышек, больнушка моя, доктор сказал, что все идет на поправку, вот еще подлечишься немножко, и заберем тебя домой! Имя Ксения – редкое, но стало вдруг популярным из-за прихоти Александра Третьего, который так назвал свою дочь. Пирог с мясом, корка деревянная. Тогда в «Тайном браке» выступала Шредер-Девриен, великолепная певица, любимица публики и двора (мемуаристка путает ее с примадонной петербургской итальянской оперы С.Ф. Шоберлехнер. – *Примеч. изд.*). Чулок думает: зачем нога, когда и без нее так чулочно! Мне страшно за государя, императрица стареет, а ему каждый день необходима женщина. В лагере сгорела столовая, и площадку между водокачкой и баракком обнесли оградой, внутри поставили столы и скамьи – ели теперь на воздухе под открытым небом, и старуха, в грязном бушлате, в сгнивших валенках, вздохнула: совсем как кафе Флориана и Квадри на площади Святого Марка! Путь лежал по дорогам, принадлежавшим разным частным компаниям, – несколько раз приходил новый контроль, и каждый раз контролеры пробивали на билете знак своей дороги – то кружок, то звезду, то трубу. Руки без колец кажутся голыми. Читал дорогой «Путешествие на «Бигле»»: зимой, побуждаемые голодом, огнеземельцы убивают и поедают своих старых женщин раньше, чем собак; когда м-р Лоу спросил мальчика, почему они так поступают, тот ответил: собачки ловят

выдр, а старухи нет. Здесь не цепляются взглядами. Свинка началась в Будапеште, а кончилась в Вене. К безверию нужно прийти самому, а русским безверие достается даром, поэтому его не ценят, а ценят веру. Алкиона превратилась в птицу – губы никто не целовал, и они зароговели. Не доходят письма – вероятно, собаки *tedeschi* заняты их чтением – боюсь, как бы таблицы кашля они не приняли за зашифрованные документы. Живущий на крыше бронзовый рыцарь в латах каждый час бил по своему щиту. Правило 17-е: возненавидим слепотствующий мир и все, что в мире, возненавидим и всякий телесный покой, отвергнемся от самой жизни, да Богу жить можем. Поцелуй полон одноклеточных. Ночью при лунном свете трава светит белизной, будто алебастровая. В келье своей бывала редко, а большей частью сидела на дворе в яме, наполненной навозом, который она носила всегда за пазухой. Дома здесь строят на расстоянии бельевой веревки. Какой-то сумасшедший поднял с земли палку, держит в одной руке, другой водит по ней тонкой веткой и мурлычет что-то себе под нос – ни дать ни взять Фома из Челано, поет о том, как прекрасен Божий мир. Колонны, потеряв свод, обрели смысл. Бродили среди руин, она сорвала веточку, похожую на папоротник: что это? Слушай, в путеводителе написано, что в Орвието нужно обязательно посмотреть в соборе фрески Луки Синьорелли «Воскрешение плоти». Ангелы Бернини на мосту хотят всплыть в небо, но на ногах камни. Жужжание вентиляторов в руках у японцев, у всех карманные зеркала, в которых отражается, как первый человек кончиком пальца создает себе отца по образу и подобию, мускулистого, прыгучего. На Корсо еврейские бега. Ужо вам, пархатые, будете знать, как распинать нашего Господа! Жид крещеный – волк кормленный. Муж за овин, в хату жидовин.

Человек есть Гроб Господень – его надо освободить. Мария сама указала место, где должна быть построена церковь, – в середине августа на Эсквiline пошел снег. Упавшие листья после заморозка окостенели. Тритон спятил, будто он ангел, и трубит в евстахиевы трубы: вставайте, вставайте, чего тут разлеглись! Хотели в вечный город, да Федот не тот! Чудак покойник: умер во вторник, стали гроб тесать, а он вскочил да и ну плясать. Повернули налево от дворца Барберини в глухой переулок, Гоголь принялся петь разгульную малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Ночью душный теплый ветер сгибает струи фонтана. Что этот кусок воздуха трогал в Африке? Ищи в себе свищи. Комар человеконенавистен. Тут как тут. Было времечко, ела кума семечко. Там холмы, дым лохмат, невидим и дивен. В горном ущелье тропа завалена яблоками, они не гниют. Хотелось жить с локоток, а вышло с ноготок. А к ночи ж умер, о горе, мужичонка. Умирать – не лапти ковырять: лег под образа да выпучил глаза. И нет тени. И ледены недели. И волнами луну, лиман, лови. Взошел месяц, читатель ждет уже сравнения с обрезком ногтя – на вот, лови его скорей. Косо сидел у леди сосок. И с репу перси. Узор плел прозу. Молодка что лодка. Дай денег в долг, а порукой будет волк. Пошел козел по лыки, коза по орехи. К капусте пристанешь, капустой и станешь. Мужик напьется – с барином дерется, проспится – свиньи боится. В полузатопленной лодке плывут облака. Волны скоблят подгнивший борт. В осоке валяется волк, брюхо вздуто, мухи облепили веки и пасть, под хвостом черви. Коза, не переставая жевать, смотрит в глаза. Харон отламывает от кочана хрусткие снеж-

но-белые листы и грызет желтыми зубами. Закатное небо настояно на рябине. Чу, шаги! К берегу сбегает по тропинке между зарослями дикой малины и крапивы нагоходец. Кто ты? Я маленький хлопчик, принес Богу снопочик. Откуда идешь? От Бога. Куда? К Богу. Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет, смерть всем владеет. Да брось ты, пацан! На вот, погрызи! Оторвал лист, протянул. Кочерыжист, разлапист. Звонко, сочно. Мимо проплывает вниз по течению, слегка покачиваясь на волнах, нацарапанная на стене лодка. В ней свернулся калачиком беглец, спит, зажав в кулаке черенок от тюремной ложки. Намаялся. Проплыл под склонившейся над водой ивой, ветка погладила листьями плечо. Улыбнулся во сне.

•••

Снова появилось время разобраться в себе. Так устала за последние месяцы! Выступления, гастроли, переезды, встречи с нужными и ненужными людьми. Сказала себе: эти три недели до Киева проведу безвылазно на даче, буду ничего не делать, валяться в гамаке и смотреть в небо.

Вот лежу в гамаке и смотрю в небо, а мысли все на земле.

Последний год совершенно изменил мою жизнь.

После пяти лет молчания, травли дураками и хамами, ничего не понимающими в музыке, бессмысленного сидения дома, попыток вести жизнь жены – и только жены, после пяти лет вынужденного бездействия, когда казалось, что жизнь кончена, что пора сходить с ума, – вдруг все вернулось на круги своя! Откуда-то я знала, чувствовала, что все будет хорошо, что нужно просто перетерпеть, вынести все унижения, сжав кулаки и зубы, – и все будет хорошо.

Я снова на сцене. И знаю, что я – другая. И дело не в возрасте и бездарно упущенных годах. Лучших годах. Я стала мудрее. Наверно, нельзя так о себе говорить. Но я чувствую, что стала петь о том же, но по-другому и о другом.

Скоро выйдет наконец пластинка.

Мне опять пишут письма, присылают корзины с цветами. Опять надоедают поклонники и прочие неприятности, связанные с успехом.

Я понимаю, что успехом я обязана и моему Иосифу. Великий администратор. Он набирает высоту. Директор Колонного зала! Но для него это только очередная ступенька. И знаю, этот человек добьется в жизни всего, чего захочет. На свой юбилей он сделал себе королевский подарок: купил у американцев золотистый «крайслер». В Москве всего два таких. У нас и у НКВД. И теперь, когда встречаемся на улицах, приветствуем друг друга гудками.

Дорого же мне дался тот юбилей! По скромности Иосиф отказался от чествования в Колонном, мол, неудобно хозяину пользоваться государственным добром в личных целях, «ограничился» «Метрополем». А как он переживал из-за списка приглашенных! Ночью вставал, кого-то вычеркивал, записывал новые имена, все боялся кого-нибудь важного пропустить. И разумеется, пригласил тех, кто меня в эти пять лет не замечал, забыл, делал вид, что меня больше нет, в те страшные годы, когда «цыганщину» травили сворой, нахрапом, когда так нужна была поддержка, просто доброе слово. Я сперва сказала, что не приду. Умолил, как он умеет. Все не могла себе представить, как же я этим людям подам руку? А оказалось, что очень даже просто. И как все совершенно искренне радовались, что я снова вернулась на сцену, что у меня концерты, гастроли, как поздравляли с плас-

тинкой! Я еще толком ничего про запись не знала, будет ли, а они уже все поздравляли!

Сама себе удивлялась. Никогда не думала, что так легко смогу им улыбаться, говорить с ними, смеяться. А я их простила. Взяла и простила. Они – несчастные люди. Им грех не простить.

Как, оказывается, тяжело носить в себе обиды и как легко и просто прощать.

Смотрела, как со стороны, будто в каком-то фильме, как они веселятся. Как спешат наестся, напиться, наплясаться. Будто завтра все кончится. Будто нужно отгулять свое сегодня. Вот и гуляют и пьют – до умопомрачения, до обжорства, до рвоты.

Иосиф не поскупился – *noblesse oblige*. Выбрал именно «Метрополь», другой ресторан – не по рангу. Всюду ковры, хрусталь, парадное сияет, швейцары в галунах. Дамы одеты не в Москвошвее, а у Ламановой. Говор, смех, запах дорогих духов. Икра, балыки, бананы, торты. Шампанское рекой. И в центре знаменитый фонтан, в который упало столько господ и дам. И сколько еще упадет. Оркестр во фраках.

Все упрасивали спеть. Иосиф стал на колени. Во взгляде – страх, что откажусь петь, и мольба не портить юбилея со всеми этими нужными людьми, от которых зависит его жизнь. Его, значит, и моя. Вышла – в вечернем длинном платье из алого панбархата, специально сшитом для этого вечера, – и стала петь. Спела Прозоровского. Все всё поняли, но сделали вид, что ничего не случилось. Кто такой Прозоровский? Где он? Может, его никогда и не было! А романс вот он, чудо, всегда будет! А кто автор и где он – какая разница!

А звук там хорош. Огромное пространство музыки – стеклянный потолок где-то в небе.

И под этими сводами – водка, обжорство и пьяные танцы.

Еле вытерпела до конца вечера.

А когда уже оделась в гардеробе и стояла у стеклянных дверей, ждала Иосифа, чтобы ехать домой, вдруг увидела за стеклом, что на улице повалил ни с того ни с сего снег! И это когда уже в городе все стаяло! Стояла, смотрела и не удержалась, вышла в снегопад. Все белым-бело! Так хорошо было вдохнуть после горячего, потного, пьяного ресторана запах свежести! И такая тишина, и медленно падают огромные, освещенные фонарями хлопья. Снег покрыл асфальт, а наступишь – тает. Пошла прямо в туфлях-лодочках по заснеженному тротуару – и после меня оставалась цепочка узеньких черных следов. Убегу – пусть по следам ищет! И так вдруг стало хорошо, так чудесно! Сгребла с парашюта горсть снега, скомкала маленький снежок, провела им по губам, по шее! Такое вдруг навалило беспричинное счастье! Так хорошо мне уже давно не было. И все от обыкновенного снега.

...

Сегодня девять лет.

Думала, за эти годы все слезы выплакала. Не выплачешь.

Вдруг оказывается, что воспоминаний остается совсем немного. Я была с ним полтора года, почти неотлучно, а осталось от всей его жизни только несколько картинок в памяти.

Володечка сосет свою пятку.

Его улыбка.

Сорока-ворона кашу варила, воду носила, здесь у ней холодная вода – и легонько щекочу запястье. Здесь теплая – щекочу локоток. А здесь – горячая-горячая – щекочу под мышкой. Володечка смеется.

Вот в парижской клинике положили малыша мне на живот, выдавили из груди молозиво, дали ему воз-

можность лизнуть, потом унесли. А я голодная – принесли какой-то бульон, а ужасно захотелось щей.

Иосиф пристаёт с настоем фенхеля, чтобы было молоко, умоляет: пей!

Господи, что я тогда перетерпела! Грудница. Нарывы на обеих грудях. Соски потрескались. Даю сыночку грудь и кричу от боли. И так каждые три часа. Раны на сосках только затянутся – он их снова разрывает.

Ребенок – это как если твое сердце где-то вне твоего тела. Ты здесь, а сердце бьется там.

Тогда казалось, что больно, а потом поняла: любую боль вытерпела бы, только бы ребенок был жив, а сейчас ничего не осталось, кроме моей памяти и того конверта, который послала тогда маме в Ростов. Приложила его ручку и ножку к листу бумаги, обвела карандашом. Измерила ниткой его рост и вложила нитку в конверт.

Мама привезла с собой, я его храню. Сегодня опять открыла. Вот ножка, вот нитка. А сыночка нет.

Уже столько лет прошло, а как вспомнишь, вместо души – кровяной ком.

Иногда кажется, что мне уже восемьсот лет.

Все раньше никак не могла понять, почему в Библии людям по пятьсот, шестьсот лет. Да потому что!

...

Ездил в Сергиев Посад, теперь почему-то Загорск. В Лавре все запущено, храмы закрыты и разрушаются, в монастырских корпусах живут, всюду на веревках сушится белье. И белье некрасивое, убогое, нищее.

Вифанские пруды, в которых монахи разводили рыбу, заросли травой и камышом.

Подумала: если веками намолено, то намоленное никуда деться не могло. Где-то сохранилось здесь –

в этих камнях, куполах, камышах, вот в этой траве-мураве.

Люди идут мимо – крестятся.

Помолилась о сыночке и на купола, и на монастырские стены, и на столетние деревья, и на травку-муравку.

...

Устала в основном от переездов, поездов, вагонов, в которых дует, пахнет сырым бельем, от вокзалов, гостиниц, ужасных кроватей, бессонных ночей. Кошмарная ночная пересадка в Курске – люди спят на полу вповалку, обнявшись со своими узлами, вониючие уборные, страшная тоска. В Воронеже хотели пройтись по городу, но поглядели на толпу и не решились. Пивных множество, и у каждой толкуются рваные, измызганные люди. Пьяных в городе больше, чем трезвых.

А на концерт все приходят нарядные, красивые, лица светлые, глаза живые. Идут как на праздник.

Господи, я для них – праздник! Да это они мне давали праздник, а не я им! Какое это все-таки счастье, стоять перед залом, из которого лучится к тебе тепло, надежда, благодарность, любовь!

А потом уходишь за кулисы, и сказка заканчивается. Начинается реальность. То шофер пьян, то опять перепутали билеты, то в гостинице трубу прорвало.

Слава Богу, люди подобрались замечательные! Спасибо Иосифу! Это он умеет. Заполучил Тросмана из Большого театра, а из джаз-оркестра – Хаскина, Ланцмана и Гладкова. Чудо какие музыканты! И все с чувством юмора. Без этого пойдешь попробуй вернуться живым с гастролей, почти ежедневно давая концерты, ночуя в грязных, кишасящих клопами гостиницах!

Каждый раз, когда подъезжали к следующему городу, я начинала волноваться, беспокоиться. В такие минуты чувствуешь желание овладеть городом, завоевать в нем всех, влюбить в себя каждого! После концерта за ужином Гладков всякий раз говорил: «Ну вот, Бэллочка, а вы боялись! Город наш!» А Хаскин один раз сказал: «Вы что, до сих пор не поняли, что это все тот же город, только в другом месте!»

После концерта в Туле, в вокзальном ресторане Ланцман, уже пьяный, продекламировал:

И спросит Бог: «Никем не ставший,
Зачем ты жил, что смех твой значит?»
«Я утешал рабов уставших», – отвечу я.
И Бог заплачет!

Все расхохотались. Сперва уверял, что сам сочинил, потом признался, что это Гаркави.

Все повторяли, смеялись. А надо бы плакать.

Едешь в поезде, смотришь в окно – лес да поле, а в голове эти строчки крутятся.

В детстве папа возил нас в степь на раскопки и показывал каменных баб. Эти изваяния с кургана казались чем-то загадочным, таинственным, вечным. А теперь из окошка насмотрелась. Стоят по всей России на каждом переезде обыкновенные бабы, только совсем как те, каменные, и смотрят на поезд – в каких-то чунях, телогрейках, серых платках.

Из тех городов, где были концерты, пошли письма. Сперва еще отвечала на каждое, а теперь не знаю, что с ними делать. Просят прислать лекарств. Пишут из тюрьмы. Поклонники присылают фотографии. Какие-то душещипательные истории. Или совсем ужасные. Актриса из Курского областного театра – больна, трое детей, один из них, девочка, – инвалид, облилась горящим маслом и ослепла, и никто не мо-

жет помочь. Листки, вырванные из ученических тетрадей, открытки. Восхищение, заверения в любви, просьбы за кого-то похлопотать, устроить в больницу. Иосиф смеется: «Вот это и есть известность. Это же хорошо! Ты же этого хотела!»

Этого я не хотела.

Что мне с этим со всем делать? Выбросить, сжечь – Бог не простит, а сделать ничего невозможно.

Хорошо было с устройством только в Ленинграде. Иосиф снял номер в «Астории». Я еще помню, как она превратилась в рабочую столовую. А теперь опять фешенебельная гостиница. Прекрасный номер с видом на Исакий.

А самое удивительное, что люди здесь остались те же. Метрдотель барон Николай Платонович Врангель. Кажется, он единственный, кто еще умеет носить фрак не на сцене. И еще больше удивилась, увидев все ту же лифтершу Дину, все с той же челкой – точная копия Анны Ахматовой с портрета Альтмана, только постарела и раздалась вширь.

Вот это хотела записать: удивительно, как все меняется, а люди остаются.

Тогда, в «Астории», налила себе огромную ванну. Вот такую хочу к нам на дачу: чтобы можно было вступать, а не залезать, задирая ноги.

В детстве у меня была такая игра: представляла себе, что, когда вырасту, у меня будет огромный дом со множеством комнат, и вот я их обставляла.

И вот выросла. И обставляю.

Все, о чем мечтаешь, сбывается. Только что с того?

...

Сегодня пекло. Все расплзлись кто куда. На окнах спущены соломенные шторы. В саду прямо перед балконом растет старая вишня, можно, пере-

гнувшись через перила, рвать ягоды. В узкую щель между соломинками видно, как поднимается горячий воздух – змейки. Отовсюду стук молотков, топоров – Валентиновка строится вовсю.

Жарко было уже с самого утра – на градуснике в тени 20 градусов, а на подоконнике уже хоть яичницу жарь.

После утреннего кофе сидела в качалке на террасе, листала модные журналы из Прибалтики, которые взяла у портнихи. Маша гремела кастрюлями на кухне, мама слушала радио. Иосиф в Москве, придет только в субботу.

Заехал Луговской, мой дачный поклонник, на мотоцикле с коляской, поехали купаться на запруду. Ехать ужасно неудобно, и страшно трясет, но было весело, много смеялись. На Клязьме тихо, хорошо. Луговской дурачился, как мальчишка, несмотря на все свои ромбы, ловил пескарей пилоткой. Потом надел ее, полную воды, себе на голову.

На обратном пути заехали в бывшее Загорянское имение посмотреть на руины заброшенного дома. Большой и красивый парк, но с разбитыми и поваленными статуями. Пруд, подковой окружавший сад, давно превратился в стоячее болото. Деревья истлели внутри и держатся на одной коре. Провалившиеся мостики. Окрестные жители растащили и разломали все, что можно. Представляла себе, как там все было раньше. Кто-то ведь старался, чтобы все было красиво. В зарослях сныти Луговской нашел могилу последних владельцев имения, которые умерли еще до революции: «раб и раба Божий Бычковы». Хорошо, что Бычковы ничего этого не видят.

Вернулись часам к пяти, мама с Машей варили варенье на жаровне в саду. Я хотела попробовать пенки, поднесла ложку ко рту, долго дула, а нахал Луговской ткнул под локоть – у меня рот и щеки все пере-

мазаны! «Ах так! Тогда я вас всех сейчас перецелую!» Все от меня врассыпную. Гонялась за ними по саду и вокруг жаровни, кричала: «Самый сладкий поцелуй! Куда же вы?» Хохотали так, что чуть живы остались.

Зачем я все это пишу? Ведь ничего ровным счетом не произошло ни важного, ни примечательного. Обычный дачный день в середине каких-то годов какого-то века.

По радио передают отрывки из «Дон Жуана» Моцарта – как раз сейчас ария Дон Жуана перед балконом Эльвиры.

...

Погода резко переменялась. Весь день дождь с самого утра. Играли в лото. Скука. Ничего не читалось. Быстро стемнело. Только дождь кончился, захотелось пройтись. Хорошо, что я убедила Осю выложить дорожки кирпичом – можно вот так после дождя гулять, нет луж и не утонешь в грязи. Вышла в мокрый, холодный сад. Так зябко стало, будто пришлось надеть на голое тело сырую шерстяную кофту. Куда ни шагнешь, в темноте наступаешь на улиток. Целое улиточное нашествие в этом году. Стояла и смотрела на деревья, на небо, на быстрые тучи, на яблоки, на полоску света из закрытого шторой окна в маминной комнате. С веток капало. Везде мокрые шорохи. Кроны тихо плещут. Флоксами пахнет после дождя пронзительно, сладко, дурманяще.

Поднялась на пустую террасу и села в качалку. Свет не стала включать. И так захотелось, чтобы кто-то очень-очень близкий сидел рядом. Полушепотом сказать ему: «Смотри, яблоки светятся в темноте, будто у них свет изнутри!»

Думала о разном. Вспомнилось, как на Пасху ездили с Машей в Хамовники. Церквей осталось мало, внутри давка. Было ужасно душно от свечей

и толпы. Стояли, стиснутые со всех сторон, так что мне стало плохо. Какой-то страх. Еле вырвались на воздух.

На улицах ночью полно народу: в театрах в Страстную субботу объявили спектакли, начало в 10 вечера, и кинотеатры работали всю ночь.

Шли домой, и в ушах все жил чудесный пасхальный мотив: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...» Маша вдруг спросила, верю ли я в будущее воскресение мертвых: «Вот я в Бога верую, а в воскресение – нет». – «Почему же, Маша?» – «Не верю, и все. Бабка моя покойница, она что же, так трухлявой старухой для вечной жизни и воскреснет? Тогда получается, что всем надо молодыми умирать. Нет, сказки все это!»

Маша, Маша! Пусть будут сказки.

Если Бог дал каждому свою жизнь, так даст каждому и свое особое воскресение.

Если Бог совершил одно чудо и дал мне эту торопливую, ускользающую жизнь, то придумает, как дать мне другую, которая останется. И там тоже будет та пасхальная ночь. И этот сегодняшней вечер после дождя. И не верящая в свое воскресение Маша, которая уже сопит в своей комнатке. И Иосиф, который где-то в Москве, не знаю с кем. И моя мама в комнате наверху, наверно читает, у нее еще горит свет. И папа. И мой малыш. И все-все-все.

...

Сегодня утром приехал Иосиф. Привез разные деликатесы из Елисейского, устроили долгий завтрак под сиренью. Дали попробовать Маше устрицы – та плевалась. Это напомнило александровский ананас. Они подарили своей домработнице как гостинец для родных в деревне ананас, так те не знали, что с ним делать, и сварили суп.

Маша ушла на станцию в магазин, и мама начала разговор о воровстве прислуги. Говорила, что нельзя потакать и проч., а Иосиф заступился: никогда не считаю сдачу, принесенную Машей, – взяла от нужды, и Бог с ней.

Неужели он с ней спит?

Рассказывал, что в Москве из-за духоты дышать совершенно невозможно, что такого жаркого лета уже давно не было: на асфальте остаются следы от каблучков. Ругал только что открытую гостиницу «Москва». В газетах пишут, что лучшая в мире, а на деле как всегда: снаружи роскошь, мрамор, малахит, яшма, а в номерах ящики комодов не задвигаются, дверь в ванную невозможно закрыть, к тому же нет пробки в ванне, и надо умудриться чем-то заткнуть.

У него там всегда броня на номера для гостей, а я знаю, что Иосиф водит туда свою девицу из мюзик-холла. Отдаю ему должное – он никогда не приведет никого к нам домой, в нашу постель. И за то спасибо! Хотя что значит – в нашу? Нет никакой нашей постели.

Иосиф изменяет мне давно. В глаза уверял, что у него никого нет, а я все сразу почувствовала. Не знала: верить или не верить. Уговаривала себя: конечно, верить. Я обязана всегда давать любимому человеку шанс на правду. Но что бы он мне ни говорил – я не верила и делала вид, что верю. Даже когда он говорил мне правду – я не верила, а когда лгал, что любит только меня одну, – верила.

Специально пошла в мюзик-холл посмотреть на тридцать московских герлз под руководством импонтента Касьяна Голейзовского. Все красавицы как на подбор, в трико, обсыпанные блестящим порошком, в шикарных туфельках на высоченных каблучках, с ультрамодными прическами. Стала гадать, ка-

кая из них. Потом подумала: какая разница! Они все одинаковые.

Мы вернулись в библейские времена, когда мужчина имел столько жен, сколько мог содержать, – как сегодня.

...

Я знаю, что и сама была виновата. В те ужасные годы, когда никуда не хотелось выходить, никого видеть, вся злость, все раздражение выливалось на Осю. Он стоял между ними и мной. Он прикрывал меня от того мира, спасал, как мог, хотел сделать все, чтобы смягчить удары, чтобы мне не было так больно. А я сходила с ума, и все скандалы, все истерики – все выливалось на него, бедного моего Осика. Я ненавидела тех людей, а страдал за них муж. Я не могла с ним больше спать, просто не могла! И все попытки опять что-то наладить, исправить, поговорить опять заканчивались скандалом. Не знаю, как можно было так жить, в атмосфере непрекращающегося скандала.

И никакого особенного повода не нужно было. Просто несколько дней раздражение копится, преследует – потом разряд. Я говорю что-то, а он и не слушает, одевается, чтобы уйти, смотрит на будильник на комодe и бросает между делом: «У тебя есть еще три минуты». Взяла часы и швырнула их на пол.

А потом уже ссорились не бурно, шумно, как ссорятся любящие, а холодно, затаенно.

Прекратилось понимание. Как испорченный телефон. Говорили, а не пробиться сквозь помехи, шепуршание. И каждый слышит только себя, свой возвращенный голос.

И точно так же вдруг заметила, что нет контакта даже с самой собой – со своим телом. И потом только видела следы от ногтей на ладонях. Оказывается,

все время сжимала кулаки и не заметила, что делала себе больно.

Запомнила последний наш скандал – из-за вазы. Когда это было? В прошлом году, весной. Да еще не просто чашки-тарелки, а разбила дорогую китайскую вазу какого-то столетия, которую он с такой гордостью притащил из антикварного. И вдруг странное ощущение, что это не я, что я уже где-то далеко. Это какая-то другая женщина кричит в ярости и бьет за чем-то дорогие, красивые вещи. А я сама уже давно успокоилась, и мне ничего уже не больно и ничего не жалко. И этот человек уже так отдалился от меня, что не может причинить мне настоящую боль.

А главное, ужаснулась самой себе. Поняла, что я себя такую ненавижу.

...

Первая мысль была – убить его и ее! И дом взорвать. И весь мир уничтожить. А потом вдруг кончились слезы и силы переживать, успокоилась и сделала вид, что ничего не знаю, что ничего особенного в наших отношениях не происходит.

Как я ненавидела его голос, когда он звонил: «Бэллочка, лапушка, уезжаю на два дня!» И начинал плести что-то про какие-то дела. А на самом деле звонил из номера, который снял, чтобы провести ночь с любовницей. А она, может, сидела рядом и гладила ему коленку. Отвечала, стараясь, чтобы голос не дрогнул: «Конечно, Осик, не волнуйся! Быстрее возвращайся! Я тебя очень люблю и жду!»

И смотрю на себя в зеркало. У меня вот морщины на шее. А у нее нет.

Но подобные девицы как раз нестрашные. Таких скачущих красоток можно не бояться. Надо бояться молчаливых, спокойных, с глазами удивленного ребенка. Вот как у Маши.

Она еще действительно совсем ребенок. Один раз я вернулась домой, а Маша выскакивает из моей комнаты – я вошла и сразу поняла, что она нежилась на моей постели.

Вдруг представила себя на ее месте. Я ведь, наверное, тоже бы стала примерять, пока хозяйки нет, все ее платья, чулочки, туфли, шляпки.

Работящая, чистоplotная, замкнутая. Тихий омут.

От зарплаты отказалась, мол, израсходую, и все, а так, если нужно на свечи, так вы мне дадите, мол, держите деньги у себя, а то я потеряю.

Надо пойти купить ей туфли, а то ходит черт знает в чем.

...

Не выдержала дачного заточения и съездила с Иосифом в Москву. Пыльно, душно, но зато есть люди.

Были в гостях у Днепровца с Милич. Полвечера проговорили о перезахоронениях в Москве. Всех поразил почти прижизненный вид тела композитора Николая Рубинштейна. Еще говорили о картинах из Эрмитажа. Днепровцу передали слова Грабаря, что 80% ценнейших картин из Эрмитажа продано за границу и что скоро их начнут выкупать обратно с большой выгодой.

Снизол своим появлением сам Александров. Его спросили, как ему удалось в «Веселых ребятах» сделать быка пьяным. Оказалось, что они в Гаграх на съемках перетянули быку проволокой ноги. Дамы возмутились: «Но ему же было больно!» Александров рассмеялся. Рассказал, как у Мейерхольда на сцене должны были драться по-настоящему и разбивали друг другу носы, и хлестала настоящая кровь. Заявил, что если ты искусство принимаешь всерьез, то, как Авраам, должен уметь пожертвовать не то что быком, а родным сыном.

Смотрела на него и ни на минуту не усомнилась, что этот – да, пожертвует, и рука не дрогнет. Пожертвует и сыном, и женой, и всеми за этим столом.

Сидит, закусывает водку грибочками, селедочкой и просто излучает успех. Рассказывал, как встречался с Чаплином и как в Голливуде его нарасхват приглашали на обед все знаменитости. Черт его знает, может, и вправду приглашали.

Говорят, он строит Орловой дачу во Внукове по собственному проекту – с окошечками в виде сердец. Верх безвкусия и убожества.

...

Хорошо после Москвы снова вернуться в Валентиновку! От Москвы странное впечатление – жизнь становится лучше, и это чувствуется буквально: отменили карточки, закрыли унизительные торгсины, куда люди несли свои зубы, продуктов в изобилии и становится все больше, театры, кино – битком. Но все остальное осталось – люди-то те же! Днепровы хвастались новой шведской столовой, новым радио. Дом – полная чаша. И все напоказ, лишь бы пустить пыль в глаза. Милич специально при гостях послала кухарку в Елисейевский купить буженину для своего шпица. А мы потом едем от них, и я смотрю в окно, как женщины на улицах плохо одеты и как все что-то несут, нагружены какой-то тяжестью – жестянки от керосина, кошелки, мешки, корзины. Лезут с этими мешками в трамваи. И смотрят на меня с завистью и злобой.

Почему все друг друга презирают и из кожи вон лезут, чтобы было чем похвастаться – квартирами, шубами, прислугой, любовницами, машинами, сытой, жирной жизнью?

А вдруг наказание будет не после смерти, а до?

Зеркало в гостиной ко мне снисходительно, показывает меня такой, какой я хочу быть, зеркало в спальней – безжалостно, выдает меня с головой, с морщинами, расплывшимся животом. Неужели я уже старею? Старение больше не прячется, как раньше. Старость будто перестала меня бояться. Она нагнала. Входит в меня, будто в свой дом: седые волосы, обнаруженные после бессонной ночи, морщины, которых еще вчера не было. Складка у рта – совсем старушечья.

Теперь, как мама, добавляю в воду немного синьки, чтобы седые волосы не желтели.

Но особенно чувствую время, когда встречаюсь с кем-то, кого давно не видела. Когда были в последний раз на концерте в Большом зале, столкнулась нос к носу с Таскиным. Совсем стал старым, но ходит гоголем и, разумеется, под ручку с каким-то юным дарованием, конечно же блондинкой. После выхода «Цирка» Москва наполнилась крашеными блондинками. А проробы предательски быстро темнеют.

Последний раз до этого видела Таскина в Ленинграде года два назад, в самое мое трудное время. Тогда был сух и торопился, а вчера бросился целовать, наговорил всяких комплиментов, смысл которых сводился к тому, что, мол, это я вас открыл, голубушка, не забыли?

Да уж как забыть! Как сейчас стоит перед глазами тот дом: Кабинетная, 7. Первый контракт. Первый гонорар.

Я, восторженная и самоуверенная гимназистка, приехала в Петроград поступать в консерваторию. Только в консерваторию! Отчего я решила, что меня ждет консерватория? Только меня она и ждала! Ньюся договорилась о прослушивании с профессором

вокала, а тот выслушал и замялся: «Голос у вас... скорее всего, контрольное меццо...» И отказал с чувством исполненного перед искусством долга. Я в слезы, а он еще стал утешать, мол, голос у вас поставлен самой природой – учебой его лишь испортят: сделают выше, а до оперы не дотянут, пойте так, детка!

Вот и все мечты! Коту под хвост. Пойте так, детка!

А теперь думаю: спасибо ему!

Запомнилось первое странное ощущение от Петрограда – вовсе не дворцы и не Нева, а то, что в отличие от московских кондукторов, у которых в руках была дощечка с прикрепленными к ней стопками билетов, в Петрограде у кондукторов были на ремне сумки с рулонами. Причем бросилось в глаза, что кондукторы в основном, из-за военного призыва, – женщины. И за спиной кто-то сокрушался, что до войны билет стоил три копейки, а теперь целый пятак. Ехали с Нюсей на студенческий концерт – ей аплодисменты, она раскланивается, а у меня сердце от зависти сжалось. Да, от зависти. Никчемная неудачница позавидовала успеху сестры. Она утром занималась в консерватории, а вечерами, чтобы подработать, играла в кинематографе. Нюся знала певиц, антрепренеров и предложила привести меня к знаменитому Таскину, который сделал Вяльцеву. Загадала: последняя надежда. Если прогонит, пойду и утоплюсь с нового Дворцового моста – только открыли недавно, вот и обновлю.

Ожидала нечто величественное, а вышел – мне по плечо. С салфеткой, только что от стола, еще и рыгнул жарким. Сразу схватил за руку и замурыкал: «Женщина начинает нравиться с рук» – а у самого пальцы-кочерыжки. Лысина сверкает. Отеческое похлопывание по всем местам. Вывернулась, отошла в угол, чтобы не подобрался, спела. Пришел в восторг:

– Да вы готовая певица! Выучите три любые песни, какие вам нравятся, и с Богом на эстраду! Конечно, вам недостает опытности, но у вас есть все то, чему нельзя научиться.

Договорились, что еще приду к нему несколько раз – посоветоваться о выборе репертуара и о манере исполнения. Вылетела как на крыльях. Действительно, устроил протекцию. В следующий раз, когда пришла, разучили с ним несколько романсов. На рояле – какие-то бумаги и конверт. Мой первый контракт и первые деньги! Прижимая их к груди, побежала к сестре и на углу Кабинетной обняла столб да поцеловала его среди белого дня!

Стала выступать в «Колизее», а Таскин звонит: «Как дела, Бэлочка? Все хорошо? Довольны? Вот и ладненько. Зайдите сегодня вечером – очень важное дело!» Зашла, а важное дело – расквитаться за ангажемент. И сейчас тошнит, как вспомню его кочерыжки, как задышал мне в ухо: «Вы не Бэлла, вы – беже!» Схватила его руки. «Перестаньте, прошу вас!» Полез целоваться. Надавала ему по щекам и по лысине и выскочила из квартиры. Еще крикнул вслед: «Передумаете – приходите!» Вот и весь ангажемент. Работу, как полагается, тут же и потеряла.

Прошло двадцать лет! Встречаемся и говорим друг другу комплименты!

Чудны дела твои, Господи!

...

Сегодня ночью мне приснился папа. Проснулась вся в слезах.

Мы гуляем по нашему саду здесь, в Валентиновке, и я показываю ему кусты смородины, клубнику, молоденькие яблоньки. Хочу показать ему наши вишни, оставшиеся от прежних владельцев, – ведь столько было вишен, что издали деревья казались

красными, – и ничего вдруг нет, остались только надклеванные, подсохшие. Я ужасно из-за этого расстроилась, а он меня утешает, гладит по голове, будто я снова маленькая: «Ну что ты плачешь! Не надо! Все хорошо! Вот у тебя и пластинка скоро выйдет! Тебя будут слушать по всей стране! Тебя все будут любить!» А я еще сильнее реву: «Не нужно мне ничего, папа! Любимый мой папочка! Как хорошо, что ты не умер!» И тут проснулась.

При одной мысли, что так и не увидела его перед смертью, не была на похоронах, хочется реветь отчаянно.

В последний раз, когда мы виделись, он уже все про себя знал, а я ничего не поняла. Он тогда сказал: «Почему мы уходим из жизни в тот момент, когда нам кажется, что мы только начинаем что-то понимать, в чем-то разбираться». А я слушать не хотела: «Что ты говоришь глупости! Ты еще сто лет проживешь!»

У меня есть только фотография с похорон. Он в гробу без очков, совершенно не похож на себя. Его положили на столе, на том самом месте, где мы всегда ужинали.

У папы хранились какие-то старинные вещи из раскопанных курганов. Он иногда показывал мне свои сокровища и говорил каждый раз: «Только представь себе, тысячи лет прошли после того, как руки мастера сделали эту пряжку!» А теперь мне кажется, что с того момента, как папа протягивал мне ту пряжку, прошло еще больше лет.

Все пытаюсь вспомнить, о чем мы говорили в тот раз перед расставанием – ведь это были последние слова его ко мне. И ничего не помню. Думала о чем-то другом. Вот если бы знать тогда!

Меня мучает, что мы с ним ни разу по-настоящему не поговорили о действительно важном. Всегда

при встречах разговор заходил о пустяках. Между отцом и ребенком должен обязательно состояться в жизни один важный разговор о самом главном. И вот папы давно нет, и такого разговора в моей жизни уже не будет.

Мама, моя старенькая мама! Как я тебя люблю! И как мало этой любви умею показать! И с тобой мы каждый раз болтаем о пустяках.

Вчера она ходила полдня по лесу и разрывала палкой муравейники. У нее больные ноги. Ей кто-то сказал, что нужно настаивать муравьиные яйца на спирту и смазывать этой смесью себе колени.

А на прошлой неделе ей взбрело в голову сшить себе платье для похорон – платье, в котором ее должны похоронить. Смотрелась перед зеркалом, как на ней сидит.

Главное ее занятие теперь – чтение, но не читает ничего нового, только то, что было когда-то читано. Иногда, глядя на маму сзади, я вижу, что спина вдруг начинает дрожать. Ее охватывают внезапные бурные рыдания при чтении чего-то памятного ей, а чаще – когда она слушает музыку. Вот сегодня она вдруг прослезилась, когда из репродуктора полилась ария Лакмэ: «Куда спешит младая дочь...»

Наш СИ-234 берет за границу – я люблю крутить, слушать. Весь мир передает американский джаз. Когда нет ни на что больше сил, хорошо включить и слушать – и откуда-то берется снова желание жить, и хочется танцевать. А мама эту музыку терпеть не может. Каждый вечер для нее передают оперы: «Действие второе. Спальня графини». А когда начинаются новости – выключает.

Мама, неужели тот единственный разговор и с тобой так и не состоится?

Или говорить о пустяках – это и есть самое важное?

Пошла пройтись после обеда по поселку, и ко мне пристал какой-то пес. Привела домой, накормила. Маша надулась, что, мол, привожу всякую нечисть и что всех голодных собак все равно не накормишь.

Раз всех не накормишь, значит – именно поэтому, – надо покормить ту, какую можешь, – вот эту.

Это как со счастьем. Раз всем быть счастливыми все равно невозможно – значит, счастлив должен быть тот, кто сейчас может. Надо быть счастливым сегодня, сейчас, несмотря ни на что. Кто-то сказал, что не может быть рая, если есть ад. Якобы невозможно пребывать в раю, если знать, что где-то существует страдание. Ерунда. Настоящее наслаждение жизнью можно ощутить, только если пережито страдание. Что вот этой дворняге остатки нашего супа, если бы она не подыхала с голоду?

И всегда так было: кому-то отрубают голову, а у двоих в толпе на площади перед эшафотом в это время первая любовь. Кто-то любит живописным заходом солнца, а кто-то смотрит на этот же закат из-за решетки. И так всегда будет! Так и должно быть! И скольким бы десяткам или миллионам ни рубили голову – все равно в это самое время у кого-то должна быть первая любовь. Даже у того подростка. Вижу перед глазами его лицо: возвращались из Крыма на поезде и остановились на каком-то разъезде, а прямо напротив – «Столыпин», в узеньком окошке решетка и чье-то полудетское лицо. А у нас на столике – еда, и цветы, и бутылки.

Минуту всего так простояли. Все в купе замолчали. А когда поехали дальше, уже не было никакого веселья.

Или все должно быть наоборот? И жить нужно после такого еще веселее? И вкус еды должен быть острее? Закат красивее?

Весь мир – одно целое, сообщающиеся сосуды. Чем сильнее где-то несчастье одних, тем сильнее и острее должны быть счастливы другие. И любить сильнее. Чтобы уравновесить этот мир, чтобы он не перевернулся, как лодка.

...

Луговской прислал, как обещал, двух солдат для пилки дров. Два Василия. Один Вася – крепыш, а другой Вася высокий, стройный. Пилили голые по поясу. Лежала рядом в гамаке, медленно качалась и смотрела на их стриженные мальчишеские затылки, загорелые спины, мускулы. Они пронесли чурку мимо меня, и вдруг в ноздри попал запах свежераспиленного дерева и мужского пота.

И ведь никто никогда в жизни не признается, что такое может произойти, что запахи дерева и пота могут до такой степени возбудить. Возбудилась так, что скрутило всю внизу.

...

Мучилась из-за измены мужа, пока сама не изменила ему. Вернее, пока не поняла, что это не измена.

Прошлое лето. Крым. Курортный роман.

Пальмы, белизна, даль, голые горы. Монах, Верблюд, Симеизская кошка. Сползает к морю, выгнув по-кошачьи спину.

Каждый день он рано утром на берегу моря ходил на руках, прыгал сальто, делал арабские колеса, стоял копфштейн. Тренированное, туго завинченное тело гимнаста. Захотелось сначала понравиться ему из озорства. Поднялись высоко в гору. На узкой тропинке схватила его руку – не столько чтобы удержаться, сколько чтобы коснуться его. Полушутливый разговор. «Украл бы вас и увез навсегда!» – «А я бросила бы все и уехала бы с вами!»

Проснулась наутро и поняла, что влюбилась, а что с этим делать, не знаю. Озноб любви легкий – как если пробовать ток от батарейки на языке.

Каждый день ходили купаться. Сидели на берегу. Качала пляжным шлепанцем и ощущала себя молодой, сильной и легкомысленной.

Он вернул мне мое тело – через его любовь я снова полюбила вот это тело. А еще он сказал: «Во время любви надо говорить, а ты молчишь».

Хотела каждый раз сама его раздеть. Целовать там, где скопился запах. Любить все тело без страха быть непонятой. Не любить, а состоять из любви.

После бешенства, экстаза, когда приходится возвращаться в себя, мокрую от пота, с волосами, прилипшими к губам, во мне прилив сил и такая нежность к нему, беспомощному, бессильному. Он берет мою руку и кладет себе на глаза. Устраиваюсь у него под мышкой, чувствую виском, как бьется его сердце. Или смотрю на него, облокотившись о подушку. И так хорошо, беззаботно!

А утром он будит меня, покусывая губами мочку уха, шепчет слова любви, и мне безразлично – правда это или ложь. Потому что в любви лжи быть не может – только в словах.

Ночью катались на лодке по морю. Никогда раньше не видела это ночное свечение черноморской воды. Гребешь, и начинает светиться затронутая веслом волна. Успокоившаяся вода уже не светится. Зрелище прямо поразительное! Не только наша лодка оставляла огненный след, но каждая самая маленькая рыбка при движении светилась. Мы выехали в открытое море километра на два и наблюдали там роскошную картину: дельфины ловили рыбу и оставляли после себя светящиеся пятна. По всему ночному морю были разбросаны пятна света.

...

Однажды вернулась домой с одной серьгой и заметила, только уже когда раздевалась, чтобы ложиться. А Иосиф ничего не заметил.

Он вообще ничего не замечает.

А может, все знает и молчит. Мой Иосиф. Мой добрый, мудрый Иосиф.

Я только боюсь, что не успею даровать всего, что во мне есть. Тело так быстро проходит.

От каждого, кого любила, хотела ребенка. И хочу. Я еще не старая, я могу родить. И знаю, что время истекает

Боялась, что со мной что-то не так, к каким только профессорам не обращалась – лишь разводят руками.

Бог не дает.

Почему не даешь? Ждешь, когда стану совсем старая? Можешь только чудеса? Хочешь испытать? Хочешь кому-то что-то доказать? Хочешь, чтобы я прожила сто лет, и только тогда дать, как дал ребенка Сарре?

Я – не Сарра. И до ста жить не хочу. Я живая сейчас, здесь.

...

Из-за грозы отключили во всем поселке свет. Все дачи темные. Сижу с керосинкой.

Сегодня, 28 июля, в газете постановление о полном запрете аборт. И тут же статья о том, как посадили какую-то «Морозову Марию Егоровну 35 лет, работницу Назиевских торфоразработок, которая за последние 3 года произвела 17 абортов различным работницам торфоразработок в антисанитарных условиях путем впрыскивания мыльного раствора».

Соня, двоюродная сестра Иосифа, работает патронажной сестрой в больнице Отто. Когда мы ви-

делись с ней в последний раз в Ленинграде, рассказывала о всяких ужасах, с которыми встречается по работе. С чем только несчастных не привозят после самоабортов! Бедные женщины калечат себя вязальными крючками, карандашами, гусиными перьями, березовыми лучинами – у всех осложнения, заражения, смерть от сепсиса. Обращаются с просьбой об аборте, им отказывают, потом на дом приходит патронажная сестра, ее не пускают на порог. «Вы же беременная!» – «Беременность не сохранилась». Обычное объяснение: тяжелое подняла, оступилась, заболел живот и прочее.

...

Гастроли в Киеве.

Изменения в лучшую сторону заметны уже по железной дороге. Ехали быстро, без опозданий. Вагоны международные, очень удобные, чисто.

Живем в «Континентале». Дореволюционная, роскошная, старинная мебель. Ключи на тяжелой деревянной груше – никуда не спрячешь. Это чтобы не уносили с собой. В «Континентале» делают знаменитые на весь Киев маленькие эклеры. Выпекают к 12 часам – так вкусно их заглатывать целиком!

Убежала от своих и отправилась в Лавру.

Вышла на Днепр – красотища! Значит, это отсюда, вот с этого холма киевляне смотрели на плывущих по реке идолов и иступленно молили Перуна: «Выдобди!»

Как им хотелось, чтобы их бог показал всю свою силу нечестивцам! А идолы не вынырнули, не вышли на берег, никого не наказали, плыли себе, как бревна, дальше, послушные воле волн.

Разговорилась с какой-то женщиной. Она сказала, чтобы я пошла и обязательно помолилась в Со-

фии Киевской чудотворному образу Николы Мокрого. Рассказала, что название идет от чуда. Жили в Киеве муж с женой и единственным сыном, Николаем, еще младенцем. Когда на лодке переплывали Днепр, ребенок выпал из рук матери и утонул. Родители в отчаянии стали упрекать Святого Николая, что он не помог уберечь дитя, потом опомнились и стали умолять о прощении и утешении их в горе. А утром перед богослужением в Софии Киевской, когда пономарь вошел в церковь, он услышал плач ребенка. Вместе со сторожем поднялись на хоры и там, за крепко закрытой дверью, которую пришлось открывать, увидели перед образом Святого Николая того самого младенца – он был мокрым, будто вынутым из воды.

...

Только что вернулась из городского детского дома. Говорила с директором, доктором Городецким. Сказала, что думаю о том, чтобы взять ребенка, попросила помочь.

Долго с ним говорили, потом он провел меня по комнатам, все показал. Рассказывал, что в голодное время в 33-м году было много подкидышей. На Крещатике их дюжинами подбирала милиция. Стали открывать для них приюты. Городецкий получил 500 детей. Многие тогда умирали от истощения и болезней. А я смотрю на детей – теперь все пухленькие, чистенькие, девочки в одинаковых платьицах, все бритые наголо, так что и не отличишь. Заглянули в какую-то палату, у детей глаза грязные, покрыты гнойными наростами. Я спросила: «Что у них?» – «Трахома». Пошли дальше. Оказывается, им не говорят, что это приют для подкидышей – они уверены, что живут в санатории: «Приедет мама и возьмет меня домой». Городецкий сказал, что приходят многие

и усыновляют. За последние полгода увезли 30 детей. Дети тоже выбирают себе родителей. Городецкий рассмеялся, что, если их хочет усыновить небогатый, говорят: «Не пойдем: не на машине приехал». Пока стояли во дворике, разговаривали, вокруг нас собрались. Стоят, смотрят на меня. У всех в глазах вопрос: кто я? Вдруг мама?

– Галина Петровна!

Не слышит. Кругом шумит piazza Mignanelli, заглушает голос.

Толмач подходит совсем близко, но она его не замечает. Загляделась, запрокинув голову, на непорочную деву, поставленную на античную, взятую из-под какого-то императора, колонну.

Гальпетра все такая же: фиолетовый костюм, белая мохеровая шапка, зимние сапоги с полурасстегнутой молнией. И даже те музейные тапки. А на спине приклеенная скотчем бумажка. Та самая.

Толмач снова окликает:

– Галина Петровна!

Вздрагивает, оборачивается.

– Господи помилуй, как же ты меня напугал!

Поправляет шапочку.

– А я вот тут стою и думаю: надо же, поставили памятник в честь зачатия! У них только одно на уме!

Вынимает из рукава скомканный носовой платок, высмаркивается, снова засовывает платок в рукав.

– Пока доедешь на метро от нашего Выхина, все тебя обчихают!

Улицу заливают звон – резкий, пернатый. Кто-то поймал в небе птичий чулок и натягивает на ногу.

Накрашенная старуха, выйдя из дверей Tabacchi на улицу, бросает взгляд наверх и предусмотритель-

но раскрывает зонтик. И у других прохожих тоже зонты от птиц.

– Ну, пойдём! – говорит Гальпетра и снова направляет мохеровую шапочку.

– Куда?

– Куда-нибудь. Что здесь стоять у этой колонны? Только смотри внимательно по сторонам! Они тут все носятся как сумасшедшие!

Гальпетра пропускает стаю мотороллеров и переходит улицу, неторопливо, вразвалку, шаркая тапками по римской брусчатке. Расстегнутые голенища сапог щелкают друг о друга на каждом шагу.

Толмач догоняет ее, они идут рядом. Гальпетра останавливается у каждого прилавка с сувенирами, открытками, футболками с именами звезд. Протискивается к лоткам. Разглядывает витрины киосков с мадоннами в виде Барби и Барби в виде мадонн. Качает головой, глядя на цены.

Их обгоняют туристические группы. Японцы. Немцы. Снова японцы. Над головами в толпе всюду зонтики и палки экскурсоводов с разноцветными платками: мол, не потеряйтесь, идите за мной, я покажу вам в этом светливом бестолковом городе что-то настоящее, важное, вечное, ради чего вы здесь оказались, ведь вас не было и не будет, а сейчас вы здесь!

Кто-то наступает Гальпетре на тапок. Она ворчит:

– Слеп, что ли? Смотреть же надо!

Прохожие оглядываются на ее музейные тапки, на бумажку с туалетным рисунком на спине, но здесь и не такое видели, ко всему привыкли.

– А там что? Пойдем туда! Мамочки родные, вот ведь привелось-таки оказаться в Риме! Кто бы мог подумать!

Свернули на *via del Tritone*. Навстречу группа школьников, у каждого по бигмаку. Один бросил обертку на тротуар. Прямо перед Гальпетрой.

– Это еще что такое!

Схватила за шкуру, заставила поднять. Тот, ошалев, поднял, побежал дальше с оберткой в кулаке, все время оглядываясь. Не привык, чтобы его вот так, за шкуру.

Гальпетра, глядя на свое отражение в витринах бутиков, все время поправляет шапочку, одергивает юбку, пытается заглянуть себе за спину.

Остановилась у витрины с гипсовыми статуэтками, трет руками виски.

– Только что хотела тебе сказать что-то, и вот надо же, выпало из головы! У меня в последнее время какие-то провалы в памяти. Что-то носишь с собой ненужное всю жизнь, а что нужно – поди вспомни! Смотри, Лаокоон! Всю жизнь мечтала увидеть настоящего Лаокоона! А ты знаешь, что его нашли без руки и приделали новую, а Микеланджело посмотрел и сказал, что рука должна держать змею не сверху, а сзади, за головой, или наоборот, не сзади, а сверху, уже не помню. А потом, через столетия, нашли ту, настоящую руку – и оказалось все именно так, как он сказал. Пошли, хватит ворон считать!

Они останавливаются у перекрестка.

– Смотри-ка! И тут все прут на красный!

Снова достает из рукава платок, вытирает распухший нос. Над верхней губой прыщики – наверно, выдергивала пинцетом волосы.

– Скажи, а ты видел настоящего Лаокоона? В Ватикане?

– Видел.

– И что?

– Ничего.

– Как это? Ты что? Разве так можно? Это же Лаокоон! Троянский конь! Разгневанная Афина! Древние греки! А как прекрасно античный скульптор изобра-

зил страдания на лице отца, на глазах которого погибают оба его сына! Это же сама бессмертная красота! Это же навеки схваченное в камне прекрасное! А рука, скажи, куда тянется его рука – вверх или назад, за голову?

– Я не помню.

– Но как же так? Ты зачем приехал в Рим?

Вышли на piazza Colonna. В нос бьет запах кожи от расставленных на тротуаре сумок. Только Гальпетра нагибается пощупать одну из них, как негр-продавец, продев в обе руки по дюжине сумок, убегает. Наверно, ему дали знать, что показалась полиция. Сумки под вздернутыми руками – будто расправленные крылья.

– Устала. И ноги болят. Может, посидим вот тут?

Присаживаются на перила железной ограды во круг колонны Марка Аврелия. Туристы разглядывают барельефы в бинокли. На барельефах римляне побеждают сарматов, а наверху Павел с мечом. Гальпетра, кряхтя, наклоняется, развязывает тесемки на тапках. Кругом голуби. Один хлопает крыльями над ее головой, вздымая на мгновение приклеенную скотчем бумажку. Гальпетра отмахивается:

– Ишь, разлетались!

Стаскивает сапоги с разводами проступившей соли. Разминает пальцы на ногах.

– Что же ты, сидишь в Риме и никуда не ходишь?

– Почему, хожу. Вот вчера ездил на старую Аппиеву дорогу.

– Ну, и что там?

– Дорога. Камни. Старые, стертые. Колеи от колес в камнях. Вдоль этой дороги были распяты спартаковцы. Шел и вспоминал, как в детстве смотрел в нашем ДК на Пресне фильм «Спартак» и как потом мы играли в гладиаторов, а щитами были крышки от ве-

дер. Тогда на этажах стояли ведра для пищевых отходов. Мы воровали эти крышки, а дворничиха на нас ругалась.

Подползает старуха, опять та самая, с «Электрозаводской». «Прего! Манджаре!» Рука трясется. Пальцы черные.

– Вот, и дать-то нечего, – вздыхает Гальпетра, подвигая сапоги к себе поближе, на всякий случай. – Ну, и все? Больше ничего там не было на этой старой дороге, как ее, где спартаковцы?

– Там еще есть церковь, называется *Domine quo vadis*. У Сенкевича есть такой роман, «Камо грядеши».

– Знаю. И что?

– Я туда зашел. Внутри никого не было. Только бюст Сенкевича. Хотел идти дальше, но тут увидел в проходе на полу белую плитку под решеткой. Подошел поближе. В ней следы, отпечатки босых ног. На этом месте Христос явился Петру, и на камне остались его следы. Я наклонился, чтобы рассмотреть получше. Огромные ножищи, больше, чем у меня. И совсем плоские. Ярко выраженное плоскостопие. И так вдруг захотелось их потрогать. Я уже протянул руку, но тут мне стало не по себе.

– А чего так?

– Если все обман и это работа какого-то камнетеса – поставил свою ногу, обвел и стал вытесывать, – то зачем трогать? А если это ноги действительно – Его? Того, чьи последние слова были: «Отец, почему ты меня оставил?!» Тут раздались шаги – откуда-то из боковой двери быстро вышел священник в черной сутане, что-то дожевывая. Увидел меня с протянутой рукой. Я смутился, отдернул руку, а он улыбнулся, закивал головой – мол, ничего, ничего, трогайте, можно! И добавил, что это все равно копия.

– Так и знала! – Гальпетра вздохнула. – А куда же дели настоящий камень?

– Я так и спросил. Оказывается, в церковь все время забирались, воровали, и оригинал перевезли в другую церковь, Сан-Себастьяно, она там недалеко, дальше по Аппиевой. Я пошел туда. Это не церковь даже, а огромный собор. Бродил по нему – и никак не мог найти, где выставлен камень. Под потолком висел великан с золотыми волосами. Свисает с потолка и смотрит в окно – что там? А за окном небо вымощено облаками, старыми, стертыми, будто плитами с Аппиевой дороги. Спросил какого-то падре про следы. Он кивнул на боковой алтарь справа от входа. Там решетка, стекло. Было темно и ничего толком не видно – стекло отсвечивало. Поискал, куда бросить монетку – у них тут в церкви, чтобы зажегся на минуту свет, нужно платить, – не нашел.

– И все?

– И все.

– Так и не увидел?

– Нет.

Рядом с толмачом на перила присаживается дед с рюкзаком – в шортах, майке, на голове панамы, на ногах горные ботинки. Тоже с биноклем на шее. У него дряблые белые ноги совсем без волос. Улыбается, протягивает толмачу бинокль, мол, хотите посмотреть? Толмач направляет бинокль на колонну. Увеличение сильное. Сразу утыкается в чью-то отрезанную голову. Наверно, сармат. Потом кто-то на лошади и борода каракулем – может, сам философ-император, сказавший, что больше всего на свете желает оживления умерших, а не присуждения к смерти живых. Еще выше – Павел с мечом. Меч длинный. Таким, наверно, хорошо отрубать головы сарматам. Толмач протягивает бинокль Гальпетре. Она смотрит на колонну совсем немного, потом

принимается разглядывать улицу, окна домов, прохожих, голубей.

– Смотри-ка, совершенно московские!

Голуби шныряют под ногами.

– Галина Петровна!

– Что?

– Я все хотел вам что-то сказать.

– Ну?

– Это, в общем-то, глупо, но...

– Чего мнешься, говори!

– Вы знаете, я все эти годы...

– Ты про бумажку у меня на спине?

– Да. Вернее, совсем про другое. Я хотел вас спросить вот что: почему мы вас ненавидели, а вы нас любили?

Дед в шортах собирается идти дальше, звонко хлопает ладонями по своим жидким коленкам – голуби от испуга шарахаются. Гальпетра возвращает ему бинокль, ремешок цепляется за пуговицу на ее рукаве.

– Вы меня тоже любили, только не знали об этом. Интересно, а Корчак был в Риме?

Толмач пожимает плечами:

– Я не знаю.

На площадь собираются какие-то демонстранты, распугивая голубей и туристов, разворачивают плакаты, транспаранты. Один из них проверяет, как работает мегафон, поет в него на всю Пьяцца Колонна: amore, amore, amore!

Гальпетра снова надевает сапоги, завязывает тесемочки на музейных тапках.

– Вот, буду теперь мучиться, куда у Лаокоона тянется рука...

– Галина Петровна, это не Лаокоон.

– Как не Лаокоон? А кто же?

– Корчак.

– Да что ты такое говоришь?

– Это Януш Корчак и те двое детей, которых он взял за руки, когда они пошли в газовую камеру. Они умирают от удушья. Это вовсе не красиво. И при чем здесь игра мускулов? И какая разница, в какую сторону тянулась рука Корчака?

– Ты все путаешь! Ты все на свете перепутал! Ты – путаник. Путаник ворвался в гостиную и съел вареник. Лаокоон – это одно, а Корчак – совсем другое. Император не может быть философом, а философ не может быть императором. Севастопольские офицеры – это одно, а ангелы Бернини – это совершенно другое. Древние греки – одно, чеченцы – другое. Войлочные музейные тапки в нетопленном Останкине – одно, а тот ребенок, который был во мне, – другое. Пойми, тот мальчик из Белоруссии, который шмыгал в телефонную трубку, – отдельно, и птичий чулок, который, смотри, превратился в нос, – отдельно. Нога Петра сама по себе, а фотографии прокаженных – сами по себе. Помнишь, в Ватикане на площади перед собором у обелиска собирали деньги на больных проказой – кругом были плакаты с фотографиями детей и взрослых без пальцев на руках и ногах? Она еще отвернулась, чтобы не смотреть.

– Да, мы стояли в очереди в собор Святого Петра. Порывы ветра разносили от фонтана водяную пыль. Все искали окно папы – вот оно, второе в верхнем этаже. Впереди нас была группа польских школьников в форме бойскаутов, с шейными платками вроде пионерских галстуков – белое с красным. А сзади была группа негритянок в одежде монашек какого-то ордена – белое с голубым. Я хотел увидеть швейцарских гвардейцев с алебардами, но у ограждения всех проверяли охранники в черных очках и черных костюмах. Ее остано-

ли, не хотели пускать из-за голых загорелых плеч. В огромной пластмассовой корзине были навалены темные платки. Она закуталась. Рассмеялась, изобразила старуху с трясущимися руками. Нас впустили. Сперва мы ходили по собору вместе, а потом она сказала, что хочет поставить свечку, и я оставил ее одну. Встал в очередь паломников к статуе Петра, которые хотели подержаться за его ногу и загадать заветное желание. Теперь в очереди впереди оказались бело-голубые негритянки, а где-то сзади польские бойскауты. Стоял и читал в путеводителе, что на самом деле это был не Петр, а античная статуя Юпитера Громовержца. К ней когда-то приделали новую голову, а в руку, вместо пучка молний, сунули ключ. очередь продвигалась медленно – каждая негритянка подолгу держалась за ногу Юпитера. За мной стояла женщина, одетая в черное, с сыном лет десяти – он был слепой. Мальчик жмурил веки, мускулы лица то и дело дергались. Наконец, я подошел – и заветная нога оказалась без пальцев, будто объединенная проказой. Я дотронулся и почувствовал холод бронзы и клейкий пот сотен людей. Невольно отдернул руку. В голове пронеслось, что так и не загадал желания, но на беспалую прокаженную культю мать уже положила ладонь своего слепого мальчика. Я пошел дальше бродить по собору. Она все еще стояла на том же месте со свечой в руках. У них здесь какие-то смешные, ненастоящие свечки, такие ставят в ресторанах на столиках, в красных стеклянных баночках. Она с этой светящейся красной стопочкой в ладони, в темном чужом платке на плечах показалась вдруг старой, сгорбленной, с растрепанными волосами. Я подошел, чтобы обнять ее, и опять остро почувствовал чужой пот на пальцах – захотелось пойти и где-то помыть руку.

– Ты так ничего и не понял. Вы все умники, семи пядей во лбу, делаете все сложным! Придумают Рим, а потом удивляются, что Рима нет, а валяются на Форуме какие-то обсосанные временем мослы, зарастающие травкой-муравкой. Придумают Тибр – и ждут невесть чего, а на самом деле это что-то мутное, тибриное, настоящее. Вот и нужно полюбить этот тибриный мир! Все просто. Ты должен был стать ее Тристаном. Тебе нужно было стать им, вернуть ей тот день в Иццалини. Это ты лежишь с книжкой под деревом на надувном матрасе, и с веток свисают на невидимых нитях черные гусеницы – юркие, быстрые. И набрасываются на все, что дышит: на листья, тени, камни. Не гусеницы, а тартава. Сейчас еще ничего, а прошлой весной вот этот розовый куст был объеден до корочки. Кругом все живет – только положил книгу на траву, чтобы стянуть футболку, взял снова в руки – и по странице уже ползают муравьи, как разбежавшиеся буквы. В раю нужно быть настороже – смотреть, чтобы в сумку или в ботинок не заполз скорпион. По участку надо бродить с палкой, постукивая о землю, – здесь водятся змеи. Дом на горе, деревня внизу – невидимая за верхушками деревьев, только с балкона видна башня кастелло и крыша церкви. Из деревни доносится звон электропилы, а когда смолкает, вступают птицы, листья и шлепанье босых ног. Двадцать минут назад в душе от ледяной воды ее груди озябли, сжались. А сейчас припекает, от солнца все старается уползти в тень: и заросшая дорожка, и забытый этрусками шланг, и заношенная, пропахшая твоей ногой сандалина. В шортах и лифчике от купальника она развешивает на веревке стирку: твои трусы и ее трусики, носки и носочки, рядышком, трутся, ласкают друг друга. Ставит ногу на край надувного матраса, припод-

няв тебя, закачав. Нога в укусах. Протягивает тюбик, чтобы ты ей смазал. Тут комарье какое-то мелкое, вредное, ничего не услышишь, не почувствуешь, а уже чешется. И нога, стройная, загорелая, легкая, еще не исковеркана железом, еще не обросла шрамами. Красные, расчесанные укусы и на подъеме стопы, и на голени, и на икре. Хочешь поцеловать, обмакнуть язык в каждый укус – отнимает ногу: что ты, грязная! Хватаешь за пятку, целуешь щиколотку, а Изольда хохочет, скачет на одной ноге, бьет тебя тюбиком по плечам, по голове, теряет равновесие, падает, хватается за твою шею, матрас брыкается, встает на дыбы, сваливает вас на траву. А в небе трусы и трусики, носки и носочки, каждой твари по паре, сушатся на солнышке после потопа, и впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Потом вы едете смотреть фрески Луки Синьорелли. Дорога вихляет бедрами. Где-то внизу Тибр. Иногда река открывается из-за деревьев, и Изольда говорит: «Смотри, какая странная лодка!» А ты смотришь на дорогу. Между Тоди и Орвието через каждый километр на обочине сидят негритянки. Вглядываются из-под руки в проезжающих. Вскакивают, если притормозить. Утром их развозят по дороге, к вечеру забирают. Изольда возмущается, что бедных женщин заставляют продавать себя вот так, по-собачьи, под кустом. Ты говоришь в шутку: это блудницы. Она отвечает: блудниц не бывает. За поворотом еще одна негритянка провожает вашу машину взглядом. В Орвието все парковки забиты, но вам везет – кто-то как раз уезжает. Идете в собор, но там месса и конфирмация – капелла с фресками закрыта. Надо ждать, когда все кончится, да еще к тому же и праздник – вы попали на Palombella. Через головы видно, как в глубине собора, перед алтарем,

две монахини дирижируют хором девочек. Девочки в розовых и белых платьях. Поют что-то веселое, будто исполняют сцену из американского мюзикла, – все раскачиваются в ритм, хлопают в ладоши и поднимают руки то в одну сторону, то в другую, трясая пальцами. Скоро на площади начинается праздник. Над толпой – фанерные облака, откуда должен прилететь голубь и сообщить что-то важное, без чего жизнь невозможна. Грохот и салют. Раскаты грома. Фейерверк вокруг непорочной Марии и распятия. Мария с распятием тонут в ракетном дыму. С другого конца улицы тоже с треском и выстрелами спускается по протянутому канату клетка, оставляя после себя шлейф синего дыма. Там в прозрачном цилиндре трепещет и бьется бедная птица, перепуганная до смерти. Итальянцы хлопают в ладоши, кричат от восторга. Переждать праздник можно в ресторане. Сквозь открытые окна – раскаты грома, уже настоящего. Наверно, голубь, выпущенный из цилиндра, полетел куда надо и нажаловался. Побей их! И вот гроза и град. Забарабанило по жестяной крыше. Вы сидите у окна и смотрите, как на улице огромные градины раскалываются об асфальт, отскакивают выше подоконника. В ресторан забегают люди с площади, кричат, хохочут. Ты говоришь: как бы не побило стекла в машине, а Изольда вздыхает о тех женщинах по дороге: бедные, каково им там сейчас, в кустах! Лыдышки залетают в открытую дверь. Официант выгоняет их обратно щеткой, улыбается вам, подмигивает, изображает, будто хоккеист загоняет шайбу в ворота. Потом град кончается, и вы выходите на улицу, где солнце и пар. Град был величиной с яйцо, а теперь градины уже стаяли до горошинок. Ты шутишь: смотри, сколько листьев поубивало! До конца жизни остается совсем немного. Но

это всегда так. Потому что ты и был ее Тристаном, только не понял этого. Воскрешение плоти. Из ничего, из пустоты, из белой штукатурки, из плотного тумана, из снежного поля, из листа бумаги вдруг появляются люди, живые тела, встают, чтобы уже остаться навсегда, потому что снова исчезнуть, пропасть просто невозможно – ведь смерть уже была. Сперва контуры, очертания, края. Точка, точка, запятая. Вышла рожица кривая. Разметка. Человек протянется вот от этой трещины на стене до того солнечного пятна. Раскинется от ногтей до ногтей. Руки, ноги, головы, груди, животы – все это найдено в снегу, тумане, бумажной белизне, а теперь выставлено для опознания. Тела еще прозрачны, как тень от пустого стакана на стене. Реальность уступчива. Плоть постепенна – кто-то еще безрукий, у кого-то нет ног, как у статуй в ватиканских музеях, а между ног отбито молотком. Плоскость переходит в объем в том месте на спине, где вылезает, если вывернуть назад руку, лопатка. Игра мускулов, еще не заросших эпителием. Ползут, недорисованные, непрописанные, поднимаются на колени. Сиплое дыхание, невнятное бормотание. Возвращаются к себе под кожу. Оглядываются еще слепыми глазами. Принохиваются. Карабкаются из ничего сюда. И на стыке измерений стена, снег, туман, бумага проваливаются во время: ел гранаты с горькими перемычками и пленками и говорил, что помогает от зубного камня; открывала дверь – не поддавалась, ветер припер с другой стороны; пили на улице из пластмассовых невесомых стаканчиков – и в них надо было сразу налить еще, чтобы не сдуло. Ягодицы снова зарастают шерстью. Суеверный опять надевает сандалии сначала на левую ногу, а потом на правую. Морщась вливает в себя каждое утро по стакану ослиного молока,

назначенного ему от грудной болезни врачом-ухо-верткой. А вот тот, у которого ноздри раздуваются от пения, едет домой, везет сто сиклей серебра жене и поет, лошадь косит голубым белком на коров с выменем, измазанным навозом, а встречному, обладающему знанием о том, как по пепелищу расхаживали куры и свиньи и с детским криком подпрыгивали, попадая в горячий пепел, еще полдня пути – он только вышел рано утром на берег, одичавший за ночь, лишь вдали щепотка людей, и на песке после дождя твердая корка – наступает и проламливает босой ногой. А вот та, которая полюбила женатого. Закрыла, когда в первый раз остался на ночь, икону платком – а потом, наоборот, сняла. Разбирала вещи, проткнула пальцем молеедину. Мыла пол – с тряпки шел пар. Мать, когда уезжала, сказала только: холодильник размораживай – вместо важных слов о любви. Волосы истончились, стали теряться. Чужой муж обнимает и говорит, что у нее есть удивительный кошачий дар превращать любую точку пространства в дом, рождать уют, закрывать любовью сквозняки, и сам объясняет: это потому, что у женщины сквозняки в душе, потому что у нее нет дома внутри, там она чужая самой себе, и заткнуть эту пустоту можно только мужским, крепким. Любила нюхать его льняную бородку. Где-то прочитала: никого нельзя удержать днем при помощи того, что произошло ночью. Сидит в очереди в поликлинике, смотрит на свои ноги и думает: равнобедренный треугольник, усеченный коленками. Что может сказать врач? Сказал, что болезни вызываются огорчениями и обидами, а лечатся любовью. Спросил: ваша мама убивала в себе детей? Да. Вот видите, она убивала любовь, а теперь вы за нее отвечаете. Старик сосед попил чай и собирается уходить, засовывает бороду под шубу, а она увидела,

что он в карман спрятал ее трусики, и ничего не сказала, только незаметно подменила их незастиранными. А это тот самый воин, вернувшийся с войны живым, только разворотило челюсть, и он ходил с серебряной трубкой, вставленной в горло. Когда ему было четыре года, его побили во дворе мальчишки. Будущий воин пришел жаловаться своей маме, та стирала белье. Оставив стирку, она жалостливым голосом сказала: бедный мальчик! Потом выкрутила отцовские кальсоны и стеганула со всей силы по спине: никогда не приходи жаловаться! В Полтаве не было елок – на Новый год принесли сосну. Ребенок – свернувшееся рядом тепло, которое так легко обидеть. Нет ничего временного – вот напишешь что-то случайно в детстве вилами на воде, подгребая упавший в пруд мяч, а окажется, что навсегда. Пучеглазый сосед грозитя побить шлангом от стиральной машины, у его жены зуб, который вываливался из непомерно широкого ворота, как огромная груша. Вскрыл лягушку бритвой и смотрел, как сокращалось ее крошечное серое сердце. А еще придумал делать лягушкам уколы – брал ручку, пером протыкал с треском кожу и выпускал чернила. Девочки играют в зарослях майского дерева у душа, готовят обед – из одуванчиков можно приготовить три блюда: макароны, яичницу и селедку. Лепестки аленького цветочка прилепляют, облизнув, на ногти, получается как маникюр. Бегают в уборную сидеть над дыркой, из которой дует. Дачу зимой все время грабят, написал записку: «Товарищи воры! Вы убедились, что мы не храним здесь ничего ценного и спиртного. Пожалуйста, не ломайте ничего и не бейте стекла, мы люди небогатые». Приехал на выходные, прошел в сумерках от калитки по морозной тропинке, устланной звездами, а в доме все

разбито, загажено, и записка лежит на полу, придавленная кучей. Стал совком убирать, а кучка заледе-денелая, звонкая. Человек есть хамелеон: живущий с мусульманами – мусульманин, с волками – волк. Русские не едят голубей, потому что Дух Святой являлся в виде голубя. Жалоба из Коринфа: взяли на корабль пассажира, а тот оказался пророком, оживил селедку, ускакавшую по скользкой палубе за борт, и ладно бы одну рыбешку, а то целую бочку, вследствие чего команда осталась без провианта. Ешьте, не голодайте, живите, не умирайте. Души, учит Гераклит, происходят из влаги, но при этом склонны высыхать. Злым, чужим приходится говорить – да, своим, близким, любимым – нет. И как можно быть в чем-то уверенным, если завтра громовежнец встанет не с той ноги и придется жертвовать отчий дом на трирему, или отправишься в Сиракузы к тетке на блины, а попадешь к морским разбойникам, или спящего прирежет тебя беглый раб. Путник, куда ты идешь? Думаешь, в Спарту? Снег опять так повалил, что трамваи не ходят. Воскрешение плоти. Башмачкин – душа, шинель – тело. Оставьте ему шинель, и он не будет гоняться за прохожими. Бросьте все, и едем в Рим – как близко там к небу! Его мучила бессонница. Ночью он часто приходил ко мне в комнату, когда я уже лежал с потушенной свечой, садился на узенький плетеный диван из соломы, опускал голову на руки и долго дремал. Посреди ночи он переходил на цыпочках к себе, садился на свой диван и сидел в полудремоте. С наступлением рассвета он разбирал свою постель, с тем чтобы служанка не беспокоилась и видела, что жилец нормально провел ночь. Он боялся умереть во сне и старался не спать по ночам. Что за воздух! Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере 700 ангелов влета-

ют в ноздри. Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше – ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно больше благовоения и весны. Когда я подошел к телу Гоголя, он не казался мне мертвым. Улыбка рта и не совсем закрытый правый глаз его породили во мне мысль о летаргическом сне, так что я не вдруг решился снять маску. Он боялся не умереть. И еще нужно воскресить ту оплетенную соломой бутылку: за игрой пили сухое вино, и Гоголь ловко сливал из оплетенной соломой пузатой бутылки верхний слой оливкового масла, который служил пробкой и предохранял вино от порчи. Предметы ведь тоже плоть. Тот мшистый кирпич в дачных зарослях флоксов, под которым сороконожка. Тот проигрыватель с ручкой, перебинтованной синей изолентой, в подвале на Староконюшенном. И мороз много лет назад, когда метро заросло наростами льда, а дворник сыпал соль с песком из ведра, отчего морозило еще сильнее, – тоже плоть. И краски. На подоконнике в стакане цветные фломастеры – все черные против света. Унитаз – рыжий от железистой воды или от ржавых труб. Десны кровоточат – зубная щетка в розовой пене. И те медовые акварели. И звуки. Вдруг стали слышны часы – будто проклюнулись, будто молчали и теперь пошли, сперва настенные, неторопливо, за ними вприпрыжку настольный будильник. Старые пластинки потрескивают, как дрова в печке. В кинотеатре покатила по полу пустая бутылка. И еще нужно воскресить тот смех на резиновой фабрике, когда приходилось останавливать конвейер. И тишину и пустоту. Пустоты людей, найденных в Помпеях. Пребыва-

ние в нетях. Блудницы, которых нет. Отсутствие – это тоже плоть. Ведь тишина – это такая же созданная словом тварь, как пустота, запертая в комнате, или как отблеск фонарей на мокрой ночной брусчатке, который размножается вегетативно, черенками. Или как вот эти отпечатки пальцев на небе, хотя нет, это просто птицы разбились теперь на несколько стай. Мужчину нарекли Ясенем, а женщину Ивой. Адам владел восточной и северной сторонами рая, а я охраняла западную сторону и южную. Адам властвовал над зверьми мужского пола, а я властвовала над зверьми женского пола. На Страшном суде будут мучить блудниц и механизаторов. И видел реку, пылающую огнем, и множество мужей и жен, как горчичных семян, погруженных в нее до колена, а другие до пояса, другие же до уст, а последние – до волос на главах. Вопрос: кто эти, что в огненной воде? Ответ: это те, кому не горячо и не холодно. Ибо не оказались они в числе праведных, хотя скончали время жизни своей на земле, ибо провели часть дней своих по воле Божией, а другие дни в грехах и прелюбодеянии, и так жили не переставая. Вопрос: Почему ты наг? Ответ: Не знаешь ли ты, что сам ты наг? Ибо ты носишь шкуру овец земных, и она истлеет с телом твоим. А я, посмотрев на небо, вижу лицо мое и одежду, как они есть, в истинном их виде. Вопрос: Сколько частей у души? Ответ: Три: словесная, яростная и желаящая. Вопрос: Сколько по правде есть богов? Ответ: Семьсот семьдесят семь. Вопрос: А еще вернее, сколько их? Ответ: Сто пятьдесят. Вопрос: Но на самом деле? Ответ: Один. Вопрос: Скажи правду! Ответ: Менее чем один. Вопрос: Надо ли говорить матери, что ее сын утонул в море, или сказать, что он уехал далеко и не вернулся? Вопрос: Скажи Мне, Седрах, от сотворения мира за все века, сколько

дождевых капель упало на землю и сколько еще упадет? Вопрос: И если кругом сугробы – то красная полоска на коже от резинки трусов – чем не лиана? Ответ: Никакого Страшного суда не будет. Ничего бояться не надо. Ничего такого не будет, чего еще не было. Пугают! И чем можно испугать старуху в слепом зеркале? Меня, умиравшую от страха стать старой и вот наказанную за это долгой жизнью, чем еще можно наказать? Ну, потеряла лупу, искала весь день, а та, разбойница, смотрела на меня с плиты, вылупилась на старую дуру. Укатали сивку горки. Скривило артритом пальцы. Кожа свисает, как присборенная занавеска. Стала маленькой, скукожилась – как дохлая мартышка. Потерялась в кровати. Копаюсь бессонными ночами в прошлом. Раскапываю мою Троицу, которой, может, никогда и не было. Песок, труха – лопатой. Вдруг блеснуло что-то фарфоровое – тут нужно осторожно, кисточкой. Раскопав, рассматриваю найденное и под таким углом, и под таким, и на просвет, и нюхаю, и скребу ногтем. Первой любовью был фарфоровый щенок. Папа подвел к буфету и сказал, что щенок не обыкновенный, а волшебный. Он любит меня и будет мне приготавливать каждый день конфету, если я буду себя хорошо вести. Взял щенка, снял голову – внутри тот оказался пустым, и там лежала конфета. Я старалась изо всех сил вести себя хорошо и каждый день получала от моего любимого фарфорового щенка волшебную конфету, восхитительную, необыкновенную, несравненную, самую вкусную на свете. А один раз вбежала в комнату и увидела, как отец сидел на корточках, в руке бумажный кулек, а рядом на полу безголовый щенок. Отец увидел меня, смутился и протянул мне конфету, которую собирался положить внутрь. Я взяла ее в рот, и она показалась мне

невкусной. У меня была аллергия на кошек – в шесть лет вдруг началось, никто не мог понять, в чем дело. А я знала в чем, но никому не говорила. Или думала, что знаю. У меня была в детстве кошка, она состарилась и убежала умирать в поле. Кошки прячутся, когда умирают. И вот я задыхалась, если в комнате кошка. И из-за этого, когда в первый раз все должно было произойти с человеком, которого я любила, а он был женат, у меня начался приступ. Мы пришли к нему домой. Жена с детьми за городом. Он целует меня, а я через какое-то время начинаю задыхаться. Спрашиваю: кошки нет? Отвечает: нет. Но я же чувствую. У них действительно была кошка, но ее увезли на дачу, а шерсть везде осталась. И вот говорю ему: я не могу, мне плохо, а ему кажется, что это я кокетничаю, придумываю какие-то глупости, играю. Он меня начинает раздевать, а мне дышать немоготу. Никак не могла раньше понять, как это все может происходить одновременно: вот я сейчас здесь, с лупой в руках, и в то же время я там, прижимаю его к себе и чувствую, что теряю сознание, умираю, вдохнуть не могу. А теперь понимаю, что все просто. Все всегда происходит одновременно. Вот ты сейчас пишешь эту строчку, а я ее как раз читаю. Ты вот сейчас поставишь в конце этого предложения точку, а я до нее как раз в то же самое время доберусь. Дело же не в стрелках на часах! Их можно перевести и туда, и обратно. Дело в часовых поясах. Шаги циферблата. Все происходит одновременно, просто на всех часах стрелки разбежались, кто куда горазд. Такая петрушка из-за того, что солнце встает в окне на кухне, а садится в другом окне, в комнате, за лимоном на подоконнике – сунула в горшок с землей косточку, а теперь вымахало целое деревце. Это как Новый год – в Лондоне еще только на стол накры-

вают, а в Японии уже все пьяные. Вот я жду пенсию в пятницу, а в то же время пятничные облака еще где-то в водопроводе. Тот, в камере, еще только царапает на стене лодку – и при этом он уже спускается по Тибру в сторону Орвието. Вот я говорю вам, моим любимым, на классном часу, что в Бога верят только старушки, и в то же время шепчу в подушку: Господи, иже еси на небесех, – и думаю, как красиво: на небесех... И благодарю за каждый прожитый день, за ту любовь, которая у меня была. И прошу прощения за то, что уверяла вас, будто у Бога нет доказательств. Чужь собачья! Чудо – доказательство. Смерть – это чудо. Я умру. Какие еще нужны доказательства? Это ведь только так рисуют – с бородой, в какой-то хламиде. А на самом деле это, может, не грозный старик на пятничных облаках в водопроводе, а какой-нибудь курортник – бродит по балтийскому пляжу с коробком из-под спичек, вглядывается в выброшенные на берег водоросли, ищет янтарь, и, когда проходит мимо, хрустят под его сандалиями ракушки. Или та продавщица, которая мне тогда сказала: вот, женщина, возьмите хорошие бананы, что ж вы дрянью-то выбрали! Или тот самый путаник, который сначала все на свете перепутал, а потом ворвался в гостиную и съел вареник. А скорее всего, и не то, и не другое, и не третье – а что-то очень простое, какая-нибудь трава. Трава-мурава. Растет себе. Пускает корни в каждой расщелине. Когда-то знали, что она и есть бог из семейства тайнобрачных, а потом забыли. Теперь осматривают развалины храмов, а сути не замечают: храмы лишь отмечали, где находится священная гора или роща, ведь грозные старики, курортники и путаники жили не в алтарях, а в кронах, ветре, траве. Все дело в травке-муравке. Если в первобога перестают верить, он же не исчезает,

просто живет себе где-то в сторонке, неприметно, невидимо. Помнишь дом, построенный всем богам? Поскольку все происходит одновременно, то ты и сейчас идешь с ней – со шрамами на ногах или без, неважно – по виа Пастини, а потом вы выходите на пьядца Ротонда, и вот он, храм храмов, затерялся в толкучке домов, его затолкали со всех сторон архитектурные оборванцы. Под колоннадой пристают к туристам древние римляне в пластмассовых доспехах – переодетые стрельцы с Красной площади. Когда входите сквозь узкую щель огромных, бронзовых, зеленых от веков дверей, по голой потной коже пробегает сквозняк, будто кто-то прошмыгнул между ног, какая-то невидимая кошка или бог кошек. Вы входите из зноя в полумрак и прохладу. Все взгляды притягивает к себе oculus. Его подпирает косою столб света – пыль, дымка. Под потолком летают какие-то насекомые, вспыхивают в луче. Старинная фотография на стенде – во время наводнения в храме плавают лодки или боги лодок. Все время хочется смотреть вверх – в зрачок. Где-то там, высоко над головой, под клетчатым гулким сводом, притаились те, кого вздумал отменить своим указом наивный Феодосий, решив уплотнить их непорочной Марией и мучениками, – велел привезти двадцать восемь телег костей из катакомб. Мол, нечего вам тут жировать. Ишь какие хоромы! Нам пот, а вам в рот! Было ваше, стало наше! В тесноте, да не в обиде! Трудом праведным не наживешь палат каменных! К чему было умываться, коли не с кем целоваться? Люби, как душу, тряси, как грушу! Ордер на выселение есть, но как же их выселишь, невидимок? Они, может, тут везде по углам висят вверх ногами, как летучие мыши. Обвернулись крыльями, нахохлились, сжавшись в живые клочки, ждут своего звезд-

ного часа. А главный, всемогущий, никого не ждет, на то он и травка-муравка. Только его не сразу видно. Надо выйти. Идем, я покажу. Ты выходишь первым, а та женщина, у которой одновременно и есть шрамы на ногах, и нет, остается с той стороны дверей переждать, пока пройдет очередная туристическая группа. И вот пока ты сейчас стоишь между колонн и ждешь, когда она выйдет – то ли минутой, то ли все эти годы, – а она стоит и ждет, когда все пройдут, чтобы не толкаться в дверях, я тебе покажу самое главное, вот здесь, где боковая и задняя стена из кирпича, а потом вдруг – скала из розового известняка, на ней – капители колонн, обломки фриз с дельфинами, и все это одето мхом и заросло, видишь, богом, легким, курчавым. У нас – комнатное растение, иначе не выживет, без человеческого тепла, а здесь сорняк. Так вот, это на мертвом языке, обозначающем живое, – *Adiantum capillus veneris*. Травка-муравка из рода адиантум. Венерин волос. Бог жизни. Чуть шевелится от ветра. Будто кивает, да-да, так и есть: это мой храм, моя земля, мой ветер, моя жизнь. Трава трав. Росла здесь до вашего Вечного города и буду расти после. А тех, бородатых в хламидах, которые придумали порочное зачатие, рисуйте, ваяйте сколько хотите. Я прорасту сквозь все ваши холсты и пробьюсь сквозь весь ваш мрамор. Я на каждой руине на Форуме и под каждым кирпичом под флоксами. А где меня не видно, там моя пыльца. Где меня нет, там я была и буду. Я там, где вы. Вы на пьядца Колонна – и я. Демонстранты надели белые халаты и скандируют в мегафон: «*Morire con dignità!*» Это врачи онкологической клиники грозят забастовкой, если им не повысят зарплату. Пристают к прохожим с каким-то длинным воззванием, мол, подмахните, вы ведь тоже не сегодня завтра на онкологию проверяться

будете! У вас, мужчина, с простатой еще все в порядке? Ну-ну. Увидимся! И здесь же, на Корсо, где толчея и галстуки такие дешевые, что хоть ешь их, – еврейские бега. Должны бежать голыми. Как распяли Господа нашего – в чем мать родила. Карнавал. Карнавалиссимо. Веселится и ликует весь народ. Последний бобыль, которому не во что одеться, выворачивает себе куртку, вымазывает лицо углем и бежит туда же, в пеструю кучу. И веселость эта прямо из его природы. Ешь-пей-веселись, на хорошенькой женись! Евреи, понятно, откупились, остался один ороch. Портной, у которого нет ни сюртука, ни подушки, зато жена, дети и соответствующее огорчение. И вот ведут тунгусы ороchа сюда, на Корсо, а жена и дети громко плачут, прощаются с батюшкой, потому что живым не добежать. В толпе раздают шпицрутены. Снимает ороch штаны, а вся улица помирает от смеха. Он стоит уже голый, прикрывая руками срам, и говорит: Меня сейчас убьют, и я хочу сказать, что я вас очень люблю, и тебя, Женечка, и тебя, Алеша, и тебя, Витенька! На старт, внимание, марш! И вот он бежит, а его бьют. Помилосердуйте, братцы! Он бежит, а его бьют. Помилосердуйте, братцы. Он бежит, а его бьют. Помилосердуйте, братцы. Все, не может больше бежать. Упал. Сейчас надо будет умирать. И вдруг видит, бежит за ним еще кто-то, голый, худой. Кто это? Кожа да кости, пот и кровь, бородака трясется. Видно, что и ему капут. Только нос не такой, как у меня, думает ороch, значит, это не я. А ороch знал всех евреев в Риме. Это какой-то чужой. Вы здесь откуда? – спрашивает ороch. Лицо вроде знакомое, но откуда я вас знаю? Из Рима я никогда не уезжал, дальше околицы носа не казал. Только и знаю, что белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. И почему

вы бежите? Ведь это мои бега, это мне умирать! Может, я уже умер? А тот отвечает: Вы меня знать не можете, потому что это я давно умер, а вы еще живы. Вам я кажусь знакомым, потому что мы все по образу и подобию: ручки, ножки, огуречик, а душа, как и тело, пахнет собой и своей пищей. Главное, вспомнить, куда тянулась моя рука – вверх или назад, за голову. Только, наверно, я никогда это не вспомню. Но для вас это сейчас не имеет значения. Вам надо жить, у вас Женечка, Алеша и Витенька. Я побегу за вас. Ороч удивляется: но вы же не еврей! Тот в ответ с улыбкой: а вы разве не знаете, что в королевстве короля Матиуша несть эллина, несть иудея? Вы идите себе домой, ужинайте, включите телевизор, поиграйте с детьми, почитайте им перед сном про Урфина Джюса и его деревянных дуболомов, а потом заведите будильник и ложитесь спокойно спать, а я за вас всех побегу. И за евреев, и за сарматов, и за орочей, и за тунгусов, и за императоров, и за философов. Ну, идите, вас дома ждут! И осторожнее! Смотрите по сторонам! Они тут все носятся как сумасшедшие. И побежал трусцой. Обгоняя прохожих и туристические группы. Перепрыгивая через люки, под которыми прячутся сенат и народ Рима. Бежит по Корсо в сторону пьядца Венеция, где перейти улицу невозможно, пока отважный экскурсовод не ринется с бамбуковой палкой, как со шпагой, движению наперерез. Если подняться по ступеням и обернуться, то виден только хвост жеребца Виктора-Эммануила, а под хвостом нависшие над Римом конские ядра. Птицы над Капитолием опять вывернулись в гоголевский нос – в ведерные ноздри влетают 700 ангелов. Авгуры следят за его полетом, чтобы предсказать события. Одноглазая кошка спешит на Форум. На Via Sacra плиты стесаны, одна выпуклая,

другая – впадина, на триумфальной колеснице победителя должно было сильно трясти. Священное озеро Курция – *Iacus Curtius* – гораздо меньше, чем весенняя лужа на нашем Фрязинском рынке. Под аркой Септимия Севера сяду на каменный пенек, съем пирожок. А вот это тюрьма Мамертинум – *Carcere Mamertino*. Скажите, а где же убили Цезаря? Подождите, вы торопитесь, мы до этого еще не дошли, его еще не убили, он еще жив. Так вот, это была главная политическая тюрьма империи. Нам тюрьма кажется маленькой – всего два помещения, сверху и снизу. В нижнее можно было попасть только через дырку сверху. В верхнем помещении находится алтарь, посвященный Петру, который, по легенде, содержался здесь в заключении до своей казни, но это не подтверждено никакими документами, в то время как у Тацита в его «Анналах» читаем рассказ об умерщвлении здесь Сеяна, префекта преторианцев, который пытался организовать заговор против Тиберия. Тело бунтаря-неумехи, уже мертвое, бросили на растерзание толпе и через три дня в Тибр. Но этого им было мало. Сюда привели его детей. Младшая девочка ничего не понимала и все время спрашивала, за какое преступление ее хотят наказать, она обещает больше никогда так не делать, и нельзя ли ее наказать, как наказывают детей – просто дать ей пару розог. А поскольку юристы обратили внимание на то, что в истории Рима не было прецедента казни маленькой девочки, не ставшей женщиной, то палачи, прежде чем задушить, обесчестили ее. Но той девочке никто алтарь не поставит. Потому что Петра в Риме не было, а она была. Потому что если и есть где-то настоящее, то ищут его не там, где потеряли, а в Риме, в котором что-то не так со временем – оно не уходит, а набирается, наполняет этот город

до краев, будто кто-то воткнул в слив Колизей, как затычку. Потому что если любовь была, то ее ничто не может сделать небывшей. И умереть совершенно невозможно, если любишь. Вот я лежу бессонной ночью и всех, кого любила, вспоминаю. Слепая, а прямо вижу их перед глазами. Так тяжело проводить последние годы в одиночестве. И так хотелось ребенка! Ведь тот ребенок, который был тогда, в Останкинском музее, во мне, не родившись, стал рыбкой и уплыл. И вот я помолилась: Травка-муравка, дай мне снова ребеночка! Она мне в ответ: Но ведь ты же старая! Я: Ну и что? Она: Ну сама посуди, у тебя же все женское давно прекратилось! Я: Ну и что? При чем тут это? У Сарры тоже все давно прекратилось, а ты же ей дала! Сотвори чудо, что тебе стоит! Тогда травка-муравка сказала: Ладно, что с тобой делать, будь по-твоему! Иди в булочную за бородинским, будет у тебя горошинка! И вот иду я в нашу булочную, плетусь с палкой, скрюченная, а навстречу мне цыганка, и у нее три руки. Вся мокрая, будто только что речку переплыла. В одной руке ребеночек, тоже весь мокрый, прямо течет с него, в другой надкусанная груша. Третьей рукой гладит меня по голове и говорит: Я только что от разбойников спаслась и потому вся мокрая. Ты не смотри, что я цыганка, я не какая-нибудь, я чистая, непорочная, и ничего не осталось, ни шва, ни раны, непорочна, как Чермное море, которое расступилось и затем опять сомкнулось. Поплевала на грушу и дает: На, укуси! Я укусила, и ничего слаще той груши в моей жизни не было. И вот плетусь дальше за хлебом и тут чувствую – беременная. Тошнит. Ухватила за забор, и меня вырвало, стала утирать рот талым снегом. На следующее утро проснулась и думаю – наверно, все это мне приснилось. Смотрю на себя в зеркало и глазам своим не

верю – помолодела! И груди набухли. И живот уже вырос. Испугалась: что же соседи-то скажут! Совсем старая спятила! Стала от всех скрываться, живот свой прятать. А как спрячешь? Растет не по дням, а по часам! И внутри все живет. Живой живот. Вернулась ко мне моя горошинка! Прислушиваюсь к себе, а ребеночек шевелится. Так от всех беременность свою скрывала, живот перетягивала, а ничего уже не скроешь, так раздался. Стала от всех прятаться, никуда не выходить. Лежу в кровати и не встаю. А рожать когда-то надо. И вот прямо среди ночи началось. Все, не могу больше. Схватки. И боли страшные, невыносимые. Мучаюсь, мучаюсь, а позвать кого-нибудь боюсь. И тут вдруг как из пушки из меня вылетело. Мальчик? Девочка? Ничего не вижу, нужно свет включить. Стала в темноте рукой на ночном столике шарить, задела провод, и лампа на пол как грохнется! Я пытаюсь подняться, а сил уже нет. Поскользнулась на чем-то и упала, стукнулась головой. Лежу и все слышу и все вижу, но как-то странно, как через стекло, будто я не на полу лежу, а стою на балконе и оттуда смотрю в комнату и вижу себя – у кровати в какой-то луже, рядом с разбитой лампой. Тут прибегает кто-то и говорит: Ну все, отмучилась! И кругом глубокая ночь. И все спят. И ветер спит. И все набегавшиеся за день ботинки, босоножки, туфли спят. Рыбки уснули в саду. Птички уснули в пруду. И Рим спит, город мертвых, где все живы. Угомонился, объят беспробудным сном. Только в одном окошечке виден еще свет, там приехавший из Рязани поручик, большой охотник до сапог, примеривает новую пару, в который раз подходит к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не может: поднимет ногу и любитесь стачанным на диво каблуком. Желудок переваривает Берн. Батон светится. Если по-

тянуть за кончик волоса, прилипшего к куску мыла, материки расползутся. Спят кишки земли. Спят белые карандаши. Девушки спят, будто плывут, правая рука вперед, под подушку, левая назад, ладонью кверху. Ночью громче фонтаны. Никого у Баркаччо. Никого у Треви. Фонтан фонтанов, адмирал, флагман – ведет за собой фонтанную флотилию по каменному заснувшему морю. Никому не садится водяная пыль на кожу. Никто не пьет вкусную Аква Вирго, никто не бросает через плечо монетку, мол, держи, перевозчик коз, волков и капустных кочанов, свой обол, теперь за тобой должок! Из отверстия в куполе Пантеона, дождавшись звездного часа, выскальзывают в ночь летучие мыши, шныряют. Под мостом, ведущим к Кастелло Сант-Анжело, проплывает по Тибру нацарапанная на стене лодка – пустая. На Форуме тихо, пусто, только кошки сидят и не отрывают глаз от прибитых рук. Скоро будет светать. Архитектор неба берется за ножницы, сейчас возьмет и вырежет из него все лишнее: колоннаду Святого Петра, мост с ангелами. И он тоже путаник – вырезает ангелов, а получают севастопольские офицеры, они хотят всплыть и, привязанные, рвутся ввысь, и обрывки рубахи поднялись, как крылья. Может, это он, Бернини, все на свете и перепутал! Ему заказали изваять из мрамора одну старуху, которая сама не зачала и другим не давала, а перед смертью прошамкала: Вот и пришел долгожданный час, мой господин! Вот и пришло время нам увидеть друг друга, жених мой, смерть моя! А у путаника получилась молодая невеста. И жених ее – венерин волос. Светает. На Испанской лестнице груди вчерашнего мусора. Со стороны Монте Пинчио кто-то кричит: Элои! Элои! Ламма савахфани? Черный ангел замер на углу пьядца дель Пополо, развернув крылья из сумок.

По Корсо бежит, расталкивая первых утренних прохожих, Гальпетра, та, туалетная – усатая, голая, размахивает пудовыми, шлепающими грудями, у нее в животе горошинка. Торопится, хочет догнать того, кто бежит впереди трусцой в королевство короля Матиуша, зовет: Подождите, возьмите меня с собой бежать за всех, побежим вместе! А в конце улицы одинокий экскурсовод высоко поднял свернутый зонтик с привязанной косынкой цвета зари, мол, не потеряйтесь, идите за мной, я покажу вам в этом мимолетном городе самое важное! Это египетский обелиск с привязанным к нему розовым облаком зовет: Где вы? Идите за мной! Я покажу вам травку-муравку!

Цюрих – Рим, 2002–2004

Литературно-художественное издание

Шишкин Михаил Павлович

ВЕНЕРИН ВОЛОС

Роман

Заведующая редакцией *Е.Д. Шубина*

Редактор *А.С. Шлыкова*

Выпускающий редактор *А.С. Портнов*

Технический редактор *Т.П. Тимошина*

Корректор *Н.П. Власенко*

Компьютерная верстка *Н.Н. Пуненковой*



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Подписано в печать 18.08.14. Формат 84x108/32.
Усл. печ. л. 28,56. Тираж 2000 экз. Заказ № 6386.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, комн. 5

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издательская группа АСТ представляет:

Михаил Шишкин
ПИСЬМОВНИК



В новом романе «Письмовник», на первый взгляд, все просто: он, она. Письма. Дача. Первая любовь. Но судьба не любит простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется связь времен. Прошедшее становится настоящим: Шекспир и Марко Поло, приключения полярного летчика и взятие русскими войсками Пекина. Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы связать собою разорванное время. Это роман о тайне. О том, что смерть — такой же дар, как и любовь.

Евгений Водолазкин

ЛАВР



Евгений Водолазкин — автор романа «Соловьев и Ларионов» (шорт-лист «Большой книги») и сборника эссе «Инструмент языка». Филолог, специалист по древнерусской литературе, он не любит исторических романов, «их навязчивого этнографизма — кокошников, повойников, портов, зипунов» и прочую унылую стилизацию. Используя интонации древнерусских текстов, Водолазкин причудливо смешивает разные эпохи и языковые стихии, даря читателю не гербарий, но живой букет.

Герой нового романа «Лавр» — средневековый врач. Обладая даром исцеления, он тем не менее не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар.

Есть то, о чем легче говорить в древнерусском контексте. Например, о Боге. Мне кажется, связи с Ним раньше были прямее. Важно уже то, что они просто были. Сейчас вопрос этих связей занимает немногих, что озадачивает. Неужели со времен Средневековья мы узнали что-то радикально новое, что позволяет расслабиться?

Евгений Водолазкин

Михаил Шишкин – русский писатель, последние годы живущий в Швейцарии, автор романов «Взятие Измаила», «Всех ожидает одна ночь», «Письмовник».

Роман «Венерин волос» был удостоен престижных литературных премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». По его мотивам поставлен спектакль «Самое важное» в Театре-студии Петра Фоменко.

Герой-рассказчик романа «Венерин волос» служит переводчиком в миграционной службе. Бесконечные истории беженцев, просящих политического убежища, переплетаются, прорастают друг в друга –

из современной Швейцарии действие переносится в Париж, Россию начала прошлого века или древнюю Персию – и сливаются воедино – в историю любви, без которой невозможен мир.

«Венерин волос» – один из самых ярких романов последних лет, соединяющий завораживающие языковые эксперименты и злободневность, дневники начала прошлого века и рассказы о русской революции, швейцарском рае и чеченском аде. Книга, объясняющая потаенный смысл литературы, да и любого написанного слова.

Майя Кучерская

ISBN 978-5-17-087181-0



9 785170 871810

